ISSN 0130 – 6545

4.1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Священные чудовища. Ж. Кокто.

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Шоу-ревю Зизи Жанмэр.

Цветные иллюстрации номера —
работы французского художника Ива Сен-Лорана

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
Б. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

4 апрель 1990

СОДЕРЖАНИЕ

ДОМИНИК ТАТАРКА — Демон согласия *(Памфлет Вступление Вацлава Гавела. Перевод со словацкого Н. Николаевой)* 5

СТЕФАН ГЕЙМ — Книга царя Давида *(Роман. Перевод с немецкого Б. Хлебникова)* 44

ТОМ СТОППАРД — Розенкранц и Гильденстерн мертвы *(Пьеса в трех действиях Перевод с английского Иосифа Бродского. Послесловие Юрия Фридштейна)* 83

Из классики XX века

ХАИМ-НАХМАН БЯЛИК — Стихи разных лет *(Перевод с иврита Вл. Жаботинского, Валерия Брюсова, Вяч. Иванова, Федора Сологуба, Ю. Балтрушайтиса, И. Бунина, С. Липкина).* Город Резни *(Поэма. Перевод с идиша Льва Беринского).* Вступление С. Аверинцева, эссе М. Горького и Владислава Ходасевича 138

МАКС ФРИШ — Швейцария без армии? Пустопорожний разговор *(Вступление и перевод с немецкого Е. Кацевой)* 157

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — Башковитые курицы *(Перевод с итальянского Л. Вершинина)* 174

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Сказки *(Перевод с итальянского Ф. Двин)* 180

Критика

Философские аспекты

Достоевский глазами Ницше

ФРИДРИХ НИЦШЕ — Из наследия *(Вступительная статья и составление Ю. Н. Давыдова)* 186

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ — Великий катализатор: Ницше и русский неоидеализм 197
А. ЗВЕРЕВ — Попытка объясниться *(Размышления над письмами в «ИЛ»)* 205

Публицистика

ФРАНТИШЕК ЯНОУХ — Нет, я не сожалею... *(Окончание. Перевод с чешского Ады Кольман)* 216

Тема для дискуссии: ответственность художника

ХАННА АРЕНДТ — Временный союз черни и элиты *(Перевод с английского Г. Дашевского)* 242
Ю. КАГРАМАНОВ — Похмелье 249

К нашим иллюстрациям

Г. Масленникова — Человек моды, человек театра 254

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1990

Художественный редактор Е. Н. Черняев

Технический редактор Е. П. Поляков

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 09.01.1990. Подписано в печать 27.04.1990. Формат 70×108$^{1}/_{16}$. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 27,15.

Тираж 360 000 экз. (1-й завод: 1—290 000 экз.). Зак. 502. Цена 1 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, проспект Победы, 50.
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ДОМИНИК ТАТАРКА

Демон согласия

ПАМФЛЕТ

Перевод со словацкого Н. НИКОЛАЕВОЙ

Возглас прозрения

Писатель может писать о любви, о ревности, об удачах и неудачах в жизни, о человеческой злобе, о природе, о своем детстве, о Боге и о шизофрении; может в своих произведениях философствовать, описывать сложные душевные переживания, педантично придерживаться фактов и придумывать аллегории; может исступленно предаваться самым невероятным и самым изощренным эстетическим изыскам, но он никогда не сможет, если только он настоящий писатель, уйти от одного — от истории. От общественно-политической ситуации. От своего времени. А следовательно, и от политики. Какое бы крупное литературное произведение мы ни взяли, мы всегда, в конце концов обнаружим, что оно — пусть не прямо, пусть опосредованно — служит свидетельством определенного момента истории общества, человеческой культуры и цивилизации, духовных и общественных событий своего времени. Без этого, мне кажется, настоящее литературное произведение просто немыслимо.

Конечно, бывают времена, когда политические события, режим и история с особой настойчивостью и бесцеремонностью вторгаются в жизнь людей; и бывают ситуации, когда просто нельзя не столкнуться с политикой и не ощутить ее всем существом. О таких ситуациях и таких временах безошибочно можно судить по литературе. Если это литература хорошая, она всегда будет откровенно политической и острокритической. Будучи выразителем человеческого самосознания, литература не может вырваться из атмосферы своего времени и места. Поэтому там, где политика явно пронизывает всю жизнь, она в большей степени чувствуется и в литературе, как бы литература этому ни сопротивлялась; сам внутренний настрой произведения и его внутренняя логика, иными словами, нечто более сильное, чем авторский замысел, придают ему в определенном смысле политическое звучание. Можно, конечно, сделать так, чтобы создавалось впечатление, будто произведение никак не связано с историческим фоном, что все в нем происходит «просто так», само по себе, но такая заданность — не важно, от кого она идет, от цензора или самого автора,— всегда заметно вредит произведению. Насилие над художественным произведением лишает его именно тех черт, которые в реальной жизни столь наступательно, агрессивно дают о себе знать, и в конечном счете лишает его всего: силы, правдивости, достоверности, красоты.

Перечитывая недавно памфлет Татарки «Демон согласия», я вновь осознал все это. Писатели в тоталитарных государствах, вероятно, интересуются политикой не больше своих коллег в других, более свободных странах, но тем не менее их произведения (я имею в виду только те, которые чего-то стоят), независимо от воли или интересов их авторов, всегда отличаются бóльшим политическим звучанием.

Когда я читаю лучшие книги современных американских, английских или французских писателей, я, как правило, не могу не испытывать некоторой зависти: хотя контуры реальных событий там часто едва обозначены, у меня не создается впечатления, что их там нет вообще. Более тонкий способ проникновения политики, истории и цивилизации в повседневную жизнь на Западе словно бы открывает простор для широкого спектра более тонких приемов, с помощью которых история и политика проникают в литературу. Так что мне приходится завидовать не только таланту авторов этих замечательных книг, но и их большой внутренней свободе.

Правдивость художественного произведения у них не так связана с необходимостью отражать исторический момент и не столь безнадежно ею ограничена, как здесь, у нас. Ведь у нас, образно говоря, даже описание шума леса более политично, чем в иных литературах.

Известно, что в разные исторические периоды наша литература по-разному взаимодействовала с политикой, постоянно предъявляющей к ней назойливые требования и претензии.

Классическим примером одной из таких форм взаимодействия литературы и политики, примером, выражающим суть целого литературного направления, в наше время является «Демон согласия» Доминика Татарки. Речь идет о направлении, которое я — условно и только исходя из потребностей данного момента — назвал бы «литературой прозрения». Я говорю о тех, кто в большей или меньшей степени принимал идеалы, провозглашенные новым социалистическим строем (или, точнее, «системой социализма»), кто поверил в законность власти, утверждавшей, что она стремится именно к этим идеалам, кто откликнулся на призыв этой власти — отдать свое перо на службу социализму — и кто вскоре понял, что был ослеплен и стал жертвой великого обмана. А потому и сделал свой выбор в пользу правды. Ситуация этого «развода с властью» породила множество значительных произведений, отразивших не только глубокие драматические переживания, связанные с прозрением, но и стремление авторов понять и механизмы времени, и ту роль, которую им приходилось выполнять в них. Даже тогда, когда произведение носило сугубо аналитический или подчеркнуто описательный характер, в подтексте его мы неизменно чувствовали глубокое личное разочарование, которое, пожалуй, можно выразить такими словами: «Что вы с нами сделали?», «Что же это мы сами с собой сделали?», «Что же, собственно, происходит?».

Это, так сказать, произведения-возгласы, произведения — восклицательные знаки. Прозрения с восклицательным знаком.

«Демон согласия» — отчасти автобиографическая новелла, отчасти фантазия-гротеск, отчасти эссе, отчасти публицистика. Но прежде всего это возглас прозревшего человека, который хотел поверить, что король одет, но в один прекрасный день не мог не воскликнуть, что король — голый!

В чехословацкой литературе есть немало книг, которые можно было бы, не умаляя своеобразия каждой из них, отнести к этому направлению. Одни, разумеется, более правдивы, более проникновенны и в художественном отношении более совершенны, другие — менее. Однако их объединяет тот огромный и вполне объяснимый отклик, который в свое время они вызывали; отклик столь непосредственный и бурный, который вряд ли вызовет в обществе даже самое блистательное произведение, появившееся в более свободных условиях. Ведь эти книги, собственно, начали разрывать, казалось, непробиваемый панцирь лжи, сдавливавший — по крайней мере в сфере общественной жизни — все живое. И хотя в нашей стране и раньше существовала правдивая литература (то есть литература, которой не нужно было проходить такого пути к прозрению, ибо определенный трагизм происходящего она осознавала с самого начала), ее непосредственный общественный резонанс не мог идти ни в какое сравнение с воздействием этой новой литературы прозрения, уже хотя бы по причинам «техническим»: это были времена, когда те, кто был «вне», просто-напросто не могли публиковаться. Так что в сфере общественной жизни подлинный отклик имели только правдивые произведения, принадлежавшие перу тех, кто формировался «внутри» официальной или близкой к ней литературы, но разошелся с ее требованиями и заявил о своем прозрении.

Не могу судить, какое место с художественной точки зрения занимает в литературном направлении, о котором я говорю, «Демон согласия», однако я знаю, что это была одна из первых — если не первая вообще — книга этого направления в чехословацкой литературе. Д. Татарка написал ее непосредственно после XX съезда КПСС, и она сразу же начала печататься в еженедельнике «Культурни живот» и стала подлинным событием в культурной и политической жизни. Сравнивая, по прошествии времени, «Демона согласия» с другими произведениями чешской и словацкой «литературы прозрения», написанными позднее, я не могу избавиться от чувства, не знаю, насколько верного: нравственный пафос этой вещи, ее публицистическая прямота и ясность, романтическая сила и страстность ее удара — все это, как ни странно, вроде бы не соответствует спокойной интонации, тонкой нюансировке и даже некоторой «вальяжности», свойственным чешской литературной традиции, а скорее приближает к нам энергию и прямоту, свойственную польской литературной традиции.

Я невольно вспоминаю Ч. Милоша, К. Брандыса, М. Хласко, Т. Конвицкого и других польских писателей, которые в разное время и в разной мере взволновали меня, зачастую именно своим горестным пафосом, героичностью и трагизмом, так что я, выросший в более традиционном и более «реалистичном» духовном климате Чехословакии, особенно остро воспринял их. (Здесь, конечно, необходимо отметить, что речь идет исключительно о духовном родстве, а не о прямом влиянии: большинство произведений польских писателей, с которыми можно было бы сравнивать «Демона согласия», в то время либо еще не были написаны, либо Татарка не имел возможности с ними познакомиться.)

Доминик Татарка — словак. И если он в силу того, о чем я писал выше, представляет собой во всей чехословацкой литературе явление в некоторой степени уникальное, в некотором роде одинокую вершину — я уже говорю обо всем его творчестве,— то, очевидно, тем более уникальное явление он в словацкой литературе.

По крайней мере, я не знаю другого словацкого писателя его поколения, который столь бы яростно и одновременно с таким блеском отстаивал бы свои позиции —

один против всех. И «один против ночи» — так называется одна из его последних книг.

Нечего и говорить о том, что именно поэтому он одновременно является сегодня в Словакии и самым запрещенным писателем.

Октябрь 1985

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ

I

Это был полный крах.

Сознавая свою невиновность, я публично признал себя врагом народа. А потом, изощрившись и превзойдя красноречием своих обвинителей, я убедил их, что перед ними — опасный враг. Это я сделал вопреки своим внутренним убеждениям, но во имя святого общего дела. Мой старший сын и жена ужаснулись моему поступку. Дома, уже после этой публичной казни, где я и сам распинал себя, они умоляли меня хотя бы в кругу семьи не выступать в отведенной мне роли предателя. Но я во что бы то ни стало хотел оставаться принципиальным. Я встал на колени перед сыном, затем перед женой и умолял их ради всего святого простить мое предательство. Мои близкие разговаривали со мной как с больным, пытались успокоить, но я твердил только то, в чем признался публично. Я сопротивлялся как мог, дабы уцелеть, не допустить раздвоения сознания и не расщепиться на человека частного и человека общественного. Ведь с раздвоения личности и начинается безумие. Моим близким невыносимо было жить с человеком, который возвел предательство в принцип. Они стали искать себе иное общество — общество людей, так или иначе пострадавших, ну, и нашли его. В конце концов они тоже попали на скамью подсудимых как враги народа, были осуждены, а я, во имя все тех же святых убеждений и наших общих принципов, потребовал для жены и сына самого строгого наказания — смертной казни. После этого моего поступка от меня остался один лишь голый и страшный принцип — доверять и соглашаться. И жизнь моя теперь держалась только лишь на волоске этого принципа.

Послушный духу времени, я, Бартоломей Болераз, некогда писатель, или, как говорили раньше, совесть народа, летел, как воздушный шарик, как мыльный пузырь, на крыльях эпохи. Теперь-то я понимаю, что не только плыть по течению эпохи, но и парить в облаках долго нельзя. Однажды может подняться сильная буря — и конец, ты рухнешь на землю. Так оно и случилось.

...Наш вертолет уткнулся в размокшую пашню. И тут мой невинный дорожный чемоданчик, доверху набитый съездовскими материалами, вдруг приобрел способность самостоятельно двигаться и, будто саблей, снес верхушку моего черепа.

Не успел я как следует раскинуть мозгами, как они вытекли из моей головы, словно вино из сосуда. А сам я вывалился из вертолета и, как любовник, зарылся лицом в благоуханную вспаханную землю.

В двухместном вертолете,— слава богу, что в нем было только два пассажирских места,— со мной, бывшим Болеразом, летел наш идейный, сейчас тоже уже бывший, вождь Властислав Мотайнога.

В очередной раз я поумнел. «Лежишь,— говорю себе,— ну, лежи, лежи. Ты потерпел крушение? А как это могло иначе кончиться? Ведь ты же не человек, а чудовищный окаменевший принцип! И вот результат — ты вдребезги разбился, как дутая стеклянная фигурка. Так тебе и надо. Поделом».

Я бы так и лежал спокойно с продырявленной, а потому и просветленной головой, да куда там!..

Лежим, значит, мы — пилот, Мотайнога и я — на этой самой пашне, как вдруг является комиссия.

Деятели культуры, эксперты и служащие авиакомпании «Воздушные пути» не пожалели ни сил, ни замшевых полуботинок и припожаловали на место происшествия, то есть к нам, на размокшую пашню. Ненадолго прервав свою дискуссию о будущем нашей национальной культуры, они обнажили головы и почтили нашу память. А служащий «Воздушных путей» взял лопатку, с надлежащим пиететом сгреб в кучку наше серое вещество и затем машинально часть его кинул обратно в наши открытые черепа. Мне при этом достались преимущественно мозги Властислава Мотайноги. Не могу сказать, чтобы это меня обрадовало, но я не запротестовал и на сей раз. «Так мне и надо»,— подумал я.

Потом наши останки прикрыли национальными флагами. Это примирило нас с судьбой. Мы лежали, как новорожденные младенцы, детки матери-Земли. С чувством удовлетворения, я бы даже сказал — глубокого удовлетворения, покоились мы под покровом знамен. И тут я вдруг с необыкновенной ясностью постиг весь трагизм судьбы гениального мозга Властислава Мотайноги.

Благодаря интеллигентности, которая вопреки всем культивирующим, отмеряющим и распределяющим ее инстанциям каким-то образом еще сохранилась у меня и оптимизму, который не следует терять ни при каких обстоятельствах, я сделал открытие: многие наши современники живут чужим умом. Как и я после смерти. В головах у них — каша из чужих мозгов, как теперь и у меня. Они полагают, что наконец-то усовершенствовали свой мозг, и твердо верят, что с помощью этого столь удачно усовершенствованного органа мышления они постигают мир гораздо более правильно, чем раньше, когда думали своей головой. Неудовлетворенность собственными мыслительными способностями, конечно же,— качество весьма похвальное, и многие мои современники прямотаки горят желанием усовершенствоваться путем мозгосмешения. Преисполненные самых благих намерений, они все мешают и перемешивают, и в результате получается такая каша, что и не расхлебать.

И меня пронзила, можно сказать — прожгла насквозь, такая боль, что я поневоле восстал из мертвых. Вместо своих собственных мозгов, в общем-то, видимо, средненьких, я теперь обладал большей частью мозга Мотайноги, наверняка гениального, но, увы, мне чуждого. Вы только представьте себе: мозг в моей голове мне чужд и с остальными частями моего тела никак не взаимодействует. Разум что-то там перемалывает, а тело к нему совсем не прислушивается. И все восприятие мира как у калеки в ампутированной руке. Голова хочет одного, а тело совсем другого. Чужая голова, пусть и человеческая, и чужое тело. Я встаю на дыбы, как кентавр! Честное слово, будущие поколения мне не позавидуют! Даже не поймут меня. Разве можно понять человека, который по-лошадиному встает на дыбы?!

Я не жалуюсь. И не протестую, хотя и лишился головы, как собака — хвоста. Зато я понял наконец смысл нашего существования — пусть и ценой собственной головы, как, впрочем, и многие другие мои современники. Такой вот ценой познаешь, какое горе испытывают в наш век от ума. Ничего не поделаешь, за любое познание мы дорого платим.

Но чтобы вы не слишком недоумевали, зачем я все-таки восстал из мертвых, объясню все по порядку.

Когда нас запеленали в национальные знамена и мы перестали быть похожи даже на собственные останки, комиссия «Воздушных путей» составила официальный протокол, весьма обстоятельный и подробный, однако замалчивающий истинные причины нашей катастрофы. Все свалили на сильную бурю, а поскольку за ветер никто ответственности не несет, то никому не придется отвечать и за эту катастрофу.

Особенно невыносимо было мне слушать нашего Главнокомандующего, этого трусливого и бездарного чинушу, по чужим спинам вскарабкавшегося на пьедестал власти. Всем известно, что своим подчиненным он всегда предписывал мыслить только в рамках общепринятого и во всем следовать установленным образцам. В нашу задачу, как он считал,

входило брать уже завоеванные высоты, а на позиции, с которых нас обстреливал неприятель, внимания не обращать. Выполняя эти бессмысленные приказы, поэты становились чем-то вроде литейщиков, отливающих в общей изложнице колокольную бронзу здравиц. Главнокомандующий в своих выступлениях преподносил наши провалы как победы и наоборот.

Над нашими останками он произнес пламенную речь. Нашу трусость он выдал за отвагу и смелый поиск новых путей, а нашу слепоту назвал прозорливостью. И наконец, припечатал нашу судьбу фразой, в сей трагической ситуации просто кощунственной.

«Товарищи! Бойцы! Смелые орлы идеи! — сказал он, обращаясь уже непосредственно к нам.— Перед лицом народа мы обещаем вам выполнять ваши заветы!»

Такое пустословие, такая отъявленная ложь, сконцентрированная в одной фразе, может поднять и мертвого! Подняла она и меня! Я восстал из мертвых и требую от вас, живых, ответа.

Да о чем это он говорит? Какие заветы? Что вообще мы можем завещать? И кому? Что вы собираетесь выполнять? Неужели все те же невнятные отголоски чужих мыслей, которые мы постоянно повторяли?

Я говорил, но говорил не то, что думал.
Таков был наш удел...

Такими мы были. Говорили не то, что думали, судорожно виляли, изворачивались, не отвечали на вопросы. И поэтому, не желая, чтоб эти вот безусловно искренние строчки были высечены на нашем надгробии как свидетельство непонимания поэтов своей эпохи, я восстал из мертвых и взял слово.

Ибо обвинять во всем сильный ветер я не могу!

II

Но вернемся назад. Хотя бы друзьям и подругам, до сих пор втайне скорбящим обо мне, я расскажу, как, собственно, развивалось последнее действие драмы, во время которой я лишился своих мозгов, а заодно и жизни.

Началось все весьма обыкновенно. Главнокомандующий нашего идеологического фронта созывал нас на пленум в связи с предстоящим съездом. Я в это время копался в своем саду, сеял для собственного удовольствия — вследствие недостатка иных удовольствий — травку. Посмотрев повестку дня, пункт за пунктом, я сказал себе: «А зачем мне туда идти? Чтобы пять раз поднять руку? (Столько в повестке дня было пунктов.) Чтобы пять раз выразить свое одобрение?»

Если уж я ничего не могу изменить, то проголосовать вместо меня может кто угодно. Что и говорить, в организационном отношении мы достигли невиданного прогресса. Повестка готовится административным аппаратом столь тщательно, что ничего не остается, как согласиться с ней. Третий пункт ее предусматривал выдвижение на Государственную премию. В прилагаемых предложениях — по рекомендации секретариата Главнокомандующего — значилось три произведения, как теперь принято говорить, наиновейшей литературной продукции: роман «Железная долина», пьеса «Праздничные колокола» и поэма «Триста процентов счастья». Первый пункт нашей повестки звучал так: «Омоложение и укрепление аппарата Союза», причем омолодить и укрепить наш Союз должны были все те же создатели трех произведений, выдвинутых на соискание Государственной премии. Например, молодого романиста, автора «Железной долины», «с учетом размаха и важности поднятой им темы, касающейся развития нашей тяжелой промышленности», предполагалось избрать главой секции романистов. Само собой разумелось, что все мы, все правление, а следовательно, и я, единогласно признаем «Железную долину» крупнейшим достижением современной прозы, а создатель этого бессмертного шедевра войдет в руководство и поведет всех нас за со-

бой. Вторым пунктом повестки дня предусматривалось утверждение докладов об успехах художественной литературы за последнее десятилетие. Короче, в мою обязанность входило одобрять, поддерживать и выражать свое согласие, поскольку я состоял членом одобряющего, поддерживающего органа соглашательской организации, машины, которая должна была гладко катить все дальше, а гладко катить можно только по торному пути согласия.

Продолжая трудиться в своем садике, я подумал: сколько же раз я глупо соглашался и сколько раз тщетно пытался выразить свое несогласие. И меня охватила страшная усталость, а сердце сжала невыразимая тоска. Я сказал себе: «Нет, я больше не буду соглашаться. И даже не буду больше не соглашаться. После всего этого соглашательства, после всех этих ошибок мне чем дальше, тем меньше понятно, с чем можно соглашаться, а с чем нет,— даже с риском для жизни». Вот так, словно прощаясь с друзьями, я вел грустную беседу с самим собой:

«Болераз, ведь ты был когда-то человеком с горящим сердцем, в душе твоей бурлили сильные чувства, разливавшиеся, как река. Ты знал, что такое радость. Ты любил жизнь. С понедельника до субботы ты учил мальчиков и девочек. Каждое утро по дороге в школу что-то пело в твоей душе: «Как это здорово, что эти вот первоклашки, мальчишки и девчонки, растут на твоих глазах, и в один прекрасный день получат аттестат зрелости». А в субботу или в воскресенье ты садился за письменный стол. Ты писал. И что бы там ни думали о твоих сочинениях критики, твои книжки тебя радовали. А что теперь?.. Моя мама — верующий человек (вы бы сказали: реакционерка), и та теперь засомневалась в моем писательском призвании. Она как-то сказала мне: «Сынок, ты все пишешь и пишешь, а вот у нас в деревне говорят, будто ты натравливаешь людей друг на друга. Горек твой хлеб, сынок. Возвращайся в школу, к детям, а потом и пиши себе на здоровье, если уж тебе так нравится». Мама трижды права. Я пишу, пишу, книжки мои издаются и даже переиздаются, отдел распространения их распространяет, и, возможно,— я это допускаю,— кто-то мои произведения читает. Но писательским трудом не проживешь. И я ежегодно прихожу в субсидирующий нас Литфонд и беру на следующий год ссуду под какие-то творческие обязательства, как подпасок, нанимающийся к пастуху. «Положение о гонорарах», подписанное министром финансов, составлено так, будто его главная цель — смирить нашу гордыню: как бы писатели слишком не возгордились, если каждый год не нанимать их на службу, как бы не зазнались, если у них будет возможность не думать год-другой о хлебе насущном.

Но и это не самое важное. Куда хуже — сама наша идеологическая организация в нынешнем ее виде. Ее деятельность сводится к тому, что она без конца все согласовывает, утрясает, нормализует, даже не замечая, как подминает под себя людей, прокатывается по ним, как каток. Меня-то она уже раздавила, заставила подчиниться, сделала посмещищем и даже объявила врагом народа. Она все время наносит мне удары, и я, являясь ее членом, в свою очередь с какой-то прямо-таки непреклонностью наношу удары своим друзьям и приятелям, отрываю их от работы, не позволяю им отдаться глубинному течению мысли, лишаю радости труда и вдохновения.

Поймите мое положение: стоит мне проголосовать за выдвижение своего друга, автора «Железной долины», на соискание Государственной премии, стоит поддержать его кандидатуру на пост председателя секции романистов, и я нанесу вред как его творчеству, так и всему производству романов в целом. А сказав ему правду: «У тебя есть талант, и тема, за которую ты взялся, действительно важна, но книжка у тебя вышла схематичная и надуманная», я его расстрою, убью этим заявлением и сделаю своим личным врагом.

Книжка его только что появилась на свет, и автор пока еще влюблен в нее, как счастливый отец. Когда-нибудь позднее — в другое время и в

другом месте — автор «Железной долины» мог бы еще задуматься над моими словами, спросить себя, нет ли доли правды в моем утверждении, что его книга хоть и бойко написана, но нежизненна и исходит из ложных предпосылок. А сейчас? Наверняка он воспримет мои слова как выпад завистника, а все остальные члены нашего ободряющего органа сочтут меня анархистом, нарушающим гладкий ход обсуждения. В лучшем случае мое заявление расценят как недостойную выходку неуживчивого человека, чьи взгляды заслуживают осуждения. Или же вежливо выслушают и тут же начисто забудут».

Такой вот клубок мыслей стал раскручиваться в моей голове, когда я подумал о нашем пленуме. Но к моему дому уже подкатила машина Союза писателей. Так оно и бывает — машина и шофер решают, будет или не будет участвовать в заседании такой колеблющийся человек, как я.

Итак, я был включен в общее движение. Шофер доставил меня прямо к Дворцу культуры, огромному многоэтажному дому на берегу Дуная, кстати сказать, точной копии дворца в нашей столице. Здесь было сосредоточено все самое лучшее. Все, что необходимо творцу для работы и отдыха: бары, расположенные в подвальном помещении, кафе, душевые комнаты, сауна, корты, спортзалы, залы для творческого сосредоточения, диктофонные кабинеты, студии грамзаписи и прослушивания кассет, залы, оборудованные множительной техникой, комнаты отдыха и, наконец, конференц-залы. Стоит деятелю культуры хоть раз попасть сюда — и приходится потом прилагать прямо-таки нечеловеческие усилия, чтобы перебороть себя и вырваться из сетей этого уюта. Организаторы всех видов литературной продукции имеют здесь в своем распоряжении аппарат помощников-порученцев, теоретиков, а также целый штат машинисток и курьеров. Кроме того, они располагают киностудией, архивом и отделом увековечивания. А обслуживает их отдел инициатив и отдел реализации. В центральной части пятидесятиэтажного здания, одновременно являющегося и маяком, один на другой пирамидально наслаиваются административные аппараты местного, районного, областного и краевого управления ГОСКУЛЬТТВОРПРОСА. А на вершине пирамиды — он, Руководитель всех сводных частей культуры, просвещения и идеологии в масштабе нашей провинции, он, товарищ Мотайнога, чей кабинет находится в самом шпиле башни.

Кроме того, у нашей творческой организации на террасе дворца есть ведомственное летное поле, необходимое как для большего размаха ее деятельности, так и для оперативной работы с массами. Накануне пленума правления Союза писателей и прочих форумов сюда прямо с небес спускаются вертолеты. Каждую четверть часа, как паучок бабьим летом, дрожит в воздухе какой-нибудь новый вертолетик; он приносит деятелей культуры во дворец или уносит их на совещание в столицу. Что ж, сегодня все эти достижения стали естественной и неотъемлемой приметой нашей жизни, ибо наш самоотверженный и трудолюбивый народ испытывает необычайный книжный голод и поэтому делает все, чтобы творцы культуры имели как можно больше времени для плодотворных дискуссий.

И на сей раз накануне заседания, за участие в котором — напоминаю — я поплатился рассудком и жизнью, вежливый и проверенный в отделе кадров служащий вознес меня в кабине бесшумного лифта на летное поле. А здесь меня уже дожидался вертолет, весь прозрачный, будто из целлофана, последнее слово нашего самого передового в мире авиастроения. Кроме того, представьте себе (как-никак демократия!), там меня ждал наш любимый идейный вождь, генерал от культуры Мотайнога, который, несомненно, был достоин более подобающего его уровню спутника, чем я, ну, хотя бы такого же, как он сам, и тем не менее место рядом с ним — чтобы не пропадало! — явно предназначалось мне.

Признаться, всякий раз, когда наш лифтер столь легко и предупредительно возносит меня на административно-бюрократическую высоту

сорок девятого этажа, у меня начисто пропадает желание, обливаясь кровавым потом, самостоятельно карабкаться на вершины нашей эпохи. Высота, какая бы она ни была, обладает притягательной силой. И с меня хватает, с меня за глаза хватает вознесения и на такую в масштабах нашей провинции небывалую высоту! Дунай! Огромная река! Дворец! Дар народа творцам культуры! А перед нами, перед нашим дворцом трепещут на мачтах кораблей флаги всех стран. Это прекрасно! Стоя здесь, на террасе, я испытываю чувство глубокого удовлетворения, я совершенно доволен, я восхищен собой... Больше мне ничего не надо. А тут еще специально поданный вертолет. И видный деятель, ласково похлопывающий меня по плечу и протягивающий мне руку.

Я ведь, признаться, парвеню; наверное, потому-то меня все и приводит в восторг, потому-то я и суечусь, участвую в заседаниях всяких там руководящих органов. Меня опьяняет чувство власти! Я замечаю на себе отблеск, и это меня возвышает. Я просто упиваюсь приобщением к ней.

Полет духа? Зачем мне это? Упоение достигнутой высотой? Затасканное выражение! Но я — я действительно лечу — на вертолете последней конструкции и в приятном обществе идейного вождя.

Наш вертолетик — просто чудо! Он уютен и прозрачен. Благодаря достижениям техники, благодаря таланту и умелым рукам нашего народа я могу наблюдать просторы своей родины, любоваться и ее далью, и ее ширью. Я на борту вертолетика, и вся моя родина подо мной как на ладони. Не пошевельнув пальцем и не ступив шагу, все можно увидеть и услышать при помощи аппаратуры. Кроме того, я обеспечен любой информацией. Например, экономику и философию я принимаю почти как пилюльки в экстрактах, содержащихся в бюллетенях для внутреннего пользования, которые мне ежедневно посылает наша писательская организация. Чего я хочу? Гармонии духа, порядка? Да и так ведь все организованно устремляется к гармонии и порядку. Уже сам наш Дворец культуры воплощает эту гармонию и порядок, а одновременно и мечту человека будущего, его единственную мечту — собираться вместе. Болераз, ах ты, безумец, какое же у тебя отсталое мышление! Ты смешон, ты все мучаешься как индивидуалист, знай, именно в индивидуализме причины всех твоих несчастий.

И вот опять случилось то, что и должно было случиться.

Какой-то демон шепнул мне, что коли при таком идеально организованном порядке человек еще чего-то желает, то это и есть отсталость и ересь!

Свежевыбритый и подтянутый, наш вождь величественным жестом подал мне руку, похлопал по плечу и кивнул, как бы давая понять, что мне следует садиться возле него (хотя другого места, собственно, и не было), и я — откуда-то с вершин своего блаженства — проблеял:

— Так, значит, вместе полетим, товарищ Мотайнога?

А он в ответ:

— Согласен.

Боже мой, он уже согласен! Я подумал, уж лучше бы мне лететь следующим вертолетом! Но не нашел предлога для того, чтобы избавиться от столь изысканного общества. На свое несчастье, я остался и сел в вертолет рядом с ним. Да, он с места в карьер соглашался, ибо мысленно уже был на совещании в столице и, как видно, уже вжился в свою роль соглашателя.

И я тоже. Я даже не заметил, как вместе с ним оказался в колее коллективного союзписательского мышления. Из меня сразу же получилось организованнодискутирующее и коллективномыслящее существо. И наш драгоценный вертолетик, сверкающий Дунай, мозаика городских крыш, солнце, наступающие сумерки, хребет Карпат, создающий прекрасный фон нашему городу,— все это разом погасло и исчезло. Я моментально отключился и перестал что-либо воспринимать. Я, разумеется, знал, что все это существует и все это прекрасно, но я уже ничего этого не видел и тем более не испытывал никакой радости. Коршун

абстракции, как выразился один польский поэт, поглотил меня. А тут еще некий демон начал немилосердно терзать мой ум:

— А ты попробуй, попробуй, как далеко он зайдет в своем соглашательстве?!

В кармане у меня как у члена руководящего органа лежали книги, выдвинутые аппаратом на соискание Государственной премии и одновременно предложенные для массового распространения. Я вынул одну из них — «Триста процентов счастья».

— Автор здесь малость преувеличил! — сказал я.— Счастья, выраженного не в процентах, а просто в хороших стихах, нам с лихвой хватило бы! А что теперь? Никто ведь не поверит ни в его счастье, ни в его стихи. Не правда ли, товарищ Мотайнога?

— Согласен,— услышал я в ответ.

Тогда я вытащил из другого кармана роман и опять высказал свое мнение, он и с ним согласился. Достаю пьесу «Праздничные колокола» и доказываю, что это — треснувшие безголосые колокола, отлитые словно бы в общей изложнице. Он снова сразу же соглашается. Завожу речь и про съездовские доклады, которые мы должны одобрить. Три или четыре референта, которым была поручена подготовка докладов, едины во мнении, что от нашей литературной продукции, созданной за последнее десятилетие, в истории не останется ничего. Так какой же тогда расцвет?! Мотайнога опять соглашается. Господи боже мой, так что же это такое? Лучше б ошибался я! Лучше б ошибались референты! Десять лет ошибок — не многовато ли?!

— Конечно, конечно, разве можно не соглашаться с самим собой и с собственными взглядами? — с готовностью подтверждает Мотайнога.

— Меня поражает, что и талантливые писатели, и графоманы предлагают нам произведения, одинаково полные лжи и банальности. И не важно, как мы еще назовем эти наши общие ошибки.

Я говорю Мотайноге, что в области культуры мы потратили впустую много сил, проворонили множество талантов, упустили уйму возможностей. Он согласно кивает.

Осмелев от его неустанных поддакиваний, которые, признаться, ошеломляли меня, я задал ему еще один вопрос:

— А кто за все это в ответе?

— Что? Что ты имеешь в виду? — встрепенулся Мотайнога.

— Я не хочу ни на кого сваливать ответственность, но...

— Говори напрямик, выкладывай: кто за все это в ответе?

— У нас все так здорово организовано, что дальше просто некуда, и нате вам — такой результат... Если бы я был генералом и отдал приказ: «Ребята, необходимо взять эту высоту!» — а потом оказалось бы, что нужно было брать совсем другую высоту, то я бы...

— Ну, договаривай-договаривай! Ты бы... подал в отставку?

— Да, но перед тем, как подать в отставку, я бы постарался осмыслить свой просчет, чтобы в дальнейшем понапрасну не тратить ни времени, ни сил. И чтобы не приносить в жертву людей.

— Значит, ты считаешь, что я и есть тот плохой генерал? — спросил Мотайнога.

Я смотрю на него и вижу, как он меняется прямо на моих глазах. Лицо его внезапно дрогнуло, и на нем проступило что-то человеческое. Ведь до сих пор в бесконечных изнурительных дискуссиях Мотайнога всегда олицетворял собой точку зрения, принцип, определенную партийную позицию; он всегда что-то фиксировал, но никогда не высказывал своего мнения. Он скрывался за позицией деятеля и выжидательно молчал, когда мы ссорились, грызлись, нападали друг на друга. А потом он отмечал наши ошибки и властно управлял нами, как марионетками, с позиции безупречного руководителя.

Я ответил:

— Наша творческая работа организована по армейскому образцу. Во главе — назначенный генерал, поименно утвержденные капитаны —

в журналах и отделах распространения. Генерал, наверное, должен был бы осознавать свою ответственность, но себя никогда этим не утруждает. Подчеркиваю: неправильно и нечестно было бы сваливать всю ответственность на генерала, поскольку суть, очевидно, в другом. Сама идея организовать бедных писателей по армейскому образцу представляется мне весьма сомнительной.

Мотайнога кивает мне и погружается в раздумье.

И тут я рассказываю ему, что пришлось мне недавно пережить, когда я оказался внизу, среди простых смертных.

— Пригласили, значит, меня на беседу. А после беседы, признаться, довольно-таки пустой, захотели меня граждане почествовать, позвали в корчму. Выпили мы там раз-другой граммов по пятьдесят, и вижу, молодой секретарь тамошнего национального комитета, задорный такой, все пытается мне что-то сказать. Наконец, он вытирает рукавом губы, набирается смелости и спрашивает:

— Вот люди интересуются, не знаете ли вы часом, что сталось потом со Штево Рептишем, героем вашего романа?

И как только он это сказал, вся корчма, где собрались руководители сельскохозяйственного кооператива и всякие активисты, так и затряслась от хохота.

И тут на середину корчмы выходит мужик — что тебе корявое дерево, рукастый, ногастый,— и засучивает рукава, будто собирается померяться со мной силой. Видно, принял вопрос секретаря на свой счет. Наконец, и я догадался, что все присутствующие видят в нем Штево Рептиша.

А секретарь во всеуслышание принялся рассказывать о дальнейшей судьбе моего героя.

Оказалось, что этот детина, как и мой Штево Рептиш, тоже был командиром партизанского отряда, а потом тоже строил мосты и заработал себе на этом ревматизм. Запущенный ревматизм и переутомление уложили его в постель. Угадайте, какую после болезни наш герой нашел себе работу? Верьте — не верьте, но факт остается фактом. Он попросился на место школьного сторожа! Вам смешно? Напрасно. Это было очень даже благородно. Штево Рептиш читал по складам, писал с трудом и потому хотел во что бы то ни стало получить образование. Мечтал учиться. Ни его односельчане, ни даже жена не могли понять бредовой затеи бывшего партизана. Но сам-то он знал, чего хочет. Директор школы и учителя из уважения и любви к нему тайком и бесплатно давали ему уроки. Герой войны наверняка сдал бы экзамены и незаметно подготовил бы себя к более достойному поприщу. Он добился бы своего... Но, увы, вышло иначе.

В поселок прибыл некий Фигура. Этот прекрасно знал, чего ему надо: сначала стать местным начальником госбезопасности, а потом продвигаться выше и выше. Нацелился он на пост начальника госбезопасности края. Фигура тотчас обратил внимание на то, чего другие не замечали. Как это так Штево Рептиш, герой нашего времени, работает школьным сторожем? Волшебная палочка в руке Фигуры взлетела и коснулась нашего героя, задела руководство района, а затем — и края: «Товарищи, ведь это же курам на смех, чтобы герой нашего времени, партизанский командир, работал школьным сторожем?!» Так, по мановению его руки школьный сторож стал учителем обществоведения, воспитателем патриотизма. Кто это сделал? Что-что? Партия? Правительство? Рабочий класс? Черта лысого! Учителем его сделал Фигура. Зачем? Это вскоре выяснилось. Да затем, чтобы сам Фигура стал более значительной фигурой и мог продвигаться по службе: поселок — район — край, а потом и еще выше. Для этого ему надо было иметь под собой побольше послушных фигурок, и он-таки постарался, чтобы их было как можно больше — сначала в поселке, потом в районе и, наконец, в крае. Смело, очень смело выдвигал он кадры из низов!

Штево Рептиш, хоть он и был сторожем, как бывший командир

партизанского отряда и как секретарь местной партийной ячейки, пользовался определенной популярностью, и люди в поселке его любили. Но, став учителем, он в один миг превратился всего-навсего в марионетку в руках пана Фигуры. Положение учителя обществоведения оказалось для героя роковым. Как только его назначили учителем по предмету, имеющему подчеркнуто патриотический характер, все остальные учителя мгновенно почувствовали себя какими-то ненастоящими патриотами. А в таком случае зачем им, «непатриотам», помогать ему, единственному настоящему патриоту, в его патриотической миссии? В самом деле — зачем? И коллеги-учителя стали сторониться его.

Пан Фигура шел дальше, претворяя в жизнь свои планы, которые, однако, чертовски трудно было отличить от планов и решений партии и правительства. Пану Фигуре потребовалось — в интересах своего дальнейшего продвижения — как можно скорее провести коллективизацию, то есть загнать в сельскохозяйственные кооперативы все село, весь район, да и весь край. Фигура придумал грандиозный план. Штево Рептиш, который как-то незаметно из героя войны превратился в марионетку пана Фигуры, начал со всем соглашаться. Казалось, он соглашался, исходя из своих убеждений, и действовал во имя высших интересов и великих идеалов. Однако на поверку вышло, что соглашаться со всем его обязывает новое привилегированное положение учителя — воспитателя патриотизма...

Чем же кончились все эти волшебные метаморфозы? Пан Фигура стал деятелем краевого масштаба, а наш герой — шутом. Все село «добровольно» вступило в сельскохозяйственный кооператив и столь же добровольно перестало, состоя в кооперативе, работать.

— А теперь? — Теперь все самое неприятное позади, и вся корчма веселится, вспоминая, как их загоняли в кооператив и как они позволили себя туда загнать. Секретарь национального комитета рассказывает об этих временах как о фарсе:

— Во всем кооперативе работал и зарабатывал деньги один кабан-производитель. А руководители кооператива с утра до ночи заседали в корчме. И когда кто-нибудь из мужиков вел свою единоличную свинью к общественному кабану, он сперва заходил в корчму и испрашивал на это согласие начальства: «Славное правление, дайте добро на случку!» — «Чего ж не дать! Дадим, только ты наперед заплати!»

Каждое свидание единоличной свинки с общественным кабаном стоило два раза по пятьдесят граммов для всех членов правления кооператива и сельсовета.

— Тогда, в те годы, у нашего героя партизанских боев и ударника социалистического строительства была тысяча разных поводов пить — пусть даже на деньги, заработанные общественным кабаном. Но с того времени многое изменилось, многое отболело,— заключил секретарь.

Штево Рептиш никак не выходит у меня из головы, и вот я продолжаю рассказывать о нем Мотайноге. Я невольно возвращаюсь к нему и сравниваю себя с ним. Один день я провел в его семье и помогал ему сеять ячмень. Штево Рептиш опять занимается тем, чем занимался с молодых лет. Он — бригадир полеводов и доволен своим положением в поселке и в жизни. Он был школьным сторожем, учителем-патриотом, а одно время даже секретарем местного национального комитета и, наконец, нашел свое настоящее место, ибо с детства был крестьянином. Нет, даже самым отъявленным хитрецам не удастся удержать настоящего человека в положении фигурки. Но, сравнивая себя с настоящим человеком, Штево Рептишем, я испытываю сомнения и вынужден признать, что я, писатель Болераз, все еще фигурка.

— Согласен,— поддакнул Мотайнога.

— Ты только подумай. товарищ Мотайнога, что это, собственно, такое — фигурка...

— Согласен.

— Фигурка — это человек, во имя высоких идеалов не противящий-

ся тому, чтобы его выдвигали на должность, которой он не соответствует. Фигурка — это роль, которую человек играет, именно играет, причем плохо и бездарно. Фигурка — это поза, в которую становится человек, уверяющий себя и других, что он ни за что не отвечает; что там, наверху, есть люди, которые за него думают, произносят речи, составляют планы, решают, короче, несут за него полную ответственность.

— Правильно; очень правильно, я согласен...

— Будьте любезны, разрешите договорить, товарищ руководитель. Фигурка некогда имел убеждения и во что-то верил. Но сегодня он не верит уже ни во что. Теперь это просто должность, фигурка — ловкач, фигурка — маска угождающего начальству деляги и карьериста, фигурка — порождение лицемерия, свойственного нашему времени!

— Согласен.

— Фигурка — это Швейк социализма, фигурка — это хитрая бестия, опасный человек, классовый враг...

— Согласен.

— Не соглашайся, прошу тебя! Попробуй не соглашаться, дай мне договорить!

— Согласен, договаривай!

— Фигурка — это я! Я стал фигуркой!

— Согласен.

Мотайнога, искренне убежденный, что речь идет обо мне, Болеразе, ну, и в крайнем случае еще о нескольких писателях, с радостью со мной согласился, но скорее даже просто вогнал себя в состояние пылкого согласия, опять же, очевидно, уверенный, что речь идет только обо мне.

И вот, как самобичеватель, я исповедуюсь, говорю ему о том, как и почему я стал оппортунистом, прислужником, мальчиком на побегушках, человеком, отказавшимся от своих вкусов, взглядов, от собственного лица, а он— идейный вождь — чем дальше, тем усерднее со мной соглашается. Так он потерял бдительность и не заметил, что ступил на наклонную плоскость соглашательства. Согласившись со мной раз-другой, он теперь был вынужден неудержимо, как бы по законам гравитации, соглашаться и дальше.

— Ты ведь знаешь, товарищ Мотайнога,— продолжал я,— я был и журналистом. И видел, как после войны буквально голыми руками народ поднимал этот край из руин. Поверь, по всей стране трудно найти стройку, где бы я ни побывал, которую я бы ни облазил сверху донизу. Это время было и останется лучшим в моей жизни. Но затем я начал замечать, что становлюсь свидетелем какого-то обратного движения. Я видел, как люди во имя высоких идеалов сами себя насилуют и как опять же во имя все тех же идеалов творится неслыханный произвол, как путем нажима заставляют рабочих стать функционерами, а крестьян насильно загоняют в сельскохозяйственные кооперативы. Я никого не обвиняю, я ищу корни, причины и истоки своих ошибок. Ищу ту точку во времени и пространстве, когда я отклонился в сторону и попал в тупик, когда занял позицию, не совместимую с достоинством честного гражданина и писателя социалистического общества, то есть позицию сугубо государственную, политиканскую, ловкаческую, демагогическую. На моих глазах крестьянина заставляли вступать в сельскохозяйственный кооператив, грозя содрать штраф за то, что на тутовнике в его дворе была обнаружена паутина, запугивали, что, если он не вступит в кооператив, житья ему на селе не будет. Я был при этом, но промолчал. Да и потом не вступился за него публично, не защитил от явного насилия. Почему?! Я потерял способность думать и сочувствовать? Стал трусом? Или был убежден, что мы правильно руководим крестьянином, силком таща его в кооператив? Ведь тогда именно такие формы воздействия называли «энергичным содействием принятию крестьянами правильного решения».

Нет, в тот раз я просто согласился с насилием, но во имя идеи и благородной цели. И тогда же я, как-то незаметно для себя самого, воспри-

нял и усвоил ложную «государственную» точку зрения. Писал ли я? Писал! Рьяно приукрашивал действительность? Или, может быть, просто лгал? Да, лгал, так прямо и скажем. При чем тут схематизм?! Это была просто-напросто неправда, стыдливо прикрытая ширмочкой неправда, возникающая от нашей в корне ошибочной позиции. Футболист, как говорится, может обмануть ложным финтом, а такой вот «по-государственному» мыслящий писатель — позицией, как фотограф, когда он заведомо неправильно ставит камеру. И писатель лгал, причем не только, когда он занимал заведомо ложную позицию, но и когда он отмалчивался или писал не о том, о чем следовало, писал вопреки своим внутренним побуждениям... Лгал во имя «идеи», понапрасну растрачивая свой талант, тужась сделать неправду неотличимой от правды или хотя бы как можно больше на нее похожей.

Перед лицом общественности мне было бы трудно в этом признаться,— подытоживал я,— но перед самим собой и сейчас вот перед тобой, товарищ Мотайнога, я должен признать, что корень всех наших ошибок в том, что из нас, писателей, какой-то пан Фигура понаделал множество фигурок.

Наш писатель в новых и каких-то неестественных условиях все только соглашался да соглашался, и ему казалось (порой он был в этом убежден!), что ничего другого ему не остается, как только соглашаться и выражать одобрение.

Кстати сказать, есть ведь с чем согласиться.

Если говорить обо мне, то я все время думаю о том, что я, незаметно для самого себя, стал фигуркой в руках некоего ловкого пана Фигуры в масштабах ведомства или государства. Что ты на это скажешь, товарищ Мотайнога? Я вижу, ты со мной усердно соглашаешься. Да, я — фигурка. Ты не ошибся... Превращение человека в фигурку не зависит от его способностей и таланта. Тут, по-моему, причина иная. Сейчас ты, товарищ Мотайнога, глава нашего цеха. Давай же порассуждаем об этом вместе. Я хочу поставить этот вопрос на нашем завтрашнем заседании, потому что мы за эти годы понаделали множество фигурок — председателей, директоров-выдвиженцев, партийных работников. Ради укрепления дисциплины и скорейшего продвижения к социализму карьеристы и ловкачи всех мастей загоняли людей не только в сельскохозяйственные кооперативы, но и на совершенно неподходящие для них посты, ставя в такое положение, чтобы ими легко было манипулировать, как фигурками на шахматной доске.

Наш идейный вождь Мотайнога присвистнул. Настолько удивили его мои слова.

— А ну-ка, ну-ка, давай посмотрим, почему это ты, собственно, чувствуешь себя фигуркой? — спросил он ободряюще.

— Почему? Я рассказал тебе, как пан Фигура из героя, партизана и порядочного рабочего человека, сделал плохого учителя и тем самым превратил его в фигурку. Со мной тоже произошло нечто подобное. Меня приподняли... до уровня государственного писателя. Незаметно для себя я оказался в неестественном и ложном положении. Понимаешь, товарищ Мотайнога, я не верю, что можно написать замечательную пьесу, создать вдохновенную и вдохновляющую поэму или великий роман, если занимать позицию, которую я называю (наверняка не совсем точно) позицией государственного писателя. Эта позиция — самая оппортунистическая и самая тривиальная. Она не допускает полета мысли и превращает даже самый крупный талант в боязливого, страхующегося и узколобого бюрократа. Писатель, сознательно или несознательно занявший такую позицию, вступает в неестественные отношения с государством, нашим государством, которое мы защищаем и всегда будем защищать, не жалея своей жизни. Государство для него — не неизбежная необходимость, не средство защиты от реальных опасностей. Оно для него — идеал и предмет обожествления. Но не буду развивать перед тобой тео-

рию государства. Сейчас меня больше всего тревожит одно явление — фигурки, фигурки, фигурки... Откуда взялось столько фигурок?

Неприступность, свойственная Мотайноге во время его публичных выступлений, постепенно таяла. Мы говорили как друзья, и я не чувствовал, что, в сущности, веду диалог с принципом, с деятелем, с позицией. Всю дорогу я рассказывал Мотайноге о том, что мучает меня, а он с участием расспрашивал о разных подробностях. Его явно интересовало, что я думаю, и в этом не было ни лицемерия, ни вельможной снисходительности.

Мы даже не заметили, как долетели до столицы и сделали круг над ней. Наш сверкающий вертолетик совершил посадку на террасе Дворца культуры в главном городе страны. Мотайнога сердечно, двумя руками, пожал мне руку, будто прощаясь со мной, однако мы с ним не расстались. Очевидно, он решил, что его долг — не столько участвовать в заседаниях, сколько вести со мной беседу. Но в таком случае с какой стати столь торжественно жать мне руку? Выходит, он просто хотел заверить меня, что я — настоящий коммунист и настоящий человек. Он шепнул мне тогда на ухо — мы уже были на террасе — буквально следующее:

— Я согласен с тобой, совершенно согласен. В особенности согласен с тем, что в эти годы появилось страшно много фигурок...

И дальше мы снова пошли вместе. Вместе спустились лифтом на несколько этажей, вместе прошествовали по коридору, но у меня при этом — представьте себе — не выходил из головы глупый вопрос: почему это на террасе общественного здания Мотайнога выразил свое согласие со мной столь тихим, доверительным шепотом? Почему на ухо? Я как последний дурак не сразу догадался!..

Только на следующий день я понял смысл его поведения: его согласие было всего лишь согласием частного лица и не имело ничего общего с публичным заявлением. Его следовало расценивать как действительное только при общении тет-а-тет, когда никто не слышит. И поэтому на террасе, которая была местом общественным, пусть нас там никто и не подслушивал, он прошептал мне свое согласие на ухо. А я, идиот, воспринял все всерьез и носил это его согласие в себе, пусть только в ухе, в одном ухе, но как бальзам, которому, однако, в очень скором времени суждено было превратиться в сильнодействующий яд.

После прилета я поселился в одном из номеров в башне Дворца культуры. Что делать дальше? Со мной больше не было моего собеседника. И я просто не знал, как убить время, оставшееся до завтрашнего нашего пленума. Ведь когда я не дискутирую, я просто становлюсь больным, мучаюсь и хирею. Должен вам признаться, что я давно уже превратился в неугомонного маньяка — болтливого маньяка, обобщающего все и вся, отстаивающего какие-то принципы, маньяка съездовского. С тех пор как мой мозг начал оперировать чужими цитатами и тезисами и стал функционировать независимо от своего хозяина, то есть от меня, и независимо от действительности, мне уже стали неинтересны ни человек, ни люди вообще, ни природа — только дебаты и только дискуссии. Мой мозг теперь не соблазнялся ни цветущей зеленью, ни птичками, ни женской красотой, нет и еще раз нет! И во сне, и наяву у меня была одна потребность: мне нужен был собеседник. Да, не нужна ни жена, ни друг, а только он один — страстный, пламенный оппонент. И только когда мы изматываем друг друга, иссушая свой ум, только тогда я чувствую, что живу полной жизнью.

Те, кто хорошо меня знает, тотчас угадали бы, что я сделал и кого стал искать, едва устроившись в номере. Я отправился искать оппонента, то есть пошел в наш клуб.

Ах, вот вы где, мои милые, дорогие современники, друзья, знакомые и содискутанты, как я рад, что все вы здесь! — вздохнул я блаженно, найдя всех до единого в клубе дворца. Всех их вместе и каждого в отдельности я приласкал взглядом.

Мы, современники, вероятно, должны были бы называть себя на-

персниками, ведь каждый знает каждого как облупленного, знает по ежедневным дискуссиям, по творчеству, по поведению за карточным столом, по сплетням, по речам и планам. По тому, кто чего добивается, и даже по тому, как и до какой степени кто-то кому-то надоел. Мы знаем друг друга досконально, каждый знает про каждого всю подноготную. Но прежде всего, мы, конечно, осведомлены о слабостях и уязвимых местах своих современников. Порой мне кажется, что именно слабости и связывают нас самыми сильными узами, на слабостях мы более всего сосредоточены, мы лелеем их, мы преувеличиваем их, видим и понимаем их куда лучше и тоньше, чем все остальное. Я могу предложить это свое наблюдение как принцип и как ключ к сердцам своих современников, ведь только тот, кто откровенно проявляет свою слабость, а именно неодолимое влечение к дискуссиям, может приобрести любовь и признание современников, только того они могут обожать, превозносить и считать образцом.

Когда я вошел в клуб, мои дорогие современники, члены нашего правления, встретили меня неприветливо. На их лицах можно было прочесть разочарование и даже отчаяние: значит, снова всем придется до изнеможения, до одурения, до отупления дискутировать. Но это они только делали вид, притворялись, что недовольны, ведь нигде, кроме как в спорах и дискуссиях, они не могли как следует проявить, выразить себя.

От отчаяния и радости, что мы снова вместе, начали мы тихонько пропускать по стаканчику. Суровый моралист сказал бы (а патриота это весьма опечалило бы), что наши поэты слишком неравнодушны к спиртному. Однако сказать, что они просто выпивают, значило бы сказать очень мало или почти ничего. Пить, конечно, пили всегда, испокон века, особенно это было свойственно слабым, легкоранимым натурам. Но если мы хотим преподносить недостатки наших современников как своего рода героизм, то должны будем сказать, что они героически спиваются, ибо самые благородные из них не могут не ощущать, насколько они слабы и несовершенны в сравнении с величественной правдой нашей современности. Перед ее лицом они чувствуют себя совсем ничтожными. Чем меньше честности и искренности в их публичных выступлениях, тем сильнее охватывает их страстная любовь к правде в разговорах за рюмкой водки. Похоже, что публичная ложь толкает их на застольное правдолюбие. Слишком уж часто используют они оружие слабых — ложь, лицемерие и ханжество, а потом пьют, пьют из потребности хоть иногда говорить правду.

Придя в клуб, я во всеуслышание повторил то, что по пути в столицу обсуждал с Мотайногой, и все мои современники стали со мной исступленно соглашаться. Мы все соглашались друг с другом, потому что никто из нас не хотел выделяться и никто не стремился поставить себе в заслугу, что он первым высказал вслух мысли, выношенные и выстраданные всеми вместе и каждым в отдельности.

Автор поэмы «Триста процентов счастья» лжет, драматург упрощает, романист придумывает искусственные коллизии. Отвратительны претензии писателя, взявшего на себя роль инженера-проектировщика образцовых человеческих душ. Разве недостаточно того, чтобы писатели просто были бы способны понять человеческую душу, являлись бы, так сказать, органом общественного контроля или, как выражались наши отцы, совестью народа, защитниками его интересов, а то и просто были бы самими собой — честными людьми нашего времени, пережившими две мировые войны, но не потерявшими надежды на предотвращение третьей.

Взрыв эмоций и взаимного согласия между нами (вообще-то мы не очень любим друг с другом соглашаться), проявившийся на этот раз, можно объяснить только присутствием нашего уважаемого деятеля Мотайноги.

Он пришел к нам в клуб вскоре после меня, огляделся и подсел прямо к моему столу. В ответ на его приветствие мы все закричали, за-

галдели, зашумели. А Мотайнога только понимающе улыбался. Мы признавали его за своего. Оттого-то мы так по-свойски его приветствовали, а потом напустились на него, словно оводы. Поддевали его мы в шутку, а втыкали ему всерьез. Он стал мишенью наших нападок, но не сопротивлялся даже тогда, когда мы навалились на него сообща, будто в нем одном — причина всех наших ошибок и бед. Мы припомнили ему все, что только могли: и его пересмотр нашей литературы за последние полстолетия, когда он помиловал всего нескольких поэтов, и самонадеянность, с которой он приводил нам в качестве образцов скучные, бездарные сочинения. Изливали мы на него всю накопившуюся у нас злость. А Мотайнога только улыбался:

— Говорите, ребята, говорите. Выговоритесь в конце концов! Я знаю, вы меня не любите, но зато я вас очень люблю.

Сказав это, он еще охотнее стал со всеми соглашаться, в том числе и со мной, могу это засвидетельствовать.

Как я уже говорил, Властислав Мотайнога — мой современник и, так сказать, мой друг-недруг. Ну, а куда денешься от своего современника? Позвольте мне хотя бы после смерти, когда мой мозг размазан по стене вертолета, немного порассуждать о том, что такое современник. Современник — это ваше доверенное лицо, он знает вас как самого себя, как свою жену, верную или неверную, которая проявляется то с лучшей, то с худшей своей стороны. С современниками мы связаны узами общей тайны. Современник, как законная супруга, смеет заглянуть в самые укромные уголки вашей души. Вы ничего не можете утаить от него, даже если б и захотели; он становится частью вашей личности не в силу вашей к нему приязни или неприязни, а в силу принадлежности к одной эпохе.

Но чтобы вы лучше меня поняли, позвольте приоткрыть вам суть нашего единогласия, исходный момент нашей несчастливой любви.

Так вот, я искренне и с глубокой убежденностью написал восторженную книжку «Наша эпоха» и от чистого же сердца посвятил ее партии по случаю предстоящего съезда. И тут мой современник Властислав Мотайнога, наш идейный вождь, призванный управлять всем творчеством — творчеством новой эпохи,— ни с того ни с сего устроил беспримерный суд и публичную расправу надо мной и несколькими моими друзьями. Почему? Не знаю. Да и он сам, наверное, до сих пор этого не знает и не понимает.

Прочитав как-то на досуге мои книжки, Мотайнога, как настоящий полицейский, на основании собственных, а возможно, и высказанных кем-то еще подозрений (этого мне уже никогда не узнать) подверг все в моих трудах сомнению. А затем находчиво, со знанием дела, на которое способен только современник, убедительно доказал, что мой дар партии — никакой не дар, а форменное издевательство и что моя искренность — это утонченное лицемерие и далеко идущая вражеская провокация. И все мои товарищи по нашей идеологической организации, каждый на свой лад, подтвердили это и наконец единодушно вынесли мне и нескольким моим друзьям приговор: враги народа.

Я был как одурманенный, как отравленный, загипнотизированный, замороченный и не знаю какой еще — я не сопротивлялся. Более того, я все признал. Я даже убедил себя и своих друзей, что я действительно изменник и враг народа. Объективно мне уже тогда следовало бы догадаться, что мой мозг, ныне разбрызганный по стенам нашего писательского вертолетика, очевидно, представлял собой некий атавизм, порождение проклятого темного прошлого, с которым необходимо раз и навсегда покончить. Поэтому-то мой мозг и способен был только на хаос. Ведь если все мои товарищи и друзья утверждали одно и то же и столь единогласно меня осудили, то, выходит, я на самом деле враг. Что я против них всех? Ничто, совершеннейшее ничто, ноль без палочки. Правда есть правда, а правда всегда должна быть на стороне нашего общего дела. Правда никогда не может быть направлена против общего дела, нашей общей правды. И что бы я там ни думал, сколько бы ни старался

быть искренним и честным, могу ли я отстаивать свою личную правду, идущую вразрез с правдой всех остальных, выступающих столь сплоченно? Нет, ни в коем случае не могу. А если и допустить такое предположение, все равно я был бы лишь неисправимым индивидуалистом и вообще просто сошел бы с ума. Нет, это исключено — иметь правду, хотя бы самую малую, частичную, личную, но направленную против всех вместе взятых друзей и товарищей, которые вас спасают и, конечно же, желают вам добра. Авторитету единства и его силе никто свою правду противопоставлять не может. Настаивать на том, что я, такой-то и такой-то, я, пережиток проклятого прошлого, имею свою правду против общей,— это же явное доказательство распада личности и безумия. Такого я не смел да и не хотел допустить. И когда под градом обвинений зашатались основы моего гражданского, человеческого и даже физического существования, я предпочел признать себя изменником и врагом народа, чем расстаться с разумом, единственным истинно божественным инструментом, которым человек защищается от всех напастей. Во время этой публичной казни я пытался не то чтобы всем присутствующим и неприсутствующим, но даже самому себе доказать, что я все это осознаю и могу над всем этим да и над собой подняться. Мотайнога, а равно и остальные мои друзья и товарищи сообща столкнули меня в такую бездонную пропасть предательства, что сохранить свое достоинство в глазах все сужающегося круга друзей я мог только благодаря одной-единственной способности, которая за мной еще признавалась, а именно — благодаря способности безразлично отнестись к случаю своего собственного предательства.

Надо сказать, что, при всей своей покорности или трусости, я тотчас с предельной ясностью осознал свое положение и поэтому сумел подняться не над другими, нет, над собой и ситуацией.

Друзья, товарищи мои, вы утверждаете, что знаете меня, а я вам докажу, докажу, несмотря на всю свою скромность, что я знаю себя несколько лучше. То, что обо мне говорит наш идейный руководитель Мотайнога, то, что вы все доказываете мне, это ерунда, мелочь! Вы послушайте теперь меня. Кто сможет обвинить меня в более страшных грехах, чем я сам? Здесь я превзошел всех и вся, я окунул себя в такое дерьмо, в какое не смогли бы окунуть меня все остальные, вместе взятые! Короче говоря, я сумел твердо и четко доказать, конечно, вопреки своим субъективным убеждениям, что объективно я предатель!

Я не хочу судить своего современника Властислава Мотайногу, зачем и из каких побуждений он так громил меня. Но очень скоро я догадался, что я сам нанес ему поражение, невольно сразив его тем, что согласился с ним и целиком признал правильность всех его обвинений по отношению ко мне. Да, я безоговорочно признал, что прав не я, а мой друг-недруг Властислав Мотайнога. Своим приговором он нанес мне удар, а я, как борец, мертвой хваткой вцепился в противника: «Ладно, будь прав, будь прав ценой моей жизни». Так я уже ценой собственного поражения, страшного поражения, какого я еще никогда в жизни не переживал, наконец прозрел и сделал открытие: «Ты всего лишь ловкач, невиданно хитрый ловкач, ты уничтожил меня только потому, что злоупотребил авторитетом партии и доверием моих товарищей, только потому, что застиг нас врасплох».

Бесспорно, победил я, а не он! Ведь с тех пор Властислав Мотайнога меня просто изматывает и стращает, одновременно пытаясь во что бы то ни стало найти со мной, со своим современником, взаимопонимание. Он стыдится меня, он притворяется передо мной, но и я притворяюсь перед ним. А почему мы оба притворяемся? Может, потому, что хотим друг другу помочь? Хлопочем, обжигаясь над грудой раскаленных углей, как в древней легенде: он хочет, чтобы я, а я — чтобы он вышел из этой смертельной схватки бессмертным героем. Короче говоря, хотим мы друг от друга «малой малости» — измены себе, собственной натуре, и во имя этих благородных убеждений мы мучаемся, увлеченно, честно и невы-

носимо. По очереди идем на уступки, проявляем снисходительность к собственным недостаткам, признаем их, а вот признать собственные достоинства и обоюдное стремление сделать наш век несколько более человечным — этого мы ни за что на свете сделать не можем, не умеем, не хотим. Сойтись во мнениях о том, что в нас есть хорошего и прогрессивного, мы, как ни бьемся, не в силах.

Власть имущие располагают самым совершенным оружием в мире, добиваются побед, держат в своих руках бразды правления и при этом жертв божествам не приносят, благосклонности их не домогаются. Только слабые — ведь только слабые бывают суеверными — взывают к божествам, которых власть имущие давно уже упразднили. А если уж не к божествам, то хотя бы к суду божьему, хотя бы к истории, последней инстанции, которая однажды всех по справедливости рассудит. Так пусть уж нас рассудит история и будет к нам добрее и справедливее, чем были мы сами к себе и к другим. Это понятно, но столь же понятен и неутешительный возглас: «Справедливости, возвышающейся над борющимися сторонами, не существует!»

И если уж быть честным до конца, я должен сказать, что у Мотайноги по отношению ко мне совесть была нечиста и у меня по отношению к нему тоже. Хотя и по разным причинам! Поэтому-то время от времени и возникала между нами безудержная искренность. И чем лучше мы понимали друг друга, тем труднее нам было расстаться.

Да, мы крепко держим друг друга за горло, а вот настоящей откровенностью похвалиться не можем. Очень уж редки эти минуты.

Когда Мотайнога бывает вконец измотан бесконечными собраниями и бесплодными дискуссиями, затягивающимися порой до глубокой ночи, когда он впадает в меланхолию или в сентиментальность (оттого, что его подведет старый друг или он затоскует по своей умершей матери), он приходит ко мне, берет меня под руку и самым доверительным тоном говорит:

— Бартоломей, Бартоломеюшка, давай пройдемся...

И мы идем. Прогуливаемся. И мой Властиславчик все-все мне рассказывает, посвящает меня в свои душевные переживания и сомнения. Случается, мы заглядываем в какой-нибудь маленький ресторанчик или в незнакомую корчму. И тут мой Мотайнога с большим пафосом начинает декламировать про́клятых поэтов, от влияния которых он нас всегда предостерегал. Или вдруг проявляет удивительную тонкость в толковании сюрреалистов. Этому Мотайноге, оказывается, нравится, что они сфотографировались с голой женщиной, он признает их смелость, одобряет их выступления и против папы римского, и против официального католического поэта, который, будучи послом, спекулировал свиным салом. Он понимает и принимает весь мир. Но в основе широты его мировосприятия — исключительно слабость. Или лицемерие. Во время этих бесед мы сближаемся и ощущаем себя на высоте своего времени. Мы вместе приходим к лестному для нас убеждению, что наше сознание формируют вершинные достижения мировой культуры, мы размышляем над тем, как высоко воспарил и до чего только не додумался, каких только высот не достиг великий гений человечества! И с этих самых высот мы смотрим на сегодняшнее положение человека в мире.

Короче говоря, мы понимаем друг друга, пока разговариваем как частные лица — без чинов и званий.

Однако стоит Мотайноге возвыситься надо мной, поднявшись на трибуну съезда или конференции, в тот же миг отношения наши перестают существовать, утрачивают свою реальность. Мотайнога то вдруг застывает в непонятной позе, то начинает вертеться как на невидимых шарнирах.

Мотайнога всегда исходит из определенного тезиса, который ему кто-то спускает, и каждый раз это новый тезис. Он принимает, понимает и весьма успешно усваивает спущенный ему тезис, а затем принципиаль-

но и последовательно развивает его. Я этим не хочу сказать, что Мотайнога, мол, такой-разэтакий, жестокий или там безжалостный, нет, он просто-напросто несгибаемый логик, талантливый, а может быть, даже гениальный мыслитель на заданную тему, интерпретатор данной ему установки. По привычке, а может, из послушания он не задумывается над правильностью этой установки. Поэтому его не удивляют и даже не интересуют те выводы, которые он в конечном счете делает, а затем предлагает нам во время своих блистательных выступлений. Однако все это живо интересует нас, ведь игре ума товарища Мотайноги и его красноречию мы, его бедные современники, обязаны тем, что к нам постоянно предъявляются все новые и новые требования.

Мотайнога, исходя из спущенной ему установки, опираясь на отличное знание всех наших способностей, а главное — и это следует подчеркнуть,— всех наших недостатков, ни с того ни с сего либо изничтожает нас своей критикой, либо превозносит до небес, в зависимости от того, какую он в данный момент занимает «точку зрения». С этой отправной «точки» можно «отправляться» куда угодно — в любую сторону, сворачивая то налево, то направо.

Но стоит ему сойти с трибуны, ступить на землю, и это уже совершенно другой человек — добрый, без сентиментальности душевный и интеллигентный. Да что же это с ним происходит? — спросите вы. А вот что: наша эпоха и наш режим дали ему возможность вкусить такое познание, каким не обладала еще ни одна другая эпоха. Ему, человеку со скептическим умом философа и чувствительностью поэта, своеобразному и немного экзальтированному, наш режим дал ощутить, что такое власть в области мышления.

Он познал вкус власти. И это решило все — нечто подобное, очевидно, было и с Евой, отведавшей яблоко.

Представьте себе: кто-то сосредоточил в своих руках власть и поэтому считает возможным безошибочно оценить ваше творчество, определить, сколько в нем мастерства, поэзии, таланта, а также насколько оно полезно или вредно; он может одним взмахом руки сделать вас гением нашей эпохи или стереть в порошок, как вредителя. Он может все, что пожелает. Ведь никто из нас не выбирал Мотайногу в качестве идейного вождя. Выбрали нам его другие. Но теперь Мотайнога обладает полнотой власти и может практически использовать все средства, имеющиеся в распоряжении государства. Мотайнога бесконтрольно и самолично распределяет все: бумагу, общественное признание, благосостояние, славу. Мотайнога может раздуть вас до величины бессмертного классика или одним движением сделать так, что вы лопнете, как мыльный пузырь. А может ни с того ни с сего присвоить вам высокое звание шахтера или ассенизатора. Я не говорю о других сферах человеческой деятельности, но в нашей сфере умственного труда, где довольно трудно производить контроль и учет по тем или иным показателям (даже если кто-нибудь попытался бы это сделать), у Мотайноги практически неограниченные возможности. Мотайнога не просто вкусил от яблока власти, он глубоко вгрызся в него. Как никто из нас, Мотайнога знает, что это такое — иметь власть в области мышления. Конечно, больше всего об этом мог бы рассказать он сам, если бы не умер. При жизни Мотайнога не раз начинал подобные разговоры из естественной человеческой потребности излить душу. Но никто бы ему тогда не поверил, если б он и захотел выговориться. Но, не доверяя никому вполне и скептически относясь к себе самому, он так и не произнес вслух: «Как и почему именно мне, Мотайноге, была дана власть решать, кому быть национальным гением, а кому ходить в отщепенцах? Если при данном состоянии общественного контроля возможна подобная нелепая случайность, то, следовательно, возможно все...» По натуре своей романтик, Мотайнога боялся еще больше размягчиться, поддавшись искушению быть искренним. Мне, Болеразу, как и остальным моим товарищам, он от случая к случаю на что-то намекал, но, в сущности, о причинах своего двоеду-

ция предпочитал помалкивать. Не находил в себе мужества высказаться откровенно.

Вот так и в тот раз Мотайнога, стоя перед микрофоном, с высоты трибуны втаптывал меня в грязь, топил в болоте моего индивидуализма. Наконец, он сошел вниз, обессиленный своей принципиальностью и совершенным по отношению ко мне произволом. И, недовольный собой, начал кого-то искать глазами. Не могу утверждать, что именно меня. Однако, когда его взгляд встретился с моим взглядом, он явно обрадовался. Это я знаю точно.

И поэтому, если бы я и захотел упростить себе жизнь, сведя все чувства к одной ненависти, я этого не сумел бы. Я не отрицаю, что испытываю симпатию к Мотайноге, хотя такого рода симпатия для любого — тяжелый крест. Спустившись в зал, Мотайнога отыскивает меня взглядом и, ведомый непонятным влечением, подходит ко мне. О, теперь это уже совершенно иной человек, который, страстно желая узнать мое — именно мое — мнение, спрашивает: «Ну, как я говорил?» В эту минуту ему действительно очень интересно именно мое мнение, ибо Мотайнога, даже если б и хотел, не может — при всей своей принципиальности и железной логике — утратить присущее ему чувство реальности, не может, как воздушный шарик, оторваться от нас, то есть от так называемой исторической действительности. Этому мешает его глубинное сознание, подсказывающее, что литературу все-таки создают не принципы, а люди.

Мое же отношение к Мотайноге иногда определяет принципиальность, а иногда какое-то сокровенное, умом непостижимое понимание. Говорят, что мы боимся быть честными и с другими, и с самими собой. Но если вообще отказаться от надежды однажды договориться, все было бы очень просто. Мы огородились бы своими принципами и предрассудками, заняли бы круговую оборону. Конец! И точка. А еще лучше было бы друг друга поубивать. Мы же — по слабости или в надежде на лучшее — все еще проявляем нерешительность. У меня, впрочем, так же, как и у Мотайноги, теплится где-то робкая надежда, ведь нельзя отнимать жизнь ни у одного человека, пусть даже мы с ним будем мучиться до самой смерти. Мои мучения так же, как и мучения Мотайноги, порождены надеждой на то, что человека все-таки можно перевоспитать, или, как говорится, перековать,— словом, изменить.

Вот каждый и хочет подвергнуть другого этому благородному насилию, называемому перевоспитанием. И вот беспутный бабник в один прекрасный день вдруг становится отцом семейства, а парикмахер — школьным инспектором. Если бы этот отец или школьный инспектор поневоле пожелал бы самоусовершенствоваться, перевоспитаться, избавиться от прежних привычек, которыми каждый из них оброс, как дерево — грубой корой, я бы это еще как-то понял. Но они, эти авантюристы, эти карьеристы, эти потребители, они ведь стремятся перевоспитывать только других! В каком смысле? Да в самом прямом: все мы обязаны послушно и верноподданнически тянуть свою лямку, выполнять свои обязанности, чтобы заслужить свой хлеб насущный. Вы еще чего-то хотите? Позвольте, но ведь мы все в одной упряжке... Однако что же дальше?

Современники мои! Очень, очень сильно и в общем-то совершенно напрасно меня мучил вопрос: почему? Почему, закрывая то правый глаз, то левый, мы шарахаемся, идем, бросаемся в том направлении, которое в данный момент нам открывается, то налево, то направо? Почему это так? И кто может понять, почему всемогущий Мотайнога постоянно толкал меня на самоубийство? И делал это то во имя идейных убеждений, то просто руководствуясь мнением, что мое время, мол, миновало, что я всего лишь «попутчик» или что я — прожив здесь столько лет! — в собственной стране иностранец! Все другие идут, продираются вперед, а я только плетусь за ними в хвосте, паразитирую. Прекрасно зная меня, он тем не менее был глубоко убежден, что я здесь лишний. Он сам был

раздвоен, но я его в этом не упрекаю, хотя больше всего зла он совершил именно в результате своего двоемыслия и шаткой своей принципиальности.

Как я уже говорил, накануне пленума я был счастлив: наш идеолог Мотайнога со мной согласен, согласны со мной и мои уважаемые современники. Мои отношения с идейным руководством и современниками стали менее напряженными, и в моей душе вдруг проснулось забытое ощущение счастья. Я чувствовал себя искупленным всеобщим согласием. Значит, мы не будем больше притворяться, обижать друг друга и применять запрещенные силовые приемы. В силу собственных и общих убеждений мы будем теперь и в личных разговорах, и публично говорить одну правду. Отбросим политиканство и тактические уловки, найдем в работе источник радости. Да и спорить будем не так непримиримо. Ведь наши книги — это мы и есть.

Расходясь в полночь, мы пожали друг другу руки, обнялись и поцеловались.

Остаток ночи я провел в сладких сновидениях. Во сне я не вздрагивал, не садился на кровать и, на минуточку проснувшись, не спорил с воображаемым оппонентом. Наутро, свежий и бодрый, я встал и отправился на заседание пленума.

Неожиданно для себя я согласился со всеми пунктами повестки дня. Что ж, привычка есть привычка. Да и бдительность по отношению к самому себе, признаться, притупилась. Но я тут же опомнился и заставил себя выступить.

Я высказал свое мнение.

И зал заполнила холодная мертвая тишина. С отчаянием утопающего я озирался по сторонам, пытаясь увидеть тех, у кого всего несколько часов назад я находил поддержку. Сейчас их лица окаменели, застыли в немоте. Я стал терять уверенность и говорил чем дальше, тем путаней. Что-то сжимало мне грудь, я с трудом дышал. Конец своего выступления я совершенно скомкал. Не помню, как я вернулся на свое место и сел... Я падал в темную пропасть молчаливой враждебности.

И тут, разумеется, против меня выступил Мотайнога. Чем более высокими понятиями, громя меня, оперировал он, тем ниже я опускался в пропасть. Едва он открыл рот, как стало понятно, что его мнение изменилось. Теперь на моих глазах оно превращалось в мертвый принцип, которого я не понимал. Из какого-то извращенного милосердия он не назвал моего имени, однако он не просто осудил меня, он меня растоптал. И для устрашения пригвоздил к позорному столбу за те самые взгляды, с которыми еще вчера соглашался. И все остальные выступавшие поддержали его.

Вчера мы были единомышленниками, сегодня — тоже, вся разница была лишь в том, что сегодня мы соглашались с диаметрально противоположным тому, о чем говорили вчера, о чем думали и о чем, по всей вероятности, продолжаем думать и сегодня.

Едва мы встали со своих мест и направились к выходу из зала заседаний, как встал и увязался за нами наш старый знакомый — страшный демон. Он шел за нами по пятам и бесстыдно громко вздыхал:

— Что ж, выходит, снова мы со всем согласились. Надо будет — проголосуем и за свою смерть.

Да, это так. На самом деле так. Власть. Яблоко Евы — это не что иное, как власть. О, не соблазняйте меня, пани Ева, не соблазняйте меня, товарищ Мотайнога, это ни к чему. Лучше дайте мне это яблоко, чтобы я съел его целиком, чтобы наконец ощутил, каково оно на вкус. Мой дед, мой отец и даже я — мы никогда его еще не пробовали. Только господа...

III

Моя дорогая! Моя милая! Я вам звоню, прихожу поздравить вас с днем рождения, приношу фиалки.

Вы — никакого внимания.

Уже много лет я ношу вам фиалки, которые продает цветоводческое хозяйство. И каждый раз вы подносили букетик к лицу, что-то в моем букетике вас радовало, может быть, запах весны, а может быть, дружба, любовь... Или хотя бы верность старого друга.

А сейчас вы с безразличным видом взяли и отложили букет в сторону, даже не понюхали цветы.

Что такое? Что случилось? — спрашиваю я вас взглядом. И настаиваю: хорошо пахнут, не правда ли?

Да, я так неделикатно, невежливо требую ответа, что моя приятельница вдруг говорит (я прямо-таки вынудил ее ответить!):

— Нет. Не пахнет. Разве вы не знаете? Вот уже несколько лет как не пахнет.

На протяжении всех этих лет, что я дарю эти фиалки, выращенные в цветоводческом хозяйстве, я действительно ни разу не удосужился понюхать их, не убедился, пахнут ли они вообще. Но если фиалки были не настоящие, я пропал! Я разоблачен, я изобличен в ста грехах и, уж без сомнения, в том, что сам никогда так и не понюхал их.

В таком случае невольно будешь себя убеждать, что букетик все же издает тонкий аромат. Невинный букетик становится вопросом чести, а точнее, вопросом искренности вашего чувства. Или, наоборот, свидетельством равнодушия.

Невинный букетик, не важно, пахнет он или нет, вдруг ставит под сомнение саму вашу дружбу. И теперь все зависит только от вас. Следовало бы поднести букетик к своему носу хотя бы в сей критический момент и, признав наконец свою оплошность, извиниться! Но как раз этого-то вы и не желаете сделать!

Давайте осмыслим и доведем до логического конца эту абсурдную ситуацию: букетик фиалок выступает в качестве яблока раздора. В качестве предмета спора о чем угодно — о дружбе, о власти или о принципах. И в таком случае букетик непахнущих фиалок (в общем-то совершенно невинный) в соответствии со всеми установками, которых мы свято придерживаемся, пренепременно должен пахнуть. Но факт остается фактом — он не пахнет.

Однако — опять же может случиться и даже случается — вся наша творческая организация и мысли не допускает, что такое возможно. Она ждет, верит, рассчитывает, надеется, что он пахнет, должен обязательно пахнуть. Глава нашей творческой организации ставит перед членами правления вопрос ребром: «Так что же — не пахнет? Или все-таки пахнет?» И если вдруг окажется, что букетик все же не пахнет (в принципе, конечно, это не исключено), то все наши установки могут не выдержать критики, а наши великие ожидания не исполнятся. Если бы действительно оказалось, что фиалки совсем-совсем не имеют запаха, то этот главный недостаток букетика — отсутствие аромата — мог бы, как нас уверяют, поколебать наше мировоззрение, нашу веру, мог бы заставить нас усомниться в самих основах нашего общества и в результате ослабил бы наш боевой дух.

Но великие мира сего — все же люди. Они заботятся о своем личном престиже, никто не хочет быть посрамленным. И поэтому самой государственной политикой возводится в ранг принципа положительное мнение о букетике. А букетик, таким образом, поднимается до уровня священного символа.

Теперь уже по принципиальным соображениям члены нашего правления настаивают на том, что букетик, который на самом деле не пахнет, все-таки пахнет. Более того, даже если бы эти фиалки оказались бумажными, все равно — по одним только принципиальным соображениям — букетик должен пахнуть. Ведь все мы — члены одного органа, представляющего собой моральное единство работников нашего фронта, и мы обязаны быть образцом единства и согласия.

Пахнет — не пахнет? Это уже дело десятое. С точки зрения высше-

го принципа это уже роли не играет. Мы утверждаем в полном между собой согласии и независимо от того, «пахнет или не пахнет», что в непахнущем букетике мы все-таки улавливаем знакомый аромат нашего гуманизма, патриотизма и других столь же прекрасных чувств и идей.

Вот наш вождь Мотайнога уже берет слово и со всей решительностью с высоты своего положения провозглашает несчастный букетик благоуханным. И мы все прекрасно знаем, что за этим последует.

Общественный вес личного авторитета деятеля Мотайноги заставит восемь миллионов экземпляров газет утверждать, и все наши радиостанции передавать, и целую армию библиотечных, научных, пропагандистских и других работников объяснять, толковать, учить, провозглашать: «Букетик издает аромат, тончайшим ароматом наполняет он всю атмосферу нашей эпохи».

Профессора, академики, учителя в школах всех ступеней, стремящиеся в своем благородном порыве сделать нашу молодежь лучше и чище, будут совать букет под носик каждого пионера, школьника, студента или члена Союза молодежи и будут декларировать, декламировать, уговаривать, убеждать, увещевать: «Детки, если вы хотите быть образцом нового человека, принюхайтесь получше к этому букетику!» И простенькая, а уж тем более амбициозная молодежь принюхивается и уже прямо-таки упивается ароматом фиалок, которые не пахнут. Учится ханжеству и сговорчивости у своих дорогих родителей и вырастает разочарованной, замкнутой и озлобленной.

Короче говоря, из непахнущего, невинного, безвредного букетика получается государственная, народно-демократическая ложь, родится зло, которое отравляет, портит и разлагает в первую очередь молодых людей.

Так же точно обстояло дело и с поэмой «Триста процентов счастья».

Мне пришлось выступить на пленуме, потому что в этой поэме не было ни аромата счастья, ни аромата поэзии. Поэма стала публичной ложью, потому что было заявлено, что она пронизана ароматом... Войдите в мое положение, представьте себе, что вы вынуждены доказывать, что непахнущий букетик на самом деле не пахнет!

Букетик? Пахнет он или не пахнет? — скажете вы. Да это ж ерунда! А вот все ли у тебя в порядке с головой, Болераз? Не свихнулся ли ты, коль собираешься нечто подобное доказывать? Фиалки, они ведь существуют не для доказательств. Фиалки должны радовать человека!.. Я согласен с вами, тысячу раз с вами согласен, что фиалки — отнюдь не доказательство, они просто фиалки, пахнущие или непахнущие. При нормальных условиях ничего здесь и не нужно было бы доказывать. Ни доказывать, ни опровергать. Но...

В первый день пленума нашей творческой организации, как я уже вам сказал, я просто позволил себе вслух заметить, что в этом «букетике»... так сказать, то есть в поэме «Триста процентов счастья», нет ни аромата, ни счастья, ни поэзии. Сначала председатель и все остальные сделали вид, будто они не принимают во внимание мое выступление. Они хотели проигнорировать мою несознательность. Но я стоял на своем и позволил себе заметить, что уже не в первый раз мы директивно утверждаем то, что совершенно не соответствует истине.

Если бы то, что нас радует и вдохновляет — женская красота, запах цветов, поэзия,— измерялось на метры, амперы или килограммы, все было бы очень просто. Мы же, словно сумасшедшие, принялись измерять наше головокружительное счастье в процентах! Измерять точно так же, как повышение уровня нашего благосостояния! А потом начали сравнивать этот уровень со стишками и рассуждать, насколько одно соответствует другому.

О Мотайноге я уже сказал. Приближаясь к трибуне, он шаг за шагом по мере осознания своей ответственности изменялся, превращаясь из человека в деятеля. Очень строго он осуждал каждого, кто отваживался иметь свои взгляды, свой нос, свои чувства, свои ощущения. Употребив

всю свою власть, использовав высокое положение, он провозгласил, что наша «фиалочка»... прекрасно пахнет! Это дело принципиальное! И отличается она качествами, какими еще никогда до сего дня не отличалась. Пусть себе нигилисты и клеветники шушукаются по углам сколько им угодно — разумеется, до поры до времени, пока мы не запретим им порочить нашу действительность!

Вплоть до катастрофы я никак не мог понять поведения на тогдашнем пленуме одного нашего академика. О, это было величественное зрелище! До преклонного возраста он развивал свои теории, создавал школы, написал множество книг. Но все его заслуги ничего бы не стоили... если бы в свое время все, что он написал — до последней мысли, до последнего слова, до последней точки,— он не перечеркнул, если бы не отказался от всего им созданного. Мобилизовав свой философский арсенал, он разгромил все им некогда продуманное, выношенное и написанное. Он убедительно изничтожил себя и тем самым истребил свое пагубное влияние. Именно так он стал заслуженным человеком и приобрел — не важно, что теперь уже без трудов и без плодотворных идей,— необходимое доверие и авторитет, а заодно и звание академика. Но как академик он стал проявлять усердие. И вот, опираясь на свой академический авторитет, он размолотил меня, какого-то там Болераза, разнес в пух и прах, как жернов, стер меня в порошок, превратил в труху, в моральную пыль. Он снял очки и стал вращать ими, как трещоткой,— так он просил слова. Небрежно поигрывая очками, этот седовласый авторитет поделился с собравшимися своими ценными соображениями: «Кто такой этот Болераз, что позволяет себе разбивать наше моральное, а следовательно, и идейное единство?!»

Я, «какой-то там Болераз», и охнуть не успел, как благородный академик засунул авторучку в рот, весьма ловко почесал ею язык и, причмокнув, стал обосновывать свою точку зрения.

И вы знаете, во что превратил меня беспощадный град его обличения? В «рецидив» — разоблаченный, обнаженный и препарированный рецидив вражеского мышления.

«Ах ты, Болераз, бедный рецидив»,— запричитал я над самим собой. Я хватал ртом воздух, я искал спасительную мысль, оглядывался по сторонам, за кого бы, за какой человеческий взгляд, за какую соломинку мне бы ухватиться. Но меня словно подхватил какой-то вихрь, увлек за собой и погрузил в безнадежность, потому что даже такой «соломинки» в этом шквале всеобщего согласия не было.

Самые крупные поэты наших литератур куда-то потихоньку стали исчезать с заседания. Своим тонким чутьем они уловили, что доказывать или опровергать благоухание бедных фиалок — одинаковое безумие. Из-за такого пустяка никто из них не хотел поступиться своим благополучием. Они должны были оставаться великими, несмотря на перемены погоды (а может быть, как раз вследствие того) и на то, что их современники дерутся из-за пустяков. Остальные собратья по перу остались на своих местах. И поддались непреодолимо катящейся волне. Они просто не могли иначе, ведь их слава, значение и положение родились именно на гребне этих яростных порывов одобрения. Они привыкли одобрять и утверждать величие того или другого творца, соглашаться с чрезвычайностью миссии нашей идеологической организации, да и со всем остальным тоже,— с одним, конечно, условием, что вся организация в целом и каждый из нас в отдельности, то есть все мы, согласно будем утверждать их славу и их величие.

Как говорится, все связано между собой, и в данном случае оказалось, что аромат поэмы, который на поверку не обнаруживался, имел ко всем непосредственное отношение и лично их всех затрагивал. Поэтому на меня прикрикнули и загнали в угол. И здесь, в углу, добивали окончательно.

Загнанный в угол, я сжался в комок, как котенок, и подумал: «Плохи твои дела. Ты уже только рецидив. И заткнешься ты сейчас или будешь

настаивать на своем, все равно разорвут тебя на кусочки...» И тогда я встрепенулся.

Как горячие угли, высыпал я своим современникам на головы все, что в частном порядке говорил до этого Мотайноге. И даже более того. Я сказал все, что мне только сейчас пришло в голову, и то, о чем я всегда думал, и то, о чем я даже подумать не смел.

Я, Бартоломей Болераз, в некотором роде творец мыслей, чувств и гармонии в сознании и подсознании людей, должен был быть художником слова, прежде всего и преимущественно — художником. Но практически я беспринципно низвел себя до специалиста по цветоводству. Да плевать я хотел на вашу дерьмовую славу! Плевал я на ваши прогнившие души! Я проклинал уже всех и вся. То, что у меня между глаз имеется нос, вы отрицать не можете. И вот я кричу: «Этот ваш цветочек не пахнет! Напрасны ваши резолюции, не пахнет!!! И не будет пахнуть! И если мы спорим о таких вещах, то отсюда возможен только один вывод: или я — безумец, или, простите, безумцы — вы! Если вы отождествляете запах этого непахнущего растения со смыслом деятельности нашей идеологической организации, с вопросом престижа, с вопросом власти и нашего социального устройства, то вы просто свихнулись! Это непахнущее растеньице разоблачит вас, а не социализм! И я заявляю вам, что я снова, наконец-то, чувствую себя поэтом! Я обнажаю свой меч и отдаю свою жизнь за настоящую фиалку!»

Безумец!

Конечно, так мог говорить только безумец. И это стало совершенно ясно, когда дело дошло до голосования. Все подняли руки. Лес рук. Поднялись руки самых крупных поэтов — им все-таки пришлось вернуться к голосованию,— поднялись руки всех поэтов-конформистов, соглашающихся неустанно и неутомимо, последовательно и принципиально. Но ведь поднялась и моя рука! Поднятые руки выражали согласие со всем, что положено: они соглашались с гладким, спокойным течением обсуждения, которое вдруг по моей вине вышло из своей колеи, соглашались, голосуя против рецидива, следовательно, против меня, соглашались с необходимостью усилить управленческий аппарат нашего Союза, соглашались и с «трехсотпроцентными» стишками.

Рука Мотайноги голосовала бог знает за что. Моя — потому, что со мной уже все кончено. Аминь. Я навеки буду пребывать в безумцах. Остаток моего разума твердил мне: «Ничего, Болераз. Конечно, ты чудак и безумец. Ведь только сумасшедший из принципа может отдать всю свою кровь ради какого-то там цветка. Впрочем, похоже, кровь льется уже не из вен, а из самих принципов...»

Верьте, я уже готов был успокоиться. Писцы-скорописцы, которые чередуясь, записывали наш словесный поединок, уже занесли мое имя в свои анналы. Итак, в архивах нашего творческого союза я навсегда останусь безумцем. Я готов был уже смириться с судьбой безумца, если б не этот проклятый демон — не то согласный демон несогласия, не то несогласный демон согласия. Едва мы поднялись с мест после заседания, он громко вздохнул:

— Ах, выходит, мы снова со всем согласились?! Но почему? Почему?

Болераз, коли есть у тебя хоть капля здравого смысла, беги! Беги что есть мочи! И я побежал из этого Дворца культуры, словно земля горела у меня под ногами...

Выбежал на улицу, петляю по переулочкам и наконец выхожу к набережной. Течет река, над ней кружат чайки. Возможно, это был великолепный день, возможно, навстречу мне шли прогуливающиеся парами девушки. Возможно, они были загорелыми и румяными, как персики. Возможно, мне навстречу шел знакомый живописец, которого я не узнал. Возможно, он нес под мышкой холст. Возможно, возможно, возможно... мне навстречу шли все красоты мира, но я ничего не замечал. О том, что происходит, у меня было какое-то очень смутное представление. Я шел, куда-то шагал, будучи в таком состоянии, в каком, впрочем, нередко

пребывает большинство моих современников, обремененных чувством ответственности и служебными делами. Голова у них так чем-то забита, что они уже не в силах что-либо воспринять. Что-то им так застит глаза, что они уже ничего не видят. И до простых, обыденных вещей, до повседневности им нет никакого дела. В таком состоянии поэты как бы по памяти слагают стихи о природе. Когда мы в таком состоянии, мир нам кажется нереальным, неосязаемым, бесцветным и равнодушным.

В те времена, когда я еще был нормальным человеком, эта река всегда врывалась в мою душу, как песня, связывая все мои сердечные переживания с самыми прекрасными годами жизни. А сейчас я чувствую лишь нежелание воспринимать что-либо, мой мозг усыплен и бездействует, будто я надышался эфира перед операцией. И в нем с каждым вздохом и выдохом, как у маньяка, гудит одно и то же: «Я согласен!»

Но почему? Почему мы согласны? Отчаянное согласие — это же своего рода покорное отступничество. Наша творческая организация, строй моей жизни, строй всей нашей жизни вообще никак ведь не упрощаются, напротив, становятся все сложнее. Проблем все больше и больше, и процесс этот неостановим. Кто им управляет, как управляет, хорошо или плохо? Что я об этом знаю? Мало, очень мало, собственно, ничего. Все мы только соглашаемся, везде и всюду подчеркивая свое единодушие. А это равносильно тому, что мы вообще ничего не говорим, молчим, прячась за свое согласие. Хоть бы раз, хоть бы один-единственный раз кто-нибудь из моих мудрых современников-коммунистов не согласился! Или хотя бы засомневался в чем-нибудь, громко спросил: правильно ли мы поступаем? Мне бы тогда легче было верить. И я не казался бы себе таким наивным, безголовым, незначительным, ничтожным. А перед лицом огромного безотказного механизма, оснащенного колесной зубчатой передачей, и беспомощным. Отсюда невольно напрашивается вывод, что согласие — это признак бессилия честных граждан или цинизм хитрецов.

«Ну, ладно, перестань, Болераз, перестань»,— уговариваю я себя. Но машинка, которую я ношу в своей черепной коробке, то есть мои многострадальные извилины, работает дальше. Мой мозг теперь тоже стал механизмом — слепком механизма внешнего, и он мелет, мелет, дробя и поглощая все мои мысли и всего меня целиком.

И вот плетусь я, значит, по набережной, как загнанный конь, впряженный в воображаемый плуг, тяну его за собой, распахиваю мостовую, как вдруг кто-то берет меня под руку.

Мотайнога! Опять Мотайнога. Я вздрогнул.

Мотайнога, оказывается, уже давно следовал за мной. Но я его не замечал. Не может быть, чтобы этот человек был запряжен со мной в один и тот же плуг, который фразеры называют ответственностью перед историей!

— Не мучайся, Болераз! Не расстраивайся,— нежно, как больного, уговаривает меня Мотайнога.

— Оставь меня! Не жалей меня! Тебе меня не за что жалеть,— набрасываюсь я на него.

А он еще нежней, хитрей, льстивей, как будто это я его министр, а он у меня мальчик на побегушках.

— Но я хочу тебе объяснить... Ты знаешь, Болераз, между нами...

— Что ты заладил «между нами»? Ты — идейный вождь, а я — гражданин, ты объясни мне все как полагается, публично. Говори, что хочешь, когда хочешь, но только публично, вслух, если желаешь, чтобы я тебя понимал. Ведь ты же общественный деятель.

— Потише, прошу тебя,— унимает меня Мотайнога,— потише, ты же коммунист!

— Да, коммунист, ты меня этим не пугай...

— Как коммунист ты должен понимать... понять, что мы должны выступать в единстве, единым фронтом,— шепчет он мне. Он растерян-

но потупляет глаза и на этот раз ловит меня не на слове, не на чем-нибудь еще, а всего лишь за пуговицу на пиджаке: схватил и держит!

— Разумеется, в единстве! Вот мы с тобой сейчас разговариваем и как частные лица соглашаемся друг с другом, а публично будем одобрять нечто совершенно иное, да? Но разве так люди поступают? Мы же — фигурки, а не люди! Хватит с меня! Надоело! Ты — фигурка, но я фигуркой больше быть не хочу! И не буду! Не могу больше. Иначе я рехнусь. Вот увидишь.

Я машу рукой и, не обращая внимания на машины, перехожу улицу. Я хочу от него оторваться.

Но Мотайнога — за мной.

— Болераз! Позволь! Позволь... Позволь! Я должен тебе объяснить...

Я побежал, бегу, он — за мной! Догоняет меня и снова хватает под руку.

— Ну, и куда это мы спешим? Куда?

— На вокзал,— говорю я первое, что приходит мне в голову.

А он ничего, мол, он меня проводит. И по дороге все скажет мне, все объяснит... Навстречу нам свободное такси. Я вырываюсь из рук Мотайноги, влезаю в такси, чтобы хоть таким образом спастись от него. Но Мотайнога плюхается рядом.

Нет, мне от него не избавиться. Я впадаю в отчаянье. И чувствую, что, обессилев, как бегун, сойду с дистанции. Мне кажется, что в последние годы я вообще не живу, только заседаю, решаю, делаю вид, что принимаю участие в каких-то делах, которые совершенно от меня не зависят. Меня лихорадит, чувства мои притупились, я ничего не воспринимаю. Только кофе и водка могут меня немного взбодрить. Но от водки и кофе и от всей этой жизни у меня стучит сердце, сбивается с ритма и бьет тревогу, что живу я плохо, тоскливо, уныло.

Мотайнога сопровождает меня в такси до самого вокзала. Уговаривает меня, держит за колено:

— Болераз, прошу тебя, останься еще на завтрашнее заседание. Вместе посидим, поговорим, а потом снова полетим на нашем вертолетике, как летели сюда, и я тебе все объясню.

Я в ответ — ни слова.

— Прошу тебя, Болераз, скажи, ты хоть слушаешь меня?

Глаза и уши мои действительно отключены, как радиоприемник, хорошо бы еще отключить и воображение. Это самооборона, я оглох, ослеп, но погасить воображение, увы, не удается; так и вижу — сидит этот человек рядом со мной, открывает рот, словно за стеклянной стеной, говорит и говорит, что-то мне объясняет, чего нельзя ни извинить, ни объяснить. И одним своим присутствием страшно подавляет меня. Доводит до отчаяния.

На вокзале мне удалось ускользнуть от Мотайноги, смешавшись с толпой снующих туда-сюда людей. Но он все же настиг меня на перроне.

— Ты что, сбегаешь с завтрашнего заседания, а, Болераз? А как же дисциплина? Надо выдержать. Выслушать разные точки зрения. Видеть, как мы все единогласно примем резолюцию. Единогласно — в этом что-то есть, а? Когда человек своими собственными глазами видит такое единодушие, он уже просто не может допустить мысль, что все остальные как целое глупее его одного. В чем бы человек ни был убежден субъективно, он не может быть прав, вопреки мнению большинства.

Я в ответ опять же — ни слова. Только закрываю глаза и затыкаю уши. И сдерживаю себя, урезониваю. Но что-то во мне до крайности напрягается. Я себя знаю: в таком состоянии мой мозг запускает свою шарманку. И уж как она начнет крутиться, то повторяет одно и то же — бесконечно, и не жди, что быстро перестанет. Так и слышу: правда моя, я прав... я прав... правда моя... И тогда уже со мной шутки плохи.

А Мотайнога, будто догадываясь, что со мной происходит, уговаривает меня все ласковей, с пониманием:

— Ты прав, если, конечно, встать на твою точку зрения. Субъек-

тивно ты прав, у тебя есть свой опыт, есть характер. Я не отрицаю, что ты прав. Я признаю: ты прав, что не хочешь больше нас слушать. Что сбегаешь с завтрашнего заседания. Конечно, раз психически это так тебя утомляет и убивает. Но мы все в таком же положении, не ты один. Ну ладно, забудь об этом. Знаешь что, Болераз, у меня есть идея! У меня есть замечательная идея! Поехали вместе в вагоне-ресторане! Выпьем, хорошенько поговорим, искренне, доверительно, как раньше. Выйдем на какой-нибудь станции, где нам понравится, и к завтрашнему заседанию вернемся обратно, да еще и выспаться успеем. Помнишь, мы ведь не раз так путешествовали.

— Нет, Мотайнога, никуда я с тобой не поеду,— говорю я.

Тут бы ему и обидеться. По всему было видно, что я хочу от него отделаться. Да только он не обиделся! И не обратил ни малейшего внимания на мой отказ. Мы так давно знаем друг друга, что, похоже, он и впрямь не может обидеться. За столько лет знакомства Мотайнога вроде бы даже приобрел на меня какие-то права.

И я с вокзала вернулся обратно в город.

Позвонил из автомата своей милой приятельнице Дубраве, сказал, что приду. Но Мотайнога, цепко державший меня под руку, увязался за мной и дальше. Он проводил меня до цветочного магазина, потом до другого магазина, до третьего, а потом — до дверей дома и даже вверх по лестнице до шестого этажа, прямо до квартиры, в которой жила моя знакомая, моя милая Дубрава, и не отошел от меня даже тогда, когда я нажал на кнопку звонка.

И в магазине, и в уличной толпе, и даже когда мы переходили улицы, Мотайнога все пытался просветить меня относительно одного из изобретенных им коварных ораторских приемов, которым он воспользовался, громя меня на нашем пленуме. Действительно, это был невиданный, великолепный, бьющий наповал прием. Мотайнога тогда встал и задал себе, мне и всем остальным один-единственный риторический вопрос: «Против кого направлена правда Болераза? Он неправ, но даже если б он был прав — допустим это, хотя мы едины в своем несогласии с ним,— кому выгодна правда Болераза? Кому и чему должна служить эта правда и ни на чем не основанные утверждения Болераза?»

Мотайнога, как испытанный борец, хорошо знал — пусть я и словом об этом не обмолвился,— что его «прием» для меня весьма болезнен, что это удар ниже пояса. Я ведь, собственно, предпочитал бы быть неправым. И сказал-то ведь я только, что черное — это не белое, что ненастоящая фиалка не пахнет.

...Кроме своих женских достоинств, которые при всех моих невзгодах никогда не переставали меня волновать, моя прелестная Дубрава обладала способностью отвлекать меня, так сказать, политического маньяка, от моих мыслей. Когда от меня ушли жена и сын, когда они раз и навсегда решили не жить больше с предателем, этим покорным и ущербным, усердно поддакивающим человеком, я начал усиленно оказывать знаки внимания своей давней знакомой Дубраве. Всякий раз, когда я приезжал в столицу — естественно, на разного рода совещания,— я звонил ей. А вечером заходил. После совещаний, длящихся с утра до вечера, я мог помыть руки у нее в ванной, погрузить воспаленное лицо в холодную воду. Потом мы сидели с ней, говорили о том о сем — о воробьях, о знакомых, о семье голубей, обосновавшихся в корзинке на балконе...

Дубрава работала в Министерстве иностранных дел. Я видел, я знал, что в определенном смысле она в одинаковом со мной положении. За ужином взгляд мой невольно нырял за вырез ее платья и находил отдохновение на загорелой коже, усеянной веснушками. Глаза мои во время наших разговоров блуждали там, как на песчаном солнечном пляже. Я поднимал взгляд чуть выше и смотрел на ее губы, над которыми, когда она смеялась, трепетал запорошенный печеньем и красноватый от вина милый пушок. Это наводило меня на иные мысли — будто я на брюхе

дополз до высокой, прогретой июльским солнцем травы. Когда наши глаза встречались, мы смеялись. Дубрава ничего не имела против того, чтоб я запускал глаза за вырез ее платья, скользил взглядом по ее шее, по пушку над верхней губой или задерживался, как муравей, в уголках ее губ. Я чувствовал, что заводной механизм, беспрестанно, как мельница, работающий в моем мозгу, замедляет свои обороты, а потом и вовсе перестает доказывать: «Я прав... правда моя... прав-да мо-о-я...»

Баночки с кремами, флаконы духов, купальный халат в ванной... я погружаю лицо в холодную воду... смуглая кожа... песчаный пляж... солнечные веснушки... Я живо себе все это представляю...

А Мотайнога — этот безумец из безумцев, который умудрился изловить меня даже на перекрестке, в потоке машин и трамваев и все принуждал признать, что правда обязательно бывает направлена против кого-то,— этот самый Мотайнога сейчас останется за дверью, и мельница в моей голове перестанет работать: «Я прав, я прав, я прав, я прав...» Солнце всходит, на свете есть Дубрава, солнечный песчаный пляж, моя правда никого не берет на мушку, псевдофиалки не пахнут ни «за», ни «против», цветы просто либо пахнут, либо нет... И все должны это признавать и соответственно вести себя.

Мотайнога останется за дверью, а я наконец с облегчением вздохну.

Да где там! Мотайнога за дверью не остался! Я позвонил, сказал ему «до свидания», а он все не уходил, чего-то ждал и вздыхал. Дубрава, увидев нас в дверях, всплеснула руками:

— Господа?! Болераз! Да что это с вами?

Не знаю, как я, а с Мотайноги пот лил ручьем, он выглядел загнанным, одичавшим, измотанным, будто доживал последние дни своей жизни или его раза три заставили обежать вокруг города. Он меня так загнал или я его? Честное слово, согласие — это долгий и трудный путь к познанию. Однако еще более кружной путь, прямо скажем — бесконечный,— это молчание. А ведь я в ответ на все объяснения, возражения и доводы Мотайноги только молчал, тем самым как бы утверждая: «Между нами все кончено. Раз ты так, мы никогда ни до чего не договоримся. Я сказал простую вещь, совершенно очевидную любому и каждому, я сказал, что ваши псевдофиалки не пахнут! А ты все подозреваешь, что я борюсь за какую-то правду, направленную против нас всех, против всего нашего строя. Я это отрицаю и потому молчу».

Но Мотайнога не хотел со мной навсегда рассориться! А потому все пытался меня переубедить:

— Болераз, что бы ты там ни думал... Но мне ведь тоже приходят в голову кое-какие мысли... Хотя от отчаяния и разочарования мне часто вообще не хочется ни о чем думать!

Откуда было Мотайноге знать, что я думаю и чего не думаю? Он мог только догадываться, присматриваясь к малейшему изменению в выражении моего лица и глаз, поскольку я упорно молчал. Мотайнога, наверное, раз сто обращался ко мне, уговаривая, чтобы я не думал то, что я думаю. Ну, а что бы это я такое мог думать? Об этом Мотайнога вынужден был лишь догадываться, а потом доказывать мне обратное. Ему все время приходилось раздваиваться, он говорил не только за себя, но и за меня, своего воображаемого оппонента.

И как-то так получилось, прямо на пороге квартиры Дубравы, когда она в халате вышла открывать нам дверь, Мотайнога высказал свою последнюю, самую смелую догадку:

— Болераз, ты считаешь меня подлецом, думаешь, верно, что я нанес тебе удар, пользуясь запрещенным приемом?

Пот с нас лил ручьем, мы отдувались и не могли вымолвить ни слова. Неизвестно по какой причине, но Дубрава решила принять вместо одного сумасшедшего двух и любезно пригласила в дом нас обоих.

Мотайнога бухнулся в кресло, вытер лицо и шею под воротничком рубашки и, невзирая на изменение обстоятельств, в едином порыве продолжал:

— Допустим, я ворвался сюда обманным путем, допустим, я негодяй, и все-таки ты, Болераз, скажи, скажи хоть теперь: я на самом деле поступил с тобой как подлец? Да, в частном порядке я с тобой согласен и считаю, что ты прав. А в микрофон говорю совсем не то, даже, как тебе кажется, прямо противоположное. Скажи, наконец, что ты обо мне думаешь?.. Я заявил, что твоя правда — если бы ты, конечно, был прав — направлена против нас. А ты все время и даже сию минуту думаешь, что я... так высказался для того, чтобы нанести тебе удар из-за угла, уничтожить и раздавить тебя, так? Что я сказал это только ради красного словца или ради того, чтоб это застенографировали и послали наверх, да?

Мотайнога упорно продолжал вести дискуссию, выступая то от себя, то от меня. Тем временем мы ужинали, ели и пили что нашлось в доме, а Дубрава с интересом прислушивалась к этому нашему одноголосому и одностороннему спору.

Время шло. Наступила полночь. Мотайнога как одержимый все еще что-то объяснял, а я, упрямец, все еще сопротивлялся: не хочу, мол, не допущу, чтоб из меня, человека, сделали фигурку.

Глядя на нас, Дубрава улыбалась с пониманием и немножко с насмешкой. Наконец она поднялась: дескать, пора расходиться. А потом сказала прямо:

— Пора спать.

Но и это на Мотайногу не подействовало.

— Мальчики,— говорит, наконец, Дубрава,— можете переночевать и здесь, правда, постель у меня только одна, но как-нибудь устроимся.

С нашей стороны — никакой реакции. Дубрава стягивает через голову юбку. Сбрасывает с себя что-то еще. Мотайнога тоже начинает раздеваться, конечно же ни на миг не переставая что-то объяснять и доказывать. Вот он уже разделся до исподнего, но и тут не перестал идеологизировать.

А я? Это все еще я, Болераз? Или уже не я? Если бы мы не оказались дискутирующими маньяками, разве Дубрава стала бы в нашем присутствии раздеваться?

Ну, нет, от последних остатков своего естества я не откажусь — лучше уж выскочу из окна шестого этажа!.. Поскольку упал я прямо на помойку, ног я себе не переломал. Встаю, отряхиваюсь и — бегу. Не знай я своих современников, как самого себя, я, честное слово, не побежал бы!

Тут Мотайнога понял, что ему не с кем больше дискутировать. И хотя под одеяло к нему скользнула красивая женщина, он выскочил, как и я, из окна и погнался за мной, конечно, в надежде досказать мне то, что не успел досказать.

Итак, за мной по пятам гнался маньяк Разума. А куда было деваться мне, такому же маньяку? Я добежал до старинного кафедрального собора, обнесенного строительными лесами. Его реставрировали. Я вскочил на леса и полез все выше и выше, как обезьяна, и в конце концов оказался на какой-то апсиде. В голове у меня трещало, как в заведенном будильнике, и вдруг я начал выкрикивать:

— Я человек! Я характер, характер!

Я, собственно, кричал то, чего сам никогда о себе и не думал.

От радости, что внутри у меня ослабло страшное напряжение, я стал прыгать по лесам с этажа на этаж и кричать — кричать обо всем, что накипело в душе.

Когда я вдоволь напрыгался, продекламировал поэму о полиции и откровенно исповедался во всем, что глушил в себе, я наконец посмотрел вниз. Это было столь упоительное зрелище, что у меня закружилась голова. Внизу что-то белело, что-то очень похожее на белый парус. Мотайнога, мой современник, успел по тревоге поднять пожарных. И вот — из своеволия — я прыгаю! Все во мне так и замирает от восторга.

На рассвете, уж не знаю, где и когда, я очнулся. Где это я?!

Ко мне обращается толстый мужчина с круглым приятным лицом:

— Итак, значит, вы человек с характером?

— С характером? Даже не знаю.

— Ну, хорошо, хорошо, если вы человек с характером, то примите, пожалуйста, ванну,— предлагает он мне с легкой усмешкой.

Я повинуюсь. После ванны меня отводят в гардеробную. Здесь висит непривычная, чрезвычайно ярких цветов одежда. Когда я прошу дать мне мой костюм, мне отвечают:

— У нас здесь одеваются в пестрое — в целях борьбы против серости.

— А почему?

— А потому. Предупреждаем вас: у нас не дискутируют.

Перед завтраком мне дают журнал под названием «Неправда». В нем пишется о неединогласном голосовании и об исторических альтернативах. Потом меня берет на свое попечение все тот же приветливый мужчина, что разговаривал со мной утром и интересовался, не я ли человек с характером. Он ведет меня по парку, мы проходим мимо скульптуры.

— Кому этот памятник?

— Эта скульптура воплощает собой Прямую Противоположность,— слышу я в ответ.

Меня спрашивают, как я желаю провести свое неорганизованное свободное время. Если я — характер, как я сам о себе заявляю, то у меня есть возможность провести время в кружке Искренности или же в кружке Гибкой Принципиальности. А если я люблю поэзию, то в избытке найду ее в Черном Уголке Тоскизма.

— Где я? — спрашиваю я у какого-то человека в белом халате.

— Вы — у нас. Мы здесь укомплектовываем людей, дополняем тем, чего им вне стен нашего учреждения остро не хватает. Оптимизм дополняем обоснованным пессимизмом, придаем цельность натурам внутренне раздвоенным. В нашем учреждении мы лечим самое острое заболевание нашего времени — двоедушие, вульгарно называемое бесхарактерностью или лицемерием. Надеюсь, теперь вам понятно, где вы находитесь?

— Да, понятно.

— Но должен заметить, что вас лично мы принять не можем. Вы кричали, что у вас есть характер. Но к сожалению, для всех людей с характером мест у нас пока нет. Мы надеемся, что вы сами доукомплектуете свой характер и в будущем не станете слишком громко кричать об этом.

Остаток дня и ночь я все-таки провел в санаторных условиях учреждения, где восстанавливали душевное здоровье моих сограждан. Я искупался в благоухающем бассейне и принял душ. А на следующее утро меня вновь повел по огромному парку врач из приемного покоя, приятный, душевный человек. Но только мы с ним разговорились, как в парк въехала целая колонна роскошных машин таких марок, про какие я даже не слыхивал. Они остановились у статуи Прямой Противоположности. Оказывается, это приехали за мной. Шоферы и охранники вытянулись передо мной по стойке «смирно».

— Пожалуйста, пожалуйста,— приглашали они, отдавая мне честь.

— А если я не поеду? — спросил я, и в груди моей так все сжалось от тоски, что казалось, обстругай волосок, и тот не пролезет.

— Идите, идите. Господь с вами, ступайте, раз уж вы — человек с характером,— шутливо подталкивал меня в спину врач. А сам мне шептал: — Ну, а если вам там совсем не понравится, мы подыщем для вас местечко в отделении для смирившихся...

И тут мне сообщают, что сам наш Главнокомандующий распорядился послать за мной свою личную машину и еще несколько машин в ка-

честве эскорта, боже ты мой! Ну, значит, дело решенное, не явиться я не могу, ибо я — человек с характером.

Меня увозят. Прямиком во Дворец культуры.

В зале заседания царила тишина. Но когда я вошел, все члены высшего органа нашей творческой организации вскочили, будто подброшенные на пружинах, и, подняв руки над головами, стали аплодировать. Я оглядываюсь по сторонам, чтоб понять, кого это так восторженно они приветствуют. И вижу: за столом президиума не сидит, а стоит наш Главнокомандующий и аплодирует мне. И вот наш вождь уже идет мне навстречу, подает мне свою руководящую руку. Я не верю ни своим глазам, ни своим ушам. Оглядываюсь, что случилось? Чем вызваны все эти овации и это рукопожатие? Вскоре все выясняется:

Тем, что я человек с характером!

Ведь это же я сказал, я отважился заявить, что псевдофиалки не пахнут. Следовательно, я человек с характером, и поэтому меня встречают такими овациями. И это несмотря на то, что теперь никого восхвалять больше нельзя: с сегодняшнего утра в нашей стране развернута борьба против культа личности! Значит, я действительно всего этого заслуживаю.

Главнокомандующий произносит речь. Он много говорит о губительных последствиях африканского культа личности. Свои слова он сопровождает оживленнейшей жестикуляцией; кажется, что все мы — духовой оркестр, а он — наш капельмейстер.

Да, да, да... Это все культ. Культ личности нанес нашей экономике и нашей культуре колоссальный ущерб! Только культом личности мы можем объяснить то, что целые комбинаты строились на песке. Только слепым переносом культа на нашу почву мы можем объяснить то, что некоторые академики, ответственные за наше духовное развитие, ничего не делают и, как попугаи, год за годом лишь «перенимают», «следуют» и «применяют»... Только в культе личности, в этом проклятом культе надо искать корни застоя во многих сферах нашей жизни. Только из-за культа мы, демократический народ, взрастивший Гуса, Хельчицкого, Фучика, теперь культивируем всеобщее и повальное соглашательство, а вся наша интеллигенция словно подрядилась кивать и поддакивать. И молчать. Да, всеобщее согласие — это не что иное, как вражеское, ренегатское молчание. Да, согласие и соглашательство, доходящие до полного идиотизма,— это самый далекий путь к познанию правды и к осознанию наших ошибок. Конечно, только культом можно объяснить, но никак не оправдать, что наши философские науки уподобились спиритизму, что наше искусство ищет признания только у просвещенных государственных мужей. Только культом, культом, в результате которого... Докатились до того, что руководящий орган творческой организации своей властью провозглашает непахнущую фиалку пахнущей! Да, эта фиалка обнажила перед нами всю абсурдность положения! Большинство художников слова, оказывается, бегает за собственным хвостом, вертясь на одном месте...

Короче говоря, много бед наделал этот культ, этот губительный культ личности... Обрушился на нашу землю, как ураган, как засуха, как лютые морозы, как стихийное бедствие. Наш Главнокомандующий раздраконил его так основательно и последовательно, что мы, собравшиеся на пленум, сразу же осознали его пагубность. Мы с облегчением отвергли единогласно все наши постановления, которые еще только вчера единогласно приняли. Так мы сидели до самого обеда и одобряли свои новые решения. Оперативно и гибко, как и надлежит нашему органу, мы приняли обращение к народу, подчеркнув, что во всем повинен этот проклятый пандемический африканский культ, эта чума, это стихийное бедствие. Весь свой святой гнев излили мы на него. Еще тепленьким мы передали наше обращение, и его тут же зачитали по всем городским репродукторам. Мы передали его во все газеты, распечатали его и обклеили им стены кафе и домов. Мы успели все это сделать в обеденный

перерыв между заседаниями. Итак, правление нашей творческой организации и писатели как таковые снова стали представлять собой совесть народа.

После обеда, как и полагается, мы снова заседаем. На высшем уровне! Можете себе представить мое самочувствие! Наконец-то я примирился и с нашим руководством, и со всеми своими сотоварищами. Наконец-то я был с ними в искреннем человеческом согласии. Как рыба в воде, я плавал в этом всеобщем согласии. И снова дышал. В легких у меня было достаточно воздуха. Наше правление, в которое входил и я, больше уже не душило меня, не засовывало мне в рот кляп. Скажу точнее — бальзам согласия вливался в мою душу. Согласие! Свежее дуновение и елей разлитый был в слове том! И снова я открывал свою душу моим современникам.

Все мы будто помолодели и просветленно улыбались. Большие поэты, мои великие современники, снова сияли, как звезды, дух их исцелился. Могу вам признаться: я гордился ими. Культ культом, но они действительно великие, и я их почитаю.

Мы открыли раздвигающиеся стеклянные стены нашего зала заседаний, чтобы ничто не отделяло нас от этого светлого дня. Весенний день и в самом деле был прекрасный, только немножко беспокойный. Резкий ветер гнал по небу облака.

Народ принял к сведению наше обращение.

В радующие глаз сады перед нашим дворцом, на террасы, теннисные корты и стадионы стали стекаться люди. Они собирались толпами, как тучи на горизонте. Прямо под нашими окнами шла процессия молодых людей— очевидно, студентов. Возглавлявшие процессию несли огромный манекен с ореолом вокруг головы в виде солнца с расходящимися лучами. На каждом луче была надпись «культ». Затем прямо в проеме нашего зала заседаний на высоком шесте появился другой манекен. На животе его была надпись — «личность». Если я не ошибаюсь, этот манекен должен был чем-то напоминать главу нашей творческой организации.

Мы искренне, хотя и не без ехидства, рассмеялись. Шутка, она и есть шутка, решили мы. Жители нашей столицы любят пошутить. Но, с другой стороны, мы чувствуем, как растем буквально на глазах: народ, столько раз поднимаемый на всякого рода борьбу и кампании, все-таки с невиданным энтузиазмом откликнулся на наше обращение! И даже пришел нас приветствовать. Или, может, мы ошибаемся?

Какие-то безусые юнцы, у которых никогда толком не поймешь, чего они хотят и чем недовольны, тоже, скорее всего, студенты, шагают с гордым видом, неся на плечах большие поленья.

Но для чего, спрашивается, они тащат сюда эти поленья? И тут вас озаряет догадка, что все это может коснуться лично вас.

Стараясь прогнать неясные предчувствия, вы успокаиваете себя: нет, эти юнцы ничего против вас не имеют, хотя и складывают свои поленья прямо под вашим окном, точнее под раздвижной стеной. Но что же это все-таки они там делают? О, собираются разжечь костер! Но зачем же костер? Веди они за собой, скажем, жертвенного быка, вы бы чувствовали себя куда лучше. Но разукрашенного жертвенного быка нигде не видать. И хочешь не хочешь, начинаешь жадно искать его взглядом — внизу, а потом и в своих рядах. Костер есть костер, значит, потребность сжигать — налицо. За остальным дело не станет; найдут кого сжигать. И вот тут-то вас охватывает настоящее беспокойство, а потом в вашу душу закрадывается тревога: на кого же из нас падет сей жребий?

(Вероятно, они, эти самоуверенные безусые юнцы, готовили аутодафе, а точнее сказать, хотели сжечь символы культа личности, эти смешные символы государственной религии, а нас — просто хотели разыграть!)

Теперь-то, когда все кончено, мне легко обо всем этом рассказывать,

а тогда? Никто не знал, что задумал народ и что могут сделать юнцы. И положение наше было незавидное.

Но тут к нам из центральной башни дворца, одновременно являющейся и маяком, спустился сам Главнокомандующий. В стене позади стола президиума открылись двери шкафа, и вот он уже здесь, с нами. Он не собирался приходить, и мы не ждали его. Но он пришел, он был спокоен, пожалуй, даже слишком спокоен; строгость лица и жестов тоже давали понять, что произошло что-то чрезвычайное. Впрочем, Главнокомандующий на то и главнокомандующий, чтобы в любой ситуации, даже в момент поражения, сохранять невозмутимость и спокойствие. Настоящий главнокомандующий владеет искусством не терять самообладание перед лицом реальности, какой бы она ни была. Сегодня он заглядывает мне в лицо чаще обычного. И всякий раз вольно или невольно лицо мое, да и все мое существо под его взглядом, как по волшебству, то оживляется, то цепенеет.

Каким-то образом около меня оказывается Мотайнога. На нем Главнокомандующий тоже довольно часто останавливает свой взгляд. Я испытываю искушение ткнуть Мотайногу локтем под ребро, проверить себя, узнать, застывают ли и в нем, так сказать, субъективистские устремления, когда Главнокомандующий вперяет в него свой взор. Жаль, страшно жаль, что я этого не сделал.

Я убежден, что мы с тобой, Мотайнога, могли бы прекрасно сбежать отсюда. Что скрывать, ведь из наших современников мы, несмотря ни на что, понимаем друг друга лучше всех. Ведь одинаковая приверженность к умствованию едва не загнала нас обоих в постель к одной женщине. Где еще, как не перед холодной богиней, которую мы величаем объективной действительностью, или перед женщиной, излучающей душевную теплоту, двое мужчин, два современника, безжалостные к себе и связанные общей судьбой, лучше всего могут познать и понять друг друга?..

— Мотаюшка, Властиславчик мой, ты только представь себе, я — с одного бока, ты — с другого, а между нами — Дубрава. Она ведь пережила не меньше, чем мы с тобой,— страшную войну и страдания. Сотни раз смотрела она в глаза смерти, стояла под дулом пулеметов и задавала себе единственный вопрос: какой же должна стать наша жизнь, чтобы нечеловеческое страдание смогло искупиться человечностью? Мотайножка мой, из-за нашего упрямства, из-за узости нашего мышления, из-за нашей неправильно понимаемой принципиальности мы даже не заметили, даже не вспомнили о том, что Дубрава — женщина, носительница той самой мудрости, которой нам так не хватает. Дубрава могла бы нас отогреть, могла бы отрезвить и освежить, как майский дождик. Будь я по одну сторону от этой прекрасной женщины, ты — по другую, тогда, быть может, я и сумел бы вдохновенно объяснить тебе свое жизненное кредо...

Только сейчас это кредо прорезалось в моей голове, вышло на свет божий, как Афина из головы Зевса:

— Поэт — а я, с вашего позволения, поэт — начинает петь, только когда это вызвано жестокой необходимостью. Он находит для своей песни значительные слова, только оказавшись в положении крайне трудном. Кому же он противостоит? — спросишь ты меня.

Например, я, Бартоломей Болераз, тебе, Мотайнога. Не обольщайся, дорогой мой Мотайножка, мир по-прежнему негармонично раздвоен. Человеческий голос поэта должен еще постоянно уравновешивать жестокое давление власти. Человек, человечество, наше подсознание, или как там еще выразиться, всегда бунтовало, восставало и противилось своей не знающей снисхождения судьбе, и не имеет значения, как назвать эту судьбу — Роком, как в античных трагедиях, немилосердным Иеговой или экономическим законом социализма. Что бы мы ни делали, но признавать судьбу приходится, это основа человеческой мудрости. Мы должны считаться с судьбой и понимать, что она может быть бес-

человечной, подминать под себя людей, как паровой каток. И потому поэтам всех веков и даже поэтам нашего века ничего не остается, как защищать граждан от произвола и злоупотреблений властей. Обожествлению власти они обязаны противопоставить неотъемлемые права человека.

Мотаюшка, современник мой, именно это я мог и хотел тебе сказать, если б ты хоть на минуточку остановился и перестал вгонять меня в безумие, если б хоть на минуточку замолчал. Если б хоть на одно мгновение допустил, что мой голос не подрывает устоев нашего государства. Доведенный до крайности, я хотел сказать тебе все это. Но не успел. Так послушай меня сейчас: нет никакого смысла упрямо проявлять по отношению друг к другу враждебность. Это неразумно, это бесчеловечно... Жаль, мне страшно жаль, что по нашей общей вине мы до сих пор не достигли взаимопонимания... Тем временем Главнокомандующий, высший чин или фигура покрупнее тебя, Мотайножка, как ни в чем не бывало, спокойно выжидал удобного момента, чтобы начать речь...

Он поставил перед нами, то есть перед пленумом правления Союза писателей, вопрос, который, надо полагать, был в данной ситуации самым важным.

Да, мы явно недооценивали умственные способности нашего народа. Это была и есть наша самая большая ошибка. Наш народ много знает, хочет думать, он не желает отказываться от высочайшего права думать. И осознавать то, что происходит. Культ личности, который мы разоблачили, сколь бы могущественным он ни был,— это вам не стихийное явление вроде невероятно сильных морозов или засухи. Культ личности — вообще не стихия, за которую никто не несет ответственности. Наши сознательные рабочие, наши рассудительные крестьяне и, в конце концов, наша честная трудовая интеллигенция не хотят довольствоваться выдвинутым вами, уважаемые писатели и мыслители, объяснением всего происходившего, так сказать, этой вашей гипотезой. На культ личности нельзя возложить ответственность за все, ни на какой культ не спишешь всех грехов нашего мира.

Губительный и страшный культ, считает народ, мог возникнуть только при условии всеобщего согласия. Как это произошло? Почему? Ведь каждый с каждым и все со всеми никогда еще до сих пор так легко не соглашались, не было этого даже в те роковые моменты нашей истории, когда всему народу грозила смертельная опасность. Встает вопрос, пока что теоретический: почему же все-таки возникло это, на первый взгляд единодушное и монолитное, согласие? И если соглашательство действительно происходило, то кто в этом повинен?

Кто? Единодушное согласие для человеческого рода — явление небывалое. Задумайтесь, художники и мыслители, как могло возникнуть подобное явление? Как осуществилось? И кого следует за это призвать к ответу? Не я, а сам народ говорит, что это явление — неестественное и еще более губительное, чем культ личности, который мы разоблачили...

Главнокомандующий все рассуждал и рассуждал, все теоретизировал по поводу ответственности, а в зале заседания тем временем началось всеобщее оживление (как это пишется в скобках стенограмм, когда выступают великие государственные деятели).

И не только оживление. Участники нашего пленума самым обыкновенным образом завертелись на своих местах и стали потихоньку-полегоньку испаряться. Пока окончательно не испарились. Остались одни пустые стулья. Если б я был мудрее, или, лучше сказать, если б больше понимал в жизни, я ни капельки не удивился бы, что именно самые талантливые и самые умные из нас ускользнули, так сказать, от бремени ответственности.

Ни для кого не секрет, что главная отличительная черта гения в нашу эпоху — это гениальный нюх или что-то в этом роде. Иначе говоря, гениальная способность на расстоянии почувствовать приближение чего-то, что можно сравнить только с землетрясением.

К отличительным признакам гения относится также способность на время скрыться, затеряться в глубинах молчания, в таких глубинах, где оная личность становится необнаружимой, невыявляемой и недосягаемой. Как рыбка, которая в стае других рыбешек греется на мелководье, но в решительную минуту залегает на глубине.

Главнокомандующий вытащил из портфеля стенографические отчеты нашей вчерашней дискуссии о поэме «Триста процентов счастья» и процитировал мое выступление. Я просто ушам своим не поверил. Мне, правда, уже известно, что я человек с характером, пленум нашего правления подтвердил это в своей резолюции. Но это, оказывается, еще не все. Теперь говорилось не только о том, что я человек с характером, но еще и великий разоблачитель.

Наша область культуры, как выяснилось, по сравнению с другими областями деятельности является самой ответственной. Но мораль наша никуда не годится, и я это выявил, указав на то, что непахнущая псевдофиалка нашим постановлением была объявлена пахнущей. Из стенографического отчета также стало ясно, кто, собственно, первым злоупотребил властью, кто всей тяжестью власти давил на наше правление и навязал нам неправильное решение, конкретно заставил объявить непахнущую фиалку пахнущей. Если из всего этого сделать выводы, которые, оказывается, подсказал я, разоблачитель и человек с твердым, даже несгибаемым характером, то необходимо будет признать...

Главнокомандующий развивал тезис об ответственности столь интересным образом, что я почти перестал дышать, вообще не замечал, что происходит в зале. Когда же с неумолимой последовательностью он стал искать того единственного, кто несет за все это ответственность... я невольно оглянулся и слева от себя заметил Мотайногу и еще нескольких не слишком видных членов нашего правления.

Да, неумолимая логика рассуждений Главнокомандующего (при всеобщем согласии отсутствующих) привела к убедительному выводу, что единственным человеком, ответственным за все совершавшееся зло, был Мотайнога.

Наша область, область культуры, как высочайшая область проявления человеческой сущности способна наиболее действенно противостоять всем мертвящим и опустошающим культам бесчеловечности. Ведь Мотайнога мог бы первым заметить и понять, какой страшный вред... Но он, ослепленный культом личности, не видел... и вопреки раздававшимся голосам... несмотря на негативный опыт целого десятилетия, не учел. И еще вчера он позволил себе превысить свою власть, не посчитался с мнением своих соратников и, объективно говоря, принудил пленум провозгласить фиалку без запаха душистой... Мы не можем расценить это иначе, как отрыв от масс, безответственность и вражескую вылазку по отношению к нашей культуре... Он, Мотайнога, сам никогда не бывший личностью, сумел в условиях культа личности развратить всю нашу культуру... Наиболее важную из областей человеческой деятельности... что не могло не привести к упадку нашей общественной жизни в целом...

...Наша культура, продолжал далее оратор, расцвела пышным цветом при нашем строе. И если Мотайнога мял этот цветок, то, несомненно, он ставил под удар и весь наш строй. Поэтому он заслуживает самого строгого наказания. Его вина может быть частично прощена лишь в том случае, если он самокритично перед всем народом признает... возьмет на себя всю тяжесть ответственности за содеянное... Народ требует, чтобы Мотайнога предстал...

Все ясно? Ясно. Мне, Болеразу, пусть недостаточно зрелому члену партии, скорее, просто патриоту, который имел смелость... Мне, человеку с характером, подвергавшемуся преследованиям за проявление независимости, следовало бы выйти на трибуну и своей критикой помочь Мотайноге... иными словами, убедить его исполнить теперь уже его единственный долг — позволить сжечь себя, если, конечно, он хочет выдержать экзамен перед лицом Истории.

Между тем — я забыл об этом сказать — наша новая, передовая молодежь разожгла костер.

Пламя костра взмыло до высоты нашего этажа, небо заалело, а внизу послышался гул голосов:

— Говорите, го-во-ри-те!!!

Народ взывал к нам, требовал, чтобы собравшиеся на пленум взяли на себя бремя ответственности. Во все двери зала заседаний уже ломились люди.

В этот кульминационный момент наш Главнокомандующий нажал на кнопку. Двери стенного шкафа, расположенного за столом президиума, открылись. В кабину лифта влетел наш Главнокомандующий, за ним — глава нашей организации, а потом и все те мелкие сошки в руководстве нашей организации, которые еще оставались в зале. Что-то затарахтело, и все они разом вознеслись на лифте на высоту башни — маяка нашей национальной культуры.

В пустом зале заседаний остались только мы двое — Мотайнога, деятель краевого масштаба, и я, бывший человек с характером, который в этот момент испытывал искушение не иметь этого несчастного характера и совершенно беспринципно удрать.

Сейчас я вызову лифт, и мы вознесемся вверх, на летное поле. Там нас ожидает вертолет. Должен заметить, что только эта возможность трусливо сбежать спасла нас от других проявлений трусости.

— Если ты хочешь спастись, пошли! — говорю я Мотайноге.— Лифт вознесет нас на высоту ситуации, и мы полетим на вертолете... Ты же мой верный друг. Не так ли? Отвечай!

Мотайнога сидел в оцепенении. Но я все же заставил его подняться со стула. Мы подошли к проему в стене, увидели костер и бездну внизу. В любую минуту — стоило нам только принять решение — мы могли бы прыгнуть вниз. И прежде чем поджариться на костре, мы успели бы разбиться, размозжить себе головы и впасть в полную бессознательность.

— Согласись, Мотайноженька, прыгнуть и разбиться ведь не так страшно, как проявить слабость характера? Ну что, будешь прыгать?

— Ты хочешь, чтоб я прыгнул? Хорошо, я буду самокритичным, брошусь вниз и сгорю.

— Нет, Мотайножка, нет, дорогой мой, тебе не придется одному прыгать. Мы прыгнем вместе!

Мотайнога обнял меня, поцеловал и сказал:

— Наконец-то мы понимаем друг друга, мой Болераз! Мы друзья и любим друг друга, как никто еще никого не любил. А сражались мы лишь только потому, что взаимопонимание дается дорогой ценой. Обними меня и дай клятву...

— Итак, значит, прыгаем?

— Ну, конечно, прыгаем! Прыгнем и вместе поджаримся... И не спрашивай меня больше, не спрашивай... давай поджаримся, и все тут. Определенно — современники еще никогда так не понимали друг друга, как мы с тобой.

И поскольку в эту решительную минуту перед лицом смерти, сто раз уже пережитой, мы так хорошо поняли друг друга, у нас сразу стало легко на душе. Страха как не бывало. Вместе подошли мы к самому краю раздвинутой стены, за которой зияла пропасть. Нам ли, столько раз пережившим смерть и страдание, чего-то бояться? И мы охотно прыгнули бы вниз и разбились, прежде чем сгореть во имя наших святых убеждений, если б...

Молодые люди вышибли двери и ворвались к нам.

— Где вы? Где правление?

На нас, должен признаться, как ни обидно, они не обратили ни малейшего внимания. Они только попросили нас подняться, хотя бы просто на лифте, на высоту нашего времени, то есть на семьдесят пятый этаж. Их интересовали — так же как и нас — лишь корень и причины наших общих ошибок. Никак не мы, два безумца, а только корень и причины...

И мы без малейших препятствий оказались на террасе, на летном поле. Там нас ждал вертолет.

И вот мы хотим подняться в воздух. Но пилот и все метеорологические станции предупреждают нас: приближается буря.

— Полетим?

— Полетим! — подбадриваем мы один другого.— Пусть вихри веют! Неужто мы испугаемся какого-то ветерка! Или мы не мужчины?! Ведь мы чуть было не разбились, не сгорели. А ведь живы!

Мотайнога — большой человек, и он, конечно же, добился разрешения на вылет.

И мы летим, совершенно счастливые, преисполненные гордости собой. Но когда вертолет уже собирался идти на посадку, что-то случилось. Пилот передал нам:

— Уважаемые товарищи! Если вы верующие, молитесь! Мы налетели на аэростат. Молитесь, все приборы вырубились.

По времени нам давно пора было приземлиться. А мы все летали и летали... И чем дольше мы кружились, тем безнадежнее становился наш полет. Оба мы — известный идеолог Мотайнога и я, Болераз, бывший писатель,— должны самокритично признаться, что было нам в это время не больно-то по себе...

Не скрою, чем дольше мы летали и кружили, тем тоскливей нам становилось. И все же, должен вам заметить, мы не упали на колени, не стали молиться и взывать к судьбе. Только теперь мы все-таки друг друга поняли по-настоящему, и поэтому, хотите — верьте, хотите — не верьте, мы обнялись и признались друг другу в любви. Более того. Пусть с опозданием, но мы сказали то, что давно должны были сказать и не говорили даже тогда, когда прибежали к Дубраве.

Мы выговорились, высказали все, что было у каждого на душе. Выговорились до конца. И оба затихли, потому что уже падали на землю.

Шасси коснулось вспаханного поля. Задняя часть нашего союзписательского вертолетика приподнялась и оторвалась. Чемоданчик, туго набитый материалами идеологического содержания, приобрел способность самостоятельно двигаться и, как саблей, снес нам обоим верхушки черепов. Содержимое наших голов вылилось, как вино из сосудов, и основательно перемешалось. Служащий авиакомпании сгреб его в кучку, а потом совершенно машинально оделил нас этим содержимым; в мою голову кинул мозги Мотайноги, а в его — мои. Как не везло мне в жизни, так крупно не повезло и после смерти... Но я промолчал. И вообще не сказал бы ничего, не запротестовал бы ни словом, ни жестом, если бы... Если бы не пробудила меня, как я вам уже говорил, та самая страшная фраза, содержащая в себе невиданную дозу лжи. Она заставила меня заговорить даже после смерти:

— Я, Бартоломей Болераз, был человеком, возможно, слабым, возможно, трусливым. Но я человек и хочу, чтобы люди, мои современники, после всех ошибок, которые были совершены, после всяческих страданий и ненужных мучений все-таки стали мудрее. Стали человечнее. Да, чтобы снова стали человечными. Хотя бы капельку менее жестокими.

Тот, кто считает своим делом жонглировать словами, пусть себе говорит. Но вы, люди мои дорогие, не дайте себя обмануть! Правда нашего общества не имеет ничего общего с тем, что нас убивает и душит, загоняет в сумасшедшие дома, толкает на одиночество — как бы ни трактовали эту правду любые толкователи с заданным мышлением. Правдой может быть только то, что способствует росту и развитию нашей человеческой сущности, нашего достоинства, развитию больших и малых и самых маленьких народов.

Это для меня правда нашей эпохи.

К ней я стремился всю свою жизнь. Ради нее и во имя нее я взял слово. Пусть даже после смерти и поздно.

Март, 1956.

От переводчика

Было бы неудивительно, если бы Доминик Татарка написал свой острый памфлет «Демон согласия» об исполнительской сути «социалистической» идеологии, ставшей в период сталинизма и застоя единственно дозволенным типом мышления, в наше время — в годы перестройки.

Но «Демон согласия», публикуемый сейчас, уже после смерти автора, и звучащий как его завещание, был написан тридцать три года тому назад. Он был, пожалуй, первым крупным литературным откликом на XX съезд КПСС в социалистических странах.

Однако на протяжении всех последующих лет у этого произведения, да и у самого писателя судьба складывалась весьма непросто. Понятие «демон согласия» как парадоксальный, хотя и легко узнаваемый феномен соглашательства стало нарицательным. Сам Д. Татарка стал «человеком-легендой»: он не смирился ни с событиями 1968 года, ни с последовавшей за ними «нормализацией»; продолжал писать так, как думает, и в конце концов снискал славу самого запрещенного в Словакии писателя, как отметил В. Гавел в своем предисловии к французскому изданию «Демона согласия» в 1985 г. С этого предисловия и начинается знакомство советского читателя с произведением Д. Татарки. Как и «Демон согласия», другие его книги — «Один против ночи», «Записи с голоса», вышедшие за рубежом, в своей стране не печатались и всячески замалчивались.

К чести нашего литературоведения скажем, что в предисловии Ю. Богданова к роману Д. Татарки «Республика попов», вышедшему у нас в 1966 году, дана очень высокая оценка «Демону согласия». Однако знакомство советского читателя с этим памфлетом было отложено на долгие годы.

После 1968 года у нас стало невозможно поддержать в печати опального писателя, выступавшего против сталинских деформаций в культуре, или издать одну из его книг. Ведь вопрос о переводах с чешского и словацкого языков (как это ни странно!) решался только с согласия «компетентных чехословацких идеологических инстанций». Так перевод памфлета Д. Татарки пролежал у меня в столе четверть века. Не появились у нас и многие другие острополитические произведения чехословацких авторов 60-х годов (назову здесь хотя бы «Торжество в саду» и «Уведомление» В. Гавела, «Шутка» М. Кундеры, «Холодное солнце» И. Мухи, «Иоахим, или Властолюбие» Б. Бржезовского, «Я — ваш» Ю. Шпицера, «Топор» Л. Вацулика, «Правда о гибели Содома» И. Кржижа, «Лихорадка» и «Солнцеворот» К. Пецки, «Вкус власти» Л. Мнячко и др.).

Заметим, что памфлет, сюжетной основой которого является публичная расправа над талантливым писателем Болеразом, был написан за два с лишним года до расправы над Б. Л. Пастернаком.

11 мая 1989 года Д. Татарка умер. За несколько дней до смерти он узнал, что в советском журнале готовится публикация его «Демона согласия». Он не сомневался, что так оно и будет, рано или поздно. Большую помощь в подготовке этой публикации в трудных для него условиях еще до революционных событий 1989 г. оказал друг Д. Татарки — профессор Мирослав Кусый.

В последний раз я была у Доминика Татарки летом 1973 года. Он только что вернулся из леса, в свои без малого шестьдесят лет он работал лесорубом. Его дожидались гости, несколько человек из Польши, его старые друзья. Доминик Татарка был доволен, что может себе зарабатывать на жизнь физическим трудом, поскольку после событий 1968 года он был исключен из Союза чехословацких писателей.

Теперь в Чехословакии все стремительно меняется. В этом есть заслуга и Доминика Татарки.

СТЕФАН ГЕЙМ

Книга царя Давида

РОМАН

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

Имя писателя Стефана Гейма приобрело мировую известность в конце 40-х, начале 50-х годов, когда его, автора романа «Крестоносцы», критики называли Ремарком второй мировой войны. Впрочем, и спустя два десятилетия Генрих Бёлль, ценитель доброжелательный, но весьма взыскательный, продолжал считать «Крестоносцев» «одной из самых лучших и долговечных книг о войне».

Было время, когда книги Стефана Гейма охотно переводились и издавались в Советском Союзе, он не раз приезжал в нашу страну. Однако уже в 50-е годы у Стефана Гейма начались разногласия с тогдашним руководством ГДР. Не последнюю роль тут сыграл роман «5 дней в июне», где писатель попытался честно рассказать о драматических событиях в Берлине 17 июня 1953 года, потрясших всю страну. Эти разногласия привели к запрету на публикацию в ГДР произведений Стефана Гейма. Была, правда, короткая «оттепель», когда руководство ГДР пробовало «договориться» с писателем, были изданы три его романа — среди них и «Книга царя Давида» (1972 г.). Но Стефан Гейм, человек твердых убеждений, не сдал своих позиций. Начались новые гонения, в ход пошли более жесткие репрессивные меры — вплоть до судебной расправы.

Тем временем росла не только мировая известность «писателя-диссидента», рос и его моральный авторитет. Не случайно Стефан Гейм оказался среди духовных лидеров «нежной революции» в ГДР наряду с Кристой Вольф и Кристофом Хайном. И вот теперь, спустя почти четверть века, этот яркий и самобытный художник возвращается и к нашему читателю.

1

Да славится имя Господа Бога нашего, который одному дарует мудрость, другому — богатство, третьему — воинскую доблесть.

Мне, проживающему в Езрахе историку Ефану, сыну Гошайи, велено явиться сегодня к царю Соломону. Меня привели к нему царские писцы Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, а еще там оказались дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, священник Садок, пророк Нафан и военачальник Ванея, сын Иодая.

Пал я в ноги царю, он приказал мне подняться. Так мне впервые довелось увидеть царя Соломона воочию, лицом к лицу, и хотя он сидел на троне меж херувимов, он показался мне не столь высок ростом, как я думал раньше, даже меньше покойного отца своего, царя Давида; кожа его была желтоватой. Пристально взглянув на меня, царь спросил:

— Стало быть, ты и есть Ефан, сын Гошайи из Езраха?

— Да, господин мой царь. Перед вами раб ваш.

— Говорят, будто во всем Израиле от Дана до Висавии никого нет мудрее тебя?

Я возразил:

— Кто дерзнет возомнить себя более умным, чем мудрейший из царей Соломон?

© 1972 Stefan Heym.

Он недовольно скривил узкие губы и сказал:

— Послушай-ка, Ефан, один сон, который привиделся мне недавно, после того, как я принес жертвы и курения в Гаваоне.— Повернувшись к дееписателю Иосафату, сыну Ахилуда, и писцам Елихорефу и Ахии, сыновьям Сивы, он добавил: — Слушайте и вы, ибо сну этому надлежит войти в анналы.

Братья Елихореф и Ахия тут же достали скоропи́сные палочки и восковые дощечки, чтобы записать царские слова.

Вот каким был сон царя Соломона:

— В Гаваоне явился Господь мне во сне ночью, и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал я: «Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему, великую милость; и за то, что он ходил пред Тобою в истине и правде, и с искренним сердцем, Ты сохранил ему великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне».

Погладив нос херувима, царь опустил руку и вытянул ноги в красных сандалиях из тончайшей козьей кожи.

— Ныне, Господи, сказал я Богу, Ты поставил меня, раба Твоего, царем вместо Давида, отца моего; но я, словно отрок малый, не знаю ни выхода, ни входа. И раб Твой должен править народом Твоим, который избрал Ты, народом столь многочисленным, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть.

Царь выпрямился, солнечный луч из окна коснулся золототканой шапочки на уже редеющих волосах.

— Боже мой, сказал я Господу, даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? И сказал мне Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил смерти врагов своих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот, я сделаю по слову твоему. Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Царь поднялся, окинул испытующим взглядом приближенных и увидел на их лицах подобострастную серьезность. Довольным голосом он заключил:

— «И то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, то и жизнь твоя будет долгой».

Тут священник Садок и пророк Нафан захлопали в ладоши, а писцы Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, восхищенно вытаращили глаза. Дееписатель же Иосафат, сын Ахилуда, воскликнул, что никогда в жизни не слыхал более замечательного сна, такой сон воистину способен растрогать сердца и умы. Один Ванея, сын Иодая, хранил молчание; на его мощных скулах играли желваки, будто он пережевывал что-то горькое. Царь Соломон сошел с трона, приблизился ко мне, положил на плечо свою короткую, толстую руку и спросил:

— Ну как?

Я ответил, что царский сон и впрямь жемчужина красоты необычайной; он богат поэтическими находками и замечательными мыслями, а главное — служит доказательством того, сколь глубоко чтит царь нашего Господа Бога, неисповедимую Его волю и промысел.

— Это слова поэта,— проговорил царь.— Интересно, что скажет историк? От моего приставника из Езраха я слышал, будто ты пишешь историю народа израильского.

— Вещий сон, о мудрейший из царей,— сказал я с низким поклоном,— может сыграть в Истории не меньшую роль, нежели потоп, или могучее войско, или Божие проклятье, особенно если этот сон так прекрасно рассказан, да еще письменно засвидетельствован.

Царь в легком замешательстве вновь поглядел на меня, затем губы его растянулись в широкой улыбке и он сказал:

— Видывал я глотателей мечей и пожирателей огня, но никогда еще не встречал человека, который так ловко удерживается на лезвии ножа. А ты что думаешь, Ванея, сын Иодая?

— Слова...— проворчал Ванея,— каких только слов не наслушался я во дни отца вашего, царя Давида, и умных, и благочестивых, и просительных, и угрозных, и хвастливых, и льстивых... Только где сейчас все те краснсбаи?

Лицо царя Соломона помрачнело. Возможно, вспомнил он о судьбе своих братьев Амнона и Авессалома, или военачальника Урии, первого мужа своей матери, или о судьбе многих других людей, к смерти которых был причастен Ванея, сын Иодая.

Дееписатель же Иосафат, сын Ахилуда, сказал, что я действительно зван пред светлый лик царя как человек, искусно владеющий словом, а пророк Нафан добавил — одного, мол, кормит меч, другого — слово, ибо Господь Бог в безграничной мудрости Своей создал множество разных тварей, рыб и птиц, хищного зверя и кроткую овцу, а надо всеми ними поставил льва, столь же могучего, сколь и мудрого. Тут он поклонился царю Соломону, после чего священник Садок заметил, нельзя, дескать, забывать при этом, что путь в преисподнюю указан человеку змием, потому следует опасаться слишком уж бойкого языка и сладких речей. Из всего этого я заключил, что среди приближенных царя Соломона есть разногласия, поэтому человеку постороннему нужно соблюдать тут крайнюю осторожность.

А царь Соломон вернулся на трон и уселся меж херувимов. Поглаживая их носы, он сказал мне:

— Тебе, Ефан, сын Гошайи, наверняка известно, что отец мой, царь Давид, самолично назвал меня, своего любимого сына, престолонаследником, велел сесть на царского мула и отправиться к Гиону, дабы меня помазали там в царя над Израилем, а также то, что он поклонился мне на ложе своем и молил Бога возвеличить мой престол более своего престола.

Я заверил царя, что о том мне хорошо известно и что Господь Бог несомненно услышал последнюю молитву царя Давида и исполнит его желание.

— Тогда ты должен понимать,— продолжил царь,— что меня следует считать трижды избранником. Во-первых, Господь Бог избрал народ Израиля из всех народов; далее, Он избрал моего отца, царя Давида, владыкою над избранным народом; и наконец, мой отец избрал меня, чтобы я царствовал вместо него.

Я заверил царя Соломона, что сей вывод логически безупречен и что ни Господь Бог, ни царь Давид не смогли бы сделать лучшего выбора.

— Разумеется,— сказал царь, бросив на меня свой особенный взгляд, который мог означать все что угодно.— Однако третье избранничество имеет силу лишь в том случае, если неоспоримо доказано избранничество второе, не так ли?

— Человеку, который поднялся от вифлиемского пастуха до иерусалимского владыки,— мрачно заметил Ванея, сын Иодая,— который побил всех своих врагов и покорил их города, который подчинил себе не только царя моавского и царя филистимского, но и непокорные колена Израилевы, такому человеку не нужен ни священник, ни пророк, ни писец, чтобы доказать мою богоизбранность.

— Но этот человек мертв! — от вспышки гнева царский лик побагровел.— А по Израилю ходят всякие слухи, ненужные и даже вредные. Я строю нашему Господу Храм, чтобы прекратить молитвы и жертвоприношения на первом попавшемся пригорке за деревней, ибо все дела Богом и человеком должны вершиться в едином месте; вот и о жизни отца моего, о великих делах и подвигах царя Давида, избравшего меня

на свой престол, нужна достоверная книга, которая не допускала бы никаких кривотолков.

Даже Ванея, сын Иодая, слегка оробел от столь неожиданной вспышки гнева, хотя именно Ванея сыграл в свое время решающую роль при избрании Соломона престолонаследником.

А царь велел говорить дееписателю Иосафату, сыну Ахилуда.

Иосафат, сын Ахилуда, шагнул вперед, вытащил из складки рукава глиняную табличку и прочитал:

— Членами царской комиссии по составлению *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе, богобоязненной жизни, а также о героических подвигах и чудесных деяниях царя Давида, сына Иессеева, который царствовал над Иудою семь лет и над всем Израилем и Иудою тридцать три года, избранника Божьего и отца царя Соломона* назначаются: Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель; Садок, священник; Нафан, пророк; Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, писцы; Ванея, сын Иодая, военачальник; редактор без права голоса — Ефан, сын Гошайи, историк и писатель из Езраха. *«Книгу об удивительной судьбе и т. д.»*, именуемую впредь для краткости *Книгой царя Давида*, надлежит составить путем тщательного отбора и целесообразного использования всех имеющихся материалов об удивительной судьбе и т. д. усопшего царя Давида, как то: царских грамот, писем, анналов, а также устных свидетельств, преданий и легенд, песен, псалмов, притч и пророчеств, особенно тех, что удостоверяют великую любовь и предрасположенность царя Давида к своему любимому сыну и престолонаследнику царю Соломону; вышеупомянутая *Книга* должна явить нашему времени и грядущим временам полную Истину, чтобы положить конец всем Разнотолкам и Спорам, устранить всякое неверие в Избранность Давида, сына Иесеева, нашим Господом Богом, искоренить Всяческие Сомнения в Достославных Обетованиях нашего Господа Бога Семени Давидову и Потомству.

Дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, поклонился. Вид у царя Соломона был довольный. Он поманил меня пальцем и сказал:

— Я помогу тебе, Ефан, сын Гошайи, если ты заколеблешься, не зная, где истина и где ложь. Когда приступишь к делу?

Тут я бросился царю Соломону в ноги, чтобы поблагодарить его за великое доверие, коим он меня удостоил. Ни одна живая душа от Дана до Варсавии не бывала столь удивлена, как я сейчас, сказал я, и если бы во сне явился мне Ангел Господень возвестить о подобном назначении, то я рассмеялся бы, словно некогда Сара, жена Авраама. Но человек я слишком незначительный, продолжал я, такая трудная и ответственная задача мне не под силу; вот если бы речь шла о двух-трех псалмах, о кратком историческом очерке одного из малых колен Израилевых, или о новой версии того, как Моисей был найден в тростнике, тогда другое дело — это мне по плечу; ведь, в конце концов, от маленького муравья нельзя требовать, чтобы он построил пирамиду.

На это царь Соломон расхохотался от чистого сердца и сказал остальным:

— Воистину мудр тот, кто предпочитает остаться дома, чтобы избегнуть опасностей, которые подстерегают его в пути.— Мне же царь сказал: — Я могу взять твоих сыновей воинами на колесницы или всадниками в конницу, а могу забрать их в пешее войско, что пускают впереди колесниц. Я могу взять твоих дочерей сластницами, или кухарками, или подавальщицами. Я могу отобрать твое поле, твой виноградник и масличный сад. А еще я могу заставить тебя чистить хлевы или махать опахалом. Но я хочу, чтобы ты работал историком под руководством моей комиссии, ибо каждому под Богом дано свое место — пастуху при стаде, а писцу при глиняных табличках.

Тут я поклонился до самой земли и попросил принять во внимание, что я человек хворый, со слабым сердцем и желудком, а потому, воз-

можно, упокоюсь рядом со своими предками в Езрахе еще до того, как работа по составлению *Книги царя Давида* подвинется хотя бы до половины; зато я мог бы порекомендовать историков помоложе, с отменным здоровьем и умом более гибким, то есть именно с такими качествами, кои нужны для составления Книги, единственно истинной и способной положить конец всем разнотолкам и спорам.

На это царь Соломон сказал:

— А по-моему, выглядишь ты вполне здоровым, Ефан. У тебя прекрасный загар, пышные волосы, все зубы цёлы, да и глаза у тебя блестят, как от вина или от женщины. А кроме того, у меня имеются искуснейшие лекари Израиля и соседних царств, вплоть до Сидона и Тира, у меня есть также договор с царицей Савской, которая пообещала при нужде прислать врача, что удаляет камни из почек. Иногда я буду приглашать тебя к моему столу, чтобы ты отведал яств лучшей кухни по нашу сторону Негеба, и жалованье тебе положат как малому пророку, что даст тебе возможность привезти обеих жен и твою юную наложницу в Иерусалим, где ты получишь хороший кирпичный дом с тенистым садиком.

Тут я понял, что царь Соломон уже все продумал и мне не удастся уклониться от его милостей. Сообразил я и то, что дело для меня может кончиться плохо, как это уже бывало с нашим братом книжником, которому отрубали голову, а тело пригвождали к городской стене, зато тут можно было и поживиться, причем весьма неплохо, надо только не давать воли языку и поумнее пустить в ход свое стило. С малой толикой везения да с Божьей помощью можно ведь исхитриться вставить в *Книгу царя Давида* тут словечко, там строчку, чтобы последующие поколения сумели догадаться, что же действительно произошло в те годы и каким человеком был Давид, сын Иессеев, который одновременно был любодейником и царю, и царскому сыну, и царской дочери, который сражался наемником против собственного народа, который велел убить сына и своих самых преданных слуг, а потом громко оплакивал их смерть, и который, наконец, сплотил в единую нацию племена жалких крестьян и своенравных кочевников.

Поэтому я выпрямился и сказал царю, что исполненные мудрости слова его убедили меня, я принимаю должность, хотя и со смущением и робостью; с учетом времени, которое понадобится на приличествующие такому случаю молитвы и жертвоприношения, на переезд из Езраха в Иерусалим, причем со мной поедут мои жены и юная наложница, а также наш скарб и мой архив, я буду готов приступить к работе на второй день после Пасхи. Однако, продолжил я, ибо решил ковать железо, пока горячо, мне хотелось бы выяснить еще один небольшой вопрос, который касается обоих моих сыновей: до сих пор я сам занимался их воспитанием, а теперь вряд ли у меня достанет для этого досуга и сил. Не соблаговолит ли мудрейший из царей царь Соломон явить такую милость...

— Садок! — сказал царь.

Садок поклонился.

— Распорядись, чтобы оба сына Ефана были определены в хорошую левитскую школу.— И поскольку Садок поднял брови, царь великодушно добавил: — Расходы на их обучение и содержание берет на себя царская казна.

Ибо царь Соломон был воистину щедр, когда речь шла о трате денег налогоплательщиков.

2

НОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА В ЕЗРАХ НА КРЫШЕ СВОЕГО ДОМА В ПРИСУТСТВИИ НАЛОЖНИЦЫ ЛИЛИТ, КОТОРАЯ СТАРАЕТСЯ ОТВЛЕЧЬ ЕГО СВОИМИ ЛАСКАМИ

Ни одна история не начинается со своего начала; корни дерева всегда скрыты от глаз и достают до воды.

У других народов были цари, которые провозглашали себя богами, а у народа Израиля Бог был царем — царем невидимым, ибо Яхве — невидимый Бог. Его изображения нет ни в камне, ни в бронзе; Он запретил делать Его изображения. Невидимым восседал Бог Яхве между херувимами на своем престоле, коим был ковчег завета, носимый с одного места на другое; куда ни шел народ, шел с ним и Он, жил в скинии, в шатре, как и Его народ. Жертвы Он принимал на возвышенностях или под старой сикоморой, камнем полевым довольствовался Он заместо алтаря. Говорил Он, когда хотел говорить, громом туч или шепотом ветра, бормотанием пророка и сновидением ребенка, устами Ангела и перестуком урима и тумима. Он изрекал законы, но Сам бывал часто несправедлив; Он бывал вспыльчив и долготерпелив; Он имел любимчиков, часто противоречил Сам Себе — словом, походил на тех племенных старейшин, каких и по сей день можно встретить в глухих горных долинах.

Лилит, любимая, принеси мне чашу вина, что хранится в холодном погребе, дареного царем красного вина, из царского виноградника в Ваал-Гамоне. Лилит, любимая моя, чьи груди как двойни молодой серны, мы поедем в Иерусалим, там я куплю тебе узорчатое платье, какое носят царские дочери, и сладкоароматных духов, и там я потеряю тебя. Принеси мне вина...

Почему же царя Яхве заменили Саулом, сыном Киса?

Видимый царь, каким бы он ни был величественным в молодые и зрелые годы, со временем стареет и дряхлеет; однако Господь Яхве, царь Израиля, всегда пребывал в величии и славе. Зато волю Свою Он мог возгласить лишь через уста других, а те, кто эту волю истолковывали, были людьми. Они могли ошибаться. Они могли вкладывать собственные желания в божественные знамения, и ходили слухи, что не один священник переиначивал слова Яхве ради собственных весьма земных интересов.

Конечно же, Самуила, священника, прозорливца и судью, к их числу отнести нельзя. Я изучал его книгу, которую он оставил нам, и убежден, что он был человеком честным и держался высочайших принципов нравственности. Только совершенно праведный человек мог выйти перед всем народом, как он сделал это в Массифе, и заявить: «Вот я: свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и притеснил, и когда взял дар и закрыл в деле его глаза мои...» Однако такой человек может натворить своей прямотой бóльших бед, чем какой-нибудь сын Велиара своим мошенничеством.

Пєй, Ефан, мой любимый. Эта ночь так благоуханна. И почему ты должен меня потерять? Я тебя не покину, если только ты сам не прогонишь меня. Лучше давай я спою тебе песню, которой ты меня научил:

Я нарцисс саронский, лилия долин!
Что лилия между тернами,
то возлюбленная моя между девицами.
Что яблоня между лесными деревьями,
то возлюбленный мой между юношами.

Но ты совсем не слушаешь меня...

Священники из Рамы, отцы которых служили под его началом, странствующие пророки из его школы, все они описывают Самуила так: высок и худ, косматая седая грива, жидкая борода, которой никогда не касалась бритва брадобрея, глаза истового ревнителя веры, жесткая складка рта — этот человек видел врага в каждом, кто не сразу покорялся его воле и велению Бога, ибо Бог был царем Израиля, а Самуил — Его наместником перед народом.

Самуил судился с народом, возжелавшим себе царя, который отвечал бы своим голосом и поражал собственным мечом. Суровыми словами обрисовал он сущность владыки, поставленного на царство, и предупредил, что безграничная власть портит человека. Но народ Израиля оказался глух к этим словам.

По-моему, Самуил вряд ли сумел понять, почему народ так упорствовал в своих требованиях заполучить живого царя из крови и плоти и почему именно ему, не худшему из судей израильских, пришлось поступиться своим местом и помазать в царя человека.

Лилит, любимая, отведай царского вина. И погладь мне виски, а то голова разболелась. Откуда приходят бури, которые изменяют лик мира, и что порождает их? Если когда-нибудь появится человек, способный предугадать их направление, то он прослывет мудрее самого царя Соломона...

Самуил спорил и с Господом Богом; в своей книге он привел слова Господа, которые Тот сказал ему: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними».

Какова самоотреченность Того, кто отделил свет от тьмы и воду от воды.

Возможно, что Бог говорил так, чтобы утешить Самуила; но по всем свидетельствам, Самуилу хватило бы характера снести этот удар и без божественных увещеваний. Скорее, по-моему, толкователь Господних слов выражал собственные чувства: это он, Самуил, считает себя отвергнутым, только переносит свою обиду в сердце Бога.

Ведь слова, услышанные Самуилом, весьма знаменательны. Нужно лишь вслушаться в их оттенки. Разве в них не узнается голос старого человека? Он глава небольшого племени; у него есть свои слабости и свои достоинства; он пытался утвердить справедливость и действовать по совести; он старался помочь своим соплеменникам; но настали новые времена...

Новые времена...

Голос твой, Лилит, моя любимая, подобен весеннему ручейку; слова, которым я тебя научил, так сладкозвучны в устах твоих:

> Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал;
> цветы показались на земле;
> время пения настало, и голос горлицы слышен
> в стране нашей...

Но когда они начались, эти новые времена с их новой смутой, из-за которой Израилю понадобилась новая власть? Когда последняя кочевая семья последнего кочевого племени получила свой земельный надел? Когда бронзу сменило железо? Когда на рынке перестали менять шерсть на зерно, а начали все продавать за кусочки серебра? Когда честный пастух стал базарным крикуном, торговцем, ростовщиком?

Настали новые времена, но Самуил, хотя и был прозорливцем, не разглядел их. Он объезжал Израиль каждый год по одному и тому же кругу— через Вафиль до Галгала и Миццы — и судействовал во всех этих местах и возвращался в Раму, ибо там находился его дом, там он вершил суд остаток года, там же он воздвиг Господу алтарь и думал, что так все останется до конца его дней. Настало, однако, время, когда уже нельзя было не внять голосу народа, и Господь сказал свое слово Самуилу, и Самуил избрал Саула, сына вениамитянина Киса, который был на голову выше всех прочих людей из своего народа; Самуил отправился искать отцовских ослиц, а нашел целое царство.

Вот что сообщает нам Самуил в своей книге, и смысл его слов ясен: Саул — царь над Израилем по милости Самуила, первосвященника, судьи и пророка, он — творение Самуила и всем обязан ему.

Но есть и другое предание о воцарении Саула. Многое остается темным. Современников нет в живых, а документы уничтожены царем Давидом: человек, по воле которого повешены последние отпрыски мужского пола его предшественника Саула, не мог не истреблять и память о нем.

Бродячие сказители рассказывают по рынкам и у городских ворот, как однажды пришел Саул позади волов с поля и услышал плач народа; он узнал, что аммонитянин Наас осадил город Иавис в Галааде и пригрозил выколоть каждому жителю города правый глаз, чтобы положить бесчестие на весь Израиль. Рассказывают, будто сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии. Он взял пару волов и рассек их на части, и послал во все пределы Израильские через послов. Во всяком случае, собралось к нему столько народу, что он разделил его на три отряда и отправился с ними в Иавис Галаадский, а там во время утренней стражи напал на аммонитян и поразил их до дневного зноя, и освободил город.

Здесь по воле Яхве и родился новый вождь израильский — как Гидеон, как Иеффай, как длинновласый Самсон. Но теперь народу нужен был царь, и народ отправился с ним к святыням Галгала и, принесши мирные жертвы, поставил там Саула царем.

Народ, а не Самуил.

— Ты зябнешь, Ефан, мой любимый.

— Бури, которые изменяют лик мира, веют стужей.

— Мои бедра теплы, любимый, я раскрою их для тебя.

— Мед и молоко под языком твоим, Лилит, моя любимая, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Ласки твои лучше вина...

3

С тех пор как праотец наш Авраам переселился из Ура Халдейского в Ханаан, на долю нашего народа выпало немало скитаний. Опыт научил нас, что лучше отправляться в путь с небольшой поклажей, уповая на Бога.

Однако мои архивы состояли из несметных глиняных табличек и пергаментов, и все это было необходимо взять с собой. Но при виде целого каравана вьючных ослов, груженных ящиками моих архивов, мог ли я отказать Есфири, любимой моей супруге, взять ее сундуки и ковры, а Олдане, матери моих сыновей, забрать ее любимую утварь, а моей наложнице Лилит — ее баночки, коробочки, пудреницы? Поклажа и впрямь сама порождает новую поклажу, ибо на каждую пару ослов с полезным грузом нужен третий осел с провизией для погонщиков и животных.

Шли дни. Каждый раз, когда я оборачивался назад и видел наш караван, плетущийся по песчаной дороге — сорок ослов с погонщиками и моею семьей,— я вспоминал долгий путь в пустыне Синайской. Возможно, в пересчете на каждого человека, дети Израиля тащили с собой поменьше скарба из Египта, чем мы из Езраха, зато нас в Иерусалиме ожидало, пожалуй, столько же неизвестностей, сколько их в земле обетованной.

Есфирь покачивалась на ослике, ее опаляло безжалостное солнце, под глазами у нее темнели круги; она опиралась на Сима и Селефа, моих сыновей от Олданы, которые шагали рядом. Сердце мое сжалилось над Есфирью, и я велел сделать привал в тени большого валуна, на макушке которого росло дерево теревинф.

Но Есфирь сказала:

— Я знаю, Ефан, ты спешишь в Иерусалим.

Я поглядел на ее осунувшееся лицо, услышал, как трудно ей дышать, и вспомнил ее прежнюю: своенравную и жизнерадостную, остро-

умную и веселую женщину, человека редкой душевной красоты. И я сказал:

— Мне хочется прибыть туда вместе с тобой, любовь моя.

Она проговорила:

— Если Господь захочет, я буду жить. А если не захочет, то придет ко мне Ангел Господень, положит мне руку на сердце, и оно замрет.

И послал Господь ей сон, она спала в тени, пока не подул вечерний ветер и не настала пора вновь отправиться в путь. Долгим он оказался, и продвигались мы медленно, ибо приходилось останавливаться каждый раз, когда Есфирь слабела. Но на седьмой день мы достигли перевала над рекой Кедрон, откуда открывался вид на Иерусалим — на его валы, и ворота, и башни над воротами, на его поблескивающие крыши, на его скинию, пурпурное пятно на ослепительно белом фоне дворца и крепости.

Тут я пал ниц перед Господом и возблагодарил его за то, что он сподобил меня и моих близких увидеть Иерусалим; я поклялся принести на жертвенник, что воздвиг царь Давид на гумне иевусеянина Орны, жирного барашка и нежного козленка — барашка в благодарность за благополучное окончание путешествия, а козленка с молитвою о Божьей помощи в граде Давидовом и при дворе царя Соломона.

На стенах и башнях стояли дозорные, которые издалека заметили нас и следили за нашим приближением к большим воротам. Стражник-хелефей остановил нас, а когда я показал ему свой пропуск, он позвал начальника привратной стражи.

— Гм, историк? — Начальник стражи оказался грамотным.— В Иерусалиме нужны каменотесы, каменщики, носильщики раствора, сапожник тоже пригодился бы, а тут нате вам, историк пожаловал.

Я показал царскую печать.

— Этому народу нужна история,— продолжал начальник стражи,— как мне нарыв на члене. Дураками они рождаются, дураками и помрут: они блудодействуют со своими матерями и овцами, а ты хочешь наделить их историей. Им и без твоей истории тошно.— Он тыкнул грязным толстым пальцем в один из ящиков.— Что там?

— Мой архив.

— Открывай.

— Но таблички выпадут, все перепутается.

— Открывай, тебе говорят.

Узел никак не развязывался. Я изо всех сил тянул за ремни. Вдруг ящик открылся, и бесценные глиняные таблички полетели в пыль. Толпа у ворот заухмылялась. Кровь бросилась мне в лицо, я хотел прикрикнуть на начальника стражи, но тут взгляд мой упал на толпу. Это были странные люди, совсем не такие, каких встречаешь в провинциальном городке вроде Езраха. Это были воры, бездельники, бродяги, беглые рабы, словом, головорезы; и все в лохмотьях; тут же были и калеки, которые словно нарочно выставляли всем на обозрение свои культи, липкие волосы, гноящиеся глаза. Это была трясина, над которой встал новый Иерусалим, это была обратная сторона величия царя Соломона — выродки нового времени, слишком неповоротливые, слишком ленивые или просто слишком слабые, чтобы шагать в ногу с веком. На меня сыпались издевки и угрозы; возможно, причиной тому послужили сорок ослов, навьюченных скарбом, а может, то, что я оказался историком,— начальнику стражи достаточно было только кивнуть, и они накинулись бы на нас, как гиены на падаль.

Но тут начальник стражи выхватил из-за пояса плеть и щелкнул ею над головами. Сим и Селеф поспешно собирали таблички. Я уложил их в ящик и увязал его на скорую руку.

Так мы вошли в этот город.

Ох, что это было за лето! То лето в Иерусалиме.

Один знойный день сливается с другим. Есфирь молча страдает. Олдана дремлет, капельки пота текут по ее щекам. Даже Лилит кажется вялой и невеселой.

Надо было подумать о жаре, о мухах, о городской духоте, прежде чем давать согласие приступить к работе над *Книгой об удивительной судьбе и т. д.* на второй день после Пасхи.

Все, кто мог себе это позволить, выехали за город. Царь и двор, а также гарем отправились в царские поместья у озера Киннереф, чтобы наслаждаться там водной прохладой; только десяти наложницам Давида, к которым на глазах всего народа вошел взбунтовавшийся сын Авессалом и к которым царь с тех пор не ходил, нельзя было поехать со всеми, бедняжкам. Мне еще повезло: Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель, задержался в Иерусалиме по служебным надобностям, и я смог сообщить ему о своем приезде. Он послал меня к распорядителю царской недвижимостью. Этот почтенный человек, который, судя по всему, также стремился как можно скорее покинуть город, после короткой беседы выделил мне якобы единственное свободное жилье — дом № 54 в переулке Царицы Савской; в доме три комнаты, а находится он в квартале царских чиновников и левитов второго и третьего разряда. Хотя строители ушли совсем недавно, в штукатурке уже виднелись трещины, с потолка свисала солома, крыша опасно покосилась. Кроме того, дом был слишком мал, а я нуждался в рабочей комнате. Ее можно было бы пристроить, как-никак я занял должность редактора *Книги царя Давида,* поэтому рассчитывал найти ростовщика, который — пусть под грабительские проценты — ссудит мне денег на строительство; только где взять в Иерусалиме каменщиков и плотников? Все наличные строители с восхода до заката, за исключением суббот, работают на возведении Храма, царского дворца, конюшен и помещений для новых царских боевых колесниц, а также казарм для хелефеев и фелефеев и общественных зданий для умножающихся с каждым днем учреждений. Школа сейчас закрыта на летние каникулы, поэтому Сим и Селеф слоняются по улицам, как бродячие собаки; они рассказывают, что в Иерусалиме можно достать все, нужно только иметь связи и знать, кому дать на лапу. Я не против того, чтобы использовать связи или немного раскошелиться, но в этом городе я еще совсем чужой, а положение мое слишком шаткое, да и обстановка в целом весьма сложная; при таком раскладе я просто не мог позволить себе неверного шага.

Короче говоря, от пристройки пришлось отказаться. Кроме того, у меня кончились деньги. В царском казначействе, что находилось чуть южнее строящегося Храма, чиновников почти не осталось, да и оставшиеся старались уйти со службы домой при первой же возможности; после многочасового ожидания мне удалось, наконец, разыскать некоего Фануила, сына Муши, письмоводителя третьего разряда, который меня терпеливо выслушал. Затем, перерыв кучу запыленных глиняных табличек и пергаментов, он сообщил мне, что ни платежных поручений, ни каких-либо других указаний по моему поводу не поступало и до праздника Кущей, который будет отмечаться царем Соломоном и его приближенными в Иерусалиме, вряд ли можно на что-то надеяться.

Я жалобно запричитал и спросил, неужели в Иерусалиме нет совершенно никого, кто мог бы распорядиться о выплате задатка и кого можно было бы склонить к такому решению.

На это Фануил, отогнав муху от морщинистого лица, сказал мне: даже если такой влиятельный человек и нашелся бы сейчас в Иерусалиме, разве его подписи достаточно? Сегодня он подпишет, завтра его, может, уже и не будет на прежней должности, чего тогда стоит эта подпись? Кто знает, чьи имена были в том списке, который царь Давид вручил на смертном одре своему сыну Соломону? Поэтому на каждом платежном поручении должна стоять либо царская подпись, либо царская печать.

Тут я, чуя, что могу услышать важные сведения, поинтересовался:

я и сам, дескать, слышал о таком списке, но видел ли его кто-нибудь? Может, сей пресловутый список на самом деле лишь слух, распускаемый нарочно, чтобы оправдать действия Ванеи, сына Иодая.

Фануил, опасаясь, что разговор зашел слишком далеко, пробормотал: не пора ли подзакусить, солнце, мол, уже высоко, и дело идет к полудню.

Хоть и потощал мой кошелек, однако я тут же спросил Фануила, не составит ли он мне компанию в скромной трапезе; может, он знает спокойную харчевню за городской стеной, где найдется тень, приличное вино и хорошее жаркое?

Ибо занятие историей состоит не только в изучении глиняных табличек.

ИСТОРИЯ РАСПРЕЙ ПРИ ВОСШЕСТВИИ НА ПРЕСТОЛ СОЛОМОНА, СЫНА ДАВИДА, ЗАПИСАННАЯ СО СЛОВ ФАНУИЛА, СЫНА МУШИ, ПИСЬМОВОДИТЕЛЯ ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА ПРИ ЦАРСКОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ; В СКОБКАХ ДОСЛОВНО ПРИВЕДЕНЫ ПРИМЕЧАНИЯ ФАНУИЛА, СЫНА МУШИ, КОТОРЫЙ ОТ ВИНА И ЖАРКОГО СДЕЛАЛСЯ ВЕСЬМА СЛОВООХОТЛИВ

Когда царь Давид уже состарился и вошел в преклонные лета, то никак не мог согреться, хотя ему отыскали красивую девицу сунамитянку Ависагу, которая ходила за ним и лежала с ним, чтобы ему было тепло. А он знал, что дни его сочтены, но не выказывал предпочтение ни Адонии, ни Соломону, ни кому-нибудь другому из своих сыновей.

(Царь лежал, глядел в потолок и чувствовал, как власть ускользает у него из рук. Он хорошо понимал, что все следят за ним и ждут его слова, чтобы использовать это слово в борьбе за престолонаследие; это слово было последним, что осталось ему от прежнего могущества.)

Адония, сын Давида от жены его Агифы, красавец, родившийся Давиду после Авессалома, стал говорить: «Я буду царем!»; он завел себе колесницы и всадников и пятьдесят человек скороходов, которые бежали впереди и кричали народу: «Посторонись! Прочь с дороги престолонаследника». Но даже когда шум доходил до царя, он не стеснял сына вопросами.

(Впрочем, на царя уже обращали мало внимания. Ему же приходилось лишь ждать, когда Господь сам склонит чашу весов в чью-либо пользу. Правда, за царем было еще его слово, предсмертное слово; и если, упаси Бог, слово будет сказано не тому, кому надо, и тот потерпит поражение, что останется от Давида? Суд людской творится потомками, а от сына зависит, каким сохранится отец в памяти народа.)

Адония же сговорился с военачальником Давида Иоавом, чтобы заручиться помощью войска, и с первосвященником Авиафаром, за которым стояли все священники страны, ибо не хотели потерять своих малых святынь и алтарей на возвышенностях, с коих имели доход; оба они поддерживали Адонию. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Зохелет, что у источника Рогель, и пригласил всех своих братьев, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя. Только Соломона, брата своего, он не пригласил.

(Соломон, второй сын Вирсавии,— думал, вероятно, умирающий царь,— еще в юные годы прославился своими мудрыми притчами. Бог благоволит Соломону, это ясно, только никогда не поймешь, что у Соломона на уме. За старшим, за Адонией,— войско, но войско сначала нужно собрать, а священники Авиафара разбросаны по стране, их с места не сдвинешь, зато пить, жрать да блудить — это они тут как тут. Все будет зависеть от того, как поведет себя Ванея, поставленный над

хелефеями и фелефеями, царской гвардией, ибо она была единственным войском, всегда готовым к бою.)

А вот пророк Нафан и Садок, другой первосвященник, который выступал за установление единого и главного Святилища и за прочную власть надо всеми священниками и левитами, оба они не были сторонниками Адонии и весьма опасались его. Нафан внушил Вирсавии, что ей нужно спасать свою жизнь и жизнь своего сына Соломона. Он посоветовал ей пойти к царю Давиду и сказать: «Не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: «Сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем»? Почему же воцарился Адония?» Нафан пообещал Вирсавии прийти к царю вслед за ней и подтвердить ее слова. Вирсавия пошла к царю в спальню и сказала ему то, чему научил ее пророк Нафан, а от себя добавила: «Господин мой царь, глаза всех израилитян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь погибнет с отцами своими, пострадаю я и сын мой Соломон».

(Он лежал на постели с девицей Ависагой, которая согревала его, а жена увещевала его. Неужели он впрямь дал ей когда-то такое обещание? Последняя страсть у мужчины самая сильная; из-за нее он пошел на убийство, и Соломон был дитем греха. Но после страшной смерти Амнона и после гибели Авессалома, повисшего на собственных волосах в ветвях дуба, Адония был следующим престолонаследником. Старуха, которая просила за сына, и девушка, которая прижималась к царю,— нет, это для него слишком; все мы лишь путники на этой земле, и его путь подошел к концу.)

И вот, когда Вирсавия разговаривала с царем, в спальню вошел пророк Нафан и сказал: «Господин мой царь! Сказал ли ты: «Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем?» Ведь он ныне пригласил всех сыновей царских, и Исава, и военачальников, и священника Авиафара, и вот, они едят и пьют у него, и говорят: «Да живет царь Адония!» А Соломона, сына твоего, и меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, не пригласил». «Но царь повернулся к Ависаге, поглядел на нее и сказал: «Так красива и хороша, а проку мне никакого». Потом он спросил Нафана: «Я правильно понял — Ванею он тоже не пригласил?» И пророк Нафан ответил: «Все так, как я сказал тебе, господин мой царь; ни Ванею, сына Иодаева, ни царскую гвардию не пригласил Адония к камню у источника Рогель».

Тогда царь Давид приподнялся и сказал Вирсавии: «Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, так и сделаю это сегодня». И сказал он: «Позовите ко мне священника Садока и Ванею, сына Иодаева». И когда вошли они к царю, сказал он им: «Возьмите хелефеев и фелефеев, посадите Соломона, сына моего, на мула моего и сведите его к Гиону. И да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите: «Да живет царь Соломон!» И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю: «Аминь,— и да скажет так же Господь, Бог господина царя моего!»

(Он откинулся на подушки. Одна чаша весов Господа склонилась, и слово Божие он ясно услышал. Только было это утомительно и пришлось потерпеть, пока Соломон не вернется из Гиона; ведь нужно было еще передать ему список, чтобы сын расквитался с теми, с кем самому ему расквитаться не хватило сил. Многие искали этот список в моих покоях и хранилище тайнописей. Дураки, подумал, должно быть, умирающий царь. Все имена были у него в голове. Все до единого.)

И сделали Нафан и Садок и Ванея так, как велел им царь, и помазали Соломона и затрубили трубой. Весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!», и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. А Адония и все приглашенные им услышали шум. Иоав спросил: «Отчего этот шум волнующегося города?» Тут пришли вестники, среди них сын священника Авиафара, и рассказа-

ли о том, что случилось. Тут все, кто был с Адонией, увидели, что Иоав, который был главным военачальником, не имел при себе войска, а при сотниках не было их сотен и при тысячниках их тысяч; зато Ванея, сын Иодаев, имел при себе своих хелефеев и фелефеев, царскую гвардию. Тут все приглашенные испугались и, даже не отерев рот после еды, встали и пошли каждый своею дорогой. Адония же, боясь Соломона, пошел и ухватился за роги жертвенника. Однако Соломон был еще не уверен в своей власти, и поэтому он сказал: «Если Адония будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю; если же найдется в нем лукавство, то умрет». И Адония пришел и поклонился царю Соломону; и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». А дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, который лежал в то время в своем летнем доме в Ливане, вернулся в Иерусалим и восславил нового царя и был обласкан Соломоном. Ванею, сына Иодаева, царь поставил военачальником надо всем войском вместо Иоава. Все же недовольные в Израиле, которые считали себя утесненными, обратили свои взгляды к Адонии и ждали, когда Иоав затрубит в свою трубу; но царь Соломон велел Ванее всюду иметь свои уши, и голос Израиля стал тише ветерка среди колосьев.

К концу своего рассказа Фануил, сын Муши, мой собеседник, захмелел. Он обнял меня и поведал, что все цари одинаковы, будь то Адония или Соломон; все они — кровопийцы ненасытные; и вообще Господь проклял дом Иессеев за то, что на руках у Давида слишком много крови, и за те беды, что он принес народу.

Под вечер, когда мы возвращались через городские ворота, вдруг раздался стук копыт, шум колес и топот скороходов, которые кричали: «Посторонись, голодранцы! Дорогу Ванее, сыну Иодаеву, верховному начальнику над войском и над хелефеями и фелефеями, царской гвардией!» Мой новый друг тотчас куда-то исчез, будто его поглотила преисподняя; я же застыл от неожиданности как вкопанный. А с высоты раздался зычный голос: «Тпрр, зверюги!»

Колеса визгнули, полетели искры из-под копыт, и прежний голос произнес:

— То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если передо мною не Ефан, сын Гошайи, редактор *Книги об удивительной судьбе и т. д.*

Я хотел было пасть ниц, но властная рука поманила меня в колесницу.

— Я доставлю тебя домой, Ефан, если ты направляешься туда,— сказал Ванея.— Я уже слышал, что ты в Иерусалиме. Почему не зашел ко мне?

Я вскарабкался в колесницу.

— Мне казалось, что мой господин также находится в одном из царских летних домов,— сказал я,— на берегу моря или на склонах Ливана, где ручьи, текущие с вечных снегов, орошают шелестящие кедры.

— Шелестящие кедры.— Ванея неожиданно рванул колесницу с места, и я едва удержался на ногах.— Кто защитит мирного агнца от лютого медведя, от рыкающего льва или от шакала, если я уеду из Иерусалима?

Я видел перед собою лоснящиеся крупы лошадей и белые жезлы скороходов; вокруг снова и снова раздавалось имя Ванеи, сына Иодаева. Тут сошел на меня Дух Господень, и я понял, сколь сладка человеку власть.

Рука Ванеи, державшая вожжи, была крупна и жилиста; он гулко расхохотался и проговорил:

— Мой отец был рабом в Израиле, он работал на медных рудниках, там нажил чахотку и умер. А я, Ванея, его сын, обучился грамоте, и твои глиняные таблички не составляют для меня тайны. Я беру тебя под мою защиту, Ефан, пока ты будешь писать то, что угодно мне

и царю Соломону, но если у тебя возникнут крамольные мысли и если ты вздумаешь их записать в свои таблички, то я воздену твою голову на кол, а тулово пригвозжу к городской стене.

Я заверил Ванею, что далек от любой крамолы, более того, как глава семейства, я весьма почтительно отношусь к государству и всем его учреждениям, военным, административным или религиозным.

Колесница остановилась.

— Дальше тебе придется идти пешком,— Ванея ткнул пальцем в улочку, которая сужалась настолько, что и двум ослам не разойтись.— Этот город не рассчитан на езду в колесницах.

Я соскочил наземь, поблагодарил Ванею и пожелал, чтобы Господь наградил его здоровьем и богатством; казалось, он не слушал меня. Он заставил коней попятиться и каким-то чудом исхитрился развернуть колесницу; потом вновь послышался бег скороходов, топот копыт, стук колес. В наступившей тишине мне пришло в голову, что стоило бы попросить у него денег. Его подпись наверняка бы подействовала.

4

Жара спáла. Начался праздник Кущей, город пьянел от вина и запаха мяса, которое жарилось на жертвенниках.

В царских виноградниках Ваал-Гамона, как всегда об эту пору, были поставлены кущи, то есть шалаши, напоминающие об исходе из Египта, в шалашах обнимались парочки — нередко одного и того же пола. Казалось, ханаанские боги Ваал и Астарта празднуют свое воскрешение.

На украшенном гирляндами кресле восседал увенчанный виноградным венком Аменхотеп, главный евнух царского гарема, видимо, он мнил себя верховным жрецом этого празднества. По-египетски изящным мановением руки он отправлял пышногрудых дев и узкобедрых юношей в тот или иной шалаш, а вслед за ними — рабов, которые несли туда мехи с вином и блюда со сладостями.

— Ефан, сын Гошайи? — спросил Аменхотеп гортанно, как говорят жители берегов Нила, на что я утвердительно кивнул.— Почему же ты не захватил никого из своих женщин?

Он был, по слухам, новоприобретением двора, подарком фараона царю Соломону; Аменхотепа, тонкого знатока женщин, успели оценить в царском гареме за изысканные манеры, выгодно отличавшие его от здешних надзирателей, грубых и неотесанных.

— Честь и без того слишком высока для меня,— ответил я,— приглашение застало меня врасплох, поэтому я решил, что оно не распространяется на кого-либо еще.

— Да, приглашение и впрямь необычно. Некая весьма высокопоставленная особа желает познакомиться с тобой.

Он улыбнулся и повернул голову, его профиль четко вырисовался в ярком свете факела. Аменхотеп был на редкость худощав для евнуха; лишь дряблая кожа под подбородком да срывающийся порою на высокую ноту голос свидетельствовали о предпринятой некогда операции.

Аменхотеп подал знак факельщику, я последовал за ним. Ночь наполнилась голосами, пахла спелым виноградом. Кто-то запел, мелодию подхватила флейта — чуточку фальшиво, но с чувством, чей-то смех раздался и тут же смолк.

Я споткнулся и едва не упал. Меня подвели к шалашу, где на низеньком ложе, облокотясь, сидела стройная женщина в закрытом до горла строгом, темном одеянии. Факельщик исчез, но тут горел маленький светильник, да и лунный свет просачивался тонкими полосками сквозь ветки навеса. Женщина повернула ко мне лицо, на котором время оставило свой след, я разглядел в полутьме большой подкрашенный рот и большие подведенные глаза.

Я пал ниц:

— Принцесса Мелхола!

Я никогда не видел ее, зато, как и все, много слышал о ней, дочери Саула, которой довелось пережить поочередную гибель всех ее близких вплоть до хромца Мемфивосфея; дважды становилась она женою Давида, однако осталась бездетной в наказанье за то, что как-то раз посмеялась над ним.

— О светоч глаз моих, к ногам вашим припадает раб ваш, пес презренный,— слова легко слетали у меня с языка; было в этой женщине нечто такое, что внушало смиренность.— Моя госпожа повелела мне явиться сюда, в такой час?

Опираясь на локоть, она приподнялась. Выглядела она старее, чем я представлял себе по рассказам: руки худые, кожа да кости, а зубы — точнее то, что от них сохранилось,— совсем пожелтели.

— Значит, это ты будешь писать историю Давида?

Голос ее еще доносил отзвук былой звонкости.

— В лучшем случае, принцесса, я лишь сведу воедино то, что поступит ко мне от других, однако и это будет делаться только с одобрения мудрейшего из царей Соломона.

Меня оборвал повелительный жест.

— Что известно тебе о Давиде?

— Не считая нынешнего престолонаследника Соломона, он, несомненно, был величайшим государственным мужем Иудеи и Израиля, избранником Божьим; недаром Господь заключил свой завет с Давидом, извел его ненавистников и обетовал, что семя Давидово пребудет во веки веков.

— Другими словами,—снова царственный жест,—тебе ничего не известно.

Я промолчал.

— И у тебя хватает самонадеянности писать о нем или хотя бы сводить воедино то, что поступает к тебе от других?

— Человек велик легендой, создаваемой о нем.— Ее губы скривились.— Вы хотите разрушить легенду, моя госпожа?

— Я хочу, чтобы кто-нибудь узнал о нем правду, когда меня не станет.

Я ждал.

— Он был очень хорош собою,— проговорила она,— но не такой рослый, как мой отец или Ионафан, на вид даже нежен: он был рыжеволос и смуглолиц. Он пришел к нам со своей музыкой и стихами...

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРИНЦЕССЫ МЕЛХОЛЫ С ЕФАНОМ, СЫНОМ ГОШАЙИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В ШАЛАШЕ ЦАРСКОГО ВИНОГРАДНИКА В ВААЛ-ГАМОНЕ

В о п р о с: Двор вашего отца, царя Саула, был, вероятно, не так велик и роскошен, как нынешний. И все же — неожиданно в нем появляется сын некоего Иессея из Вифлеема. Даже если допустить, что этот Иессей был человеком знатным и состоятельным...

О т в е т: ...таковым он не был. Это позднее, ради благоприятного впечатления, распустили слух, будто Иессей владел многочисленными стадами, имел большой дом, будто голос его был весóм в совете Иудеи, а род его восходит к праотцам Иуды. На самом же деле Иессей был худородным и бедным крестьянином, народившим сыновей больше, чем мог прокормить. Трое из них пошли служить в войско, а Давид еще долго пас бы нескольких тощих овец, если бы вифлеемские священники не подметили, какими чарами наделены его тело и голос.

В о п р о с: Священники взяли его в учение?

О т в е т: Когда он появился у нас, то прекрасно умел держать себя. И своей речью он вовсе не походил на простого пастуха. Он великолепно играл на гуслях, знал старые песнопения и слагал новые. А главное, он подобрал ключик к моему отцу, царю Саулу.

Вопрос: Помнит ли моя госпожа, кто его присоветовал, выбрал, оставил при дворе?
Ответ: Давид никогда не рассказывал мне об этом. Он уклонялся от таких разговоров.
Вопрос: Может, в свое время вы слышали об этом от кого-либо другого?
Ответ: Не помню. Ведь мне в ту пору не исполнилось еще и тринадцати, я была влюблена в моего брата Ионафана, дворцовые сплетни меня не интересовали.
Вопрос: Поведайте рабу вашему все, что сохранила ваша память.
Ответ: Господь поразил моего отца, царя Саула, тяжким недугом. Мы созвали левитов, врачей и знахарей. В ход пошли травы и кровопускания, жертвоприношения и заговоры. Кто-то предложил испробовать музыку.
Вопрос: Разве прежде не было при дворе музыкантов?
Ответ: Сколько угодно. Чего они только не делали: бренчали, дудели, колотили в барабаны, в конце концов, отец обругал их и приказал вытолкать взашей. Песни Давида оказались совсем иными. Их мелодия и слова утишили боль, наполнили душу неизъяснимой печалью; взор моего отца снова умиротворился, лик стал покойнее, судороги отпустили его, и впервые после многодневного безумия он смог заснуть.
Вопрос: Что же это был за недуг?
Ответ: От Саула отступил Дух Господень, и стал его возмущать злой дух от Господа.
Вопрос: Нельзя ли описать, в чем это выражалось?
Ответ: Это было ужасно. Прошло столько лет, но те страшные картины преследуют меня до сих пор. Великан, который возвышался среди битв вроде крепостной башни, забивался от страха в угол, лепетал что-то бессвязное, кусал себе руки, или глядел часами в одну точку, внимал голосам, слышимым только ему одному, или же бесновался с пеной на губах.
Вопрос: Наблюдались ли какие-нибудь закономерности? Например, более или менее равные промежутки между возмущениями злого духа?
Ответ: Звездочеты сверялись с фазами Луны и расположениями звезд, однако никакой взаимосвязи с недугом установить не сумели. Поначалу между припадками проходили месяцы, потом они участились, и отцу выпадали лишь немногие дни покоя.
Вопрос: А вы не припомните, когда злой дух овладел им впервые?
Ответ: Кажется, после победы над Амаликом. Господь велел моему отцу через пророка Самуила предать в Амалике смерти всех — от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Отец истребил мечом весь народ, но пощадил скот. Саул был крестьянином, ему претила бессмысленная бойня скота, кроме того, его люди требовали своей добычи, а он был их царем.
Вопрос: Он пощадил также Агага, царя амаликитского?
Ответ: Власть утверждается не только смертоубийством, но и милосердием.
Вопрос: Однако эта власть принадлежала Яхве?
Ответ: Яхве уже не был царем. Царем стал мой отец.
Вопрос: Яхве был Богом.
Ответ: А пророк Самуил — гласом Божьим. Самуил пришел к моему отцу, царю Саулу, в Галгал и стал упрекать его и сказал: «Непокорность Господу есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». Самуил сказал: «Ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя».
Вопрос: И ваш отец поверил?
Ответ: Он пал пред Самуилом на колени и просил: «Воротись со мною

к старейшинам народа моего, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Тогда Самуил сказал: «Приведите ко мне Агага, царя амаликитского». И подошел Агаг к моему отцу спокойно — я видела это собственными глазами — и сказал: «Значит, горечь смерти миновалась?» Но Саул лишь промолчал, и на его глазах пророк Самуил разрубил Агага пред Господом в Галгале.

Вопрос: И с тех пор его начал угнетать злой дух?

Ответ: Да.

Принцесса откинулась на ложе. На виске у нее билась голубая жилка. Ее рассказ удручил меня, и я почувствовал озноб, хотя ночь была теплой.

— Не желаешь ли промочить горло, Ефан?

Принцесса хлопнула в ладоши, приказала возникшему из темноты прислужнику: «Вина, фруктов, сладостей!» Потом она вновь обратилась ко мне:

— Да, я старею, память мою переполняют тысячи воспоминаний, они уже путаются в моей голове. Однако образ юного Давида до сих пор отчетливо стоит перед моими глазами. Говорят, будто во всех своих делах он поступал благоразумно. А я бы прежде всего отметила его природный дар очаровывать людей. Для этого ему доставало двух-трех слов, одного взгляда или жеста. Он казался таким простосердечным, бесхитростным. Если же все это было притворством, то он уступил бы в лицемерии разве что змию, который уговорил Еву вкусить плода от древа познания добра и зла.

Я дольше всех противилась его чарам. Не секрет, что он разделил ложе отца моего в ту же ночь, когда его музыка впервые изгнала злого духа. Авенир, сын Нира, бывший тогда начальником войска, говаривал даже, что облегчение царю доставляет не столько музыка Давидова, сколько Давидовы чресла. Но я-то знала, как нежен бывал Давид; близость его могла стать не менее благотворной, чем дождь для иссохшей земли.

Принцесса взяла гроздь винограда.

— А потом — Ионафан. Тебе ведь известна плачевная песня, которую Давид сложил на его смерть?

> Скорблю о тебе, брат мой Ионафан:
> ты был очень дорог для меня;
> любовь твоя была для меня
> превыше любви женской.

Я часто наблюдала за ними. А им, конечно, было не до меня, не до моих переживаний. Во всяком случае, Ионафану. Он имел детей, жену, наложницу, однако благодаря Давиду ему открылся как бы новый смысл жизни. Ионафан снял свой лук, и меч, и пояс, даже верхнюю одежду свою и отдал их Давиду; он отдал бы полцарства, если бы мог. Давид принял подарки со свойственной ему любезностью; он продолжал смеяться, играть на гуслях, читать свои стихи. Он удовлетворял вожделения моего отца, царя Саула, и я видела Давида возлежащим с моим братом Ионафаном, который целовал руки, ноги, шею Давида; однажды я не сдержалась и наговорила Давиду дерзостей, в ту же ночь он пришел ко мне и овладел мною.

Принцесса отложила виноградную гроздь. Я подлил вина в ее чашу.

— Давид казался мне тогда принявшим человеческий облик богом Ваалом, он был живым олицетворением плотской страсти, однако его же отличало и поразительное равнодушие, присущее только богам. В несчастии моем я воззвала к Господу. Но Господь не внял мне, зато Давид, словно подслушав мою мольбу, сказал мне на следующий день — он, дескать, избранник Божий и что бы он ни делал, есть исполнение воли Божьей. Я никогда не видела избранников Божьих, если не считать Самуила, но тот был худ, прямо-таки живые мощи, чело изъязвле-

но, глаза вечно гноятся, бороденка заскорузла от грязи. Так почему бы Господу не излить свою благодать в сосуд более прелестный? Последующие события, пожалуй, подтверждали правоту слов Давида.

Например, слыханное ли дело, чтобы кто-либо сумел увернуться от копья Саула? Копье моего отца поражало без промаха, оно пригвождало жертву к стене, и древко дрожало — от силы его броска. Давид же уворачивался трижды. Можно подумать, будто у него глаза на затылке. Без этого ему бы не уцелеть. То ли Ионафан слишком уж беззастенчиво выказывал свою любовь к Давиду, то ли Рицпа, наложница моего отца, нашептала что-то Саулу, то ли Авенир, сын Нира, начальник над войском, упомянул в своем еженедельном докладе, что левиты стали распевать перед святилищами: «Не место блудницам средь дщерей Израильских, не быть блудодеям средь сынов Израиля»,— так или иначе, злой дух от Господа вновь начал угнетать моего отца, царя Саула, да еще сильнее, чем прежде, так что вовсе овладел злой дух мыслями моего отца и его телом. Порой мне чудилось, будто Давид и впрямь находится в каком-то сговоре со злым духом. Но Давид это отрицал. Когда моего отца омрачало тяжкое уныние, Давид садился у его ног, не касаясь Саула, но так, чтобы тот чувствовал близость. Потом Давид трогал струны гуслей, вскидывал голову и принимался петь о караванах, бредущих на закат, о грусти, охватывающей человека, когда миновал час любви. Тут мой отец вскрикивал, хватался за копье, и в следующий миг древко его уже дрожало в стене. Давид же спрашивал: «За что? Чем я согрешил? За какое преступление ты хочешь лишить меня жизни?»

Принцесса Мелхола задумчиво кивнула; она поведала лишь о ничтожно малой доле пережитых страхов; к тому же она была царской дочерью, дважды — царской женой, а потому научилась владеть собой.

— Как-то раз я спросила его: «Давид, любимый мой, неужели тебе не бывает страшно?» Он взглянул на меня и сказал: «Сердце мое полно страха. Я поэт, мне не трудно вообразить, как копье вонзается в мое тело».

Принцесса отщипнула виноградинку.

— Мой отец, царь Саул, сделал Давида тысяченачальником и отправил в поход на филистимлян. Я сказала моему брату Ионафану: «Это погибель для него». Ионафан тоже боялся за жизнь Давида, он говорил: «Я отдал ему верхнюю одежду, и пояс, и меч свой, и лук свой, почему же нельзя отдать ему меткость моего глаза и твердость моей руки?» Но весною Давид вернулся — лицо как смоль, борода не стрижена; он побил многих филистимлян, принес победу и богатую добычу. Я слышала, как его люди рассказывали, что поначалу сомневались в нем, но когда увидели его в бою, то свое мнение переменили; битва превращала этого нежного юношу в опьяненного кровью яростного воина. А кроме того, Давид чрезвычайно хитро задумывал сражения и умело подмечал слабости противника.

Народ славил его, и когда женщины из всех городов Израильских выходили навстречу царю Саулу с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, то они пели:

Саул победил тысячи,
а Давид — десятки тысяч!

Разумеется, это было преувеличением, но отец сильно забеспокоился. Он мрачнел, вспоминал недоброе пророчество Самуила-прозорливца и задавался вопросом: уж не Давид ли тот «ближний» из пророчества Самуилова, который «лучше меня»? Недаром поют, будто он победил десятки тысяч, а я только тысячи; как не захотеть ему моего царства?

Прнцесса Мелхола уставилась в одну точку, будто задумалась о неисповедимости воли Господа, по которой чудесный певец, призванный изгонять злого духа, напротив — возбуждал его.

— Брат мой Ионафан, услышав хвалебные песни женщин, воспылал к Давиду еще большей любовью; я тоже истосковалась по Давиду,

пока он был на войне, и теперь всецело покорилась ему. Отец же задумал избавиться от Давида. Но, видно, Саулу было привычнее воевать, нежели строить ковы, а Господь не вразумил его, потому он прибег к своей прежней хитрости, только прибавил к ней для приманки награду. Этой наградой выпало стать мне. «Как же мне выплатить вено?» — спросил Давид, ведь он, дескать, человек бедный и незнатный. На это царский сват сказал: «Царь не хочет иного вена, кроме ста краеобрезаний филистимлян».

Давид пошел сам и люди его с ним и убил двести человек филистимлян, после чего вернулся к Саулу еще до назначенного срока. Он прискакал на гнедом муле с закрытой корзиной, притороченной к седлу. Давид принес корзину к царю в присутствии всех царедворцев. До сих пор эта картина стоит у меня перед глазами: он снимает крышку и вываливает на стол из корзины окровавленные члены. И я слышу, как он считает вслух — до двухсот.

В ту же ночь Давид пришел ко мне с плетью; он бил меня, я терпела.

Взошла заря над царским виноградником Ваал-Гамона, в шалаше проступили очертания листьев. Лицо принцессы сделалось серым.

— Человек велик легендой, создаваемой о нем! — Взгляд принцессы померк.— Ведь это твои слова, Ефан?

Я поклонился.

— Этому учит меня мой скромный жизненный опыт, госпожа моя.

— Ладно. А теперь ступай.

5

Благословенно будь имя Господа, Бога нашего, Чьи истины подобны ярким цветам на лугу, где каждый срывает то, что ему любо.

Я, Ефан, сын Гошайи из Езраха, проживающий ныне в Иерусалиме по адресу: переулок Царицы Савской, дом номер пятьдесят четыре, приглашен сегодня, на второй день праздника Кущей, в царский дворец для участия в первом заседании комиссии по составлению *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе царя Давида, сына Иессеева, который царствовал над Иудою семь лет и над всем Израилем и Иудою тридцать три года, избранника Божьего и отца царя Соломона,* сокращенно — *Книги царя Давида.*

Слуга проводил меня в приемную, где уже слонялись три бородатые и довольно неопрятные личности, каких встречаешь на рыночной площади или у городских ворот. Они представились мне, назвавшись Иорайем, Иааканом и Мешуламом, бродячими сказителями, имеющими патенты на публичные выступления с преданиями и легендами; их привел, дескать, сюда царский приказ, для какой надобности, неизвестно; они всегда, мол, исправно платили налоги и исполняли все прочие повинности, однако пребывают в немалом страхе. Они захотели узнать, не являюсь ли и я сказителем — что я в известном смысле подтвердил,— после чего принялись жаловаться на тяжкие для нашего промысла времена, прибавили, однако, что, судя по моему упитанному виду, дела у меня, кажется, идут неплохо, и, наконец, полюбопытствовали, какова собственно моя главная тема: древние предания, история великого Исхода, времена Судей или же современные события?

Слуга избавил меня от докучливых сказителей, проводив в просторную и роскошную залу. Там на удобных сиденьях расположились члены комиссии: посредине стояла корзина фруктов для подкрепления плоти, кувшин с ароматной водой и блюдо с тянучками из сладких смол. Дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, пригласил меня занять место за низеньким столиком, где я мог бы вести свои записи, затем он хлопнул в ладоши и объявил заседание открытым; вначале он выразил глубокое удовлетворение тем, что все члены комиссии вернулись в Иерусалим в добром здравии и, по всей очевидности, хорошо отдохнувшими.

Члены комиссии, продолжил он, несомненно, уже прочитали сами или выслушали от своих чтецов множество книг разнообразнейшего содержания, а потому, разумеется, осведомлены о том, что существует несколько способов повествования: от начала к концу или наоборот, от середины в обе стороны, и, наконец, как Бог на душу положит; последний способ особенно излюблен новомодными авторами, которые питают слабость ко всяческому сумбуру. Как бы то ни было, заключил он, лично ему представляется целесообразным начать *Книгу об удивительной судьбе и т. д.* с начала, то есть с помазания юного Давида пророком Самуилом и с победы Давида над Голиафом. Есть ли у членов комиссии возражения?

Возражений не оказалось.

Нет ли иных предложений у редактора Ефана, сына Гошайи?

Нет, сказал я.

Что касается помазания, проговорил Иосафат, то благодаря любезному содействию священника Садока в распоряжении комиссии имеется письменный документ из архива Самуилова храма в Раме. Он указал на стопку глиняных табличек слева от себя. Я попросил одну из них. Мне подали табличку, и по начертанию букв, по качеству глины, особенно по ее сравнительной свежести, тотчас догадался, что эта глина не могла быть из Рамы. Похоже, Садок заметил мои сомнения, поэтому тут же сказал, дескать, эти таблички по существу не расходятся с книгой Самуила. Да, кое-кто утверждает, будто помазание юного Давида Самуилом всего лишь легенда, которую придумали, чтобы подкрепить притязания Давида на трон Саула; подобные слухи могут распространяться лишь врагами царя Соломона, истинной веры и всяческой законной власти; моей же, дескать, задачей как редактора *Книги царя Давида* и является такая обработка материалов, которая лишила бы любого недоброжелателя каких бы то ни было зацепок.

— Господа члены комиссии, позвольте рабу вашему сделать несколько замечаний по этому вопросу,— сказал я.— В свое время мне довелось основательно изучить книгу Самуила, знакомы мне и изустные предания. Смею заверить, мы имеем дело с прекраснейшими и поэтичнейшими рассказами о юности человека, избранного для великих свершений. Представьте себе, как старый прозорливец приходит в Вифлеем, душа его окрылена повелением Господа: «Я пошлю тебя к Иессею-вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя». Представьте себе обступивших Самуила пастухов, молоденьких девушек, беззубых старух; они просят благословений или малых пророчеств за умеренную плату; однако Самуил, высокий, худой, мрачный, устремляется прямо к жилищу Иессея. Люди вытягивают шеи: чего ищет великий пророк в этом скромном доме? Великий пророк призывает в доме Иессея его сыновей, шестерых неотесанных деревенских парней, а Господь шепчет Самуилу: «Не смотри на вид их и на высоту роста их; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Тогда Самуил спрашивает Иессея: «Все ли дети здесь?» После чего посылают за юным Давидом, который пасет овец; он продирается сквозь толпу зевак и предстает перед Самуилом — загорелый, стройный, с красивыми глазами и приятным лицом; впрочем, вы наверняка помните его описание в книге Самуила, которому Господь говорит: «Встань, помажь его, ибо это он».

Ванея, сын Иодая, постукивал пальцами по колену, Иосафат, сын Ахилуда, откашлялся, будто прочищая горло; только масляное лицо священника Садока излучало полное удовлетворение.

Я надеялся, что на очевидные несообразности укажет кто-нибудь другой, однако пришлось мне самому, собравшись с духом, объяснить:

— Допустим, Самуил действительно приходил в Вифлеем и все было так, как он повествует об этом. Но тогда молва об отроке-счастливчике разнеслась бы по всей округе, вифлеемцы месяцами судачили бы о нем, а Иессей и шестеро старших его сыновей объехали бы всех

дальних родственников и свойственников, чтобы поведать о выпавшей чести. Разве не так? Эта весть облетела бы все колено Иуды, и оно стало бы кичиться тем, что сын его воцарится вскоре над Израилем. Возникает вопрос, много ли нужно времени, чтобы царь Саул прослышал об этом и велел взять Давида для суда за самозванство или, скажем, заговор? А когда Давид впервые появился при дворе, разве кто-либо из царских слуг сказал: «Погляди-ка, царь мой, на этого приятного лицом отрока, который так славно играет на гуслях и поет! Уж не тот ли он самый Давид, сын Иессеев, коего Саул помазал недавно в царя вместо господина нашего?» Нет, никто этого не сказал!

Садок бросил на меня разъяренный взгляд.

— Я рад, что Ефан, сын Гошайи,— сипло сказал он,— заговорил об этом, ибо затронут ключевой вопрос, который все равно необходимо решить. По-моему, существуют два рода истины; одна истина — та, до которой жаждет доискаться Ефан, другая основывается на слове Божьем, заповеданном Им пророкам Его и священникам Его.

— На вероучении,— уточнил Ванея и сунул в рот тянучку.

— Вот именно, на вероучении,— Садок раздул щеки.— И там, где два рода истины расходятся, я настаиваю, чтобы мы следовали вероучению. Ведь ежели каждый начнет все подвергать сомнению и заниматься правдоискательством, тогда уж и не знаю, до чего мы докатимся. Воздвигаемый нами Храм рухнет, даже не будучи отстроен, падет утвержденный Давидом царский престол, на коем восседает ныне его сын Соломон.

Иосафат, сын Ахилуда, успокоительно поднял руку.

— Господин Садок, разумеется, справедливо требует блюсти освященные временем и уже ставшие неотъемлемой частью наших преданий традиции, даже если кое-где и возникают мнимые противоречия. С другой стороны, долг редактора Ефана, сына Гошайи, именно в том и состоит, чтобы указать нам на подводные камни. Однако противоречия, Ефан, надлежит сглаживать, а не выпячивать. Противоречия смущают и ожесточают душу, недаром мудрейший из царей Соломон ожидает от наших трудов, особенно книг, более духоподъемлющего характера. Нам надлежит отразить все величие нашего времени, для чего следует избрать золотую середину между тем, что есть, и во что надо верить.

Один из двух писцов Елихореф, сын Сивы, предложил включить вышеупомянутую историю помазания в *Книгу об удивительной судьбе и т. д.,* его брат Ахия поддержал это предложение. Оно было принято единогласно, однако с пожеланием, чтобы я слегка поправил представленный Садоком документ там, где он был недостаточно правдоподобен. Затем Иосафат объявил перерыв и пригласил слегка подкрепиться жареной бараниной на вертеле, которую моавитяне и едомитяне именуют шашлыком. После трапезы, в коей довелось поучаствовать и мне, пророк Нафан посоветовал всем немного вздремнуть в тени дворцового сада, пока не спадет дневной зной и обильная еда не перестанет отягощать желудки.

Подремав или погуляв по саду, члены комиссии вновь собрались в зале заседаний, и дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, объявил о переходе ко второму пункту повестки дня, то есть к поединку Давида с Голиафом, а поскольку это, прежде всего, эпизод военный, было бы желательно, чтобы Ванея, сын Иодая, изложил свои соображения первым.

Ванея поднял густые брови. Поединок с Голиафом, сказал он, эпизод и впрямь военный, однако само событие выходит за рамки его компетенции, по причинам личностного и династического характера, неотрывных, впрочем, от таких чисто военных вопросов, как использование легкого оружия против тяжелых доспехов или применение громкой брани и угроз в адрес противника для поднятия боевого духа собственных войск перед сражением. По запросу своего друга Иосафата, сына Ахилу-

да, он, Ванея, распорядился просмотреть записи и архивы Авенира, сына Нира, который во времена Саула командовал войском и руководил сражением против филистимлян под Ефес-Даммимом; однако даже самые тщательные поиски, когда проверялись буквально каждая глиняная табличка и каждый пергамент, не позволили обнаружить ни единого слова о том, что Давид поразил великана по имени Голиаф, будь то до сражения, в ходе его или после. Это не означает, конечно, что под Ефес-Даммимом вообще не было такого великана или что Давид не убивал его; ведь сражение складывается из множества отдельных схваток, не приставишь же писца к каждому воину, который проламывает череп своему противнику. И все же довольно странно, что такой опытный человек, как Авенир, которому приходилось к тому же проявлять особую осмотрительность из-за своей любовной связи с Рицпой, наложницей его верховного военачальника царя Саула, не упомянул в своих донесениях о единоборстве, сыгравшем решающую роль для всего похода против филистимлян.

Не нашлось ли письменных свидетельств в иных местах, поинтересовался пророк Нафан, например в анналах царя Саула?

Писец Елихореф покачал головой, а его брат Ахия ответил, что в анналах царя Саула ничего подобного не обнаружено.

— Но ведь были же у филистимлян великаны! — воскликнул священник Садок.

Ванея со скучающим видом отозвался:

— Несколько отрядов.

— Надеюсь, сыны Израиля сумели уложить хотя бы одного?

— Известно, например, что Совохай-хушатянин поразил в Гадере великана по имени Саф,— сказал Ванея,— а в другом сражении Елханам, сын Иаира, поразил великана Лахмия; в Гефе Ионафан, сын Шимы, убил великана, у которого на руках и ногах было по шесть пальцев, всего двадцать четыре, имя этого великана установить не удалось. С вашего позволения, я сам поразил двух львиной силы моавитян и одного огромного египтянина; в руках у него было копье, а я подошел к нему с палкой и, вырвав копье из рук египтянина, убил его его же копьем.

— Тогда почему бы и Давиду не убить Голиафа камнем из ручья? — спросил Садок.— Неужели господин Ванея отрицает этот подвиг?

— Войско, а тем паче хелефеи и фелефеи,— откликнулся Ванея,— чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы исполнить сынов Израиля таким же героизмом, который некогда вдохновил юного Давида на подвиг, а также в том, чтобы отец царя Соломона предстал не только великим поэтом и музыкантом, философом и теологом, правителем и организатором, стратегом и дипломатом, но и воином, который не боялся вступить в единоборство, даже если противник был вдвое, втрое, вчетверо сильнее. Однако, к сожалению, у военных нет тому документальных подтверждений. Таковых у нас нет и достать их нам неоткуда. Вот и все, что я хотел сказать.

Он скрестил на груди свои могучие руки. При всем своем бахвальстве и самомнении, подумалось мне, Ванея самый умный из них: ведь если однажды кто-либо докажет миру и царю Соломону, что никакой победы Давида над Голиафом не было и быть не могло, а царская комиссия поддалась на красивую сказку и тем самым поколебала доверие ко всей *Книге царя Давида,* то вины Ванеи в этом не будет.

Тут дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, заявил, что за недостатком свидетельств письменных царская комиссия вынуждена рассмотреть свидетельства изустные. По его знаку слуга привел Иорайю, Иаакана и Мешулама, трех бродячих сказителей, имеющих патенты на публичные выступления с преданиями и легендами; войдя, они сразу же пали ниц и, стуча лбами о пол, взмолили именем Господа о пощаде. Иосафат велел им подняться и объяснил, что им предстоит рассказать присутствующим здесь вельможам историю о Давиде и Голиафе; пусть каждый изложит ее так, как слышал от своего учителя и наставника.

Тут Иорайя, Иаакан и Мешулам затараторили, что исполнят, дескать, все в точности; при этом они поглаживали свои свалявшиеся бороденки, а глазки их жадно косились из-под опухших век на корзину с фруктами, на кувшин с ароматной водой, на блюдо со сладкими тянучками — но не про них были все эти лакомства; мне же вспомнилась поговорка, что голодная пичуга звонче сытой.

Из трех сказителей первым был избран Иорайя. Он тронул струны арфы, поцарапанной и помятой в многочисленных, скорее всего уличных, потасовках и начал свой рассказ.

Я записал его вкратце, нумеруя для памяти основные моменты.

ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ ДАВИДА С ГОЛИАФОМ, ЗАПИСАННОЕ ВКРАТЦЕ СО СЛОВ ИОРАЙИ, СКАЗИТЕЛЯ, ИМЕЮЩЕГО ПАТЕНТ НА ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ

1) Расположение войск израильтян и филистимлян в Ефес-Даммиме. Филистимляне стали на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина с ручьем — ничейная земля.

2) Филистимский единоборец Голиаф. Рост — шесть локтей и пядь; доспехи — медный шлем, чешуйчатая броня весом пять тысяч сиклей, медные наколенники и медный щит за плечами; оружие — меч (длина неизвестна), копье с древком, как навой у ткачей, и железным наконечником весом в шестьсот сиклей, а также еще один щит, который нес оруженосец.

3) Голиаф посылает с ничейной земли израильтянам вызов на единоборство. Свои бранные и поносные речи, какие обычно говорят перед схваткой, он повторял дважды в день на протяжении довольно длительного времени.

4) Давид приходит в стан израильтян, чтобы передать двум старшим братьям, служившим в войске, хлебы и сушеных зерен, а также вручить их тысяченачальнику десять сыров во благоволение братьям.

5) Давид слышит похвальбы Голиафа, замечает отсутствие охотников принять вызов. Он принимается расспрашивать окружающих, узнает о смущении сотников и тысячников, о награде, обещанной царем Саулом победителю: богатство, царская дочь, освобождение от налогов.

6) Самый старший брат Елиав сердится на Давида, бранит его за спесь и «дурное сердце». (NB: похоже, Елиав забыл, что должен выказывать почтительность младшему брату, который, если верить глиняным табличкам из Рамы, является помазанником Божьим.)

7) Саул слышит об отроке из своего стана, готовом сразиться с Голиафом, и зовет Давида к себе. Саул сомневается, хватит ли отроку силы одолеть великана; Давид уверяет царя, будто собственноручно убивал льва и медведя, а на худой конец ему, дескать, поможет Господь Бог. (NB: ни во время этого разговора, ни после Саул не пытается узнать имя отрока или имя его отца; Давид также не называет своего имени.)

8) Саул полагает нужным отдать Давиду свой меч и свою броню; но Давиду неудобно двигаться в тяжелых доспехах, он с благодарностью возвращает их.

9) Оружие Давида— посох, праща и пять гладких камней из ручья.

10) На ничейной земле. Голиаф замечает приближающегося Давида, смотрит на него с презрением, грозит отдать его нежное тело на растерзание птицам небесным и зверям полевым.

11) Давид отвечает под стать Голиафу — задиристо, воинственно; он сулит снять голову с Голиафа, ибо это война Господа и Он предаст филистимлян в руки Израиля. (NB: сие вполне в духе Давида, который любит похвалиться своими личными связями с Господом.)

12) Голиаф надвигается на Давида, тот ловко увертывается и бросает из пращи камень, который попадает великану в лоб и проламывает череп.

13) Великан падает лицом на землю; Давид, наступив на филистимлянина, берет его меч и отсекает ему голову. Филистимляне, увидев, что силач их умер, бегут, израильтяне преследуют их.

14) Давид возвращается в лагерь с головой Голиафа под мышкой. Его случайно встречает Авенир и приводит к Саулу. Только тут, наконец, Саул пожелал узнать: «Чей ты сын, юноша?» Давид отвечает: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема».

15) Саул решает оставить юного героя при дворе.

Поклонившись, Иорайя сунул арфу в суму; с гуслями, выглядевшими ничуть не лучше арфы Иорайи, шагнул вперед Иаакан, чтобы поведать о великой победе Давида над Голиафом; следом за Иааканом настал черед Мешулама, который сопровождал сказание стуком пальцев по двум маленьким барабанам, то посильнее, то потише, а под конец, в том месте, где Голиаф рухнул наземь, Мешулам рассыпал прямо-таки громовую дробь. Когда все трое закончили выступать и три версии были сравнены, выяснилось, что они совпали до последнего слова, хотя Иорайя отличался большей страстностью, он жутко размахивал руками и корчил свирепые рожи, а Иаакан гнусавил, подобно заклинателю духов, а Мешулам завывал и закатывал глаза вроде жрецов Ваала, идола ханаанского. Итак, все три рассказа совпали дословно, и пророк Нафан никак не мог надивиться такому чуду. Ему и невдомек, что слушатели у городских ворот или на рыночных площадях похожи на малых детей, которым непременно подавай любимую сказку каждый раз слово в слово. Воистину, воскликнул Нафан, сам Господь Бог вещал устами сказителей сих, а это повесомее любых глиняных табличек. В глазах членов комиссии читалось явное облегчение: с чудом не поспоришь.

— А когда же все-таки это произошло? — скромно поинтересовался я.— До того, как Давида призвали к Саулу, чтобы он успокаивал царя, когда того угнетал злой дух, или после?

Лица членов комиссии вытянулись; восхищенные чудом троекратного дословного совпадения рассказа о победе Давида над Голиафом, они совсем забыли про историю о том, как юный Давид был призван к царскому двору изгонять злой дух. Но ведь в обоих случаях Давид встретился с Саулом впервые, стало быть, Давид, победивший великана, и Давид, целивший своею музыкой, взаимоисключают друг друга. Вот в чем закавыка.

— До того! После того! — вскипел священник Садок.— Какая разница? Господь пожелал свести Давида с царем Саулом, а для надежности устроил их встречу дважды.

— Погодите,— остановил его Иосафат,— Господь, конечно, всемогущ, но даже Он соблюдает известный порядок: сначала Бог сотворил небо и землю, потом отделил свет от тьмы, затем отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и так далее целую неделю, пока не сотворил, наконец, мужчину и женщину по образу и подобию Своему.

— Вот пускай наш друг Ефан и установит правильную последовательность событий,— предложил Ванея,— на то он и редактор.

— Да простит господин Ванея раба своего,— вежливо сказал я,— в качестве редактора я действительно могу немного подправить Историю или слегка приукрасить ее, однако не в моей власти ее изменить.

Тут писец Елихореф, сын Сивы, почесал в затылке и промямлил:

— Допустим, Давид убил Голиафа до того, как появился при дворе, чтобы петь Саулу. Что тогда?

— Ничего хорошего,— ответил я.— Зачем искать подходящего музыканта по всему Израилю, зачем посылать вестника к старому Иессею в Вифлеем, чтобы тот забрал своего сына Давида от овечьего стада и от-

правил во дворец, если славный победитель Голиафа уже сидит за царским столом? Или наоборот — поставим себя на место Давида; разве, услышав советы врачевателей найти музыканта, чтобы изгнать злого духа, он бы не сказал: «Никого никуда посылать не надо, я к вашим услугам; как только царь отобедает, начнем музицировать». Так или нет?

Среди членов комиссии воцарилось молчание. Наконец, второй писец Ахия, сын Сивы, нерешительно спросил:

— Ну а если предположить, что Давид сперва появился при дворе и пел Саулу, а уж потом победил Голиафа? Может, это выход?

— Вряд ли,— возразил я.— Если Давид уже находится при дворе и поет царю Саулу, изгоняя злого духа, то как вернуть его обратно в Вифлеем, куда Давиду непременно нужно попасть, чтобы взять хлеба и сушеные зерна для братьев, которые служат в войске, а также десять сыров для их тысяченачальника? И разве царь Саул, призвав к себе храброго победителя Голиафа, не узнал бы в Давиде того самого юношу, который так славно поет ему и играет на гуслях? Ведь мы слышали от Иорайи, Иаакана и Мешулама, что Саул собственноручно надевает на Давида свою броню и отдает ему свой меч, стало быть, у царя достаточно возможностей узнать Давида. После сражения Давид с головой Голиафа еще раз приходит к царю и называет ему имя своего отца. Может, царь хотя бы сейчас вспомнит, с кем имеет дело? Отнюдь! Напротив, царь великодушно приглашает Давида ко двору, хотя свежеиспеченный герой давным-давно проживает там и столуется в качестве музыканта-кудесника. Правда, Саула угнетал порою злой дух, это верно, но нигде не сказано, что царь страдал слабоумием.

— Значит, одну из историй надо похерить.

— Но какую?

Тут в комиссии началось прямо-таки вавилонское столпотворение. Все заговорили наперебой, один так, другой эдак, никто не слушал и ничего не хотел уразуметь, будто Господь и впрямь смешал языки. Наконец дееписатель Иосафат хлопнул в ладоши и сказал:

— Ни ту, ни другую историю похерить нельзя.

На вопрос почему, он объяснил:

— Потому что одна из них правдива и еще живы люди, которые знавали Давида в те времена, когда он жил при дворе Саула. Другая же история — легенда, а легенда, в которую верит народ, правдива не меньше, и, может, даже больше, ибо люди склонны верить легендам сильнее, нежели фактам.

— Да простят господа меня, раба ничтожного...— начал было я.

Однако Ванея, насупив брови, встал и рявкнул:

— Пусть Бог то и то со мною сделает, если я позволю умнику вроде Ефана запутать совершенно ясное дело. Надо включить в Книгу обе истории? Значит, так оно и будет! Надо вернуть Давида из царского дворца в Вифлеем? Значит, вернем! Возьмем и напишем — постойте, дайте сообразить — хотя бы так: «Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме». А если кому-нибудь покажется этого недостаточно, если кто-нибудь начнет умничать и сомневаться в правдивости Книги, составленной комиссией, которую назначил мудрейший из царей Соломон, с тем мы разберемся по-своему.

Так и написано ныне в *Книге царя Давида,* куда вошли обе истории.

6

Дома Есфирь подала мне на стол хлеб, сыр и холодную баранину. Я поинтересовался, хорошо ли она себя сегодня чувствовала или же ее опять мучили боли в груди и одышка. Улыбнувшись, Есфирь ответила, что это не стоит внимания, зато у меня, как ей показалось, на душе неспокойно; не хочу ли я поделиться с ней моею тревогой?

А ведь я ни словом, ни жестом не выдал своего настроения — Ес-

фирь умела читать мои мысли, словно перед нею была глиняная табличка. Поэтому я велел:

— Пускай вынесут в сад подушки, теплую подстилку, одеяло и светильник, мне хочется посидеть с Есфирью под масличным деревом.

Мы вышли в сад, я уложил Есфирь, укрыл одеялом и взял ее за руку.

Помолчав немного, я сказал:

— Боюсь, Иерусалим принесет нам беду. Говорят, будто он построен на скале, а по-моему, тут все зыбко и скользко. И главное: человек человеку волк.

— Что с тобою будет, Ефан, когда меня не станет? Страшно мне за тебя,— сказала Есфирь.

— Да ты нас всех еще переживешь,— попробовал я отшутиться.

Она легонько шлепнула меня по руке, словно ребенка. Я обратил внимание на белые ободки вокруг ее зрачков, раньше я их не замечал и потому встревожился. Как тихо она лежала! Наконец, Есфирь проговорила:

— Не хочется уходить, Ефан. Всякий человек боится шеола. Я заставлю мое сердце биться, покуда хватит сил...

Шелестела листва, мерцал светильник. Я наклонился к Есфири и поцеловал ее.

— Нет, не город терзает тебя, Ефан, супруг мой,— сказала она.— Ведь город сложен из камня, сам по себе он ни зол, ни добр.

Тогда я поведал ей о разных способах изложения правды, о мнениях членов комиссии и ее решениях.

— Тут есть разные партии, и внутри каждой — свои партии, поэтому комиссия расколота, а я похож в ней на птицу во дни потопа, которой негде приземлиться.

Есфирь глядела на меня. Господь, сказала она, даровал нам немало лет спокойной жизни и кое-какой достаток, благодаря моим литературным трудам и разумному вкладу денег в покупку земли; к тому же мы всегда следовали заповедям Господним, а Он справедлив и не отвергает того, кто ходит Его путями.

— Господь,— отозвался я,— надоумил Ванею задержать меня после заседания комиссии. Он обнял меня как закадычного друга и сказал, что располагает письмами Авенира, сына Нира, который был главным военачальником во времена Саула; письма, дескать, обнаружились, когда Ванея распорядился поискать в войсковом архиве какие-либо свидетельства великой победы Давида над Голиафом; он, мол, пошлет эти письма мне, чтобы узнать о них мое мнение.

— Может, Ванея действительно ценит твою ученость и поэтому интересуется твоим мнением?

Ванея ценит чужую ученость и чужое мнение лишь тогда, когда ждет от них своей выгоды; не успел я сказать это, как у входа послышался сильный шум. Я встал, чтобы поглядеть, в чем дело, однако Сим и Селеф опередили меня; они возвратились с офицером-хелефеем и солдатами, которые притащили целый мешок глиняных табличек.

СОДЕРЖАНИЕ ГЛИНЯНЫХ ТАБЛИЧЕК, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ВАНЕИ, СЫНА ИОДАЯ

Помазаннику Божьему царю Саулу, первейшему в битвах,— от Авенира, сына Нира. Да ниспошлет Бог моему господину отменное здравие.

Касательно Давида, сына Иессеева, из Вифлеема — все исполнено по твоему повелению. Расследование начато, Доик-идумеянин назначен руководить им, а еще к этому делу приставлены двое моих лучших людей — Шупим и Хупим, левиты. У них хорошие связи как со священниками из Самуилова храма в Раме, так и со священниками из храма в Номве. Доик ездил в Вифлеем для опроса населения; он докладывает, что Давид, сын Иессеев, до одиннадцати лет пас овец, потом его в деревне долго не видели, пока в шестнадцать лет он не вернулся, наконец,

к отцу и не принялся опять пасти его стадо. В Вифлееме ходят слухи, будто Давида утащили в Египет проезжие купцы, как это когда-то случилось с Иосифом, которому отец подарил разноцветные одежды; другие говорят, что Давид жил у священников в Номве. От самого Давида никто про это ничего не слышал; он лишь играл на гуслях да пел песни, а когда терялась отбившаяся от стада овца, Давид шел искать ее; так служил он отцу своему и вифлеемлянам, ожидая своего часа.

Избраннику Божьему, славе Израиля, царю Саулу, поставленному над двенадцатью коленами,— от Авенира, сына Нира. Да избавит Господь моего господина от злого духа на веки вечные.

Получено донесение от левита Шупима, побывавшего в Раме среди паломников, которые ходили туда возносить жертвы и слушать Самуила, ибо, как сообщает Шупим, сам Самуил по стране больше не ездит, а судит за скромную плату лишь тех, кто приходит к нему. Шупим поговорил с младшими священниками, послушниками и паломниками; по их словам, Самуил ненавидит моего господина царя за то, что мой господин отказался выполнять его повеления. Шупим дал Самуилу для всесожжения жирную овцу, но сказал, что это последняя жертва — другую, он, дескать, принести не сможет, ибо царь Саул все забирает себе. Тогда Самуил встал, воздел руки к небу и при всем народе сказал Шупиму: «Как исчахнет вон то облачко, так исчахнет и Саул; я сотворил его, я и сотру его с лица земли, говорит Господь. Саул отверг слово Господа, за это Господь отторгнет от него царство Израильское; Господь уже избрал мужа Себе по сердцу». Такими речами Самуил подкапывается под моего господина царя.

Великому освободителю, щиту народа Израильского, царю Саулу — от Авенира, сына Нира. Да дарует Господь моего господина миром, богатством и здравием.

Сегодня поступило донесение от левита Хупима, посланного в Номву, Хупим подружился с Ахимелехом, первосвященником тамошнего храма. Хупим прикинулся, будто хочет взять из храма послушника, чтобы тот учил его детей грамоте и закону Божьему. Ахимелех позволил Хупиму познакомиться со списками послушников. В тех списках значился и Давид, сын Иессея, из Вифлеема, причем о нем говорилось, что на вид он приятен, в учебе прилежен, умом остр, весьма способен и располагает к себе. Хупим спросил Ахимелеха, нельзя ли взять домашним учителем именно отрока по имени Давид. Ахимелех, рассмеявшись, ответил: «Неужели затем положено на этого отрока столько времени и сил, чтобы он учил детишек какого-то Хупима? Нет, сей отрок избран и приуготован для цели особой, а ныне он состоит при царе Сауле, которому поет и играет. Пусть я не такой великий прозорливец, как Самуил, но уверяю тебя, что о сем отроке мы еще услышим».

Мечу колена Вениаминова, всемогущественнейшему царю Саулу — от Авенира, сына Нира. Да порадует Бог моего господина успехами нашего следствия.

Хупим и Шупим сообщают, что песенку

Саул победил тысячи,
а Давид — десятки тысяч!

сочинили в Номве, священники разнесли ее от Дана до Вирсавии, чтобы женщины распевали ее всюду, где ни появится господин мой царь Саул.

Победителю в войнах, грозе язычников, царю Саулу — от Авенира, сына Нира. Да ниспошлет Бог покой душе моего господина!

Идумеянин Доик побывал в Номве у первосвященника Ахимелеха. Доик сказал Ахимелеху, что нам все известно о его преступных связях с Самуилом и планах насчет Давида, сына Иессеева. Мы, дескать, отрубим Ахимелеху голову, а тело прибьем к стене его же храма, если он

чистосердечно во всем не повинится; если же повинится, будет пощажен, а праведный гнев обрушится на истинных злоумышленников. Ахимелех, сильно испугавшись, сознался, что у Самуила есть свой план. Когда, дескать, Саул разрубил Агагу, то Господь Бог сказал ему: «Разруби и душу Самуила»; тогда Саул вызвал злого духа, который угнетает моего господина, а чтобы управлять злым духом, подослан отрок Давид, что играет царю и поет. Господь якобы сему плану потворствует, поэтому Давид даже сделался зятем царя. Надобно послать домой к Давиду сыщиков, чтобы они до рассвета схватили его.

От царя Саула, собственноручно — Авениру, сыну Нира.
Поступай по своему усмотрению.

Верховному главнокомандующему, ревнителю справедливости, царю Саулу — от Авенира, сына Нира.

Да порадует Бог моего господина добрыми вестями.

По твоей воле, сыщики посланы домой к Давиду. Там их встретила твоя дочь Мелхола, она попросила сыщиков вести себя потише, ибо супруг ее Давид якобы хвор и спит. Однако начальник сыщиков сказал, что дело не терпит отлагательств. Тогда Мелхола отдернула занавеску, сыщики увидели, что Давид лежит в постели под покрывалом и не шевелится. Начальник оставил там четверых людей, двоих перед домом и двоих во дворе, а сам вернулся ко мне за дополнительным распоряжением. Я велел тотчас доставить сюда Давида, хоть бы и лежащим на кровати. Вскоре начальник сыщиков прибежал опять, без Давида, и рассказал следующее: «Мы ворвались в дом сразу через переднюю дверь и заднюю, оттолкнули царскую дочь Мелхолу, отдернули занавеску и обнаружили на постели укрытую козьей шкурой деревянную статую. Весь дом, двор и окрестности были обысканы, но Давид, сын Иессеев, скрылся, его нигде не нашли». Начальнику приказано дать пятьдесят плетей, а сыщикам по двадцать пять.

— Ефан!

Голос Есфири вывел меня из оцепенения.

— У тебя такой вид, дорогой, будто тебе самому явился злой дух.

Я кивнул головой.

— Да, шеол разверзся, и из бездны поднялись духи прошлого.

— Что ж, общаться с ними — твое ремесло.

Тут я понял, что меня пугали не духи Давида, Самуила и Саула, а вполне живой человек по имени Ванея, сын Иодая, который, по его собственным словам, был грамотен, то есть знал содержание донесений Авенира царю Саулу. Но почему же тогда Ванея ни словом не обмолвился о них, выслушивая на сегодняшнем заседании различные исторические версии и споры вокруг них? И зачем он прислал эти глиняные таблички мне?

— Ванея прекрасно понимает, что я не смогу ими воспользоваться,— заключил я, вкратце пересказав Есфири донесения и мои соображения,— во всяком случае, до тех пор, пока в комиссии заседают священник Садок и пророк Нафан.

— Ванея знает твою приверженность истине,— сказала Есфирь.

— К тому же он заметил, что я не слишком хорошо держу язык за зубами,— признался я.— Может, именно на это он и рассчитывает?

— Надеюсь, на этот раз ты сумеешь сдержаться?

— Я не самоубийца. Да и царя Соломона вряд ли обрадуют письменные свидетельства, что его отец соблазнял мужчин по заданию священников.

— Вряд ли,— согласилась Есфирь.

— Впрочем,— размышлял я вслух,— возможно, царь посмотрит на это иначе. Ведь что в донесениях Авенира главное?

Есфирь улыбнулась.

— Ты наверняка уж и сам сообразил.

— Главное,— сказал я,— что заговор против царя составили священник и пророк. Вот какой тут намек Соломону. А ведь недаром же говорят, что Соломон мудрее самого Ефана из Езраха.

— Пожалуй,— сказала Есфирь.

Я прикинул, чем, собственно, располагаю. Есть неопровержимые факты, они общеизвестны и согласуются с табличками Авенира. После бегства из собственного дома Давид отправился к Самуилу в Раму, а затем к священникам в Номву. Если воспользоваться этой ниточкой, то, подобно ткачу, вплетающему новую нить в ковровый узор, я сумел бы включить кое-что из записей Авенира в *Книгу царя Давида.*

— Возможно, я сумею...

— Нет! — Есфирь опередила меня.— Если бы имелась уверенность, что царь захочет включить эти сведения в *Книгу,* то Ванея передал бы таблички прямо ему. Для Ванеи ты вроде кравчего, который пробует вино из господской чаши. Только ведь это-то вино наверняка отравлено. А теперь — я устала, Ефан, и сердце у меня разболелось. Положи мне подушку под голову и задуй светильник.

Я исполнил ее просьбу и остался рядом, пока она не заснула. Потом ушел на цыпочках в свою комнату, где написал Ванее следующее:

Да одарит Бог господина Ванею всяческими милостями.

Раб ваш ознакомился с донесениями Авенира, сына Нира, царю Саулу насчет пророка Самуила, первосвященника из Номвы Ахимелеха и Давида, отца царя Соломона. Раб ваш низкопокорнейше предлагает моему господину известить царя Соломона о содержании табличек, чтобы он решил, какие из сведений и в каком объеме могут войти в *Книгу царя Давида.* Возвращая таблички, раб ваш обязуется хранить тайну, покуда царь или мой господин не дадут собственноличного указания на их обнародование.

С тех пор вокруг этого дела царит молчание. Ни Ванея, ни кто-либо иной не проронил о нем ни единого слова. Я же теперь знал, чьим ставленником оказался юный Давид, взятый некогда от отцовского стада, а Ванея точно знал, что я это знаю.

7

В тот день, вернувшись с рынка, где я купил баранью лопатку и цветы для моих женщин, я увидел возле дома паланкин с золотыми планками и красной бахромой на крыше; в тени у входа скучали носильщики.

В доме же стоял сладкий аромат, из комнаты доносились оживленные голоса. Сим и Селеф, мои сыновья, выскочили мне навстречу, дурачась и смеясь. Сим при этом покачивал бедрами, а Селеф заламывал руки; они сказали, что меня поджидает Аменхотеп, главный царский евнух. Я слегка оттрепал их за уши, чтобы не смели передразнивать царских вельмож, после чего отдал сыновьям баранью лопатку и велел отнести ее на кухню.

Аменхотеп восседал на моих подушках; брови у него были подведены тушью, ногти подкрашены хной, он пил вино и ел сыр. При этом Аменхотеп рассказывал моим женщинам, как велик Египет, как могущественны его боги, как красивы там мужчины, в какой роскоши живут знатные египетские дамы. Есфирь посочувствовала Аменхотепу, что судьба забросила его к такому грубому народу, как дети Израиля; он же ответил, что щедро вознагражден возможностью служить столь прекрасным госпожам, коими являются жены и наложницы мудрейшего из царей Соломона. Я заметил, что Аменхотеп глазами раздевает Лилит, и мое сердце содрогнулось от недобрых предчувствий.

Евнух протянул для поцелуя руку Есфири, Олдане и Лилит, а когда они уходили, пристально посмотрел им вслед.

— Сам я уже не пахарь, но в пашне толк знаю,— сказал он.— Редкая женщина сочетает в себе три главных достоинства своего пола. Потому ты поступил мудро, Ефан, когда взял одну женщину для души, другую — матерью твоим детям, третью — для наслаждения. Да не обделит тебя Господь Своею милостью до конца твоих дней.

Звуки его гортанного голоса сопровождались жеманными жестами, которые так ловко передразнивал мой сын Селеф. Но меня это нисколько не забавляло; наоборот, египетская изысканность речей и манер вселяла в меня тревогу.

Поэтому я сказал:

— Смею думать, не для того господин мой дал себе труд отыскать в этом зловонном переулке на задворках Иерусалима дом раба своего, чтобы похвалить его за выбор женщин.

Аменхотеп достал из складок своей одежды маленький флакон.

— Хочешь понюхать? — предложил он.— Получено от наилучшего поставщика, прямо из Египта, из города бога солнца Ра.

Я капнул из флакона на ладонь. В комнате сразу же повеяло лавандой и розовым маслом. Я вспомнил о десяти казнях, которыми Господь покарал египтян, и пожелал моему гостю хотя бы парочку из них. Он же беззаботно продолжал болтовню, толкуя теперь, причем весьма занимательно, об искусстве приготовления соусов к салатам, о лодочных гонках по Нилу, о девяноста девяти способах соития и о том, кто древнее — Яхве или бог солнца Ра.

Неожиданно, как-то уж совсем по особенному заломив руки, Аменхотеп спросил:

— Почему это, Ефан, принцесса Мелхола вновь желает видеть тебя?

— О! А она и впрямь желает?

— Я пришел, чтобы позвать тебя.

— Остается только гадать,— сказал я, размышляя, на кого еще, кроме царя Соломона, работает главный евнух.— Впрочем, я историк. Мне гадать не пристало, мое дело — факты.

— Ты пробеседовал с принцессой почти целую ночь, Ефан. Значит, располагаешь не только догадками.

— То была сказочная ночь, мой господин. Раз в году бывает у нас в Израиле такая ночь, когда сам воздух пьянит, как вино. Скажем так: принцесса грезила, а мне выпала честь услышать эти грезы.

Аменхотеп отвернулся, теперь я видел профиль египтянина: косой лоб, острый нос.

— Мы, Ефан, оба чужаки в этом городе. Стало быть, мы уязвимы и оба нуждаемся в дружеской поддержке. Но ты способен любить и быть любимым, поэтому ты уязвимее меня.

Вот она, угроза,— Лилит.

— Хочу пояснить мою мысль, Ефан. Говорят, будто твой Бог создал человека по Своему образу и подобию. Однако из предусмотрительной осторожности Он не сделал человека вполне равным Себе. Люди смертны. Но человек хочет стать богоравным, стремится к вечной жизни, поэтому египетские фараоны повелевали бальзамировать себя после смерти и замуровывать в пирамидах вместе со слугами и всем необходимым для жизни. Ты же, Ефан, и другие представители твоего ремесла, вы своим словом даруете человеку бессмертие, даже через тысячелетия народы будут знать имена тех, о ком вы написали. В этом ваше могущество. Поэтому люди открывают вам свои сердца. Вот и эта старая женщина хочет напичкать тебя своими небылицами. Я же...

До конца Аменхотеп не договорил. Он поднялся и встал передо мной, стройный, изящный, утонченный — от макушки до подошв своих сандалий.

— С тех пор как мне раздавили мошонку, я не верю ни в какого бога, ни в Яхве, ни в Ра.

Сказав это, он ушел.

Царский гарем охватывал кольцами круглый зал, в центре которого тихонько журчал фонтан. Видимо, предусматривалось возможное расширение; по мере того, как увеличивалось количество жен и наложниц Соломона, росли одно за другим и кольца пристроек. Со временем здесь просто не хватит воздуха, уже сейчас кисловатая смесь запаха пота и различных благовоний теснила грудь.

Аменхотеп ушел доложить принцессе Мелхоле о моем приходе и, судя по всему, не спешил назад. У меня возникло такое чувство, будто десятки испытующих взглядов следят за мною сквозь резные стены. Я принялся разглядывать цветную мозаику. В основном это были стилизованные изображения цветов, особой чувственности не возбуждавшие. Вдруг послышались легкие шаги, шелест тканей, и предо мною возникла дева с грудью такой же высокой, как у Лилит, и ягодицами тугими, словно дыни из долины Изреельской. Кончиком восхитительного язычка она облизнула алые губы, а большие глаза ее говорили красноречивее любого платного крючкотвора, который выступает пред царем Соломоном в Судный день; она поманила меня своим розовым пальчиком.

Я шепнул:

— Не навлекай на себя беду, красавица. К тому же я отец семейства, да еще книжник.

Как раз в эту минуту возвратился Аменхотеп.

— Прочь отсюда! — рявкнул он.

Девица задрожала от испуга и исчезла так же внезапно, как появилась.

— Что она говорила? — быстро спросил Аменхотеп.

— Ничего,— ответил я,— только поманила своим розовым пальчиком.

Евнух облегченно вздохнул. Знаю ли я ее? Я не знал, поэтому он объяснил:

— Это, Ефан, самая глупая женщина в Израиле. Ее зовут Ависага. В свое время ее выбрали, чтобы она лежала с царем Давидом и согревала его, потому что он был уже стар и слаб. Не секрет, что от ее пыла ничего царю не передалось, весь ее телесный жар остался при ней и жжет ее чрево. Однако никому не позволено потушить этот огонь, ибо она возлежала с царем Давидом, а значит, вошедший к ней заявит тем самым притязания на царство Давидово и его престол, на котором ныне восседает Соломон. Только Ависага никак не желает понять своего положения и обратила взоры на старшего брата Соломона принца Адонию, у которого без того полно неприятностей. Адония соблазнился ее прелестями и без конца шлет ей записки — то через обувщика, то через пирожника, то через прачку, то через золотаря, то через цирюльника, ей все равно через кого, мне же приходится перехватывать ее послания, и она знает, что я их перехватываю и что все это плохо кончится, однако продолжает свое дело, ну, не глупо ли?

Никому не дано постичь женское сердце, сказал я; Аменхотеп мрачно согласился и проводил меня в скромные покои с низенькими столиками, мягкими коврами и подушками, после чего вновь ушел.

ВТОРАЯ БЕСЕДА С ПРИНЦЕССОЙ МЕЛХОЛОЙ, СОСТОЯВШАЯСЯ В ПОКОЯХ ЦАРСКОГО ГАРЕМА И ЗАПИСАННАЯ ЕФАНОМ, СЫНОМ ГОШАЙИ

В о п р о с: ...Это вы придумали положить в постель деревянную статую вместо вашего мужа?

О т в е т: Да, Давид не ожидал, что мой отец, царь Саул, решится действовать. Давид уповал на Господа, который всегда покровительствовал ему, но Ионафан известил его о намерении Авенира...

В о п р о с: И что тогда?

О т в е т: ...И тут воин, сразивший в уплату за меня сотни филистимлян, совершенно растерялся. Я обняла его, словно малого ребенка, принялась уговаривать: «Тебе надо бежать, муж мой, возлюбленный мой, ибо если не спасешь ты души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит».
В о п р о с: Неужели сам он не сделал заранее никаких приготовлений к бегству?
О т в е т: Его мул стоял на царской конюшне, меч остался у оружейника, дома не нашлось в дорогу даже хлеба. Царские сыщики охраняли вход, поэтому я выпустила его через окно, а на кровать положила деревянную статую и укрыла ее.
В о п р о с: А вы не боялись, что вместо Давида убьют вас?
О т в е т: Утром, когда ищейки Авенира притащили меня к отцу, царю Саулу, я подумала, что так оно и будет. Ионафан стоял рядом с отцом, а тот кричал: «Зачем ты известил Давида, зачем предупредил его?» Ионафан ответил: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул разгневался еще больше и сказал Ионафану: «Ты сын негодный и непокорный! Разве я не знаю, что ты любишься с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей?» Тут мой отец бросил свое копье, но промахнулся, и Ионафан в великом гневе ушел от него. Тогда отец обратился ко мне и спросил: «Для чего ты обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» Я ответила, что Давид грозил убить меня, если я ему не помогу. Отец вскричал: «Вот позор царю! Все вы сговорились против меня, и никто не открыл ушам моим, что мой сын связался с изменником, и нет среди вас ни одного, кого я пожалею». Горечь была в словах отца и му́ка в его глазах. Он раскачивал головой, будто медведь, раненный стрелою в шею; его взгляд упал на пажа, который испуганно жался к двери; отец поманил его и спросил: «Ты чей?» Тот ответил: «Я — Фалтий, сын Лаиша из Галлима, и раб ваш». Фалтий косил одним глазом, зубы у него были кривые, и сам он весь как-то кособочился. Тут мой отец сказал: «Отдаю эту женщину Мелхолу, мою дочь, тебе в жены, чтобы она служила тебе». И Фалтий пал предо мною на колени и целовал мои ноги. До сих пор помню прикосновение его губ, горячих и дрожащих.

Здесь следует упомянуть некоторые не вполне ясные сведения о пророке Самуиле, собранные мной.

Во всяком случае, известно,— и принцесса Мелхола подтвердила это,— что Давид, спасаясь бегством от Саула, останавливался у Самуила в Раме. Однако никто не знает, что же именно произошло там и правда ли, будто царь Саул тоже побывал в этом храме, где на него якобы сошел Дух Божий, отчего «Саул снял одежды свои и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал на земле неодетый».

Я наведался к Садоку, надеясь, что он располагает какими-либо документами на сей счет. Однако Садоку мой интерес показался безрассудным — ведь мы, дескать, занимаемся историей Давида, а не Саула.

Распря с Саулом — часть истории Давида, возразил я. Саул трижды посылал своих сыщиков в Раму схватить Давида; трижды сталкивались те на дороге с толпой юродствующих пророков во главе с Самуилом, и каждый раз на сыщиков сходил Дух Божий, отчего они тоже начинали юродствовать. Тогда, говорят, об этом донесли Саулу; он сам отправился в Раму, где и на него сошел Дух Божий; отсюда повелась поговорка: «Неужели и Саул во пророках?»

Садок улыбнулся и сказал:

— Ты же все знаешь и без меня, Ефан. Зачем спрашиваешь?

Я ответил:

— Надеюсь, вы не станете всерьез утверждать, что орда чумазых юродивых, которые закатывают глаза, кривляются, пускают пену изо рта, могут произвести на царя столь сильное впечатление. Это же сумасшествие какое-то.

— А если царь к тому времени и впрямь начал сходить с ума? —

Садок вновь улыбнулся. Разве не безумие кидать копье в собственного сына? Разве не безумие гнать Давида, единственного, кто мог усмирить злого духа?

Мне вспомнились донесения Авенира царю Саулу. Известно ли Садоку, в какие игры играл Давид со злым духом, угнетавшим царя? Я взглянул на Садока, но его лицо оставалось непроницаемым.

— Неужели такой человек, как пророк Самуил,— продолжал я,— влиятельный, известный священнослужитель, в прошлом высший судья Израиля и советчик народа, способен пасть до того, чтобы связаться с кучкой одержимых?

Садок сложил на животе свои жирные руки.

— А разве Самуил не был одержим Духом Господа, когда изрубил в куски Агага?

Тут я понял, что в безумие и впрямь впадали оба, как Саул, так и Самуил, и содрогнулся от мысли о том, сколь темные силы движут человеком.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВТОРОЙ БЕСЕДЫ С ПРИНЦЕССОЙ МЕЛХОЛОЙ...

Вопрос: ...Вы упомянули, моя госпожа, что вас отдали в жены Фалтию, сыну Лаиша.

Ответ: Ах, Фалтий. Он так трогательно заботился обо мне, купал в жару и согревал в холода, а в постели ложился у моих ног. Фалтий был ужасно неловок, однако помогал мне поддерживать связь с Давидом — ведь за мной следили, а на Фалтия никто не обращал никакого внимания.

Вопрос: Стало быть, вы что-то знали о Давиде?

Ответ: Лишь то, что он был жив и скрывался.

Вопрос: Где?

Ответ: Сначала у священников Рамы, потом у священников Номвы. Оттуда он бежал в пустыню южной Иуды и жил в пещерах.

Вопрос: Ваш отец, преследуя Давида, посещал Раму?

Ответ: Нет.

Вопрос: Это точно?

Ответ: Рама была слишком уж связана с именем Самуила; отец ни за что не поехал бы туда. Зато он воспользовался своей царской властью и вызвал к себе во дворец священников из Номвы.

Вопрос: Вы были на том суде?

Ответ: Отец судил их пред всем народом. Помню ряды священников в льняных ефодах, впереди стоял первосвященник Ахимелех в белых одеждах. Отец мой, царь Саул, сказал слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, неужели Давид, сын Иессея, даст вам поля и виноградники и поставит тысяченачальниками и сотниками? Неужели никто из вас не выйдет вперед, чтобы свидетельствовать против изменника?»

Вопрос: И кто-нибудь вышел?

Ответ: Да, коренастый толстяк добродушного вида, похожий на кормилицу. Он назвался идумеянином Доиком и сказал, что видел, как Давид, сын Иессея, приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува. Тот, дескать, вопросил о Давиде через оракула Господа, дал ему продовольствия и меч.

Вопрос: Больше свидетелей не было?

Ответ: Отцу хватило Доика. Саул спросил Ахимелеха: «Послушай, для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, для чего ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем Господа? Ты хотел, чтобы Давид восстал против меня и строил мне ковы?» Ахимелех поднял руку и поклялся, что невиновен. Давид сказал, мол, царь поручил ему тайное дело и такое спешное, что он не успел взять с собою ни меча, ни другого оружия. Я подумал, продолжал Ахимелех: «Кто из рабов царя верен ему, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений его, и почтен

в доме его; поэтому я дал Давиду все, чего он хотел. Но Бога я о нем не вопрошал, напрасно это ставится мне в вину». Тут все священники подняли руки и поклялись, что они невиновны, и шум их голосов разнесся до стен городских. Слава Богу, не схвачен супруг мой Давид, подумала я, и в то же время сердце мое болело из-за отца, царя Саула.

Вопрос: Затем последовала казнь?

Ответ: Отец встал, опершись на копье, и сказал: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». Он велел телохранителям, бывшим при нем: «Ступайте, умертвите все священническое отродье, ибо и их рука с Давидом и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но никто не хотел поднимать руки своей на священников. Тогда отец сказал: «Чего же вы боитесь? Не святые они и нет от них никому пользы. Они, словно черви на падали, жиреют от того, что народ жертвует Богу». Тут поднялся ропот, все ждали, что злой дух сойдет на царя и начнет его душить и корчить, однако отец стоял спокойно. Он подал знак идумеянину Доику, приказал: «Ступай ты и умертви священников!» И пошел Доик-идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод.

Все мои восковые дощечки были уже исписаны. В круглой комнате сгустилась духота, но принцесса меня не отпускала. Она сидела на подушках, выпрямив спину и положив иссохшие руки на колени; ее глаза были устремлены куда-то вдаль.

Словно очнувшись, она вдруг спросила:

— Каким ты представляешь себе Давида?

Странный вопрос редактору *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе и т. д.* Я взглянул на резные стены, через отверстия в которых нас наверняка подслушивал Аменхотеп.

— Давид — отец царя Соломона,— ответил я.

Принцесса презрительно улыбнулась.

— Стало быть, это царь Соломон должен решать, каким ты представишь себе человека, который для меня дважды был супругом, для моего брата Ионафана — возлюбленным, а для моего отца Саула — блудодеем?

Я опустил голову.

Мелхола же лишь махнула рукой и проговорила:

— У него было множество лиц. Признаюсь, и впрямь нелегко разобраться, каков он на самом деле. Мы часто говорили об этом с Ионафаном. Те дни очень сблизили меня с братом. Обычно мы выезжали вместе из царского дворца в Гиве, добирались до Красной скалы и всматривались в даль — не появится ли от Давида какого-либо знака, не закурится ли дымок в горах. Но не было нам никакого знака, лишь стервятники кружили по небу. Ионафан рассказал мне однажды о клятвенном союзе, который он заключил с Давидом, ибо любил его, как собственную душу. А еще Ионафан сказал, что Давид — избранник Божий и что Давид обещал не отнимать милости от дома Ионафанова вовеки ради их великой дружбы и союза. Но как же с престолом, спросила я, разве не ты будешь царем, брат мой?

Принцесса встала, прошлась по комнате. Ее ноги в открытых сандалиях оказались удивительно красивы.

— Ионафан объяснил мне тогда: «Чтобы властвовать, нужно иметь пред собою единственную цель — власть. Никого нельзя любить владыке, кроме самого себя. Даже Бог должен стать твоим собственным Богом, готовым освятить Своим Именем любое твое преступление».

Принцесса остановилась, посмотрела на меня.

— Учти, Ефан: Ионафан понимал это, однако продолжал любить Давида. А стервятники все кружили по небу... Вдруг один из них прянул камнем вниз. Я спросила Ионафана: «Ты знаешь, где скрывается Давид?» Он ответил: «В Адолламской пещере; туда пришла вся его

семья, и все притесненные собрались к нему, и все должники, и все огорченные душою; их там около четырехсот человек». Я представила себе, как Давид, супруг мой, собирает свою шайку в Адолламской пещере, увидела его смуглое лицо, гибкую фигуру и сказала Ионафану: «Будь Давид хоть скотокрад, хоть разбойник с большой дороги, но я люблю его и хочу быть с ним». Он ответил: «Потерпи, люди Авенира, царские ищейки, следят за тобой. Они схватят тебя и убьют». И я набралась терпения; прошла пора дождей, началась весна, бедный Фалтий, сын Лаиша, заботился обо мне, а от Давида — ни единого словечка через Фалтия или Ионафана. Потом опять зарядили дожди, и тут до меня долетел слух, что Давид взял в жены Авигею, жену некоего Навала, богатого овцевода из Моны. Помню, я рыдала, раздирала свои одежды, а затем сидела в тоске, ничего не ела и не пила, пока Фалтий не заставил меня выпить вина; он умастил меня маслом, ласкал меня, и я уступила ему, оставаясь совершенно бесчувственной.

Я не поднимал глаз на принцессу.

Она засмеялась, тихо-тихо, и сказала изменившимся голосом:

— Все это было так давно.

Тут вновь появился Аменхотеп, который объявил с поклоном:

— Ужин накрыт. Госпожу ждут.

Принцесса ушла, поступь ее была тяжеловата, но осанка оставалась царственной — в ее-то годы. У двери она обернулась ко мне и заговорщицки кивнула:

— Ты сумеешь верно представить его себе, я знаю.

8

Благословенно будь имя Господа Бога нашего, который открывает истину поэтам и прозорливцам чрез их сновидения, прочих же побуждает к тщательным поискам и кропотливым исследованиям.

Для скрывающегося предводителя шайки разбойников и головорезов важно замести следы, отнюдь не в его интересах оставлять глиняные таблички с записью своих подвигов или перечнем добычи. Он старается избегать стычек с блюстителями закона, так что и из этого источника сведения поневоле скудны и малодостоверны. Кое-что можно почерпнуть из преданий или песен, сложенных во славу лихого главаря разбойной шайки, но лучше всего отыскать живого свидетеля тех набегов — скажем, одного из разбойников или пострадавших.

Авигея мертва. Вопросы, которые мне хотелось бы задать именно ей, навсегда останутся без ответа. Она умерла в Хевроне, где Давид царствовал над Иудой; умерла, родив ему сына, названного Далуей — бедного дурачка с изуродованной от рождения головой. По всему, что о ней известно, Авигея была женщиной незаурядной и имела значительное влияние на Давида в ту пору, когда он, будучи изгоем, предводительствовал шайкой разбойников, и потом, когда он стал царьком в Хевроне.

Об Авигее мне рассказала некая Дебора. Эта бойкая старуха содержит постоялый двор для мастеров из Сидона и Тира, нанятых для строительства Храма. Дебора была одной из пяти служанок, которых Авигея, став женой Давида, взяла с собой в царский двор. Таким образом, Дебора видела и слышала многое из того, что происходило между ее госпожой и Давидом. Кроме того, люди Ванеи привели ко мне некоего Мивсама, сына Мишмы; этот Мивсам побирался у городских ворот. Он уверял меня, будто потерял ногу, когда скрывался в пустыне вместе с Давидом. Он, дескать, возглавлял отряд из десятка молодцов, которых Давид послал к Навалу, первому мужу Авигеи, чтобы предложить ему мир и попросить подаяния от щедрот его.

Вел я беседы и с другими, нашлись кое-какие документы; благодаря всему этому удалось камешек за камешком сложить, хоть и не полностью, мозаику событий того времени.

Свидетельство Мадманы, сына Иерахмеила, выборного старейшины из рода Халева:

НАВАЛ — ЧЕЛОВЕК ИЗ НАШЕГО РОДА
ЖИВЕТ В МОНЕ
НО ИМЕНИЕ ЕГО НА КАРМИЛЕ
ОВЕЦ У НЕГО — ТРИ ТЫСЯЧИ
КОЗ ТЫСЯЧА

А вот что рассказал мне Мивсам, сын Мишмы:

— Чтобы Давид стал скотокрадом? Да ни Боже мой! Он ведь ушлый был. Слушайте, ребята, говаривал он, ежели я поймаю кого из вас, кто тронет у пастуха хоть овечий хвост, берегись. Пусть сделает со мною Бог то и то и еще больше сделает, если я не велю выпороть того негодяя, чтоб на всю жизнь запомнил. Ну, украдем мы овец, дальше что? Пастухи начнут от нас носы воротить, попрячут свои стада, а не то — соберутся вместе и зададут нам жару. Ведь меткий пастух с пращой любого вояку за пояс заткнет. Небось, про мою схватку с Голиафом все слыхали? Или, чего доброго, пошлют пастухи весточку царю Саулу, тот выделит сюда от своего войска тысячу-другую, что тогда? Нет, ребята, в пустыне эдак не проживешь. Однажды Давид говорит, мол, явился ему во сне Господь и сказал: «За то, что ты, Давид, блюдешь закон, который Я дал праотцам твоим, укажу Я тебе верный путь, как достичь благополучия тебе и твоим молодцам. Дело надо делать с умом. Не забижайте пастухов, не нападайте на них, лучше водите с ними дружбу и оберегайте от разбойников, которые охотятся за их скотом. А когда настанет пора и пастухи погонят стада к хозяевам на стрижку, когда начнутся праздники, и пиршества, и веселье, ступайте туда и просите себе долю от даров Божьих за то, что охраняли пастухов и стада их». Вот что присоветовал мне Господь, так мы и поступим, тогда будет нам во все времена звонкая монета и всякое богатство, мясо и сушеное зерно, вино и другое добро, и весь Израиль будет славить нас и доброжелательствовать нам. Если же вдруг какой хозяин заупрямится — мол, знать вас не знаю и никого не просил защищать мое имущество,— вы ему на это скажите: «Ах ты, чертов сын! Пусть то и то сделает с нами Бог и еще больше сделает, если Давид оставит в живых из твоей семьи хоть одного мочащегося к стене...»

Мивсам, сын Мишмы, почесал зудящую культю, которая покраснела и воспалилась; в глазах его засветился отблеск былой Давидовой славы, и он продолжил:

— У этого Навала были тысячи голов овец, все как на подбор жирные да толстые, и коз тысячи голов, тоже самонаилучших; у нас аж слюнки текли, стоило лишь подумать про то времечко, когда настанет пора стрижки. Наконец, позвал меня Давид и сказал: «Слушай, Мивсам, парень ты неглупый, и язык у тебя хорошо подвешен. Возьми-ка себе девятерых молодцов, здоровяков, вроде тебя, и скачи к Навалу, передай от меня привет, мир, мол, тебе, Навал, мир дому твоему и все такое, а потом напомни, только вежливо, что живет он в достатке, а мы тут с седла не слазим, в пустыне обретаемся, добро его стережем; но теперь, скажи, настал добрый день и ждет Давид благоволения; дай, мол, другу твоему Давиду, сыну Иессееву, что найдет рука твоя». А Навал, доложу тебе, жирен был — дальше некуда, пузо до колен, зоб — мешком; разозлился он и заорал: «Кто таков этот Давид? Что еще за сын Иессеев? Много ныне развелось рабов беглых, что прячутся от господ. Неужто я отдам им хлебы мои, и воду мою, и мясо, приготовленные для стригалей? Неужто отдам мои кровные деньги бродягам, про которых не знаю, кто они и откуда?» Я подумал, что его удар хватит, до того он побагровел, а потом сделался сизым, будто слива; но я твердо помнил наказ Давида «будь вежлив, Мивсам», потому спокой-

но сказал Навалу: «Остынь, хозяин; а о сыне Иессееве ты еще услышишь, попомнит он тебе твою щедрость...»

Мивсам, сын Мишмы, почесал под мышкой, нащупал там что-то, прикусил, сплюнул, потом проговорил:

— А та женщина все время прислушивалась к нашему разговору. Собой она была пригожа и наряжена по-господски — на пальцах кольца, на руках и ногах браслеты. Я сразу приметил, как она на меня зыркает, так ведь я был плечистый да стройный и в седле сидел ловко; хотел уж я назад поскакать от Навала, но она подошла ко мне и спрашивает: «А что предводитель твой, Давид, сын Иессеев, похож на тебя?» Я говорю: «Коли я тебе по вкусу, красавица, то супротив Давида тебе и вовсе не устоять, ибо он стоит дюжины таких, как я». А ты сама кем будешь, спрашиваю. Меня зовут Авигеей, говорит, я жена Навала; по голосу сразу слыхать, что нужен ей этот муж, как прыщ на заднице. Дух от Господа шепнул мне, что мы с Авигеей еще увидимся, потому шибанул я своего мула промеж ушей, и полетел он птицей. Прискакали мы на место, которое нам указал Давид, а он нас там уже дожидается. Передал я ему слова Навала, вот тут-то Давид и сказал: «Опояшьтесь каждый мечом своим». И сам Давид опоясался мечом своим и зарекся: «До рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, не оставлю мочащегося к стене». Мне же он велел: «Мивсам, останься с двумя сотнями при обозе, охраняйте его, потому что я поскачу быстро, обоз за мной не поспеет». Сам он взял четыре сотни и умчался, а что случилось потом, не знаю, только утром Давид привез много всякого добра и вид у него был довольный, как у лягушонка, который муху заглотал...

Среди оставшихся после смерти Авигеи, жены Давида и вдовы Навала, вещей, которые хранились на складе царского гарема, отыскалось несколько глиняных табличек; Аменхотеп, главный царский евнух, переслал их мне со своим рабом. На одной из табличек оказался составленный неловкой женской рукой список. Привожу его, сохраняя все многочисленные ошибки:

ДАДЕНО ДАВИДУ, СЫНУ ИЕССЕЕВУ:
ХЛЕБОВ — 2 СОТНИ
ВИНА НАИЛУЧЕГО — 2 МЕХА
АВЕЦ ЖАРЕНЫХ — 5 ГАЛОВ
ЗЕРЕН СУШЕНЫХ — 5 МЕР
УЗЮМУ — 100 СВЯЗОК
СМОКВЫ — 200 СВЯЗОК
АСЛОВ ВЬЮЧНЫХ — 8 ГАЛОВ

Дебора, служанка Авигеи, рассказывала мне следующее:

— Отведай-ка моего винца, господин хороший. Пусть Бог то и то со мной сделает, ежели оно похоже на пойло, каким я потчую постояльцев; тем хоть уксусу подай, хоть козьей мочи, вылакают и не заметят. Мое-то винцо почище царского с виноградников Ваал-Гамона, оно все эти годы в сем сосуде хранилось. То вино из особых погребов Навала, первого супруга моей госпожи, который от удара помер. Госпожа моя, да упокоит Господь ее душу, сказала, даря мне вино: «Сбереги его, Дебора, на тот день, когда встретишь мужчину, который пленит тебя так, как меня Давид; распечатай тогда сей сосуд и выпей с тем мужчиной этого вина». Был у меня мужчина, господин хороший, и другой был, и третий, а я все не могла понять, пленил ли он меня так, как Давид мою госпожу, или нет. Мужчины приходили и уходили, я старела и порой говаривала себе: «Видно, жизнь твоя, Дебора, подобна сему запечатанному сосуду — самого сладкого вина так и не попробуешь».

Потому, господин хороший, давай-ка выпьем его и помянем мою госпожу Авигею. Не за то, конечно, помянем, что так скоро с Давидом сошлась. Но ведь и не овечкой юной она была, когда встретила сына

Иессеева, не девочкой; она была старше его лет на шесть, если не на все восемь, однако телом еще свежа, груди торчком, что тараны стенобитные.

Она и домом заправляла, и слугами командовала, и хозяйство вела, а ее супруг Навал лишь пьянствовал да обжорствовал, пока не разбух, вроде кишки с требухой, от такого любая отвернется. Ходили слухи, будто госпожа то погонщика ослов приголубит, то бродячего гончара, то скотника, то сказителя-песенника, но только женщина она была воистину добродетельная, а предпочитала своих прислужниц, я и была одною из тех пяти девиц, мы ее ласкали и нежили, обнимали и целовали, а она сладко вздыхала, и глаза у нее от истомы чуть на лоб не лезли.

Ну, не вино, а прямо-таки солнышко текучее, да благословит его Господь! Словом, когда госпожа Авигея увидела молодца, которого Давид прислал к Навалу, когда она услышала, как Навал обругал его, то сказала мне: «Если Давид, сын Иессеев, так же пригож, будет дело. Возьми-ка список, который я составила, собери все, что указано там, вели погрузить на ослов и поспешай с погонщиками вперед, а я вас догоню». Только ни слова Навалу, прибавила, не то этот чертов сын все испортит. Когда она нагнала нас на своем осле, я приметила, что глаза у нее подкрашены, щеки нарумянены, а губы пылают, что мякоть граната, и пахнет она, как целый сад цветочный. Лишь въехали мы в тень от горы, тут же поднялся шум и гам — Давид кинулся к нам со своим отрядом, но Авигея обогнала нас и поскакала ему навстречу.

До чего винцо славное! Может, еще немножко выпьешь, господин хороший? Если ты и впрямь собираешься писать о моей госпоже, так слушай теперь в оба уха, потому что дошел черед до ее встречи с Давидом. Вот сидит он в седле своем, кудри рыжие, лицо смуглое, глаза так и блестят; госпожа моя вмиг соскочила с осла и пала ниц перед Давидом. Он спрашивает: «Кто эта женщина?» Тут я выхожу вперед и отвечаю: «Это госпожа моя Авигея, супруга Навала, что живет в Моне, а имения его на Кармиле». Тогда Давид слезает с седла и говорит ей громко, чтобы все слыхали: «Жаль мне тебя, красавица; охранял я в пустыне имущество Навала, и ничего не пропало из принадлежащего ему, а он платит мне злом за добро». Тут Авигея, госпожа моя, выпрямилась, чтобы Давид разглядел ее, а у самой груди торчком, что тараны стенобитные. «На мне грех, господин мой. Прошу тебя, не гневайся на Навала, он глуп. Обрати лучше очи на рабу твою, у которой сердце трепещет от радости пред лицом твоим, ибо во́йны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Прими дары от рабы твоей, хлебов две сотни и вина два меха, пять овец приготовленных и пять мер зерен сушеных, сотню связок изюма и две сотни связок смоквы, раздай их своим молодцам. А когда Господь облагодетельствует господина моего, вспомни рабу твою».

А винцо-то в голову бьет! Старое так и встает перед глазами, вижу госпожу мою Авигею как живую и Давида, сына Иессеева. Вот он подымает ее с колен, поддерживает ласково. «Благословен Господь, Бог Израилев,— говорит он ей,— и благословенна ты за то, что не допустила меня пролить кровь. Жив Господь, Бог Израилев, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу ни одного мочащегося к стене». Давид поклонился ей, и оба пошли в сторонку, а когда вернулись, госпожа моя несла голову высоко и словно помолодела лет на десять. Давид же сказал ей на прощание: «Иди с миром в дом твой, ибо я послушался тебя и все будет по-твоему».

Отчего не пьешь, господин хороший? За меня не беспокойся, через эту старую глотку протекло столько вина, что и тысячи козьих мехов не хватит. Так вот вернулась моя госпожа Авигея к своему супругу Навалу, а тот валяется вдрызг пьяный, в блевотине, потому что кутил все это время; так она и не сказала ему ни слова до самого утра. Когда же он на другой день очнулся с охами да ахами, вонючий, точно целая

свинарня, не чующий ни рук своих, ни ног, Авигея подошла к нему, свежая, будто росинка, и говорит: «Ах ты, туша мясная, пьяница беспробудный, немочь мужская. Я тебе жизнь спасла тем, что поспешила навстречу Давиду, сыну Иессееву, чтобы откупиться от него малой толикой твоих богатств, хлебами и вином, мясом и сушеным зерном, изюмом и смоквой, не то Давид всех бы здесь к утру поубивал». Тут Навал подскочил, словно блоха, воздел руки к Господу и завопил: «Боже мой, слышал ли Ты, что говорит эта ведьма, сука чертова? Погибель она моя, разорение мое! Отдать овец, и сушеные зерна, и смокву! Да пусть у нее груди отсохнут, пусть чрево ее сгниет! Ты ведь, Господи, справедлив, так покарай же ее страшною карою!» Он принялся звать управителя и рабов, разбушевался, побагровел, у него сделались сизыми губы, потом все лицо; вдруг он упал на спину и стал как камень. Управитель сказал, что надо пустить кровь, рабы бросились было за лекарем, однако госпожа Авигея велела: «Молитесь Богу сколько угодно, но крови господина вашего не троньте, ибо Господь ее сгустил и не дает течь по жилам, так пускай исполнится Его воля». Десять дней молились рабы, а лекарь ждал, и госпожа моя сидела у постели Навала, своего супруга, который лежал как камень; на десятый день поразил Господь Навала и он умер.

Сильное было сердце у госпожи моей, выпьем за нее, где бы душа ее сейчас ни обреталась. Просидеть десять суток с собственным мужем, ожидая, когда он умрет, и беспокоясь, как бы не выжил, тут воистину нужен характер. После похорон Авигея сказала мне: «Вели, Дебора, седлать осла и езжай к Давиду; передай ему, мол, благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное ему Навалом, и сохранивший его от зла; Господь, дескать, обратил злобу Навала на его же голову». В пустыне меня встретили Давидовы молодцы, они отвели меня к нему, и я передала слова моей госпожи. Давид меня щедро наградил. Подарил мне серебряный браслет и десять локтей тонкого полотна в три локтя шириной и послал со мной своих слуг. Когда те пришли к Авигее на Кармил, то сказали: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены». На губах у моей госпожи промелькнула победная улыбка, но она тут же сдержала себя, поклонилась лицом до земли и ответила: «Раба его готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Она поспешно собралась, села на осла, мы, пять служанок, поехали с ней за послами Давида, и сделалась она его женою.

ПЛАЧЕВНАЯ ПЕСНЬ, ВОСПЕТАЯ ДАВИДОМ ГОСПОДУ

Да прекратится злоба нечестивых,
а праведника подкрепи;
ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!
Щит мой в Боге, спасающем праведных сердцем.
Бог — судия праведный,
но и Бог всякий день строго взыскует.
Если кто не обращается,
Он изощряет свой меч,
напрягает лук Свой
и направляет его.
Приготовляет для него оружие смертельное,
стрелы Свои делает палящими.
Вот нечестивый зачал неправду,
был чреват злобою и родил себе ложь,
рыл ров, и выкопал его,
и упал в яму, которую приготовил.

(Окончание следует)

ТОМ СТОППАРД

Розенкранц и Гильденстерн мертвы

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Перевод с английского ИОСИФА БРОДСКОГО

Действующие лица

Розенкранц.
Гильденстерн.
1-й актер.
Альфред.
Актеры (4 человека).
Гамлет.
Офелия.
Клавдий.
Гертруда.
Полоний.
Воин.
Горацио.
Фортинбрас.
Придворные, послы, солдаты и слуги.

Примечание: сцены из «Гамлета» даны в переводе М. Лозинского с незначительными уточнениями.

Переводчик

Действие первое

Два человека, в костюмах елизаветинской эпохи, проводят время в местности, лишенной каких бы то ни было характерных признаков.

Оба хорошо одеты — шляпы, плащи, трости и все остальное.

У каждого — по большому кожаному кошельку.

Кошелек Гильденстерна почти пуст.

Кошелек Розенкранца почти полон.

Дело в том, что они играют в орлянку. Происходит это следующим образом: Гильденстерн достает монету из кошелька, подбрасывает ее и дает ей упасть. Розенкранц разглядывает ее, определяет, что выпало, произносит «орел» — ибо так оно и есть — и опускает ее в свой кошелек. Потом процесс повторяется. Судя по всему, они занимаются этим уже довольно долго.

Постоянное выпадание «орла» — вещь невероятная, но Розенкранц ничем не выдает своего удивления, да он его и не чувствует. Впрочем, он достаточно милый человек, чтобы быть несколько смущенным тем обстоятельством, что ему перепадает так много денег его друга. Это его как-то характеризует.

Гильденстерн весьма заинтересован необычностью происходящего. Его не волнуют деньги: он пытается понять смысл, подоплеку, что ли, происходящего. Отдавать себе отчет, но при этом не впадать в панику — его характерная черта. Гильденстерн сидит. Розенкранц стоит (все его движения связаны с монетами и тем, куда они падают).

Гильденстерн бросает, Розенкранц наклоняется и разглядывает.

Розенкранц. Орел.

Подбирает монету и опускает ее в кошелек. Сцена повторяется.

Орел.

Сцена повторяется.

Орел.

Сцена повторяется.

Орел.

Орел.

Гильденстерн (*подбрасывая монету*). Нервотрепка как вид искусства.

Розенкранц. Орел.

Гильденстерн (*бросая следующую*). Или просто везенье.

Розенкранц. Орел.

Гильденстерн. Если только я верно определил.

Розенкранц (*поднимает взгляд на Гильденстерна*). Семьдесят шесть — ноль.

Гильденстерн встает, хотя идти некуда. Он бросает, не глядя, через плечо монету; его внимание привлекает окружающая обстановка — вернее, отсутствие таковой.

Орел.

Гильденстерн. Менее закаленного человека это могло бы подвигнуть на пересмотр всей его веры. По крайней мере в смысле теории вероятности. (*Бросает монету через плечо и идет в глубь сцены.*)

Розенкранц. Орел.

Гильденстерн, исследуя глубину сцены, бросает через плечо еще две монеты, одну за другой. Розенкранц объявляет каждую из них «орлом».

Гильденстерн (*задумчиво*). Теория вероятности, как кто-то остроумно заметил, исходит из предположения, что если бы шесть обезьян (*удивляясь самому себе*)... если бы шесть обезьян...

Розенкранц. Играем?

Гильденстерн. Были бы что?

Розенкранц. Так ты играешь?

Гильденстерн (*понимая*). А, да. (*Кидает монету.*) Закон средних чисел, если я правильно понимаю, означает, что шесть обезьян, будучи подброшены вверх достаточно высоко, должны примерно так же часто шлепнуться на спину, как и...

Розенкранц. Орел. (*Он подбирает монету.*)

Гильденстерн. Что даже на первый взгляд не является глубокой мыслью. Даже без обезьянок. То есть, на это никто не поставит. То есть, я-то, может, и поставлю, но кто другой... (*Кидает монету.*)

Розенкранц. Орел.

Гильденстерн. ...Не так ли? (*Бросает монету.*)

Розенкранц. Орел.

Сцена повторяется.

Орел. (*Смотрит на Гильденстерна, смущенно смеется.*) Скучновато малость, а?

Гильденстерн. Скучновато?

Розенкранц. Ну...

Гильденстерн. А как насчет нервотрепки?

Розенкранц (*наивно*). Нервотрепки?

Небольшая пауза.

Гильденстерн. Видимо, закон сокращения прибылей. Что-то мне нехорошо. (*Делает над собой усилие; достает монету, высоко ее подбрасывает, ловит, накрывает ладонью, переворачивает, подносит к глазам, разглядывает монету — и передает ее Розенкранцу.*) Ладно, это был последний шанс... если мои расчеты верны.

Розенкранц. Восемьдесят пять подряд — это же бьет все рекорды.

Гильденстерн. Не дури.

Розенкранц. Зуб даю.

Гильденстерн (*гневно*). И только это? И это все?

Розенкранц. То есть?

Гильденстерн. Новый рекорд? И это все, что тебе приходит в голову?

Розенкранц. А что, собственно...

Гильденстерн. Никаких вопросов? Ни на секунду?

Розенкранц. Но ты же сам их бросал.

Гильденстерн. Ни тени сомнения?

Розенкранц (*огорченно, агрессивно*). Слушай, я выиграл — да или нет?

Гильденстерн (*приближаясь к нему, спокойнее*). А если б ты проиграл? Если б все шло против тебя, восемьдесят пять раз подряд, одна за одной, как сейчас?

Розенкранц (*бессмысленно*). Восемьдесят пять подряд? Решка?

Гильденстерн. Да! Что б ты тогда подумал?

Розенкранц (*растерянно*). Ну-у... (*Весело.*) Я бы сначала хорошенько проверил твои монеты.

Гильденстерн (*отходя*). А-а, гора с плеч. Можно по крайней мере рассчитывать на личную заинтересованность как на предварительный фактор... Это уже кое-что. Твоя беззаботность просто изумительна, если бы не... (*Он внезапно оборачивается к нему и протягивает ладонь.*) Дай руку.

Розенкранц пожимает ему руку. Гильденстерн тащит его к себе.

Гильденстерн (*напряженно*). Мы играем в орлянку уже... (*Освобождает его так же резко.*) Не в первый же раз мы бросаем монеты!

Розенкранц. Конечно нет — довольно давно, сколько я помню.

Гильденстерн. То есть, сколько?

Розенкранц. Забыл. Постой — восемьдесят пять раз!

Гильденстерн. Да?

Розенкранц. Я так полагаю, кой-чем надо обладать — чтоб такой результат.

Гильденстерн. Ты так полагаешь? И это все? И никакого страха?

Розенкранц. Страха?

Гильденстерн (*в ярости швыряет монету наземь*). Да, страха! Такая, знаешь, щелка, сквозь которую мозги заливает светом!

Розенкранц. Орел... (*Опускает ее в кошелек.*)

Гильденстерн садится подавленный, достает монету, бросает ее, она падает между ног; смотрит на нее, поднимает и кидает ее Розенкранцу; тот опускает ее в кошелек. Достает другую, подбрасывает, ловит, накрывает ладонью, переворачивает, открывает, смотрит и кидает ее Розенкранцу; тот опускает ее в кошелек. Достает третью монету, подбрасывает, ловит правой рукой, переворачивает ее на тыльную сторону запястья левой, взмахивает им (запястьем), ловит левой, поднимает левую ногу, швыряет под нее монету, ловит ее, переворачивает и кладет ее себе на макушку, где она и остается. Подходит Розенкранц, разглядывает монету и опускает ее в кошелек.

Розенкранц. Боюсь...

Гильденстерн. Я тоже.

Розенкранц. Боюсь, что сегодня не твой день.

Гильденстерн. Боюсь, что как раз мой.

Небольшая пауза.

Розенкранц. Восемьдесят девять.

Гильденстерн. Должно же это означать что-нибудь еще, кроме перераспределения капитала. (*Размышляет.*) Список возможных объяснений. Первое: я сам хочу этого. На дне моего подсознания я играю в орлянку против самого себя, используя монеты без решки во искупление своего невспоминаемого прошлого. (*Бросает монету.*)

Розенкранц. Орел.

Гильденстерн. Второе: время остановилось намертво, и поэтому выпавший в тот миг орел повторяется в девяностый раз... (*Бросает монету, разглядывает, передает ее Розенкранцу.*) Но в целом сомнительно. Третье: божественное вмешательство; иными словами, благоволение свыше, ниспосланное ему,— см. притчу о детях Израилевых — или же кара свыше, ниспосланная мне,— см. притчу о жене Лота. Четвертое: эффектное подтверждение принципа, согласно которому каждая отдельная монета, подброшенная в отдельности (*бросает*

монету), с той же вероятностью упадет как орлом, так и решкой и поэтому нет оснований удивляться в каждую отдельную единицу времени, когда это происходит. (*Это происходит — он кидает монету Розенкранцу.*)

Розенкранц. Никогда не видел ничего подобного.

Гильденстерн. И силлогизм: первое — он никогда не видел ничего подобного; второе — ни о чем подобном никогда не писал домой. Вывод: домой об этом писать не стоит... Домой... О чем ты прежде всего вспоминаешь?

Розенкранц. А, ну это... Ты имеешь в виду, что первое мне приходит в голову?

Гильденстерн. Нет — какую вещь ты прежде всего вспоминаешь.

Розенкранц. Ага. (*Пауза.*) Не помню. Я все забыл. Это же было так давно...

Гильденстерн (*спокойно, но настойчиво*). Ты не понял: я спрашиваю, что ты вспоминаешь первым после всего, что забыл?

Розенкранц. А, ясно. (*Пауза.*) Я забыл вопрос.

Гильденстерн вскакивает и шагает взад-вперед.

Гильденстерн. Ты счастлив?

Розенкранц. Что?

Гильденстерн. Ну, доволен?

Розенкранц. Да, думаю, что да.

Гильденстерн. Что ты намереваешься сейчас делать?

Розенкранц. Не знаю. А ты?

Гильденстерн. У меня нет намерений. Никаких. (*Останавливается как вкопанный.*) Значит, это был гонец... посланец... это точно. За нами послали. (*Он круто оборачивается к Розенкранцу и резко произносит.*) Силлогизм номер два: первое — вероятность есть фактор, оперирующий в сфере естественных сил. Второе — вероятность не оперирует как фактор. Вывод — мы во власти не-, противо- или сверхъестественных сил. Обсудим.

Розенкранц вздрагивает.

Только без горячности.

Розенкранц. Прости, что это с тобой?

Гильденстерн. Научный подход есть форма защиты от чистого чувства страха. Ну, держись крепче, поехали, итак — возраженье к предыдущему силлогизму: дело тонкое, навостри уши, вдруг выйдет что-нибудь симпатичное. Если мы постулируем, как только что, что в пределах не-, противо- и сверхъестественных сил существует вероятность того, что теория вероятности не будет оперировать как фактор, тогда мы должны принять, что вероятность в первой части как фактор не оперирует, в каковом случае теория вероятности будет оперировать в пределах не-, противо- и сверхъестественных сил. И после того, как мы это со всей очевидностью установили, мы имеем все основания полагать, что мы не находимся во власти не-, противо- и сверхъестественных сил. По всей вероятности, то есть. Что лично для меня большое облегчение. (*Короткая пауза.*) Что было бы совсем неплохо, если бы...(*Он продолжает с растущим напряжением, но контролируя себя.*) Мы играем в орлянку уже черт знает как давно, и все это время — если только это время — я не в силах считать нас самих чем-либо бóльшим, чем парой золотых с орлом и решкой. Надеюсь, это не звучит чересчур удивительно. Потому что как раз неудивительность всего происходящего и есть то, что я пытаюсь ухватить. Душевное равновесие обычного игрока зависит от закона, или, пускай, тенденции, или, скажем, вероятности, или, во всяком случае, математически вычислимых шансов, которые гарантируют, что у него не сядет психика от слишком большого проигрыша — и что он не надавит на психику своему партнеру слишком большим выигрышем. Что создает некоторую гармонию и атмосфе-

ру доверия. Словом, случайность и упорядоченность образуют некий союз, в котором мы узнаем природу. В конце концов, солнце вставало примерно так же часто, как и садилось, и монета падала примерно столько же решкой, сколько и орлом. А потом прибыл посланец. За нами послали. И больше ничего не случилось. Но девяносто две монеты, подброшенные одна за другой, упали девяносто два раза орлом... И в течение последних трех минут на ветру этого безветренного дня я слышу звуки барабана и флейты...

Розенкранц (*обгрызая ногти*). А вот есть еще один любопытный научный феномен — это что ногти растут после смерти, как и борода.

Гильденстерн. Что?

Розенкранц. Борода.

Гильденстерн. Но ты же еще не умер.

Розенкранц (*раздраженно*). Я же не сказал, что они *начинают* расти после смерти. (*Пауза, спокойнее.*) Ногти растут также и до рождения. В отличие от бороды.

Гильденстерн. Как?

Розенкранц (*кричит*). Бороды! Да что это с тобой? (*Задумчиво.*) А вот, с другой стороны, на ногах ногти совсем не растут.

Гильденстерн (*ошеломленно*). Не растут?

Розенкранц. А нет? Смешно — я всегда обрезаю ногти. Но всякий раз, как мне приходит в голову их обрезать, их пора обрезать и на самом деле. Например, сейчас. А вот на ногах, сколько я себя помню, никогда не приходило в голову стричь. Они уже должны были бы загнуться мне на пятки. Чего не произошло. Должно быть, я обрезаю их бессознательно. Когда думаю о чем-нибудь другом.

Гильденстерн (*раздраженный этой болтовней*). Слушай, ты помнишь то, что первое сегодня случилось?

Розенкранц. Я проснулся, я полагаю. (*Возбужденно.*) Постой — вспомнил — тот человек, ну, иностранец — он разбудил нас!

Гильденстерн. Посланец. (*Расслабляется и садится.*)

Розенкранц. Ага, точно — предрассветный сумрак — и этот человек, стоящий в седле — колотит в ставни — жуткий шум — в чем дело — откройте — и потом он назвал нас по имени — помнишь? Это он нас разбудил.

Гильденстерн. Да.

Розенкранц. За нами послали.

Гильденстерн. Да.

Розенкранц. Поэтому мы здесь. (*Он оглядывается, лицо выражает сомнение; поясняющим тоном.*) Мы путешествуем.

Гильденстерн. Точно.

Розенкранц (*нервно*). Это было что-то срочное, а? Высочайшая воля — дескать, таков приказ, никаких расспросов — свет в конюшне — седло, ноги в руки — и копыта тоже — и проводники чуть не свернули себе шею — жуткая скачка — но мы исполняли наш долг. Ужасно, если мы опоздали.

Небольшая пауза.

Гильденстерн. Опоздали — куда?

Розенкранц. Откуда я знаю? Мы же еще не там.

Гильденстерн. Тогда что мы делаем тут, спрашиваю я себя.

Розенкранц. В самом деле.

Гильденстерн. Я думаю, надо двигаться.

Розенкранц. Несомненно.

Гильденстерн. Правильно, лучше двигаться.

Розенкранц (*с воодушевлением*). Точно! (*Пауза.*) Куда?

Гильденстерн. Вперед.

Розенкранц (*идя вперед, к рампе*). А. (*Нерешительно.*) В какую сторону? (*Он оборачивается.*) С какой стороны мы пришли?

Гильденстерн. Стоп, давай все по порядку... Пробуждение. Какой-то тип барабанит в ставни. Какой-то рассвет, нас окликают по имени. Письмо, приказ... Новый рекорд в орлянку. Никто не встречает... Мы покинуты... Чтоб самим выбрать путь... И есть какое-то направление... Надо подумать.

Розенкранц (*встревоженно, прислушивается*). Слушай... Слушай...

Гильденстерн. Ну?

Розенкранц. Я слышу — кажется, я слышал — это музыка.

Гильденстерн встает.

Гильденстерн. Где?

Розенкранц. Словно оркестр. (*Озирается и смущенно улыбается.*) Звучало словно оркестр. Барабаны.

Гильденстерн. Ну и что?

Розенкранц (*успокаиваясь*). Наверно, почудилось.

Гильденстерн. «Красное, синее и зеленое — реально. Желтое — мистика». Общее место. Плюнь и забудь.

Розенкранц *(на краю сцены).* Может — гром. Как барабаны...

К концу нижеследующего монолога действительно становятся слышны звуки оркестра.

Гильденстерн. Человек, прерывающий свое путешествие из одного места в другое в третьем месте, лишенном названия, отличительных признаков, населения и вообще значения, видит единорога, который пересекает его тропинку и исчезает в лесу. Это поразительно уже само по себе; но известны случаи еще более таинственных встреч — и — уж во всяком случае, есть масса способов объяснить это просто как фантазию. Но — «Господи,— восклицает вдруг человек, оказавшийся рядом,— я, кажется, сплю, потому что я видел единорога». Что сообщает происходящему уже довольно тревожный оттенок. Третий же свидетель уже не просто усиливает тревогу — он как бы расширяет реальность происходящего, растягивает ее, делает ее тоньше; а четвертый свидетель — еще тоньше, и чем больше свидетелей, тем скорей это становится столь же тонким, как реальность, или тем, что называется общественным мнением... «Смотрите! Смотрите! — восклицает толпа.— Лошадь со стрелой во лбу! Какой-то охотник принял ее за оленя».

Розенкранц (*возбужденно*). Я убежден, что это оркестр.

Гильденстерн (*устало*). А он убежден, что это оркестр.

Розенкранц. Идут!

Гильденстерн *(в последнюю минуту перед появлением новых персонажей, грустно*). Жалко, что не единорог. Было бы лучше, если б единороги.

Появляются актеры в количестве шести человек, включая мальчика Альфреда; двое толкают и катят перед собой тележку, полную костюмов и других принадлежностей; с ними — барабанщик, трубач, флейтист. Глава группы — 1-й актер — без инструмента. Он первым замечает Розенкранца и Гильденстерна и поднимает руку.

Актер. Сто-ой!

Труппа поворачивается и останавливается.

(*Радостно.*) Публика!

Розенкранц и Гильденстерн приподнимаются.

Не двигайтесь!

Они садятся. Он любовно их разглядывает.

Превосходно. Чу́дно! Хорошо, что мы подвернулись.

Розенкранц. Для кого? Для нас?

Актер. Будем надеяться, что так. Однако — встретить двух джентльменов на дороге — впрочем, нельзя же их встретить вне дороги.

Розенкранц. То есть?

Актер. Во всяком случае, мы встретились, и как раз вовремя.

Розенкранц. В каком смысле?

Актер. Видите ли, мы, так сказать, ржавели, и вы столкнулись с нами в момент нашего — э-э-э-э — упадка. Завтра об эту же пору мы бы уже начисто забыли все, что умели. Мысль, не правда ли? (*Щедро смеется.*) Пришлось бы вернуться к тому, с чего начали,— к импровизации.

Розенкранц. Бродячие акробаты, так, что ли?

Актер. Можно и покувыркаться, ежели это вам по вкусу; а поскольку времена таковы... Во всяком случае, за несколько звонких монет можем выдать вам полный набор леденящих кровь сюжетов, героев и трупов — в рифму и так — преимущественно перепертое с итальянского — и вообще — чего не сделаешь за пару звонких — даже в одной монете и то музыка.

Все актеры буквально расцветают и кланяются.

Трагики, к вашим услугам.

Розенкранц и Гильденстерн встают.

Розенкранц. Мое имя Гильденстерн, а это — Розенкранц.

Гильденстерн делает ему замечание.

(*Без смущения.*) Виноват, его имя Гильденстерн, а Розенкранц — это я.

Актер. Очень приятно. Конечно, мы играли и перед большей аудиторией, но ведь и качество тоже кой-чего стоит. Я вас сразу признал...

Розенкранц. И кто же мы?

Актер. ...как собратьев по искусству.

Розенкранц. Интересно, а я думал, мы — джентльмены.

Актер. Ну, одни считают, что мы для вас, другие, что вы для нас. Это две стороны одной монеты. Или одна сторона — двух, поскольку нас тут так много. (*Снова кланяется.*) Не аплодируйте слишком громко — этот мир слишком стар.

Розенкранц. В чем вы специализируетесь?

Актер. Трагедии, сэр. Убийства и разоблачения, общие и частные, развязки как внезапные, так и неумолимые, мелодрамы с переодеванием на всех уровнях, включая философский. Мы вводим вас в мир интриги и иллюзии... клоуны, если угодно, убийцы — мы можем вам представить духов и битвы, поединки, героев и негодяев, страдающих любовников — можно в стихах; рапиры, вампиры или то и другое вместе, во всех смыслах, неверных жен и насилуемых девственниц — за натурализм надбавка — впрочем, это уже относится к реализму, для которого существуют свои расценки. Что-то я разогнался, а?

Розенкранц (*с сомнением*). Ну, я не знаю.

Актер. Мы берем недорого. Чуть больше будет стоить, если вы сами захотите участвовать в действии — если, конечно, таков ваш вкус и времена таковы, каковы они есть.

Розенкранц. А каковы времена?

Актер. Никакие.

Розенкранц. Плохие?

Актер. Неважные. Так что́ именно вы предпочитаете? (*Оборачивается к актерам.*) Джентльмены, к делу.

Актеры выстраиваются в неровную линию.

Ну-с, нравится вам кто-нибудь?

Розенкранц (*с сомнением, непонимающе*). А чего это они?

Актер. Дайте волю фантазии. Их ничто не удивит.

Розенкранц. И сколько это?

Актер. Принять участие?

Розенкранц. Посмотреть.

Актер. Посмотреть что?

Розенкранц. Частное представление.

Актер. Частное в каком смысле?

Розенкранц. Нас только двое. Разве это достаточно?

Актер. В качестве публики — плачевно. В качестве ценителей — идеально.

Розенкранц. Ну так сколько?

Актер. Десять гульденов.

Розенкранц (*ужасаясь*). Десять гульденов?

Актер. Я хотел сказать — восемь.

Розенкранц. За обоих?

Актер. С каждого. Я думаю, вы не поняли——

Розенкранц. Что ты имеешь в виду?

Актер. Все, что я имею в виду,— семь.

Розенкранц. Да откуда ты взялся?

Актер. Тут поблизости... Сопляки еще, конечно, но способные. Малолетние труппы, теперь это модно. Но до нашего репертуара им далеко... мы согнемся туда, куда нас нагнут.

Он многозначительно смотрит на Розенкранца, тот отвечает ему абсолютно пустым взглядом.

Розенкранц. Они подрастут.

Актер (*все поняв*). Каждую минуту рождается по детенышу. (*К актерам.*) Становись!

Актеры берутся за свои пожитки. Гильденстерн наконец шевелится.

Гильденстерн. Куда вы направляетесь?

Актер. Сто-ой!

Актеры останавливаются и оборачиваются.

Домой, сэр.

Гильденстерн. А откуда?

Актер. Из дома. Мы, сэр, народ бродячий. Используем шансы там, где их находим.

Гильденстерн. Так это был шанс?

Актер. То есть?

Гильденстерн. Когда встретили нас.

Актер. А, да.

Гильденстерн. Вы нас искали?

Актер. Что вы!

Гильденстерн. Тогда шанс.

Актер. Или судьба.

Гильденстерн. Наша или ваша?

Актер. Редко бывает одно без другого, сэр.

Гильденстерн. Тогда судьба.

Актер. Вероятно. Плывем по воле волн. Сегодня, может, будем играть при дворе. А может, завтра. А может — в таверне. А может — нигде.

Гильденстерн. Возможно, я смогу употребить свое влияние.

Актер. В таверне?

Гильденстерн. При дворе. Можно сказать, у меня есть кой-какое влияние.

Актер. Можно сказать?

Гильденстерн. У меня все-таки есть влияние.

Актер. Все-таки что?

Гильденстерн взбешенно глядит на актера.

Гильденстерн. У меня есть влияние.

Актер не возражает.

(*Спокойней.*) Ты что-то говорил насчет участия в действии ——

Актер (*оживленно, цинично*). Говорил, говорил, а как же! Вы сообразительней, чем ваш напарник... (*Конфиденциально.*) За пригоршню монет могу устроить частное и, так сказать, непочатое представление — Похищение сабинянок — точней, сабиняночки,— точнее, Альфреда. (*Через плечо.*) Надень свое платье, Альфред ——

Мальчик начинает переодеваться в женское платье.

И за восемь гульденов вы сможете...

Гильденстерн отступает, актер следует за ним по пятам.

...сыграть любую роль...

Гильденстерн пятится.

...или обе роли за десять...

Гильденстерн пытается уйти, актер хватает его за рукав.

...с бисами.

Гильденстерн дает актеру пощечину. Актер отшатывается. Гильденстерн стоит, его всего трясет.

(*Спокойно*). Одевайся, Альфред.

Альфред натягивает на себя наполовину снятую одежду.

Гильденстерн (*трясясь от ярости и от испуга*). Я ждал всего — всего — только не этой мерзости... птички, нагадившей на лицо... безъязыкой карлицы на обочине, указующей направление... всего! Но это... это? Ни тайны, ни достоинства, ни искусства, ни смысла... всего лишь паясничающий порнограф с выводком проституток...

Актер (*выслушав описание, взмахивает шляпой, кланяется; грустно*). Жаль, что вы не застали нас в лучшие времена. Тогда мы были пуристами. (*Выпрямляясь.*) Шагом ма-арш!

Розенкранц (*изменившимся тоном — он хочет удержать их*). Э, будьте добры...

Актер. Стой!

Актеры останавливаются.

Аль-фред!

Альфред возобновляет свою возню с одеждой. Актер выходит вперед.

Розенкранц. Вы ведь — э-э-э — не исключительно актеры, не так ли?

Актер. Мы актеры включительно, сэр.

Розенкранц. То есть, устраиваете развлечения...

Актер. Представления, сэр.

Розенкранц. Ну да, ясно. А что, так больше денег?

Актер. Больше усилий, сэр.

Розенкранц. Поскольку времена таковы, каковы они есть.

Актер. Да.

Розенкранц. Никакие.

Актер. Именно.

Розенкранц. Знаете, я никогда себе не представлял ——

Актер. Понимаю ——

Розенкранц. То есть я слыхал — но в действительности никогда ——

Актер. Понимаю.

Розенкранц. То есть, я имею в виду — что именно вы делаете?

Актер. Обычные вещи, сэр, только наизнанку. Представляем на сцене то, что происходит вне ее. В чем есть некий род единства — если смотреть на всякий выход как на вход куда-то.

Розенкранц (*нервно, громко*). Ну, я не тот человек, который — нет, постойте, не спешите так — присядьте и расскажите, чего обычно люди от вас требуют ——

Актер (*отворачиваясь*). Шагом а-арш!

Розенкранц. Минуточку!

Актеры останавливаются и смотрят на него без всякого выражения.

Ладно, хорошо — я согласен посмотреть — (*Смелея.*) Что бы вы сделали за это? (*Он бросает им под ноги одну монету.*)

Актер со своего места плюет на нее. Актеры колеблются, пытаются поднять монету; он отпихивает их назад.

Актер. Прочь! (*Дает подзатыльник Альфреду, который снова завозился с одеждой.*) А ты куда?

Розенкранц (*от стыда приходит в ярость*). Какая мерзость — я сообщу властям — извращенцы! Я вас раскусил, сплошная грязь!

Актеры собираются уходить.

Гильденстерн (*оставаясь бесстрастным, небрежно*). Хотите сыграть?

Актеры оборачиваются, заинтересованно. Актер выступает вперед.

Актер. Что именно вы предлагаете?

Гильденстерн идет к нему и, пройдя половину разделяющего их расстояния, наступает ногой на монету.

Гильденстерн. Дубль или при своих.

Актер. Идет... орел.

Гильденстерн поднимает ногу. Актер нагибается. Актеры толпятся вокруг. Облегченные вздохи и поздравления. Актер поднимает монету. Гильденстерн бросает ему вторую.

Гильденстерн. Еще?

Одни актеры — «за», другие — «против».

Условия те же.

Актер кивает и бросает монету.

Орел.

Выигрывает и подбирает монету.

Еще.

Гильденстерн бросает.

Актер. Орел.

Выигрывает, у него опять две монеты. Бросает одну.

Гильденстерн. Орел.

Выигрывает, подбирает и тут же бросает.

Актер (*с некоторым колебанием*). Решка.

Но выпадает орел. Гильденстерн поднимает монету. Актер бросает свою последнюю, согласно условиям, и отворачивается. Гильденстерн не поднимает ее, но наступает ногою на.

Гильденстерн. Орел.

Актер. Нет!

Пауза. Актеры возражают, они недовольны.

(*Поясняющим тоном.*) Им не нравятся условия.

Гильденстерн (*убирает ногу, садится на корточки; поднимает монету, смотрит снизу вверх*). Точно — орел. (*Подбрасывает монету и, когда она падает, прижимает ладонью к полу.*) Если орел — я выиграл.

Актер. Нет!

Гильденстерн (*убирает ладонь*). Я прав. (*Процесс повторяется.*) Если орел — я выиграл.

Актер. Нет!

Гильденстерн (*открывает монету*). И опять я прав. (*Повторяет процесс.*) Орел — я выиграл.

Актер. Не-е-е-ет!

Он отворачивается. Актеры тоже. Гильденстерн встает и подходит к ним поближе.

Гильденстерн. Невероятно, а? (*Останавливается, расслабляется и облегченно смеется.*) Пари, что год моего рождения, умноженный на два, дает четное число.

Актер. Вашего рождения?

Гильденстерн. Не веришь, не надо.

Актер. А вы мне верите?

Гильденстерн. Тогда — пари?

Актер. На мой год рождения.

Гильденстерн. Идет. Нечетное — ты выигрываешь.

Актер. Ладно.

Актеры выходят вперед, они начеку.

Гильденстерн. Отлично. Год твоего рождения. Умножаем на два. Четное число — я выиграл, нечетное — проиграл.

Молчание. Потом — ужасный шум, когда актеры соображают, что всякое число, умноженное на два, дает четное. Ужасный шум — они протестуют. Потом — ужасная тишина.

Актер. У нас нет денег.

Гильденстерн оборачивается к ним.

Гильденстерн. Ах так, а что у вас есть?

Актер молча вытаскивает вперед за руку Альфреда. Гильденстерн с грустью смотрит на него.

И это все?

Актер. Это лучшее, что у нас есть.

Гильденстерн (*смотрит вверх и вокруг*). Тогда времена и впрямь дрянные.

Актер пытается что-то сказать, возразить, но Гильденстерн в ярости оборачивается к нему.

Самый воздух воняет!

Актер отступает. Гильденстерн подходит к рампе и оборачивается.

Альфред, поди-ка сюда.

Альфред подходит к нему и останавливается, испуганный и маленький.

(*Мягко.*) Ты часто проигрываешь, Альфред?

Альфред. Да, сэр.

Гильденстерн. Что же у тебя могло остаться для проигрыша?

Альфред. Ничего, сэр.

Пауза. Гильденстерн смотрит на него.

Гильденстерн. Тебе нравится быть... актером?

Альфред. Нет, сэр.

Гильденстерн смотрит вокруг, потом — в публику.

Гильденстерн. Ты и я, Альфред,— мы могли бы сейчас устроить тут и впрямь трагическое представление.

И Альфред, у которого глаза уже давно на мокром месте, начинает хныкать.

Ну-ну, Альфред, таким образом не заполнишь театры Европы.

Актер пытается увещевать Альфреда. Гильденстерн снова его обрывает.

(*Яростно.*) Знаете вы хоть одну пристойную пьесу?

Актер. Пьесу?

Розенкранц (*выходя вперед, робко, сбивчиво*). Представление...

Гильденстерн. Мне показалось, вы называли себя актерами.

Актер (*до него доходит*). О да, да, конечно; мы актеры, именно, да. Но, знаете, когда спрос так невелик...

Гильденстерн. Но ты проиграл, нет? Как насчет какого-нибудь грека, а? Вы ведь знакомы с античными трагедиями? С этими великими классиками убийств? Все эти типы, эдипы, оресты, инцесты, братья и сестры, лезущие друг на друга, а также само ——

Розенкранц. Срамо ——

Гильденстерн. Самоубийства... девы, возжаждавшие богов...

Розенкранц. И наоборот.

Гильденстерн. В общем, в этом роде— подходит?

Актер. Да, хотя... знаете, мы скорей принадлежим к школе, для которой главное кровь, любовь и риторика...

Гильденстерн. Ладно, выбирайте сами... если тут есть из чего.

Актер. Это трудноразделимо, сэр. Ну, мы можем вам выдать кровь и любовь без риторики или кровь и риторику без любви; но я не могу дать вам любовь и риторику без крови. Кровь обязательна, сэр,— все это, в общем, кровь, знаете ли.

Гильденстерн. И это то, что как раз нужно публике?

Актер. Это то, на что мы способны, сэр.

Небольшая пауза. Он отворачивается.

Гильденстерн (*кладя руку на плечо Альфреду, с иронией, но мягко*). Ну, ступай, мы дадим тебе знать.

Актер отходит в глубь сцены, Альфред — за ним.

Актер (*командует*). Тридцать восьмой!

Розенкранц (*приближаясь, заинтересованно*). Номер сцены?

Актер. Сэр?

Розенкранц. Одна из ваших — э-э-э — позиций? Фигур?

Актер. Нет, сэр.

Розенкранц. Ах нет...

Актер (*отворачиваясь, к актерам, уже разбирающим повозку с реквизитом*). Выходы там и там. (*Указывает на обе кулисы.*)

В течение последних четырех реплик сам он не двигается с места. Гильденстерн ждет.

Гильденстерн. Ну... разве ты не пойдешь переодеться?

Актер. Я никогда не переодеваюсь, сэр.

Гильденстерн. То есть, всегда в форме?

Актер. Так точно.

Пауза.

Гильденстерн. Гм, и когда же твой выход — на сцену?

Актер. Я уже здесь.

Гильденстерн. Но если уже, почему не начинается?

Актер. Я уже начал.

Гильденстерн. По-моему, еще ничего не началось. Ну, ладно, мы пошли. Приступайте.

Актер. Я дам вам знак.

Он все еще не двигается, и неподвижность эта наконец становится заметной и несколько странной. Пауза. Розенкранц подходит к нему и останавливается, нос к носу.

Розенкранц. Виноват.

Пауза. Актер поднимает ногу, под ней — монета Гильденстерна. Розенкранц наступает на нее. Смеется.

Благодарю.

Актер поворачивается и уходит. Розенкранц наклоняется над монетой.

Гильденстерн (*удаляясь*). Пошли.

Розенкранц. Слушай, вот везенье.

Гильденстерн (*оборачиваясь*). В чем дело?

Розенкранц. Это была решка.

Бросает монету Гильденстерну, который ее ловит. В это время происходит перемена освещения, в результате которой в действие как бы включается внешний мир, но не особенно сильно.

И на сцену вбегает в некоторой тревоге Офелия, поддерживающая руками юбки; ее преследует Гамлет.

Офелия, очевидно, шила: в руках у нее какое-то рукоделие. В этой сцене они оба молчат. Гамлет — без шляпы, камзол его распахнут, чулки без подвязок спадают на щиколотки, он бледен как полотно, колени его дрожат. С печальным выражением лица он берет Офелию за плечо и крепко его сжимает, потом отстраняет ее от себя на расстояние вытянутой руки и, прижимая другую руку к своему лбу, вперяется взглядом в ее лицо, как бы желая запомнить его навсегда. Затем, махнув рукой и трижды кивнув головой — самому себе,— он поднимает взор, исполненный такой печали и глубины, как будто все его существо потрясено и сейчас он умрет. После чего он наконец выпускает ее и движется к выходу, не спуская с нее глаз... Офелия убегает в противоположную сторону.

Розенкранц и Гильденстерн стоят, окаменев. Первым приходит в себя Гильденстерн — он бросается к Розенкранцу.

Гильденстерн. Пошли отсюда!

Но — фанфары: входят Клавдий и Гертруда в сопровождении придворных.

Клавдий. Привет вам, Розенкранц (*поднятой ладонью он приветствует Гильденстерна, пока Розенкранц кланяется; Гильденстерн кланяется поспешно и с опозданием*)... и Гильденстерн!

Поднятой ладонью он приветствует Розенкранца, пока Гильденстерн кланяется ему; Розенкранц, не успев еще выпрямиться, сгибается снова. Опустив голову, он бросает быстрый взгляд на Гильденстерна, который готов выпрямиться.

Не только тем, что мы вас рады видеть,
Но и нуждою в вас был причинен
Столь спешный вызов.

Розенкранц и Гильденстерн поспешно поправляют на себе одежду.

Вам уже известно
Преображенье Гамлета; в нем точно
И внутренний и внешний человек
Не сходны с прежним. Что еще могло бы,
Коли не смерть отца, его отторгнуть
От разуменья самого себя,
Не ведаю. Я вас прошу обоих,
Затем, что с юных лет вы с ним росли
И близки с ним по юности и нраву,
Остаться здесь, средь нашего двора
На некоторый срок; своим общеньем
Вовлечь его в забавы и разведать,
Насколько вам позволит случай, нет ли
Чего сокрытого, чем он подавлен
И что, узнав, мы властны исцелить.

Гертруда. Он часто вспоминал вас (*легкое замешательство*), господа...

Розенкранц и Гильденстерн кланяются.

И, верно, нет на свете двух людей
Ему любезней. Если вы готовы
Быть столь добры и благосклонны к нам,
Чтоб поступиться временем своим,
Придя на помощь нашим упованьям,
Услуга ваша будет не забыта
Монаршею признательностью.

Розенкранц. Ваши
Величества своей державной властью
Могли б облечь не в просьбу вашу волю,
А в приказанье.

Гильденстерн. Повинуясь оба,
Мы здесь готовы в самой полной мере
Сложить наш верный долг у ваших ног
И ждать распоряжений.

Клавдий. Спасибо, Розенкранц (*обращаясь на этот раз к Розенкранцу, который не был готов к этому, потому что Гильденстерн уже склонил голову*) и Гильденстерн (*обращаясь к Гильденстерну, который согнулся пополам*).

Гертруда (*поправляя Клавдия*). Спасибо, Гильденстерн (*обращаясь к Розенкранцу; тот кланяется, подмигивая Гильденстерну, который остается все время согнувшимся; оба кланяются, исподтишка поглядывая друг на друга*)... и Розенкранц (*обращается к Гильденстерну в тот момент, когда они оба выпрямляются; Гильденстерн снова кланяется*).

Пройдите же скорее к моему
Не в меру изменившемуся сыну.
Пусть кто-нибудь проводит вас к нему.

Двое придворных выходят вперед, давая знак Розенкранцу и Гильденстерну следовать за ними.

Гильденстерн.
Да обратит Всевышний нашу близость
Ему в добро и в помощь.

Гертруда. Так, аминь!

Розенкранц и Гильденстерн направляются к выходу, но навстречу появляется Полоний. Они оба останавливаются и кланяются ему. Он кивает им и спешит на просцениум, к Клавдию. Они оборачиваются и смотрят на него.

Полоний.

Мой государь, посольство из Норвегии
Вернулось счастливо.

Клавдий.

Ты был всегда отцом известий добрых.

Полоний.

Да, государь мой? Смею вас уверить,
Свой долг и душу я блюду пред Богом
И пред моим высоким королем;
И вот мне кажется — иль это мозг мой
Утратил свой когда-то верный нюх
В делах правленья,— будто я нашел
Источник умоисступленья принца...

Уходит; на сцене остаются Розенкранц и Гильденстерн.

Розенкранц. Я хочу домой.

Гильденстерн. Не давай им сбить себя с толку.

Розенкранц. Да не для меня это ——

Гильденстерн. Ничего, скоро все будем дома — будем дома ждать погрома.

Розенкранц. Не по нутру мне все это ——

Гильденстерн. В нашем доме домовой ——

Розенкранц. Голова раскалывается ——

Гильденстерн. Ходит книзу головой ——

Розенкранц (*истерически*). Хва-атит!.. У меня ум за разум заходит, слышишь! В башке что-то застопорилось — точно намертво — какая-то мертвая точка — понял? И все это пахнет мертвечиной...

Гильденстерн (*тоном няньки*). Ну, ну... скоро будем не все дома... гм... ждать погрома... ну же... (*Быстро.*) Слушай, бывало с тобой когда-нибудь — внезапно — без всякого повода — идиотское ощущение, что не знаешь, как пишется «жена» — или «дом» — хотя сто раз писал эти слова — но ощущение такое, будто никогда не видел букв, стоящих в таком порядке?

Розенкранц. Я помню, что...

Гильденстерн. Ну?

Розенкранц. Что было время, когда вопросов не возникало.

Гильденстерн. Но они были. Эти или другие — не в том суть.

Розенкранц. Скорей, ответы. Ответы были на все

Гильденстерн. Просто забыл.

Розенкранц (*взрываясь*). Ничего не забыл — я всегда прекрасно помнил свое имя и твое тоже. О чем бы ни спрашивали — ответы были. Проблем не было — каждый знал, кто я такой. А не знал, так спрашивал, и я отвечал.

Гильденстерн. Отвечал, да. Но вся штука в том, что твои ответы были... правдоподобны — но не инстинктивны. Вся наша жизнь — она так правдоподобна, что вроде какая-то пленка на глазах — но случайный толчок, и перед тобой черт знает что. Полуреальная заря, полуреальный человек стоит в седле и колотит в ставни. Ничего, кроме плаща и шляпы, воспаряющих над землей в морозном облаке пара — из его же собственного рта — но когда он позвал — мы пошли. Мы пошли, это уж точно.

Розенкранц. Ну, я, понятное дело, в этом уже по уши. Мне-то ведь все равно. Но ты почему ничего не придумаешь?

Гильденстерн. Потому что не имеем права капризничать. Мы отмахали такой путь не для того, чтоб попасть на крестины. Все это устроилось до нас. И нам еще повезло, а то пришлось бы перерывать все святцы, как двум слепцам, громящим базар в поисках своих портретов... По крайней мере, у нас есть варианты.

Розенкранц. Таким образом...

Гильденстерн. Хотя нет выбора.

Розенкранц. Ты поставил меня в дурацкое положение, с этими.

Гильденстерн. Я и сам выглядел таким же дураком.

Розенкранц (*с тоской*). Что хочется понять, так ту причину.

Гильденстерн (*с издевкой*). О, даждь нам днесь приличную личину.

Розенкранц (*обессиленно*). Домой, я хочу домой. (*Делает несколько шагов.*) С какой стороны мы пришли? Я потерял ориентацию.

Гильденстерн. Единственный вход: рождение, единственный выход — смерть. Какие тебе еще ориентиры?

Они подходят друг к другу.

Розенкранц. Мы никому ничего не должны.

Гильденстерн. Мы влипли. Каждый твой поступок, пусть ничтожный, порождает другой, неизвестно где, неизвестно чей, а тот — третий и так далее, замкнутый круг. Так что смотри в оба и навостри уши. Будь осторожен и следуй инструкциям. И все будет в порядке.

Розенкранц. До каких пор?

Гильденстерн. Пока все не кончится само собой. Тут есть своя логика — все происходит само собой, не волнуйся. Расслабься и плыви по течению. Когда кто-то берет тебя за руку и ведет как ребенка — хоть ты давно уже потерял невинность — это словно тебя вознаграждают, словно получаешь добавочную порцию детства — и как раз тогда, когда меньше всего ожидаешь — словно приз за хорошее поведение — или за то, что вообще не имел детства... Я — э-э-э — не слишком противоречу себе?

Розенкранц. Не помню... Что мы тут вообще делаем?

Гильденстерн. Нас же вводили в курс. Метаморфоза с Гамлетом. Ну, вспомнил?

Розенкранц. А-а — что, он изменился? Внутренне и внешне и больше не напоминает...

Гильденстерн. Ага, и мы должны его развлечь и под шумок разнюхать, в чем дело.

Розенкранц. То есть, что там еще помимо смерти отца.

Гильденстерн. И он, мол, всю дорогу говорит о нас — нет двух людей на свете, которых — и так далее.

Розенкранц. Значит, веселим его — выискиваем причину ——

Гильденстерн. Именно. Главное — задавать наводящие вопросы, но чтоб в то же время не проговориться. В этом вся штука.

Розенкранц. А после этого мы свободны, да?

Гильденстерн. Точно — и щедро вознаграждены. Ибо король нас не забудет.

Розенкранц. Замечательно. А что это, по-твоему, значит, что не забудет?

Гильденстерн. Что он не забывает своих друзей.

Розенкранц. Примерно сколько?

Гильденстерн. Трудно сказать. Одни монархи страдают потерей памяти, другие, думаю, наоборот, и память у них...

Розенкранц. Да, но...

Гильденстерн. ...слоновья.

Розенкранц. Меня не размер интересует, меня интересует — сколько?

Гильденстерн. Памятливый — он очень памятливый король. Можно сказать, царственный должник...

Розенкранц. Ты, собственно, о чем?

Гильденстерн. Слова, слова. Это все, на что мы можем рассчитывать.

Пауза.

Розенкранц. Может, надо что-нибудь сделать? Что-нибудь конструктивное? А?

Гильденстерн. Что? Маленькую плоскую пирамиду из человеческих тел?

Розенкранц. Может, сходить?

Гильденстерн. Куда?

Розенкранц. За ним.

Гильденстерн. Зачем? Сами нас найдут. Не то будем тут кружить всю ночь, наступая друг другу на пятки.

Расходятся в разные стороны.

Розенкранц (*у рампы*). Смешно. (*Оборачивается.*) Чувствую себя точно зритель — скверное дело. Это выносимо, только ежели свято веришь, что сию минуту явится кто-нибудь, кто тебя заинтересует...

Гильденстерн. Видишь кого-нибудь?

Розенкранц. Нет, а ты?

Гильденстерн. Тоже. (*Двигаясь к рампе.*) Это довольно изощренная пытка, когда тебя заводят, а куда пустят, не говорят... (*Пауза.*) У нас нет практики.

Розенкранц. Может, поиграем в вопросы?

Гильденстерн. А что это даст?

Розенкранц. Практику!

Гильденстерн. Не вопрос! Один — ноль.

Розенкранц. Свинство.

Гильденстерн. Почему?

Розенкранц. Я же еще не начал.

Гильденстерн. Не вопрос. Два — ноль.

Розенкранц. А это считается?

Гильденстерн. Что?

Розенкранц. Это считается?

Гильденстерн. Очко. За повторение. Три — ноль. Кон.

Розенкранц. Раз так, я не играю.

Гильденстерн. Чья очередь?

Розенкранц. А?

Гильденстерн. Очко. Не акай. Ноль — один.

Розенкранц. Кто теперь?

Гильденстерн. Почему?

Розенкранц. Почему нет?

Гильденстерн. Зачем?

Розенкранц. Очко. Без синонимов! Один — один.

Гильденстерн. Что, во имя неба, происходит?

Розенкранц. Очко. Без риторики! Два — один.

Гильденстерн. И чем все это кончится?

Розенкранц. Не догадываешься?

Гильденстерн. Это ты меня спрашиваешь?

Розенкранц. А тут есть другие?

Гильденстерн. Кто?

Розенкранц. Откуда мне знать?

Гильденстерн. Зачем же спрашиваешь?

Розенкранц. Ты это серьезно?

Гильденстерн. А это не риторический вопрос?

Розенкранц. Нет.

Гильденстерн. Не вопрос. Два — два. Поровну.

Розенкранц. Что это с тобой нынче?

Гильденстерн. Когда?

Розенкранц. Что?

Гильденстерн. Да ты не оглох ли?

Розенкранц. Не сдох ли?

Гильденстерн. Да или нет?

Розенкранц. А разве есть выбор?

Гильденстерн. А Бог есть?
Розенкранц. Очко. Не трепли всуе. Три — два. Кон.
Гильденстерн (*серьезно*). Как твое имя?
Розенкранц. А твое?
Гильденстерн. Я первый спросил.
Розенкранц. Не вопрос. Один — ноль.
Гильденстерн. Как тебя называют дома?
Розенкранц. А тебя?
Гильденстерн. Когда я дома?
Розенкранц. Дома тебя зовут по-другому?
Гильденстерн. Где — дома?
Розенкранц. У тебя нет дома?
Гильденстерн. Почему ты спрашиваешь?
Розенкранц. К чему ты клонишь?
Гильденстерн (*с нажимом*). Как тебя зовут?
Розенкранц. Уже было. Два — ноль. В мою пользу.
Гильденстерн (*глядя на него с яростью*). КЕМ ТЫ СЕБЯ ВООБРАЖАЕШЬ?!
Розенкранц. Риторика. Я выиграл. (*Пауза.*) Чем все это кончится?
Гильденстерн. Вот вопрос.
Розенкранц. Вопрос вопросов.
Гильденстерн. По-твоему, это имеет значение?
Розенкранц. А для тебя это ничего не значит?
Гильденстерн. А почему это должно значить?
Розенкранц. Какое имеет значение, что это значит?
Гильденстерн (*поддразнивая*). Значит, для тебя ничего не значит, какое это имеет значение?
Розенкранц (*резко оборачиваясь*). Что все это означает?!

Пауза.

Гильденстерн. Не имеет значения.
Розенкранц (*голосом вопиющего в пустыне*). ...Что это за игра?
Гильденстерн. И какие у нее правила?

Из кулисы в глубине сцены появляется Гамлет, он бредет через сцену, читая книгу; Гильденстерн замечает его в последнюю минуту, когда он уже исчезает.

(*Быстро.*) Розенкранц!
Розенкранц (*подпрыгивает*). Что?

Гамлет выходит. Гильденстерн и Розенкранц обмениваются довольными улыбками.

Гильденстерн. Ну, как получается?
Розенкранц. Сам видишь.
Гильденстерн. Естественно?
Розенкранц. Инстинктивно.
Гильденстерн. Дошло?
Розенкранц. Снимаю шляпу.
Гильденстерн. Пожмем руки.

Они пожимают друг другу руки.

Розенкранц. Теперь дай я попробую — Гильденстерн!
Гильденстерн. Постой, не так — захвати меня врасплох...
Розенкранц. А, понял.

Они расходятся. Пауза.

(*Обращаясь к Гильденстерну.*) Готов?
Гильденстерн (*взрываясь*). Идиот!
Розенкранц. Прости.

Пауза.

Гильденстерн (*внезапно*). Гильденстерн!
Розенкранц. Что? (*И сразу падает духом.*)
Гильденстерн (*с отвращением*). Бессмысленно. Ты ни на что не годен. Чего ж ты хочешь?..

Розенкранц (*тихо*). Хочу быть дома и лежать в постели...

Гильденстерн (*обессиленно*). О, даждь нам днесь семь дней в неделю...

Слышны шаги.

Розенкранц. Кто это там?

Гильденстерн. Ты его не узнал?

Розенкранц. Он — меня.

Гильденстерн. Он тебя не видел.

Розенкранц. Я его тоже.

Гильденстерн. Ну, еще увидитесь. Я едва его узнал, так изменился.

Розенкранц. Ты так считаешь?

Гильденстерн. Полная метаморфоза.

Розенкранц. С чего ты взял?

Гильденстерн. Внутренне и внешне.

Розенкранц. Ясно.

Гильденстерн. Совершенно другой человек.

Розенкранц. Изменился.

Гильденстерн. Я так считаю.

Слышны шаги.

Выяснить, что его давит...

Розенкранц. Меня?

Гильденстерн. Его.

Розенкранц. Как?

Гильденстерн. Вопрос и ответ. Старый добрый способ.

Розенкранц. Он помешался.

Гильденстерн. Ты спрашивай — я буду отвечать.

Розенкранц. Это уже не он, знаешь.

Гильденстерн. Сейчас он — это я.

Шаги.

Розенкранц. Тогда кто я?

Гильденстерн. Ты — это ты.

Розенкранц. А ты — это он?

Гильденстерн. Почти.

Розенкранц. Ты что, свихнулся?

Гильденстерн. Это идея. Готов?

Розенкранц. Постой чуть-чуть.

Гильденстерн. Я свихнулся.

Розенкранц. Я вижу.

Гильденстерн. Выясняй, каким образом.

Розенкранц. Ясно.

Гильденстерн. Вопрос и ответ.

Розенкранц. Как я должен начать?

Гильденстерн. Обратись ко мне.

Розенкранц. Мой милый Гильденстерн!

Гильденстерн (*спокойно*). Ты что — все забыл?

Розенкранц. Мой милый Розенкранц!

Гильденстерн (*сохраняя контроль*). Похоже, ты не все понял как следует. Попытайся представить, что я отвечаю за него, а ты задаешь мне вопросы. Не мне, а ему.

Розенкранц. А-а... Готов?

Гильденстерн. Ты понял, что нужно?

Розенкранц. Что?

Гильденстерн. Ты что — совсем дурак?

Розенкранц. Пардон?

Гильденстерн. Ты что, оглох?

Розенкранц. Как ты сказал?

Гильденстерн (*увещевающе*). Не сейчас...

Розенкранц. Не вопрос. Очко!

Гильденстерн (*кричит*). Не сейчас! (*Пауза.*) Если у меня и были какие сомнения, верней, надежды, то теперь — кончено. Что вообще может быть у нас общего, кроме этой ситуации? (*Они расходятся и садятся.*) Может, он выйдет оттуда?

Розенкранц. Нужно сматываться?

Гильденстерн. Почему?

Пауза.

Розенкранц (*оживляется, щелкает пальцами*). О! Ты имел в виду, ты будешь им, а я должен задавать вопросы!

Гильденстерн (*сухо*). Превосходно.

Розенкранц. Ты сбил меня с панталыку.

Гильденстерн. Похоже на то.

Розенкранц. Как мне начать?

Гильденстерн. Обратись ко мне.

Они становятся лицом друг к другу.

Розенкранц. Мой досточтимый лорд!

Гильденстерн. Мой милый Розенкранц!

Пауза.

Розенкранц. А я в таком случае должен стать тобой?

Гильденстерн. Конечно нет. Впрочем, если хочешь. Продолжай.

Розенкранц. Вопрос — ответ.

Гильденстерн. Да.

Розенкранц. Ага. Мой досточтимый лорд!

Гильденстерн. Да, мой друг!

Розенкранц. Как поживаете?

Гильденстерн. Помешался.

Розенкранц. Действительно? Каким образом?

Гильденстерн. Я изменился.

Розенкранц. Внутри или снаружи?

Гильденстерн. И — и.

Розен кранц. Понятно. (*Пауза.*) Не так уж ново.

Гильденстерн. Переходи к деталям. Копни. Разнюхай подоплеку.

Розенкранц. Итак — итак, ваш дядюшка—король Дании.

Гильденстерн. А до него— отец.

Розенкранц. Его отец до него?

Гильденстерн. Нет, мой отец.

Розенкранц. То есть, как же это?..

Гильденстерн. Невольно задаешься вопросом...

Розенкранц. Позвольте мне напрямик. Ваш отец был королем. Вы — единственный сын. Ваш отец умирает. Вы — совершеннолетний. Ваш дядюшка становится королем.

Гильденстерн. Точно.

Розенкранц. Необычно.

Гильденстерн. Более чем.

Розенкранц. Именно. Где вы были в это время?

Гильденстерн. В Германии.

Розенкранц. Значит — узурпация?

Гильденстерн. Он просочился.

Розенкранц. Это напоминает ——

Гильденстерн. Естественно.

Розенкранц. Не хотелось бы быть неделикатным, но...

Гильденстерн. Это общеизвестно.

Розенкранц. Брак вашей матушки...

Гильденстерн. Он просочился.

Шаги.

Розенкранц (*потупясь*). Его тело было еще теплым.

Гильденстерн. Ее тоже.
Розенкранц. Необычайно.
Гильденстерн. Непочтенно.
Розенкранц. Поспешно.
Гильденстерн. Подозрительно.
Розенкранц. Заставляет задуматься.
Гильденстерн. Не думайте, что я не задумывался.
Розенкранц. И это с братом мужа.
Гильденстерн. Близкий родственник.
Розенкранц. Она пошла к нему ——
Гильденстерн. Слишком близкий.
Розенкранц. За утешением.
Гильденстерн. Скверная история.
Розенкранц. Похоже.
Гильденстерн. Кровосмешение и адюльтер.
Розенкранц. Вы так далеко заходите?
Гильденстерн. Я? Никогда.
Розенкранц. Подведем итоги. Ваш отец, которого вы любите, умирает. Вы наследник престола. Вы возвращаетесь, чтоб увидеть, что его тело еще не остыло, а младший брат уже забрался на его трон и в его простыни. Оскорбляя физические и нравственные законы. Одновременно. Но почему вы все-таки ведете себя столь странным образом?
Гильденстерн. Понятия не имею. (*Пауза.*) Впрочем, вся эта история известна каждой собаке. И все же за нами послали. И мы прибыли.
Розенкранц (*насторожившись, прислушивается*). Слушай! Кажется, музыка.
Гильденстерн. И мы здесь.
Розенкранц. Точно оркестр — кажется, я слышу оркестр.
Гильденстерн. Розенкранц...
Розенкранц (*автоматически, весь поглощенный звуками музыки*). Что?

Пауза, звуки умолкают.

Гильденстерн (*с гримасой*). Гильденстерн...
Розенкранц (*раздраженно*). Что?
Гильденстерн. Неужто для тебя и в самом деле нет разницы?
Розенкранц (*оборачиваясь, тупо*). А?

Пауза.

Гильденстерн. Сходи посмотри — он еще там?
Розенкранц. Кто?
Гильденстерн (*жест за кулисы*). Там.

Розенкранц направляется в глубь сцены, к кулисе; смотрит, потом возвращается, докладывает.

Розенкранц. Так точно.
Гильденстерн. Что он поделывает?

Розенкранц повторяет всю процедуру.

Розенкранц. Разговаривает.
Гильденстерн. Сам с собой?

Розенкранц снова собирается пойти, но Гильденстерн его удерживает.

Он что, один?
Розенкранц. Нет.
Гильденстерн. Значит, не сам с собой, так?
Розенкранц. Так, но *сам*... Кажется, он идет сюда. (*Трусливо.*) Может, смоемся?
Гильденстерн. Куда? Теперь не имеем права.

Входит, пятясь спиной к зрителям, Гамлет, сопровождаемый Полонием. Разговаривая, они приближаются к авансцене. Розенкранц и Гильденстерн занимают два противоположных угла на просцениуме.

Гамлет. ...потому что и сами вы, сударь мой, были бы так же стары, как я, если бы могли, подобно раку, идти задом вперед.

Полоний (*в сторону*). Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность. Не хотите ли уйти с этого воздуха, принц?

Гамлет. В могилу.

Полоний. Действительно, это значило бы уйти из этого воздуха.

Гамлет идет в глубину сцены; Полоний в это время что-то бормочет, потом громко произносит:

Высокочтимый принц, я вас смиреннейше покину.

Гамлет. Нет ничего, сударь, с чем бы я охотнее расстался; разве что с моею жизнью, разве что с моею жизнью, разве что с моею жизнью.

Полоний (*пересекает сцену*). Желаю здравствовать, мой принц. (*К Розенкранцу.*) Вам надо принца Гамлета? Он здесь.

Розенкранц. Благослови вас Бог, сэр.

Полоний уходит.

Гильденстерн (*окликает Гамлета в глубине сцены*). Мой досточтимый принц!

Розенкранц. Мой дражайший принц.

Гамлет останавливается в глубине сцены, оборачивается к ним.

Гамлет. Мои милейшие друзья! Как поживаешь, Гильденстерн? (*Идет к авансцене с рукой, протянутой к Розенкранцу, Гильденстерн кланяется. Гамлет поправляет себя.*) Ах, Розенкранц!

Они смеются добродушно над ошибкой; все встречаются в середине сцены и, повернувшись спиной к залу, уходят в глубину; Гамлет в середине, он обнимает их за плечи.

Ребята, как вы живы оба?

Затемнение.

Действие второе

После поднятия занавеса Гамлет, Розенкранц и Гильденстерн продолжают беседовать, как в предыдущей сцене. Разговор, который они ведут, поначалу невнятен; первая реплика, которую можно разобрать,— конец короткого монолога Гамлета: см. Шекспир. «Гамлет», акт II, сцена 2.

Гамлет. Проклятье, в этом есть нечто сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться.

Трубы актеров.

Гильденстерн. Вот и актеры.

Гамлет. С приездом в Эльсинор вас, господа. Итак, ваши руки. (*Берет их за руки.*) Этикеты условности — придатки равнодушья. Обменяемся их знаками, чтоб после встречи с актерами вам не показалось, будто я более любезен с ними, чем с вами. Итак, с приездом. (*Собираясь уходить.*) Но мой дядя-папочка и тетя-матушка ошибаются.

Гильденстерн. Насчет чего, милорд?

Гамлет. Я безумен только в норд-норд-вест; при южном ветре я еще отличу сокола от цапли.

Входит Полоний; Гильденстерн в этот момент отворачивается.

Полоний. Рад вас видеть, господа.

Гамлет (*к Розенкранцу*). Слушайте, Гильденстерн, и ты (*к Гильденстерну*), Розенкранц,— на каждое ухо по слушателю. Старый младенец, которого вы здесь видите, еще не избавился от пеленок... (*Берет Розенкранца под руку и увлекает его, разговаривая, в глубь сцены.*)

Полоний. Милорд, у меня для вас есть новости.

Гамлет (*отпуская Розенкранца и подражая*). Милорд, у меня для вас есть новости. Когда Росций был актером в Риме...

Розенкранц выходит на авансцену и приближается к Гильденстерну.

Полоний (*следуя по пятам за Гамлетом*). Милорд, актеры уже прибыли.

Гамлет. Ужжжже, ужжжже.

Гамлет и Полоний уходят.

Розенкранц и Гильденстерн размышляют. Никто не хочет заговорить первым.

Гильденстерн. Хм.

Розенкранц. Да?

Гильденстерн. Что?

Розенкранц. Мне показалось, ты...

Гильденстерн. Нет.

Розенкранц. А.

Пауза.

Гильденстерн. Я думаю, можно сказать, что мы кой-чего достигли.

Розенкранц. Ты так думаешь?

Гильденстерн. Я думаю, так можно сказать.

Розенкранц. Я думаю, можно сказать, что он нас одурачил.

Гильденстерн. Не следовало так напрягаться.

Розенкранц. «Вопрос и ответ. Старый добрый способ». Вертел нами как хотел.

Гильденстерн. Раз или два он нас, возможно, поймал, но я думаю, прогресс есть.

Розенкранц (*просто*). Он нас уделал.

Гильденстерн. С небольшим перевесом.

Розенкранц (*со злостью*). Двадцать семь — три, и ты считаешь, с небольшим перевесом?! Он нас уделал. Начисто.

Гильденстерн. Да? А наши увертки!

Розенкранц. О, великолепно, великолепно! «За вами посылали?» — говорит. «Вообще-то посылали, милорд, но...» — я не знал, куда деваться.

Гильденстерн. Он задал целых шесть риторических...

Розенкранц. О да, прекрасная игра. В течение десяти минут он выпулил двадцать семь вопросов и ответил на три. Я все ждал, когда же ты припрешь его к стенке. «Когда же он начнет его припирать?» — спрашивал я себя.

Гильденстерн. И два повтора.

Розенкранц. И ни одного стоящего вопроса у нас.

Гильденстерн. Но мы все же установили симптомы, не так ли?

Розенкранц. Половина сказанного им означала что-то другое, а другая половина вовсе ничего не означала.

Гильденстерн. Мучительное честолюбие — комплекс уязвленности, вот мой диагноз.

Розенкранц. Шесть риторических, два повтора, остается девятнадцать, из которых мы ответили на пятнадцать. А что получили взамен? Что он подавлен! Что Дания — тюрьма и он предпочел бы жить в ореховой скорлупе. Честолюбие и нежелание мириться с фактами. А единственный прямой вопрос, который мог привести к чему-нибудь стоящему, привел всего лишь к этому ослепительному откровению, что он может отличить сокола от цапли.

Пауза.

Гильденстерн. Если ветер южный.

Розенкранц. И погода хорошая.

Гильденстерн. А если нет, то не может.

Розенкранц. Дитя природы. (*Слюнит палец и поднимает его, стоя лицом к залу.*) А сейчас южный?

Гильденстерн (*глядя в зал*). Не похоже. Почему ты так думаешь?

Розенкранц. Я не сказал, что так думаю. Что до меня, то, может, и северный.

Гильденстерн. Не думаю.

Розенкранц. Ну, знаешь... становишься догматиком.

Гильденстерн. Постой минуту — мы прибыли, грубо говоря, с юга. Если верить нашей, грубо говоря, карте.

Розенкранц. Верно. Но вот с какой именно стороны? (*Неуверенно озирается.*) Грубо говоря.

Гильденстерн (*откашливаясь*). Утром солнце бывает на востоке. Это, я думаю, можно принять.

Розенкранц. Что сейчас утро?

Гильденстерн. Если это так и солнце находится *там (справа от него, стоящего лицом к залу)*, то *тут (перед собой)* был бы север. С другой стороны, если сейчас не утро и солнце село *там (слева)*, то *тут (неуверенно)* был бы... тоже север. (*Ободряясь.*) С другой стороны, если мы пришли *оттуда (в зал)* и сейчас утро, солнце вставало бы *там (слева)*, и если оно действительно село *там,* и еще утро, то тогда мы должны были прийти *оттуда (показывает назад)*, и если *тут (слева)* юг, а солнце село *там (в зал)*, тогда сейчас полдень. Между тем, если все это не так ——

Розенкранц. Почему бы тебе просто не сходить и посмотреть?

Гильденстерн. Прагматизм?! Это все, что ты можешь предложить? Ты, видно, не понимаешь, в какой мы ситуации. Здесь на компас надеяться не приходится, понял? (*Пауза.*) И вообще тут, на севере, ничего не знаешь наверняка — всегда так темно...

Розенкранц. Я просто считал, что положение солнца, если его видно, может приблизительно подсказать, который час, и наоборот, что часы, если они идут, могут приблизительно подсказать, где юг. Я забыл, что ты пытаешься установить.

Гильденстерн. Я пытаюсь установить направление ветра.

Розенкранц. Но никакого ветра нет. Просто сквозняк.

Гильденстерн. В таком случае — откуда. Найдем источник, и это поможет приблизительно ориентироваться, с какой стороны пришли. Что даст приблизительную идею, где юг. Для дальнейших поисков.

Розенкранц. Из-под пола дует. (*Он разглядывает пол.*) Не может же это быть югом, а?

Гильденстерн. Да, это не направление. Слушай, лизни палец на ноге и помахай немного.

Розенкранц (*прикидывая расстояние от рта до ступни*). Знаешь, лучше ты лизни.

Пауза.

Гильденстерн. Ладно, бросим это.

Розенкранц. Или я лизну тебе, хочешь?

Гильденстерн. Нет, спасибо.

Розенкранц. Могу даже покачать тебе ногу.

Гильденстерн (*хватая Розенкранца за грудь.*) Что, черт возьми, с тобой творится?

Розенкранц. Просто думал помочь по-дружески.

Гильденстерн (*успокоившись*). Ладно; должен же кто-нибудь прийти. Только на это остается рассчитывать. В конце концов.

Большая пауза.

Розенкранц. Если только они там друг друга не передавили. Крикни. Или свистни. Чтобы они почувствовали. Чтобы заинтересовались.

Гильденстерн. А-а, колеса завертелись, и теперь у них своя скорость. На которую мы... обречены. Каждый оборот — порождение предыдущего. В чем — суть движения. Попытайся мы вращаться самостийно, вся телега полетит к черту. Это, по крайней мере, утешение. Потому что если б случайно — чисто случайно — обнаружить — или даже только предположить, что наша — э-э-э — импульсивность тоже только часть ихнего порядка — тогда лучше покончить с собой. (*Садится.*) Один китаеза, из династии Тан — по мнению некоторых, большой философ,— ему однажды приснилось, что он — бабочка, и с этой минуты

он уже никогда не был полностью уверен, что он не бабочка, которой снится, что она китайский философ... Двойное ощущение безопасности. Можно позавидовать.

Длинная пауза. Розенкранц вскакивает с места и пристально вглядывается в глубину партера.

Розенкранц. Горит!

Гильденстерн (*срываясь с места*). Где?!

Розенкранц. Нигде. Просто хотел показать, что значит злоупотреблять свободой слова. Чтоб убедиться, что она существует. (*Смотрит в зал, потом с отвращением отворачивается и идет в глубину сцены, потом снова возвращается, снова смотрит в зал.*) Ни души. Чтоб они все сгорели. Вместе с ботинками. (*Вынимает монету, подбрасывает, ловит, смотрит на нее, кладет в карман.*)

Гильденстерн. Что?

Розенкранц. Что — что?

Гильденстерн. Орел или решка?

Розенкранц. Не обратил внимания.

Гильденстерн. Неправда.

Розенкранц. Да? Неужели? (*Вынимает монету, разглядывает.*) Верно — это мне что-то напоминает.

Гильденстерн. А что именно, а?

Розенкранц. То, о чем и вспоминать неохота.

Гильденстерн. Что сжигаем мосты, по которым сюда мчимся, не имея других доказательств своего движения, кроме воспоминаний о запахе дыма и предположения, что он вызывал слезы.

Розенкранц подходит к нему с улыбкой, зажав большим и указательным пальцами монету; он накрывает монету ладонью, потом убирает обе руки за спину; потом протягивает Гильденстерну оба кулака, Гильденстерн изучает их, потом хлопает по левому. Розенкранц разжимает ладонь: она пуста.

Розенкранц. Нет.

Процесс повторяется. Гильденстерн снова указывает на левую, Розенкранц разжимает: она пуста!

Ха — ха, два-ноль!

Процесс повторяется. Но тут Гильденстерн, снова не угадав, заставляет Розенкранца разжать и вторую ладонь. Розенкранц неохотно разжимает: она тоже пуста. Розенкранц хихикает, а Гильденстерн уходит в глубь сцены.

Внезапно Розенкранц прекращает смеяться, начинает вертеть головой, хлопает себя по карманам, нагибается, шарит под ногами, на лице его — недоумение.

Поиски прерывает появление Полония, входящего из глубины сцены в сопровождении актеров и Гамлета.

Полоний. Пойдемте, господа.

Гамлет. Следуйте за ним, друзья. Мы услышим пьесу завтра. (*В сторону — актеру, который замыкает процессию.*) Послушай меня, дружище. Сможете вы сыграть «Убийство Гонзаго»?

Актер. Да, милорд.

Гамлет. Представим это завтра вечером. Сможешь, если нужно, выучить монолог строк примерно в двенадцать — шестнадцать, который, может, я сочиню и всуну туда, ну как?

Актер. Конечно, милорд.

Гамлет. Превосходно. Ступайте за этим господином, только смотрите, не подражайте ему.

Актер идет в глубь сцены, замечает Розенкранца и Гильденстерна. Останавливается. Гамлет, также пересекая сцену, обращается к ним без паузы.

Друзья мои, покидаю вас до вечера; рад вас видеть в Эльсиноре.

Розенкранц. Добрейший принц!

Гамлет выходит.

Гильденстерн. Значит, ты настиг нас.

Актер (*холодно*). Нет еще, сэр.

Гильденстерн. Попридержи язык, не то мы его у тебя вырвем — и вообще выпотрошим, как соловья на римском пиршестве.

Розенкранц. Украл у меня изо рта.
Гильденстерн. И слова уже не понадобятся.
Розенкранц. Начнешь заикаться.
Гильденстерн. Как немой в монологе.
Розенкранц. Как соловей на римском пиршестве.
Гильденстерн. Реплики укоротятся.
Розенкранц. Исчезнет артикуляция.
Гильденстерн. Останется жестикуляция.
Розенкранц. И драматическая пауза.
Гильденстерн. Язык уже ничего не сможет.
Розенкранц. Облизать губы.
Гильденстерн. И ощутить привкус слез.
Розенкранц. Или — завтрака.
Гильденстерн. Не почувствует разницы.
Розенкранц. Ее и не будет.
Гильденстерн. Слова не понадобятся.
Розенкранц. Догонять будет незачем.
Гильденстерн. Значит, ты догнал нас.
Актер (*громко*). Нет еще! (*Горько.*) Это вы нас бросили.
Гильденстерн. А, я и забыл — вы же собирались дать представление. Да, жаль, что мы это упустили.
Актер (*взрываясь*). Нам стыдно теперь смотреть друг на друга! (*Овладевая собой.*) Вы не понимаете этого унижения — быть лишенным единственной вещи, которая делает эту жизнь выносимой — сознания, что кто-то *смотрит*... Мы уже вошли во вкус, уже лежало два трупа, и тут мы обнаружили, что — никого, что раздеваемся донага в пустоте, что мы — нигде.
Розенкранц. Реплика номер тридцать восемь.
Актер (*подавленно*). И вот, как несмышленые дети, приплясывая, в одежде, которую никто не носит, твердя слова, которых никто не говорит, в дурацких париках, клянясь в любви, распевая куплеты, убивая друг друга деревянными мечами, впустую вопя о потерянной вере после пустых клятв отмщенья — и каждый жест, каждая поза растворялись в прозрачном, необитаемом воздухе,— мы разбазаривали свой талант и распинались под пустым небом, и только неразумные птицы внимали нам. (*Оборачивается к ним.*) Ну что, понятно? Мы — *актеры,* мы нечто обратное людям! (*Он вздрагивает, голос его успокаивается.*) Вспомните сейчас о спрятанной в самой глубине души, о самой... тайной... самой интимной вещи... или мысли... которая у вас есть... или была... и которая уже потому в безопасности, что вы о ней забыли. (*Он смотрит на них, затем — в публику; Розенкранц поднимает ничего не выражающий взгляд.*) Вспомнили? (*Отчеканивая каждое слово.*) Так вот, я *видел,* что вы вспомнили.

Розенкранц возбужденно вскакивает.

Розенкранц. Ты! Никогда! Лжешь! (*Овладевает собой и, усмехнувшись в пустоту, садится.*)
Актер. Мы актеры... мы отказались от самих себя, как требует наша профессия — уравновесив это дело мыслью, что кто-то на нас смотрит. Оказалось — никто. Нас купили. Пока продолжался длинный монолог убийцы, мы, не смея шелохнуться, застыв в своих позах, сначала с надеждой, потом с неуверенностью, потом уже в полном отчаянии обшарили глазами каждый куст, каждый бугорок, каждый угол — но вас нигде не было. И все это пока убивец-король клялся горизонту в безмерных своих прегрешениях... Потом головы зашевелились, шеи стали вытягиваться — осторожно, как у ящериц, труп невинной Розалинды подал признаки жизни, и король запнулся. Даже тогда сила привычки и упорная надежда, что наша публика все-таки следит за нами из-за какого-нибудь куста, еще долго заставляла тела наши бессмысленно двигаться, рты раскрываться — хотя уже ни складу ни ладу не было,— пока все это, как телега о камень, не споткнулось о тишину.

Никто не подошел. Никто нас не окликнул. Тишина была ненарушимой, гнетущей, бесстыдной. Мы сняли наши короны, и мечи, и золотое тряпье и молча двинулись по дороге к Эльсинору.

Тишина. Потом Гильденстерн начинает аплодировать в одиночку с плохо скрываемой иронией.

Гильденстерн. Превосходно, превосходно. Браво. Если б еще эти глаза могли плакать... Может, только метафор многовато, а? Подумай. Это не критика — так, дело вкуса. Итак, вы здесь — чтобы отомстить. В переносном, конечно... Впрочем, мы в расчете — это чтоб вы знали, кому обязаны приглашением играть при дворе.

Розенкранц. Да, мы рассчитываем на вас, ему надо отвлечься. Мы думаем, вы как раз то, что ему нужно. (*На его лице возникает еле заметная улыбка, но он тотчас берет себя в руки.*) Что вовсе не означает обычное ваше похабство — не следует трактовать августейших особ как людей с заурядными извращениями. Они ничего не знают об этом, а вы ничего не знаете о них, что делает сосуществование возможным. Итак, дайте принцу простой хороший спектакль, понятный для всех членов семейства,— или вам придется паясничать в таверне уже нынче вечером.

Гильденстерн. Или завтра.

Розенкранц. Или никогда.

Актер. Мы имеем право выступать здесь. И всегда имели.

Гильденстерн. Что, играли для него прежде?

Актер. Да, сэр.

Розенкранц. А что он предпочитает?

Актер. Классику.

Розенкранц. С перчиком.

Гильденстерн. А что даете нынче?

Актер. «Убийство Гонзаго».

Гильденстерн. Чудные стихи и масса трупов.

Актер. Содрано с итальянского...

Розенкранц. О чем там?

Актер. О короле и королеве...

Гильденстерн. Своих не хватает! Что еще?

Актер. Кровь ——

Гильденстерн. Любовь и риторика.

Актер. Точно. (*Собирается идти.*)

Гильденстерн. Ты это куда?

Актер. Могу приходить и уходить как захочу.

Гильденстерн. И знаешь все входы и выходы.

Актер. Я бывал здесь и раньше.

Гильденстерн. А мы только нащупываем почву.

Актер. Если щупать, то лучше голову — пока на плечах.

Гильденстерн. Исходишь из опыта?

Актер. Из прецедентов.

Гильденстерн. Будучи здесь не первый раз.

Актер. И знаю, откуда ветер дует.

Гильденстерн. Значит, и нашим, и вашим. Неглупо. Впрочем, это норма, учитывая, так сказать, род занятий.

Лицо актера не выражает ничего. Он снова пытается уйти, но Гильденстерн его удерживает.

Говоря откровенно, мы дорожим вашим обществом за неимением другого. Слишком долго были предоставлены самим себе... В итоге неуверенность, связанная с чужим обществом, оказывается даже привлекательной.

Актер. Неуверенность — нормальное состояние. Вы не исключение.

Он снова пытается уйти; Гильденстерн удерживает его.

Гильденстерн. Но ради всего святого — что нам делать?!

Актер. Расслабьтесь. Реагируйте. Как все люди. Нельзя же идти по жизни, на каждом углу задавая проклятые вопросы.

Гильденстерн. Но мы не знаем, что происходит. И что нам с собой делать. Мы не знаем, как нам *поступать*.

Актер. Как? Естественно. Вы же знаете по крайней мере, зачем вы здесь.

Гильденстерн. Знаем только то, что нам говорят. А это — немного. И кроме того, мы не убеждены, что это — правда.

Актер. В этом никто не убежден. Все приходится принимать на веру. Правдиво только то, что принимается за правдивое. Такова плата за существование. Можно быть нищим, но все в порядке, пока есть такое покрытие и пока его можно разменять. Человек основывается на предположениях. Что вы предполагаете?

Розенкранц. Гамлет переменился, внешне и внутренне. Мы должны выяснить, что повлияло.

Гильденстерн. Он не слишком идет навстречу.

Актер. Кто идет — в наши-то времена?

Гильденстерн. Он... э-э-э... мрачен.

Актер. Мрачен?

Розенкранц. Безумен.

Актер. В каком смысле?

Розенкранц. Ох. (*К Гильденстерну.*) В каком смысле?

Гильденстерн. Ну, не то чтобы безумен — подавлен.

Актер. Подавлен.

Гильденстерн. Мрачно настроен.

Розенкранц. Зависит от настроений.

Актер. Мрачных?

Гильденстерн. Безумен. И вообще.

Розенкранц. Именно.

Гильденстерн. В частности.

Розенкранц. Разговаривает сам с собой. Что признак безумия.

Гильденстерн. Если не говорит разумные вещи. Что он делает.

Розенкранц. Что означает обратное.

Актер. Чему?

Короткая пауза.

Гильденстерн. Думаю, я понял. Человек, разговаривающий сам с собой, но со смыслом, не более безумен, чем человек, разговаривающий с другими, но несущий околесицу.

Розенкранц. Или одинаково безумен.

Гильденстерн. Или одинаково.

Розенкранц. А он делает то и то.

Гильденстерн. То-то и есть.

Розенкранц. Клинически нормален.

Пауза.

Актер. Почему?

Гильденстерн. А? (*К Розенкранцу.*) Почему?

Розенкранц. Именно.

Гильденстерн. Именно — что?

Розенкранц. Именно почему.

Гильденстерн. Что именно почему?

Розенкранц. Что?

Гильденстерн. Почему?

Розенкранц. Что почему, собственно?

Гильденстерн. Почему он безумен?

Розенкранц. Понятия не имею.

Шаги.

Актер. Старик считает, что он влюбился в дочку.

Розенкранц (*пораженный*). О боже, это свыше моего разумения!

Актер. Нет, нет — у него нет дочки — старик считает, что он влюбился в его дочку.

Розенкранц. Старик?

Актер. Гамлет. Влюбился в дочку старика. Старик так думает.

Розенкранц. Хо! Это уже приобретает смысл. Страсть без взаимности.

Актер порывается уйти.

Гильденстерн (*полицейским тоном*). Никто не выйдет из этой комнаты. (*Пауза, мягче.*) Без достаточных оснований.

Актер. Почему?

Гильденстерн. Это болтание взад-вперед напоминает балаган. Теряешь контроль над ситуацией. Отныне здесь будет царить порядок.

Актер. Мне надо учить стихи.

Гильденстерн. Проходи.

Актер уходит в боковую кулису. Розенкранц складывает ладони рупором и кричит в противоположную сторону.

Розенкранц. Следующий!

Никого.

Гильденстерн. Чего ты ждешь?

Розенкранц. Чего-то... кого-то... Ничего.

Сидят лицом к залу.

Голоден?

Гильденстерн. Нет, а ты?

Розенкранц (*задумчиво*). Нет. Помнишь ту монету?

Гильденстерн. Что?

Розенкранц. Наверно, я потерял ее.

Гильденстерн. Какую монету?

Розенкранц. Не помню точно.

Пауза.

Гильденстерн. Ах, ту... смешно.

Розенкранц. Не понимаю, как это вышло.

Гильденстерн. У тебя это само получается.

Розенкранц. Да, это мой трюк.

Гильденстерн. Попробуй еще раз.

Небольшая пауза.

Розенкранц. Мы не можем себе это позволить.

Гильденстерн. Правильно. Человек должен думать о будущем.

Розенкранц. Следовало бы.

Гильденстерн. Иметь будущее. В конце концов, человек его всегда имеет... сейчас... и сейчас... и сейчас...

Розенкранц. Без конца. Впрочем, нет, вряд ли. (*Пауза.*) Ты представляешь себя когда-нибудь мертвым, по-настоящему... в ящике и с крышкой сверху?

Гильденстерн. Нет.

Розенкранц. Я, конечно, тоже... Глупо нервничать по этому поводу. Потому что думаешь о себе в ящике как о живом, не учитывая, что ты уже мертвый... а это ведь не то же самое, правда? То есть, ты уже не знаешь, в ящике ты или нет. Это ведь как если просто спать в ящике. Не то чтоб мне нравилось спать в ящике, особенно без воздуха. Потому что если проснешься, то ты уже мертвый, это во-первых; и что тогда делать? Тем более — в ящике. Вот это-то мне и не нравится. Потому я и не думаю об этом...

Гильденстерн беспокойно ерзает и кутается в плащ.

Потому что тогда ты уже беспомощен, верно? Запихнутый в ящик, и ты уже там навсегда. Даже если учесть, что ты мертв, все равно неприят-

ная мысль. Особенно если ты по-настоящему мертв. Вот представь — представь, что я запихиваю тебя сейчас в ящик — что ты предпочтешь: быть живым или мертвым? Конечно, живым. Потому что жизнь в ящике лучше, чем нежизнь вообще. По-моему. По крайней мере есть шанс. Лежишь себе и думаешь — ладно, по крайней мере я жив. Кто-нибудь все-таки придет и постучит и скажет: выходи. (*Стучит кулаком по полу.*) Эй ты, как тебя там! Вылезай!

Гильденстерн (*вскакивает, яростно*). Перестань! Ты способен свести с ума!

Пауза.

Розенкранц. На твоем месте я бы не обращал внимания. Ты просто подавлен. (*Пауза.*) Вечность — ужасная вещь. То есть, где она все-таки кончается? (*Пауза, потом весело.*) Два ранних христианина случайно встретились на небесах. «Неужто я вижу Савла из Тарса? — воскликнул один. Ты-то что тут делаешь?» «Тарса-Шмарса,— буркнул другой.— Ты видишь уже Павла». (*Он встает и хлопает в ладоши.*) Им все равно. Рассчитывать не на что. Можно позеленеть, пока они явятся.

Гильденстерн. Или посинеть. Или покраснеть.

Розенкранц. Христианин, мусульманин и еврей встретились однажды в закрытом экипаже... «Зильберштейн! — воскликнул еврей.— Как зовут твоего приятеля?» — «Его зовут Абдулла,— говорит мусульманин.— Но с тех пор, как он обратился, он мне больше не приятель». (*Снова подскакивает и кричит за кулисы.*) Эй, вы, я знаю, что вы там! Давайте сюда, поболтаем! (*Пауза.*) Ничего не поделаешь. Никого... (*Шагает по сцене.*) Где тот момент, когда человек впервые узнает о смерти? Должен же он где-то быть, этот момент, а? В детстве, наверно, когда ему впервые приходит в голову, что он не будет жить вечно. Это должно бы было быть потрясающе — надо порыться в памяти. И все же— не помню. Наверно, это никогда меня не заботило. Что из этого следует? Что мы, должно быть, рождаемся с предчувствием смерти. Прежде чем узнаем это слово, прежде чем узнаем, что существуют вообще слова, являясь на свет, окровавленные и визжащие, мы уже знаем, что для всех компасов на свете есть только одно направление, и время — мера его. (*Умолкает, потом отчаянно и быстро.*) Индус, буддист и укротитель львов встретились однажды в цирке на индо-китайской границе... (*Прерывает себя.*) Они считают нас мебелью! Я этого не потерплю! Имейте это в виду! (*Он снова круто оборачивается лицом к кулисам.*) Катитесь отсюда! Все! Вход запрещен! Закрыто! (*Никто не входит, он переводит дух.*) Так-то лучше...

Тотчас же после его слов в глубине сцены возникает большая процессия, возглавляемая Клавдием; за ним — Гертруда, Полоний, Офелия. Клавдий, поравнявшись с Розенкранцем, берет его под руку и сразу же начинает беседу: текст см. «Гамлет», акт III, сцена 1. Гильденстерн все еще стоит лицом к публике, пока Клавдий, Розенкранц и остальные проходят в глубь сцены и поворачивают назад.

Гильденстерн. Смерть, сопровождаемая вечностью... худшее, что есть в обоих мирах. Это и вправду ужасная мысль.

Он оборачивается и направляется в глубь сцены, чтобы принять участие в разговоре. Гертруда и Розенкранц выходят на передний план.

Гертруда. Он хорошо вас принял?

Розенкранц. Как истый джентльмен.

Гильденстерн (*вернувшись как раз вовремя, чтоб вступить в беседу*). Но и с большой натянутостью тоже.

Розенкранц (*лжет, сознает, что лжет, и даже не старается это скрыть; может быть, даже подмигивает Гильденстерну.*) Скуп на вопросы, но непринужден в своих ответах.

Гертруда.
Вам удалось его развлечь?

Розенкранц. Мадам,
Случилось так, что мы перехватили
В дороге некоих актеров; это

Ему сказали мы, и он как будто
Обрадовался даже; здесь они
И, кажется, уже приглашены
Играть пред ним сегодня.

Полоний. Это верно:
И он через меня шлет просьбу вашим
Величествам послушать и взглянуть.

Клавдий.
От всей души; и мне отрадно слышать,
Что к этому он склонен. Продолжайте
Свои усилья, поощряйте в нем
Вкус к этим развлеченьям.

Розенкранц. Да, милорд.

Клавдий (*снова возглавляя процессию*).
Гертруда, милая, оставь нас ненадолго.
Мы тут за Гамлетом послали кой-кого,
Чтоб здесь он встретился как бы случайно
С Офелией...

Клавдий и Гертруда выходят.

Розенкранц (*брезгливо*). Ни минуты покоя! И туда, и сюда — так и прут со всех сторон.

Гильденстерн. Ты вечно недоволен.

Розенкранц. Все время ставят палки в колеса... Неужто не можем обойтись без них?

Гильденстерн. Не все ли равно?

Розенкранц. Я пошел.

Розенкранц заворачивается в плащ. Гильденстерн не обращает на него внимания. Розенкранц неуверенно идет в глубь сцены. Всматривается во что-то и быстро возвращается.

Он идет сюда.

Гильденстерн. Что поделывает?

Розенкранц. Ничего.

Гильденстерн. Что-нибудь он должен делать.

Розенкранц. Идет.

Гольденстерн. На руках?

Розенкранц. Нет.

Гильденстерн. Нагишом?

Розенкранц. Застегнут на все пуговицы.

Гильденстерн. Мелет что-нибудь?

Розенкранц. По-моему, нет.

Гильденстерн. Ты, наверно, ошибся.

Розенкранц. Вряд ли.

Пауза.

Гильденстерн. Честное слово, не представляю, как его втянуть в разговор.

В глубине сцены показывается Гамлет, который жестикулирует, как бы взвешивая «за» и «против» во время своего — нами не слышимого — монолога. Розенкранц и Гильденстерн наблюдают за ним.

Розенкранц. Ну, можем сказать, что воспользовались случаем... повидать его... Это и вправду вышло случайно... по-моему... По-моему, надо напрямик, без церемоний... как мужчина с мужчиной... По старой дружбе... Например: слушай, старина, что все это значит?.. В этом духе... по-моему. Прямой, непринужденный подход. Да, именно так... по-приятельски... Этот случай надо хватать, я считаю... если мое мнение, конечно, учитывается... Дареному коню можно и в глаза заглянуть... И так далее. (*Делает шаг в сторону Гамлета, но нервы его сдают, и он возвращается.*) Благоговение, вот что нам мешает. Перед голубой кровью. Как доходит до дела, всегда пасуем...

Входит Офелия, представляющая в единственном числе нечто вроде религиозной процессии.

Гамлет.

Мой грех в своих молитвах вспомни, нимфа.

Услышав его голос, Офелия останавливается; он берет ее за руку и притягивает к себе.

Офелия. Мой добрый принц,

Как поживали вы все это время?

Гамлет. Благодарю вас; сносно, сносно, сносно.

Переговариваясь, они исчезают за кулисами.

Розенкранц. Вроде как в городском парке.

Гильденстерн. Да, выразительно. Ну, так как насчет твоего непринужденного подхода? Могло произвести сильное впечатление. Если я еще имею право на личное мнение — сядь и заткнись. Хватит твоих фантазий.

Розенкранц (*почти в слезах*). Это невыносимо!

Появляется женская фигура в королевском одеянии. Розенкранц подкрадывается к ней сзади, закрывает глаза ладонями и — с отчаянной фамильярностью:

Угадай, кто?!

Актер (*появляясь из дальнего угла сцены*). Альфред!

Розенкранц опускает руки и быстро оборачивается. Оказывается, он обнимал Альфреда, одетого в женское платье и в парике блондинки. Актер все еще стоит в углу сцены. Розенкранц подходит к нему. Они стоят нос к носу.

Розенкранц. Виноват.

Актер автоматически поднимает правую ногу. Розенкранц наклоняется и кладет руку на пол в этом месте. Актер опускает ногу. Розенкранц вскрикивает и отскакивает.

Актер. Прошу прощения.

Гильденстерн (*к Розенкранцу*). Что он сделал?

Актер. Топнул ногой.

Розенкранц. Моя рука была на полу.

Гильденстерн. Ты сунул свою руку под его ногу?

Розенкранц. Я ——

Гильденстерн. Зачем?

Розенкранц. Я думал —— (*Вцепляется в Гильденстерна.*) Не оставляй меня!

Он порывается к выходу; оттуда появляется актер в одежде короля. Розенкранц бросается в другую сторону; оттуда выходят два актера в плащах. Розенкранц совершает еще одну попытку, но навстречу появляется еще один актер, и Розенкранц замирает посреди сцены. 1-й актер устало хлопает в ладоши.

Актер. За дело! Времени маловато.

Гильденстерн. Что происходит?

Актер. Генеральная репетиция. А теперь, если вы не возражаете, отойдите чуть-чуть в сторонку... так... хорошо. (*К актерам.*) Все готовы? (*К Розенкранцу и Гильденстерну.*) Мы все время работаем в одних и тех же костюмах, и они, знаете, часто забывают, кого именно надо играть... Альфред! Перестань ковырять в носу. Королевы совершают это... умственным путем... Это у них наследственное. Отлично. Тишина. Поехали!

Актер-король. Уж тридцать раз как колесница Феба...

Актер (*вскакивая, со злостью.*) Нет, нет, нет! Начинай с пантомимы, понял? Ваше трепаное величество! (*К Розенкранцу и Гильденстерну.*) Они немножко не в форме, но когда они начнут умирать, то будут бесподобны. Смерть вызывает у них вдохновение.

Гильденстерн. Очень мило с их стороны.

Актер. Ничего нет более неубедительного, чем неубедительная смерть.

Гильденстерн. Бесспорно.

Актер хлопает в ладоши.

Актер. Акт первый — пошли!

Пантомима. Тихая мелодия флейты. Актер-король и актер-королева обнимаются. Она становится на колени и о чем-то молит его. Он поднимает ее с колен и кладет свою голову ей на плечо. Засыпает. Она, видя, что он уснул, оставляет его.

Гильденстерн. Что это означает?

Актер. Видите ли, это такой прием. Это — схема; с ее помощью мы делаем происходящее более или менее понятным. Язык наших пьес настолько плох, что компенсирует недостатки стиля разве что своей неясностью.

Пантомима продолжается — входит другой актер. Он снимает со спящего корону, целует ее. Потом достает флакончик с ядом и вливает его в ухо спящего, потом выходит. Спящий, героически содрогаясь, умирает.

Розенкранц. А это кто был?

Актер. Брат короля и дядя принца.

Гильденстерн. Не очень-то по-братски.

Актер. И вообще не по-родственному. Особенно дальше.

Королева возвращается; найдя короля мертвым, проводит сцену горя. Снова входит отравитель, сопровождаемый двумя актерами в плащах. Тело уносят. Отравитель как бы утешает королеву дарами. Поначалу она сопротивляется, но вскоре уступает ему и отвечает на ласки.

В этот момент слышится душераздирающий женский вопль, и появляется Офелия, преследуемая Гамлетом. Гамлет — в истерике, он кричит на нее, хватает за рукав и т. д.; все это — в центре сцены.

Гамлет. Нет, с меня довольно, это свело меня с ума.

Она опускается, плача, на колени.

Я говорю: у нас не будет больше браков. (*Снижает голос, обращаясь к застывшим в своих позах актерам.*) Те, которые уже в браке (*исподтишка кланяется королеве и отравителю; более доверительным тоном*), все, кроме одного, останутся жить. (*Невесело усмехается им, собираясь отойти; тон снова меняется, последние слова он произносит с нарастанием.*) Прочим оставаться как они есть. (*Уже уходя, он наклоняется к трясущейся Офелии и произносит ей прямо в ухо, отрывисто.*) В монастырь, в монастырь...

Он выходит. Офелия посреди сцены падает на колени, ее всхлипывания еле слышны. Небольшая пауза.

Актер-король. Уж тридцать раз как колесница Феба...

Входят Клавдий с Полонием; они приближаются к Офелии и поднимают ее. Актеры, опустив головы, быстро отступают в глубь сцены.

Клавдий. Любовь? Не к ней мечты его стремятся;
И речь его, хотя в ней мало строя,
Была не бредом. У него в душе
Уныние высиживает что-то.
И я боюсь, что вылупиться может
Опасность; чтоб ее предупредить,
Я, быстро рассудив, решаю так:
Он в Англию отправится немедля...

С этими словами они — Клавдий, Полоний, Офелия — исчезают из виду. Актер, выходя вперед, хлопает в ладоши, привлекая к себе внимание.

Актер. Так не пойдет, джентльмены. (*Актеры смотрят на него.*) С этим нельзя выходить на сцену. (*К Гильденстерну.*) Какое у вас впечатление?

Гильденстерн. А какое должно быть впечатление?

Актер (*актерам*). Вы не даете самой сути!

Розенкранц делает несколько шагов вслед за Офелией, потом возвращается.

Розенкранц. Любовью это мне не кажется.

Гильденстерн. Возвращаясь к нашим баранам...

Актер (*к актерам*). Это было ни к черту.

Розенкранц (*к Гильденстерну*). Похоже, вечером будет хаос.

Гильденстерн. Не суйся — мы только зрители.

Актер. Акт второй! По местам!

Гильденстерн. Разве это еще не конец?

Актер. Вы называете это концом? Когда еще нет трупов? Ну нет; что называется, только через... ваш труп.

Гильденстерн. Как я должен это принять?

Актер. Лежа. (*Короткий смешок — но в ту же секунду это лицо человека, который никогда не смеялся.*) У произведения искусства всегда есть замысел, вы же знаете. События развиваются сами по себе, пока не наступает эстетический, нравственный и логический финал.

Гильденстерн. А какой финал на этот раз?

Актер. Обычный. Вариантов не бывает: мы приближаемся к месту, когда все, кому назначено умереть, умирают.

Гильденстерн. Назначено?

Актер. Ну, между «кушать подано» и «трагической иронией» достаточно места для проявления наших индивидуальных способностей. Вообще говоря, все можно считать законченным только тогда, когда дела так плохи, что хуже быть просто не могут. (*Включает улыбку.*)

Гильденстерн. Кто это решает?

Актер (*выключает улыбку*). Решает? Это *написано*. (*Он отворачивается, но Гильденстерн хватает его и резко поворачивает к себе; безмятежно.*) А сейчас, если вы будете столь любезны, разойдемся как в море корабли. Выражаясь популярно.

Гильденстерн отпускает его.

Мы актеры, понимаете? Мы не выбираем: мы подчиняемся указаниям. Плохой конец прискорбен, хороший — безрадостен. В этом смысл трагедии. (*Громко.*) По местам!

Актеры занимают свои места для продолжения пантомимы; на этот раз представляется любовная сцена — страстная, эротическая — между королевой и отравителем-королем.

Пошли!

Любовники начинают. Актер вполголоса быстро комментирует происходящее Розенкранцу и Гильденстерну.

Убив брата и соблазнив вдову, отравитель захватывает трон. В этой сцене они отпускают поводья своей разнузданной страсти. Она не догадывается, что мужчина, которого она сжимает в объятиях ——!

Розенкранц. О, конечно — да — понимаю! Но это невозможно.

Актер. Да? Почему?

Розенкранц. Да как же — я полагаю, люди пришли отдохнуть, развлечься — а не за грязным и бессмысленным развратом.

Актер. Ошибаетесь — именно за этим. Убийство, обольщение и инцест,— а вам чего нужно — хохмочек?

Розенкранц. Я хочу хорошую историю — с началом, серединой и концом.

Актер (*к Гильденстерну*). А вам?

Гильденстерн. Я предпочел бы искусство как зеркало жизни. Если тебе не все равно.

Актер. Мне, сэр, все равно. (*К обнимающимся любовникам.*) Отлично, но не увлекайтесь. (*Они встают; к Гильденстерну.*) Мой выход через минуту. Луциан, племянник короля! (*Поворачивается к актерам.*) Следующий!

Актеры готовятся к следующему фрагменту пантомимы, который состоит в том, что сам актер представляет — хореография и стилизация — мучимого тоской, что есть вступление к страстной сцене с королевой («Гамлет», акт III, сцена 4). Затем следует очень стилизованная сцена убийства Полония, закалываемого сквозь занавес (убитый король играет Полония); в течение этой сцены актер продолжает скороговоркой комментировать Розенкранцу и Гильденстерну происходящее.

Актер. Луциан, племянник короля... отставленный дядей от трона и потрясенный... его кровосмесительным браком с его матерью... теряет разум... производя при дворе переполох и замешательство... своими метаниями... меж горчайшей меланхолией и диким безумием...

попытками самоубийства (*поза*) и убийством (*закалывает Полония*)... наконец он предстает перед своей матерью и в довольно двусмысленной сцене (*объятие — с элементами эдипова комплекса*). умоляет ее признать вину и раскаяться... (*Вскакивает, продолжая говорить.*) Король (*он выталкивает вперед отравителя-короля*), мучимый виной, мучимый страхом, решает отослать своего племянника в Англию... и доверяет эту миссию двум улыбчивым подчиненным... придворным... двум шпионам... (*отворачивается, чтобы соединить в одну группу отравителя-короля и двух актеров в плащах; эти двое кланяются, принимая от короля пакет*)... вручив им письмо для передачи английскому двору!... И вот они отбывают — на борту корабля...

Два актера, шпионы, встают по бокам актера, а все трое начинают раскачиваться в унисон: движение корабля; потом актер отделяется от них.

...и они прибывают...

Один из шпионов прикрывает глаза ладонью, разглядывая горизонт...

...*причаливают... и предстают перед английским королем. (Поворачивается на 180 градусов.)* Английский король...

Перемена головного убора превращает актера, игравшего только что убитого короля, в английского короля.

...Но где же принц? Куда он пропал? Сюжет усложнился — волею судьбы и интриги в руках у них оказывается письмо, обрекающее их на гибель!

Шпионы вручают английскому королю письмо; английский король прочитывает его и приказывает их казнить. Актер срывает с них плащи, готовя их к экзекуции.

Предатели, погоревшие на своей же хитрости, или жертвы богов — мы никогда этого не узнаем!

До сих пор пантомима шла плавно и безупречно, но тут Розенкранц делает шаг вперед, и все останавливается. Обстоятельством, заставившим Розенкранца вмешаться, оказывается тот факт, что под плащами оба шпиона одеты в костюмы, абсолютно аналогичные костюмам самих Розенкранца и Гильденстерна. Несколько неуверенно Розенкранц приближается к «своему» шпиону. Он в недоумении, почему именно костюм кажется ему знакомым. Останавливается и задумчиво ощупывает ткань...

Розенкранц. Хм, если это не ——! Стоп, погоди, не отвечай — это было уже столько лет тому — но где именно? Мы знакомы, не так ли? Я никогда не забываю лиц (*всматривается в лицо шпиона*)... то есть, твоего-то я прежде не видел. На минуту мне показалось, что — нет, мы прежде не встречались, верно? Да, боюсь, ты ошибаешься. Боюсь, ты принял меня за кого-то другого.

Гильденстерн тем временем приближается к другому шпиону, напряженно наморщив лоб.

Актер (*к Гильденстерну*). Вы знакомы с этой пьесой, сэр?

Гильденстерн. Нет.

Актер. Бойня — целых восемь трупов. Это у нас получается лучше всего.

Гильденстерн (*с силой, накапливавшейся во время пантомимы и комментария к ней*). Ты! Что *ты* знаешь о *смерти?*

Актер. Что актерам это удается лучше всего. Они должны выдать все, на что их талант способен, и их талант — умирание. Они умирают героически, комически, иронически, медленно, быстро, отвратительно, очаровательно и, наконец, на котурнах. Лично мое амплуа несколько более общее. Я извлекаю из мелодрамы суть, которой там часто и нет; но иногда, несмотря на это, проскальзывает тонкий луч света, который, если под определенным углом, может, так сказать, пронзить покров смертности.

Розенкранц. И это все, на что они способны — умирать?

Актер. Нет, нет — они еще красиво убивают. Некоторые убивают даже красивей, чем умирают. Остальные лучше умирают, чем убивают. Это труппа.

Розенкранц. Который из них который?

Актер. Почти никакой разницы.

Гильденстерн (*страх, насмешка*). Актеры! Механики дешевых мелодрам! Это *не* смерть! (*Спокойней.*) Вы кричите, давитесь, ползаете на четвереньках — но ни у кого это не рождает ощущения смерти — никого не застает врасплох, чтоб в мозгу у них что-то прошептало: «Однажды и ты будешь умирать». (*Упрощая.*) Вы умираете столько раз; как же вы рассчитываете, что они поверят в смерть подлинную?

Актер. Как раз наоборот, это единственный вид смерти, в который они верят. Они у меня вышколены. У меня однажды был актер, которого приговорили к виселице за кражу овцы — или барана,— не помню точно. Так я испросил разрешения повесить его по ходу пьесы — пришлось малость изменить фабулу, но я посчитал, что так будет эффектней. Вы, может быть, не поверите, но это *не* выглядело убедительно. Поколебать их недоверие невозможно,— и когда публика начала глумиться и швырять помидоры — все кончилось катастрофой! — он ничего другого не делал, только плакал — совсем не по роли — просто стоял там и плакал... Нет, больше никогда...

В прекрасном настроении он снова возвращается к пантомиме: два шпиона ожидают казни от его руки, актер вытаскивает из-за пояса свой кинжал.

Публика знает, чего она хочет, и только этому она согласна верить. (*Шпионам.*) Показывайте!

Шпионы умирают, не спеша, но убедительно.
Свет начинает меркнуть, и, пока они умирают, Гильденстерн говорит.

Гильденстерн. Нет, нет, нет... все совсем не так... этого не сыграешь. Факт смерти не имеет ничего общего с тем... как мы это видим... как это происходит. Это не кровь и не вопли и падение тел — смерть состоит не в этом. Просто дело в том, что человек больше не появляется, и все — сейчас вы его видите, сейчас — нет, и правда только в том, что в эту минуту он здесь, а в следующую уже нет, и он больше не вернется — просто уход, скромный и необъявляемый — отсутствие, становящееся весомым по мере того, как оно длится и длится — пока, наконец, совсем не придавит.

Два шпиона лежат на сцене, еле видимые. Актер выходит вперед и накрывает их тела плащами. Розенкранц медленно аплодирует.
Затемнение.

Секунда тишины, потом сильный шум, крики: «Король встает!», «Прекратить представление!» — и возгласы: «Свет! Свет! Свет!» Когда несколькими секундами позже начинает светлеть, становится ясно, что это — восход солнца. Сцена пуста, если не считать двух персонажей, лежащих примерно в тех же позах, что и казненные шпионы. Когда становится совсем светло, выясняется, что это спокойно спящие Розенкранц и Гильденстерн; Розенкранц приподнимается на локтях и, щурясь, смотрит в зал. Затем — произносит:

Розенкранц. Это, должно быть, восток, там. Теперь наверняка.

Гильденстерн. Ничего не наверняка.

Розенкранц. Нет, это точно. Там солнце. Восток.

Гильденстерн (*глядя вверх*). Где?

Розенкранц. Я видел, оно вставало.

Гильденстерн. Нет... все время было светло, только ты открывал глаза очень медленно. Лежи ты лицом в другую сторону, там тоже был бы восток.

Розенкранц (*поднимаясь*). Ты само недоверие.

Гильденстерн. Ну, я не раз попадался.

Розенкранц (*глядя поверх публики*). Похоже на правду.

Гильденстерн. Их интересует, что мы предпримем.

Розенкранц. Добрый, старый восток.

Гильденстерн. И стоит нам пошевелиться, как они обрушатся со всех сторон, со своими путаными инструкциями, сводя с ума идиотскими замечаниями и перевирая наши имена.

Розенкранц собирается что-то возразить, но прежде чем он раскрывает рот:

Клавдий (*за сценой*). Эй, Гильденстерн!

Гильденстерн еще лежит. Небольшая пауза.

Друзья мои, сходите за подмогой.
В безумстве Гамлет умертвил Полония
И выволок из комнат королевы.
Поладьте с ним, а тело отнесите
В часовню. И, прошу вас, поскорее.
Идем, Гертруда, созовем друзей,
Расскажем им все то, что мы решили...

Розенкранц и Гильденстерн не шевелятся.

Гильденстерн. Н-ну...

Розенкранц. Вот именно...

Гильденстерн. Ну-ну.

Розенкранц. Именно, именно. (*Кивает с фальшивой убежденностью.*) Найдите его. (*Пауза.*) И так далее.

Гильденстерн. Вот именно.

Розенкранц. Ну. (*Небольшая пауза.*) Н-да, это уже шаг вперед.

Гильденстерн. Он тебе не понравился?

Розенкранц. Кто?

Гильденстерн. Боже правый, надеюсь, по *нам* будет пролито больше слез.

Розенкранц. Но все же это шаг вперед, правда? Уже нечто конкретное — разыщите его. (*Озирается, не двигаясь.*) С чего бы начать? (*Делает один шаг в сторону кулисы и останавливается.*)

Гильденстерн. Да, это шаг вперед.

Розенкранц. Ты думаешь? Он же может быть где угодно.

Гильденстерн. Отлично — ты идешь в эту сторону, я — в ту.

Розенкранц. Ладно.

Идут к разным кулисам. Розенкранц останавливается.

Нет.

Гильденстерн останавливается.

Ты иди в ту, а я — в эту.

Гильденстерн. Отлично.

Идут навстречу друг другу. Расходятся. Розенкранц останавливается.

Розенкранц. Погоди минутку.

Гильденстерн останавливается.

Я думаю, надо держаться вместе. Может, он небезопасен.

Гильденстерн. Разумно. Я пойду с тобой.

Гильденстерн идет к Розенкранцу, минует его. Розенкранц останавливается.

Розенкранц. Нет, я пойду с тобой.

Гильденстерн. Ладно.

Они поворачивают, идут через сцену к другой кулисе. Розенкранц останавливается.

Гильденстерн тоже.

Розенкранц. Я пойду *с тобой,* но в *мою* сторону.

Гильденстерн. Отлично.

Опять поворачивают и идут через сцену. Розенкранц останавливается. Гильденстерн тоже

Розенкранц. Слушай, мне пришло в голову. Если мы оба уйдем, он может прийти сюда. Глупо получится, а?

Гильденстерн. Прекрасно — я остаюсь, ты — идешь.

Розенкранц. Правильно.

Гильденстерн идет в центр сцены.

Минутку.

Гильденстерн поворачивается и идет, пятясь, к Розенкранцу, который двигается к авансцене; расходятся. Розенкранц останавливается.

Послушай.

Гильденстерн останавливается.

Надо держаться вместе. Он может быть небезопасен.

Гильденстерн. Разумно.

Гильденстерн подходит к Розенкранцу. Замирают ненадолго в своих первоначальных положениях.

Так, наконец-то мы куда-то идем.

Пауза.

Конечно, он может не прийти.

Розенкранц (*легко*). О, он придет.

Гильденстерн. Пришлось бы кое-что объяснять.

Розенкранц. Придет. (*Легким шагом идет в глубь сцены.*) Не волнуйся — можешь верить мне на слово. (*Вглядывается за кулису, пораженно.*) Идет.

Гильденстерн. Как?

Розенкранц. Просто идет.

Гильденстерн. Один?

Розенкранц. Нет.

Гильденстерн. А кто с ним?

Розенкранц. С ним старик.

Гильденстерн. Тоже идет?

Розенкранц. Нет.

Гильденстерн. Не идет?

Розенкранц. Нет.

Гильденстерн. О, удачно, лучше не могло быть. (*И внезапно воодушевляется — он готов действовать.*) Загоним его в капкан.

Розенкранц. Какой капкан?

Гильденстерн. Стань здесь. Нельзя дать ему уйти.

Ставит Розенкранца лицом туда, откуда должен появиться Гамлет. Становится рядом с ним, несколькими шагами ближе к авансцене; таким образом они перекрывают одну сторону сцены, стоя лицом к противоположной. Гильденстерн расстегивает ремень, Розенкранц — тоже. Они связывают свои ремни и берутся за концы. Штаны Розенкранца начинают сползать вниз. Из противоположной кулисы появляется Гамлет, медленно волоча тело Полония. Он идет в глубину сцены, поворачивает к выходу в ту же кулису, из которой появился, несколькими метрами левее (правее).

Розенкранц и Гильденстерн, держащие свои ремни натянутыми как струна, смотрят на него в некотором замешательстве.

Гамлет удаляется, волоча тело. Они ослабляют ремни.

Розенкранц. Ну, обошлось.

Гильденстерн. Что могут сделать два человека?

Они надевают ремни, Розенкранц подтягивает штаны.

Розенкранц (*обеспокоенно — делает несколько шагов в ту сторону, куда ушел Гамлет*). Он был мертв.

Гильденстерн. Конечно, мертв.

Розенкранц (*оборачиваясь к Гильденстерну*). По-настоящему.

Гильденстерн (*раздраженно*). Да, мертвецки.

Пауза.

Розенкранц. Позови его.

Гильденстерн. По-моему, мы уже это пробовали.

Розенкранц (*кричит*). Гамлет!

Гильденстерн. Не будь кретином!

Розенкранц (*орет*). Лорд Гамлет!

Входит Гамлет. Розенкранц немного изумлен.

Принц, что вы учинили с мертвым телом?

Гамлет.

Смешал с землей — она ему сродни.

Розенкранц.

Скажите, где оно, чтоб мы смогли

Снести его в часовню.

Гамлет. Вы этому не верьте.

Розенкранц. Чему не верить?

Гамлет. Что вашу тайну я хранить умею, а свою нет. К тому же, на вопросы губки какой ответ может дать королевский сын?

Розенкранц. Вы принимаете меня за губку, мой принц?

Гамлет. Да, сударь; которая впитывает благоволение короля, его щедроты, его пожалования. Но такие царедворцы служат королю лучше всего напоследок; он держит их, как обезьяна, за щекой: раньше всех берет в рот, чтобы позже всех проглотить; когда ему понадобится то, что вы скопили, ему стоит только нажать вас — и, губка, вы снова сухи.

Розенкранц. Я вас не понимаю, мой принц.

Гамлет. Я этому рад; хитрая речь спит в глупом ухе.

Розенкранц. Мой принц, вы должны сказать нам, где тело, и пойти с нами к королю.

Гамлет. Тело у короля, но король не у тела. Король суть вещь...

Гильденстерн. «Вещь», мой принц?

Гамлет. Невещественная. Ведите меня к нему.

Гамлет идет решительным шагом в сторону одной из кулис. Они, как пастухи, следуют за ним. Уже перед самым выходом Гамлет случайно замечает Клавдия, появляющегося в глубине сцены, и склоняется в глубоком поклоне. Розенкранц и Гильденстерн, следуя его примеру, тоже низко кланяются — глубокий церемонный поклон царедворцев, со взмахом плаща и т. п. Гамлет между тем продолжает движение и, повернув в противоположную сторону, покидает сцену; Розенкранц и Гильденстерн, стоя с опущенными головами, не замечают этого.

Никто не входит. Розенкранц и Гильденстерн выпрямляются и обнаруживают, что кланяются пустоте.

Позади них на сцене появляется Клавдий. При первых его словах они быстро поворачиваются и снова склоняются в глубоком поклоне.

Клавдий. Ну, как там? Что случилось?

Розенкранц.

Куда он спрятал тело, государь,
Узнать мы не смогли.

Клавдий. А где он сам?

Розенкранц (*частичное замешательство*).

Здесь рядом; под присмотром в ожиданье
Велений ваших.

Клавдий (*на ходу*). Пусть его введут.

Для Розенкранца это — как кулаком между глаз, но только глаза это показывают. Снова сильное замешательство. После чего он с внушительным видом поворачивается к Гильденстерну.

Розенкранц. Эй, приведите принца.

Розенкранц доволен своей находчивостью. Гильденстерн пойман и предан. Он открывает рот и тут же его закрывает.

Но положение спасено: Гамлет и сопровождающая его стража входят и пересекают сцену, следуя за Клавдием.

Освещение меняется на наружное.

(*Собираясь идти.*) Ну, теперь все в порядке, а?

Гильденстерн (*неподвижно, задумчиво*). По-видимому, это еще не все. Не такая это ситуация. Но почему именно мы? — ведь кто б угодно сгодился. И мы ничем не помогли.

Розенкранц. Это было, так сказать, испытание. Но теперь с нами все.

Гильденстерн. Все? Что все?

Розенкранц. Не желаю углубляться. Меня, тьфу-тьфу, это не интересует. (*Направляется в глубину сцены к выходу.*) Что до меня, так я рад, что видел его в последний раз. (*И он смотрит за кулисы и тут же оборачивается; выражение его лица выдает, что там Гамлет.*)

Гильденстерн. Я знал, что еще не конец.

Розенкранц (*взвизгивает*). Что еще??!

Гильденстерн. Мы везем его в Англию. Что он там делает?

Розенкранц. Разговаривает.

Гильденстерн. Сам с собой?

Розенкранц делает шаг, Гильденстерн его удерживает.

Он один?

Розенкранц. Нет, с военным.

Гильденстерн. Значит, не сам с собой.

Розенкранц. Не совсем... Пошли?

Гильденстерн. Куда?

Розенкранц. Куда угодно.

Гильденстерн. Зачем?

Розенкранц поднимает голову, прислушиваясь.

Розенкранц. Опять то же самое. (*С тоской.*) Чего бы я желал, так быть не здесь...

Гильденстерн. Бред наш насущный даждь нам днесь.

Появляется Гамлет, разговаривающий с воином в доспехах. Розенкранц и Гильденстерн не оглядываются.

Розенкранц. Будем тут торчать из-за них, пока не сдохнем. Как минимум. И погода переменится. (*Смотрит наверх.*) Не вечно же будет весна.

Гамлет. Скажите мне, мой друг, чье это войско?

Воин. Норвежца, сударь.

Гамлет. Нельзя ль узнать, куда оно идет?

Воин. Куда-то против Польши.

Гамлет. А кто командует над ним?

Воин. Племянник старого Норвежца, Фортинбрас.

Розенкранц. Мы замерзнем. Лето тоже не будет вечно.

Гильденстерн. Вид довольно осенний.

Розенкранц (*разглядывая землю*). Никаких листьев.

Гильденстерн. Осенний — при чем тут листья? Что при чем, так это некоторая коричневатость — в конце дня... Она подкрадывается к нам, уж поверь мне... Яблочные и мандариновые тени, как старое золото, окрашивают самые краешки наших чувств, сияющая глубокая охра, жженая умбра и пергамент засохшей земли, мерцающие изнутри и снаружи... фильтруют свет. В такое время, конечно, листья могут и падать, как говорят, но по чистой случайности... Вчера все было синё, точно дым.

Розенкранц (*поднимает голову, прислушивается*). Опять эти.

Отраженные звуки оркестра актеров.

Гамлет. Благодарю вас, сэр.

Воин. Храни вас бог, милорд. (*Выходит.*)

Розенкранц срывается с места и идет к Гамлету.

Розенкранц. Идемте, принц?

Гамлет. Я догоню вас. Вы пока идите.

Гамлет поворачивается спиной к залу. Розенкранц возвращается назад. Гильденстерн смотрит в зал, не двигаясь.

Гильденстерн. Он там.

Розенкранц. Да.

Гильденстерн. Что делает?

Розенкранц (*посмотрев через плечо*). Разговаривает.

Гильденстерн. Сам с собой?

Розенкранц. Да.

Пауза. Розенкранц собирается уходить.

Он сказал, что можем идти. Вот те крест.

Гильденстерн. Я предпочитаю знать, где я. Если я даже не знаю, где я, я предпочитаю знать *это*. Если уйдем, ничего уже знать не будем.

Розенкранц. Что — знать?
Гильденстерн. Вернемся ли назад.
Розенкранц. Но мы не хотим возвращаться.
Гильденстерн. Это, может, и так, но хотим ли мы идти?
Розенкранц. Мы будем свободны.
Гильденстерн. Не знаю. Небо везде одно.
Розенкранц. И мы уже немало отмахали.

Он двигается к выходу. Гильденстерн следует за ним.

И вообще — всякое еще может случиться.

Уходят.
Затемнение.

Действие третье

Полная темнота.
Слабый шум моря.
После нескольких секунд молчания — голос из темноты.

Гильденстерн. Ты здесь?
Розенкранц. Где?
Гильденстерн (*горько*). Недурное начало.

Пауза.

Розенкранц. Это ты?
Гильденстерн. Да.
Розенкранц. Ты в этом уверен?
Гильденстерн (*взрываясь*). О-Господи-Боже-Правый!
Розенкранц. С нами, значит, еще не покончено, а?
Гильденстерн. Мы же здесь, не так ли?
Розенкранц. Да? Я ни черта не вижу.
Гильденстерн. Но думать-то ты ведь еще можешь, не так ли?
Розенкранц. Думаю, да.
Гильденстерн. И говорить.
Розенкранц. Что я должен сказать?
Гильденстерн. Не важно. И можешь еще чувствовать, верно?
Розенкранц. Ага. Еще, значит, поживем.
Гильденстерн. И что ты чувствуешь?
Розенкранц. Ногу. Чувствую, что чувствую ногу.
Гильденстерн. Ну и как она?
Розенкранц. Омертвела.
Гильденстерн. Омертвела?
Розенкранц (*в панике*). Я не чувствую ничего!
Гильденстерн. А ты ее ущипни.
Розенкранц (*секунду спустя*). Ай! (*Пауза.*) Извини.
Гильденстерн. Это уже лучше.

Длинная пауза. Шум понемногу нарастает, становится ясно: это — море. Судно скрипит, ветер свистит в снастях, издали слышны возгласы матросов, отдаются команды:

Лево на борт!
Так держать!
Убрать рифы, чтоб вас!
Это ты, боцман?
Хэлло, это ты?
Легче, легче!
Держать к ветру!
Больше к ветру, ребята!

Шум моря — в промежутках.

Ставь кливера!
Топсель наверх, братцы!

И так далее, но глуше.

Розенкранц. Выходит, плывем. (*Пауза.*) Темновато, а?
Гильденстерн. Но не как ночью.

Розенкранц. Да, не как ночью.

Гильденстерн. Темно, как днем.

Пауза.

Розенкранц. Ага, для дня темновато.

Гильденстерн. Должно быть, дело в курсе. Они держат на север.

Розенкранц. Не в курсе.

Гильденстерн. Полярная ночь. Когда солнце за полночь.

Розенкранц. А-а...

Голоса команды.

В глубине сцены вспыхивает фонарь: там Гамлет.

Сцена освещена неравномерно.

Можно различить Розенкранца и Гильденстерна, сидящих на авансцене; позади них — контуры парусов, снастей и так далее.

Кажется, светлеет.

Гильденстерн. Для ночи — не слишком.

Розенкранц. Это же полярная ночь.

Гильденстерн. Н-да Если не сбились с курса.

Розенкранц (*небольшая пауза*). Н-да.

Светлеет — не то фонарь, не то луна... Совсем светло. Становится видно, что на палубе помимо прочих предметов стоят три большие, в человеческий рост, бочки с крышками; они стоят в линию, но на некотором расстоянии друг от друга. Сзади — и чуть выше — воткнутый в пол большой, диаметром примерно в два метра, полосатый зонт; что за ним — не видно. Глубина сцены все еще погружена в сумрак. Розенкранц и Гильденстерн все еще лицом к публике.

А все же светлей, чем было. Стало быть, скоро ночь. Этот дальний север... (*Грустно.*) Я так полагаю, надо спать. (*Зевает и потягивается.*)

Гильденстерн. Устал?

Розенкранц. Да нет... но мне, наверно, трудно будет привыкнуть к этому. Целую ночь спать, целый день ничего не видеть... Спокойная жизнь у этих эскимосов.

Гильденстерн. У кого?

Розенкранц. Что?

Гильденстерн. Мне показалось... (*Прерывает себя.*) Кажется, я верю уже всему. Я уже не способен даже на элементарный скептицизм.

Пауза.

Розенкранц. Не размять ли нам ноги?

Гильденстерн. Нет, неохота мне их разминать.

Розенкранц. Хочешь, я их тебе разомну?

Гильденстерн. Нет.

Розенкранц. Мы б могли размять их друг другу. И не нужно было бы никуда ходить.

Гильденстерн (*пауза*). Да, сами бы пришли.

Розенкранц. Сюда?

Гильденстерн. Сюда — откуда-нибудь.

Розенкранц. Куда-нибудь сюда. Оттуда.

Гильденстерн. На палубу.

Розенкранц разглядывает палубу. Хлопает по ней ладонью.

Розенкранц. Хорошая клепка, а?

Гильденстерн. Да, я тоже люблю корабли. Мне нравится, как тут все устроено. На корабле человек может не беспокоиться, в какую сторону ему пойти или не пойти вообще — проблемы не возникает, потому что ты все равно *на судне,* а? Идеальное место для игры в пятнашки... Я думаю, я всю жизнь мог бы провести на судне.

Розенкранц. Очень здóрово.

Розенкранц делает вдох — с удовольствием — и выдох — уже со скукой.
Гильденстерн встает и смотрит в зал поверх голов публики.

Гильденстерн. На корабле человек свободен. Временно. Относительно.

Розенкранц. Ну, а как оно?

Гильденстерн. Бурное.

Розенкранц тоже встает и присоединяется к Гильденстерну. Оба стоят и смотрят в публику поверх голов.

Розенкранц. Кажется, меня уже мутит.

Гильденстерн слюнит палец и поднимает его.

Гильденстерн. С той стороны вроде бы.

Розенкранц идет в глубину сцены. Было бы хорошо, если бы с авансцены туда — как с нижней палубы на верхнюю — вело несколько ступенек. Зонт находится на верхней палубе. Розенкранц останавливается около зонта и заглядывает за него. Гильденстерн тем временем, глядя в зал, развивает свою тему.

Свобода передвижения, слова, импровизации — и все же... И все же тюрьма. Ибо границы этой свободы определены неподвижной звездой, и все наше перемещение — лишь небольшое изменение угла по отношению к ней; мы, конечно, можем ловить момент, наслаждаться на все сто, шнырять туда-сюда, но как бы мы ни вертелись, круг замыкается, и оказываешься лицом к лицу с тем неизменным обстоятельством, что мы, Розенкранц и Гильденстерн, снабженные письмом от одного короля к другому, просто-напросто доставляем Гамлета в Англию.

В это время Розенкранц с многозначительной миной, стиснув зубы, как если бы обладал большой тайной, на цыпочках приближается к Гильденстерну, украдкой озирается и — свистящим шепотом:

Розенкранц. Слушай, он — там.

Гильденстерн (*без удивления*). Что поделывает?

Розенкранц. Спит.

Гильденстерн. Это ему полезно.

Розенкранц. Что?

Гильденстерн. Что может спать.

Розенкранц. Да, полезно.

Гильденстерн. Мы теперь с ним.

Розенкранц. Может спать спокойно.

Гильденстерн. Все равно для него все кончено.

Розенкранц. И мы с ним.

Гильденстерн. А с нами — никого. (*Кричит.*) Хотел бы знать, что делаем мы здесь!

Розенкранц. Для гибнущих в пучине грозных вод...

Гильденстерн. Насущный лозунг подыщи нам днесь.

Глухой стук: они садятся. Длинная пауза.

Розенкранц (*шевелится, оглядывается*). Ну, что теперь?

Гильденстерн. Ты о чем?

Розенкранц. Ну как— ничего же не происходит.

Гильденстерн. Мы плывем.

Розенкранц. Знаю.

Гильденстерн (*сердито*). Ну так чего тебе еще? (*Печально.*) Никакой информации. Одни огрызки... и мы еще должны анализировать эти приказания. Которые мы едва помним. Которые ничем не отличаются от инстинкта...

Розенкранц сует одну руку в кошелек; вытаскивает монету и заводит обе руки за спину, потом протягивает Гильденстерну два кулака.

Гильденстерн хлопает по одному из них.

Розенкранц разжимает ладонь, там — монета. Отдает ее Гильденстерну.

Процесс повторяется. Процесс повторяется.

Процесс повторяется.

Гильденстерн начинает нервничать. Он уже хочет проиграть.

Процесс повторяется.

Гильденстерн разжимает один кулак Розенкранца; потом, сообразив,— второй. Выясняется, что в обеих ладонях было по монете. Розенкранц смущен.

У тебя по монете в каждой?!

Розенкранц (*смущенно*). Да.

Гильденстерн. Каждый раз?!

Розенкранц. Угу.

Гильденстерн. Какой же в этом смысл?

Розенкранц *(с чувством, проникновенно)*. Я — хотел сделать тебе приятное.

Слышен глухой стук.

Гильденстерн. Сколько он тебе дал?

Розенкранц. Кто?

Гильденстерн. Король. Он же подкинул нам малость.

Розенкранц. А сколько тебе?

Гильденстерн. Я первый спросил.

Розенкранц. Столько же, сколько тебе.

Гильденстерн. Он не хотел оказывать предпочтения.

Розенкранц. Сколько он тебе дал?

Гильденстерн. Столько же.

Розенкранц. Откуда ты знаешь?

Гильденстерн. Ты сам только что сказал — откуда *ты* знал?

Розенкранц. Он не хотел оказывать предпочтения.

Гильденстерн. Даже если бы мог.

Розенкранц. Чего, конечно, не мог.

Гильденстерн. Он даже не был уверен, не путает ли нас.

Розенкранц. Не путая нас.

Гильденстерн *(оборачиваясь к нему, яростно)*. Почему ты не можешь сказать ничего оригинального, своего?! Неудивительно, что топчемся на месте. От тебя никакого проку — только повторяешь на разные голоса.

Розенкранц. Мне ничего не приходит в голову оригинального. Но я хорошая поддержка.

Гильденстерн. Устал я все время выкладываться.

Розенкранц *(покорно)*. У тебя сильная индивидуальность. *(Почти плача.)* О, что с нами будет!

Гильденстерн утешает его; вся его жесткость улетучивается.

Гильденстерн. Не плачь... все будет в порядке... ну же, ну... говорю тебе, все будет в порядке. Я постараюсь.

Розенкранц. Но мы же ничего не можем поделать, мы же брошены на произвол судьбы!

Гильденстерн. Мы плывем в Англию, мы везем туда Гамлета.

Розенкранц. Зачем?

Гильденстерн. Зачем? Где же ты был?

Розенкранц. Когда? *(Пауза.)* Мы же не знаем, что делать, когда высадимся.

Гильденстерн. Отведем его к королю.

Розенкранц. И *он* там будет?

Гильденстерн. Да нет же —— к английскому королю.

Розенкранц. Он нас ждет?

Гильденстерн. Нет.

Розенкранц. Он же не поймет, чего ради мы явились. Что мы ему скажем?

Гильденстерн. Мы отдадим ему письмо. Ты помнишь про письмо?

Розенкранц. Я?

Гильденстерн. В письме все объяснено. Надо полагать.

Розенкранц. И это все, да?

Гильденстерн. Что?

Розенкранц. Мы доставляем Гамлета к английскому королю, вручаем ему письмо, и — что дальше?

Гильденстерн. Может быть, в письме что-нибудь насчет нас; тогда есть будущее.

Розенкранц. А если нет?

Гильденстерн. Трудно сказать — тогда все.

Розенкранц. То есть неопределенность?

Гильденстерн. Да.

Пауза.

Розенкранц. Неужто есть надежда на неопределенность? (*Пауза.*) А кто теперь король Англии?

Гильденстерн. Зависит от того, когда мы туда доберемся.

Розенкранц. А что, ты думаешь — в письме?

Гильденстерн. Ну... заверения в лояльности. Просьба о благосклонности. Напоминание об обязательствах. Смутные обещания. Уравновешенные неясными угрозами... Дипломатия. Приветы членам фамилии.

Розенкранц. И о Гамлете?

Гильденстерн. Да, конечно.

Розенкранц. И о нас — со всеми подробностями?

Гильденстерн. Разумеется.

Пауза.

Розенкранц. Значит, мы имеем письмо, которое все объясняет.

Гильденстерн. Да, оно у тебя.

Розенкранц понимает эти слова буквально. Он начинает шарить по карманам и т. д. В чем дело?

Розенкранц. Письмо.

Гильденстерн. Оно у тебя?

Розенкранц (*нарастающий ужас*). У меня? (*Лихорадочно ищет.*) Куда я его мог засунуть?

Гильденстерн. Не мог же ты его потерять.

Розенкранц. Я должен его найти!

Гильденстерн. Странно, я думал, он дал его мне.

Розенкранц смотрит на него с надеждой.

Розенкранц. Да, наверно.

Гильденстерн. Но у тебя такой вид, будто ты уверен, что получил его ты.

Розенкранц (*вопль*). Я и уверен!

Гильденстерн. Но если он дал его мне, то нет никаких оснований, чтобы оно оказалось у тебя, в связи с чем я не понимаю, из-за чего весь этот крик, что у тебя его нет?

Розенкранц (*пауза*). Похоже, я что-то напутал.

Гильденстерн. Во всем этом все меньше и меньше порядка... Корабль, ночь, чувство изоляции и неуверенности... все это способствует потере сосредоточенности. Мы должны владеть ситуацией. Нужно собраться. Итак. Либо ты потерял письмо, либо его у тебя не было, чтоб потерять, вследствие того, что король никогда его тебе не давал, из чего следует, что он дал его мне, из чего следует, что я положил его в мой внутренний нагрудный карман, из чего следует (*медленно извлекая письмо*)... что оно находится... здесь. (*Они улыбаются друг другу.*) Мы не должны так распускаться.

Пауза. Розенкранц берет у него письмо.

Розенкранц. Теперь, раз уж мы его нашли,— почему мы его искали?

Гильденстерн (*размышляя*). Мы думали, что его потеряли.

Розенкранц. Больше ничего?

Гильденстерн. Нет.

Пауза.

Розенкранц. Ну вот, напряжение спало.

Гильденстерн. Какое напряжение?

Розенкранц. О чем последнем я говорил, а потом мы отклонились?

Гильденстерн. Это когда?

Розенкранц (*беспомощно*). Я не помню.

Гильденстерн (*вскакивая*). Что за бессмыслица! Так мы ничего не достигнем.

Розенкранц (*понуро*). Даже Англии. И вообще я в это не верю.

Гильденстерн. Во что?

Розенкранц. В Англию.

Гильденстерн. Считаешь, что все это штучки картографов? Ты это имеешь в виду?

Розенкранц. Я имею в виду, что не верю. (*Спокойней.*) Я ее не представляю. Пытаюсь вообразить — наше прибытие — какой-нибудь там небольшой порт — дороги — жителей, объясняющих, как проехать — лошадей на дороге... и мы скачем весь день и всю ночь, и потом дворец и английский король... так это было бы, если по-нормальному — но ничего не выходит — в моем сознании пустота... Мы соскальзываем с карты.

Гильденстерн. Да... да... (*Собираясь с мыслями.*) Но ты никогда ничему не веришь, пока оно не случается. А ведь уже столько случилось. Нет, что ли?

Розенкранц. Мы тонем во времени, хватаясь за соломинки. И что хорошего в кирпиче для утопающего?

Гильденстерн. Ну-ну, не заводись, осталось уже недолго.

Розенкранц. Лучше б уж просто смерть... Может, по-твоему, смерть быть кораблем?

Гильденстерн. Нет, нет, нет... Смерть — это... нет. Пойми. Смерть — это последнее отрицание. Небытие. Ты же не можешь *не быть* на корабле.

Розенкранц. Мне не часто случалось быть на корабле.

Гильденстерн. Да нет, если что тебе часто и случалось, так это быть не на корабле.

Розенкранц. Лучше б я уже умер. (*Прикидывает высоту.*) Могу прыгнуть за борт. Суну им в колесо палку.

Гильденстерн. Похоже, они рассчитывают на это.

Розенкранц. Тогда остаюсь. Что тоже палка. В ихнее колесо. (*Мечется в бессильной ярости.*) Отлично, отлично. Ни о чем не спрашиваем, ни в чем не сомневаемся. Исполняем, и все. Но где-то должен быть предел, и мне бы хотелось, чтоб в протоколе было отмечено, что я не верю в Англию. Благодарю вас. (*Задумывается.*) А если она даже и существует, все равно выйдет только еще одна бессмыслица.

Гильденстерн. Не понимаю, почему?

Розенкранц (*яростно*). Он же не поймет, о чем мы толкуем! Что мы ему скажем?

Гильденстерн. Мы скажем: ваше величество, мы прибыли.

Розенкранц (*царственно*). Кто вы такие?

Гильденстерн. Мы — Розенкранц и Гильденстерн.

Розенкранц (*рявкает*). Впервые слышу ваши имена.

Гильденстерн. Да, мы люди маленькие ——

Розенкранц (*царственно и брезгливо*). Что привело вас?

Гильденстерн. Полученные нами указанья ——

Розенкранц. Впервые слышу ——

Гильденстерн (*гневно*). Не перебивай! (*Покорно.*) Мы прибыли из Дании.

Розенкранц. Что вам угодно?

Гильденстерн. Ничего — мы доставляем Гамлета ——

Розенкранц. Это кто?

Гильденстерн (*раздраженно*). Вы слышали о нем ——

Розенкранц. О, я слышал о нем достаточно и не желаю с этим связываться.

Гильденстерн. Но ——

Розенкранц. Заваливаетесь сюда, как в свой кабак, и ожи-

даете, что я приму любого сумасшедшего, от которого вы хотите избавиться из-за кучи непроверенных ——

Гильденстерн. У нас письмо ——

Розенкранц вырывает у него письмо и вскрывает его.

Розенкранц (*деловито*). Так... понятно... понятно... Что ж, это, пожалуй, подтверждает вашу версию — распоряжение короля Дании — по разным соображениям —— заботясь о благополучии Дании и Англии тоже —— по прочтении данного письма, не откладывая —— я должен отрубить Гамлету голову ——

Гильденстерн вырывает у него письмо, Розенкранц вырывает у него письмо обратно. Гильденстерн отпускает только половину письма. Они читают его одновременно, потом расходятся.

Пауза.

Они оба стоят на просцениуме, лицом к залу.

Солнце садится. Скоро стемнеет.

Гильденстерн. Ты так думаешь?

Розенкранц. Просто, чтоб что-нибудь сказать. (*Пауза.*) Мы же его *друзья*.

Гильденстерн. С чего ты взял?

Розенкранц. Мы провели с ним молодые годы.

Гильденстерн. Это они так говорят.

Розенкранц. Но мы от этого зависим.

Гильденстерн. Конечно, да; но вообще нет. (*С легкостью.*) Рассмотрим все здраво. Примем, если тебе угодно, что они собираются его убить. Что же, он человек, он смертен, смерть приходит ко всем и т. д., и, следовательно, он в любом случае умрет, раньше или позже. Или — если взглянуть на это дело с социальной точки зрения — он просто человек среди людей, один из многих, и потеря будет в пределах разумного и естественного. И опять же — что такого ужасного в смерти? Как философски заметил Сократ: если мы ничего не знаем о смерти, нелогично ее бояться. Возможно, что это даже... славно. Во всяком случае, избавляешься от бремени жизни, а для праведника — это небеса и награда. Или взглянуть с другой стороны — мы люди маленькие, всех обстоятельств не знаем, это колесики внутри колесиков, и так далее — и с нашей стороны было бы просто большим нахальством вмешиваться в замыслы судьбы или даже королей. В конце концов, лучшее, что можно нам посоветовать, это оставить все как было. Запечатаем письмо — вот так аккуратно — и все. Сломанная печать будет незаметна, если делать это умеючи.

Розенкранц. Но к чему это все?

Гильденстерн. Логика тут ни при чем.

Розенкранц. Он же ничего нам не сделал.

Гильденстерн. Справедливость тоже.

Розенкранц. Это ужасно.

Гильденстерн. Могло быть хуже. Я уже было стал опасаться. (*Облегченно смеется.*)

На заднем плане из-за зонта появляется Гамлет. Освещение понемногу слабеет. Гамлет направляется к фонарю.

Розенкранц. Ситуация, как я понимаю, следующая. Мы, Розенкранц и Гильденстерн, знакомые с ним от молодых ногтей, были разбужены человеком в седле, вызваны и прибыли, получили инструкцию выяснить, что с ним стряслось, и доставить кой-какие развлечения, вроде пьески, которая была прервана в некотором беспорядке, из-за каких-то там нюансов, которые нам непонятны, что произвело в конечном счете сильное — чтоб не сказать *убийственное* — впечатление на Гамлета, которого мы, в свою очередь, сопровождаем теперь в Англию. Для его же пользы. Так. Теперь все на своих местах.

В глубине сцены Гамлет гасит фонарь. Сцена погружается в темноту. Темнота озаряется лунным светом, в луче которого Гамлет приближается к спящим Розенкранцу и Гиль-

денстерну. Он извлекает у них письмо и удаляется с ним за зонт. Снова вспыхивает фонарь, его свет проникает сквозь ткань зонта. Гамлет возвращается с письмом к спящим, кладет его на место; потом удаляется к себе и гасит фонарь.

Наступает утро.

Розенкранц ожидает восхода, лицом к залу. За спиной у него — забавное зрелище: под раскрытым зонтом, удобно расположившись в кресле, покрытый пледом, читая книгу и, возможно, куря, сидит Гамлет.

Розенкранц наблюдает, как наступает утро, превращающееся постепенно в яркий полдень.

Предполагать я ничего не предполагаю. (*Встает. Гильденстерн просыпается.*) Но ситуация, как я понимаю, следующая. Там — запад, если только мы не сбились с курса, в каковом случае сейчас — ночь; король дал мне столько же, сколько тебе, король дал тебе столько же, сколько мне; король не давал письма мне, король дал письмо тебе; что в письме, мы не знаем; мы везем Гамлета к английскому королю, неизвестно которому, и узнаем это, только когда доберемся; передаем ему письмо, которое содержит или не содержит что-либо относительно нашего будущего, и если нет, то тогда — все, и перед нами полная неопределенность, если только там существует неопределенность. И еще — все могло бы быть и хуже. В общем, мы использовали все возможности... Притом — без всякой поддержки извне. (*Ложится снова; оба лежат на животах.*) Вот перестанем дышать и нас не будет.

Слышен приглушенный звук флейты. Оба садятся; повышенный интерес.

Гильденстерн. Так, начинается.

Розенкранц. Да, но что именно?

Они слушают музыку.

Гильденстерн (*возбужденно*). Среди этой пустыни и — наконец — звук! Пока ты на судне (предположим) и пока ты в бездействии (предположим) — эту полную и абсолютную тишину нарушают только ленивые мокрые шлепки воды да скрип шпангоута. Что позволяет думать, верней, предположить, верней, надеяться, что хоть что-нибудь да произойдет. И вот — флейта. Какой-то морячок приложил свои губы к деревянной свистульке и перебирает пальцами эти — как их — клапаны, куда поступает воздух, и из его уст возникает, посредством флейты, так сказать, весьма красноречивая музыка. Подобная вещь способна изменить весь ход событий! (*Пауза.*) Ступай посмотри, в чем дело.

Розенкранц. Кто-то играет на флейте.

Гильденстерн. Сходи и посмотри, в чем дело.

Розенкранц. И что потом?

Гильденстерн. Не знаю — пусть сыграет что-нибудь.

Розенкранц. Зачем?

Гильденстерн. Быстро! — пока не пропал импульс.

Розенкранц. Зачем! — что-то происходит. Я этого почти не заметил.

Он прислушивается, делает шаг в сторону выхода. Замирает. Прислушивается более внимательно; меняет направление.

Гильденстерн не обращает на него внимания.

Розенкранц озирается, пытаясь понять, откуда доносится музыка. Наконец он направляется — почти невольно — к средней бочке. Останавливается. Оборачивается к Гильденстерну, но тот не реагирует. Во время всей этой сцены Розенкранц не произносит ни слова, но его лицо и руки выражают недоверие. Он стоит около средней бочки и смотрит на нее. Внутри нее продолжается музыка. Он пинает бочку ногой. Флейта умолкает. Он направляется к Гильденстерну. Флейта начинает снова. Он на цыпочках возвращается к бочке. Поднимает крышку. Музыка звучит громче. Опускает крышку. Музыка звучит тише. Он идет назад к Гильденстерну. Но в этот момент — приглушенно — начинает звучать барабан. Розенкранц замирает. Оборачивается. Изучает взглядом левую бочку. Барабан продолжает как бы аккомпанировать флейте. Он подходит к Гильденстерну. Открывает рот, чтобы заговорить. Не делает этого. Вступает лютня. Он оборачивается лицом к третьей бочке. Вступают другие инструменты. В конце концов становится очевидным, что в этих трех бочках разместились со своими инструментами играющие ту мелодию, которую они до этого в спектакле уже трижды исполняли, актеры.

Музыка продолжается.

Розенкранц садится рядом с Гильденстерном; оба смотрят в зал.

Мелодия подходит к концу.
Пауза.

По-моему, это целый оркестр. (*С тоской.*) Ужасна смесь зерна с половой...

Гильденстерн. О даждь нам днесь мотивчик новый.

Крышка средней бочки откидывается, из нее показывается голова 1-го актера.

Актер. Ага! Все в одном корыте! (*Вылезает, обходит все бочки, стуча по крышкам.*) На выход! На выход!

Невероятно, но все актеры вылезают из бочек, со своими инструментами, только без тележки; несколько узлов. Не хватает только Альфреда. 1-й актер доволен. Обращаясь к Розенкранцу:

Где это мы?

Розенкранц. В плавании.

Актер. То есть, мы еще не приехали.

Розенкранц. Ну-с, готовы ли мы для Англии?

Актер. Что до меня, то все в порядке. Вряд ли они там в Англии слишком требовательны. А-а-альфред!

Из бочки 1-го актера вылезает Альфред.
Актеры все еще в костюмах пантомимы: король с королевой, Альфред — королева, отравитель и две фигуры в плащах.

Гильденстерн. Что вы здесь делаете?

Актер. Путешествуем. (*К актерам.*) Отлично — а теперь отойдите на задний план.

Актеры отходят немного в глубь сцены.

(*К Гильденстерну.*) Рады нас видеть? (*Пауза*). Пока что вы выбрались из этой истории отлично.

Гильденстерн. А вы?

Актер. Впали в немилость. Пьеса оскорбила короля.

Гильденстерн. Да.

Актер. Естественно, он сам второй муж. Конечно, бестактность.

Розенкранц. Пьеса, во всяком случае, была неплохая.

Актер. А! Нам же не дали ничего сделать. Прервали, когда действительно становилось интересно. (*Смотрит в сторону Гамлета.*) Вот как нужно путешествовать...

Гильденстерн. Что вы там делали?

Актер. Прятались. (*Указывает на костюмы*). Примчались сюда в чем были.

Розенкранц. Безбилетники.

Актер. Естественно — нам не заплатили. По слегка не зависящим от нас обстоятельствам. Жизнь — игра азартная, с ничтожными шансами. Будь она пари, никто б не принял. Вы знали, что каждое число, помноженное на два, дает четное?

Гильденстерн. Неужели?

Актер. Век живи, век учись. На собственной шкуре. Но мы, актеры, мы учимся и учимся. Знаете, что происходит со старым актером?

Гильденстерн. Нет. Что?

Актер. Ничего. Продолжает паясничать. Странно, а?

Гильденстерн. Что?

Актер. Видеть нас.

Гильденстерн. Я знал, что это не конец.

Актер. Живых и здоровых. Что вы об этом всем теперь думаете?

Гильденстерн. Мы не слишком в курсе.

Актер. Потолкуйте с ним.

Розенкранц. Это можно.

Гильденстерн. Но бесполезно.

Розенкранц. Хотя возможно.

Гильденстерн. Но ничего не даст.

Розенкранц. Однако не запрещено.

Гильденстерн. Конечно. Мы не в тюрьме. Никаких ограничений не установлено, никаких запретов. Мы — пока что — обеспечили — или обрекли себя на — известную независимость — пока что. Случайности, каприз — в порядке вещей. Другие колеса, конечно, крутятся, но нас это не касается. Мы можем дышать. Можем отдыхать. Можем делать и говорить что хотим и кому хотим, без ограничений.

Розенкранц. Конечно, в известных пределах.

Гильденстерн. Именно в известных.

Гамлет подходит к рампе и смотрит в публику. Остальные молча за ним наблюдают. Гамлет громко отхаркивается и плюет в зал. Секундой позже он подносит руки к глазам и, протирая их, уходит в глубь сцены.

Розенкранц. Потребность в философской интроспекции — его, можно сказать, главная черта. Что не значит, что он безумен. И не значит, что нет. Чаще всего это вообще ничего не значит. Что может быть и не быть разновидностью безумия.

Гильденстерн. На самом деле все дело в симптомах. Многозначительные реплики, мистические аллюзии, перепутанные имена, старания уверить нас, что его отец — это его мать, и тому подобное; отказ от телесных удовольствий, намеки на самоубийство, потеря веселости, боязнь замкнутого пространства, чтоб не сказать — тюрьмы, упоминание верблюдов, хамелеонов, каплунов, китов, ласок, ястребов и цапель — загадки, каламбуры, отговорки; потеря памяти, паранойя, близорукость; миражи, галлюцинации; наскакивание с ножом на стариков, оскорбление родителей, презрение к возлюбленной; появление на людях без шляпы, дрожащие колени, спущенные чулки, вздохи, как у мучимого любовной лихорадкой школьника — что в его возрасте уже немного чересчур.

Розенкранц. И разговаривает сам с собой.

Гильденстерн. И разговаривает сам с собой.

Розенкранц и Гильденстерн вместе отходят в сторону.

Н-да, и чем все это кончится для нас?

Розенкранц. Этот актер...

Гильденстерн. Его пьеса рассердила короля ——

Розенкранц.— рассердила короля——

Гольденстерн.— который приказал его арестовать ——

Розенкранц.—приказал арестовать ——

Гильденстерн.— и он бежит в Англию——

Розенкранц. На корабле, где встречает ——

Гильденстерн. Гильденстерна и Розенкранца, везущих Гамлета ——

Розенкранц.— который тоже рассердил короля——

Гильденстерн.— и заколол Полония ——

Розенкранц.— рассердил Короля разными выходками ——

Гильденстерн.— в Англию. (*Пауза.*) Так это выглядит.

Розенкранц (*взрываясь*). Случайность! Все, что мы делаем, случайность! Боже мой, да неужто мы не имеем права на хоть сколько-нибудь логический ход вещей?!

В момент произнесения этих слов на корабль нападают пираты. Шум, беготня, вопли: «Пираты!»

Все мечутся в замешательстве. Гамлет выхватывает меч и бросается к рампе. Розенкранц, Гильденстерн и актер выхватывают мечи и бросаются в глубь сцены. На полпути сталкиваются. Гамлет снова кидается, на этот раз в глубь сцены; Розенкранц и Гильденстерн — к рампе. Опять сталкиваются. В это время — большая перепалка и крики справа в глубине сцены. Все четверо — Гамлет, Розенкранц, Гильденстерн, актер — устремляются в глубь сцены, восклицая:

Бей их!
К оружию!
Пираты!
Сюда!
На помощь!
Получай!
Бей их!

Все четверо взбегают наверх, видят нечто, что им не нравится; останавливаются в замешательстве; потом бросаются назад к авансцене, спасаясь.

Впереди — Гамлет, он прыгает в бочку, что слева. Актер забирается в бочку, что справа, Розенкранц и Гильденстерн влезают в среднюю. Все крышки опускаются.

Свет начинает меркнуть, пока слышится шум сражения.

Шум затихает.

Светлеет.

Средней бочки — с Розенкранцем и Гильденстерном — не видно.

Крышка правой бочки поднимается; высовываются головы Розенкранца и Гильденстерна.

Крышка другой бочки — Гамлета — поднимается; высовывается голова актера.

Все видят друг друга и тотчас опускают крышки.

Пауза.

Крышки медленно поднимаются.

Розенкранц (*с облегчением*). Ушли. (*Начинает вылезать.*) Чуть не задело. Никогда не соображал быстрее.

Все трое вылезают из бочек: Гильденстерн насторожен и нервничает; Розенкранц настроен легкомысленно, актер — флегматично. Замечают отсутствие одной из бочек.

(*Озираясь.*) А где ——?

Актер как бы в знак скорби снимает шляпу.

Актер. Опять одни — остается рассчитывать лишь на самих себя.

Гильденстерн (*обеспокоенно*). Что ты имеешь в виду? Где он?

Актер. Испарился.

Гильденстерн. Куда?

Актер. Можно сказать, убийственно повезло. Если это то слово.

Розенкранц (*недоуменно*). Убийственно?

Актер. Повезло.

Розенкранц (*размышляя*). Он что, убит?

Актер. Кто знает?

Гильденстерн (*встревоженно*). Он не вернется?

Актер. Вряд ли.

Розенкранц. Значит, он мертв. Для нас, во всяком случае.

Актер. Или мы для него. (*Отходит и садится на пол сбоку.*) Не так уж плохо, а?

Гильденстерн. Но он не имел права — Мы должны — У нас письмо — Мы едем в Англию — Письмо для короля ——

Актер. Да, ну что ж, поздравляю вас с прояснившейся обстановкой.

Гильденстерн. Но ты не понимаешь — оно содержит — у нас были инструкции — Без него все бессмысленно!

Актер. Пираты могут напасть на каждого. Просто доставьте письмо. Они пошлют послов из Англии, и те объяснят...

Гильденстерн (*возбужденно, свое*). Да нет же, нет же — ты не понял — пираты — все пропало — все пошло прахом — теперь мы нигде — мы дали маху — это полный прах — то есть крах — а-а-а-а!

Актер (*успокоительно*). Ну, ну...

Гильденстерн (*почти плача*). Без него же ничто не может быть решено...

Актер. Ну...

Гильденстерн. Нас без него не отпустят!

Актер. Ну, ну...

Гильденстерн. Что же нам теперь делать?

Актер. Это. (*Поворачивается на бок и удобно растягивается.*)

Розенкранц и Гильденстерн стоят неподвижно.

Розенкранц. Опять отсрочка.

Гильденстерн. Отсрочка — чего?

Розенкранц вздыхает.

Розенкранц. Солнце садится. (*Пауза.*) Скоро ночь. (*Пауза.*) Если там запад. (*Пауза.*) Хотя, с другой стороны...

Гильденстерн (*кричит*). Заткнись! Я с ума сойду от этого! Ты что, думаешь, болтовня сейчас поможет?

Розенкранц (*обиженно, примирительно*). Я — я ставлю все

свои деньги, что год моего рождения, помноженный на два, дает нечетное число.

Гильденстерн (*стонет*). Не-е-ет.

Розенкранц. Или твой год.

Гильденстерн сбивает его с ног.

Гильденстерн (*сломлен*). Мы заехали слишком далеко. Теперь только сила инерции управляет нами; и мы просто дрейфуем в сторону вечности, не рассчитывая ни на отсрочку, ни на объяснение.

Розенкранц. Будь доволен — стоит ли выживать, если не можешь быть просто довольным? (*Поднимается.*) Все будет в порядке. Просто продолжаем плыть, и все.

Гильденстерн. Плыть — куда?

Розенкранц. В Англию.

Гильденстерн. Англия! Это же тупик. И вообще я никогда в нее не верил.

Розенкранц. Мы должны только вручить письмо, и все. Точка.

Гильденстерн. Я не верю — берег, гавань—как ты себе это представляешь? Что, сходим на берег, хватаем кого-то за рукав, спрашиваем: где король? А он говорит: сначала прямо, а потом налево? (*Яростно.*) Я не верю в это!

Розенкранц. М-да, звучит не слишком правдоподобно.

Гильденстерн. И даже столкнись мы с ним нос к носу, что мы ему скажем?

Розенкранц. Мы скажем — Мы прибыли.

Гильденстерн (*царственно*). Кто вы такие?

Розенкранц. Мы — Гильденстерн и Розенкранц.

Гильденстерн. Который который?

Розенкранц. Гм, я это — Ты это ——

Гильденстерн. Что привело вас?

Розенкранц. А, мы сопровождали Гамлета — но тут шайка пиратов ——

Гильденстерн. Я никак не пойму. Кто эти люди и что им от меня нужно? Являетесь неизвестно откуда со своими идиотскими историями ——

Розенкранц (*с письмом*). У нас письмо ——

Гильденстерн (*хватает письмо, вскрывает*). Письмо — да — это правда, это уже что-то... (*Читает.*) «Коль Англия желает предоставить свидетельство датчанам верной дружбы... чтобы любовь меж ними процветала как пальма... и так далее... мы просим, не медля даже сотой доли секунды по прочтении письма, подателей его вам — Розенкранца и Гильденстерна — тотчас обезглавить».

Сцена повторяется. Розенкранц вырывает у него письмо, Гильденстерн вырывает письмо у Розенкранца; они прочитывают и переглядываются.

Актер (*встает, подходит к бочке, пинает ее ногой и кричит*). Они ушли. Вылезай!

Невероятно, но актеры, один за другим, вылезают из бочки и как бы случайно создают угрожающее кольцо вокруг Розенкранца и Гильденстерна, которые все еще испуганы и в замешательстве.

Гильденстерн (*спокойным тоном*). Где была ошибка, так это когда мы сели на корабль. Конечно, здесь можно передвигаться, менять направление, крутиться на месте; но все это не влияет на ту главную силу, которая неотвратимо, как ветер или течение, несет нас...

Розенкранц. Они охотились за нами, а? С самого начала. Кто бы мог подумать, что мы такие важные птицы?

Гильденстерн. Но почему? Неужто все только ради этого? Неужто весь этот балаган сводится только к двум нашим маленьким смертям? (*С тоской.*) Кто мы такие?

Актер. Вы Розенкранц и Гильденстерн. Этого достаточно.

Гильденстерн. Нет — этого недостаточно. Не иметь никакой

информации — и такой конец — и даже сейчас не получить объяснения...

Актер. Ну, наш опыт подсказывает, что большинство вещей кончается смертью.

Гильденстерн (*страх, мстительность, презрение*). Ваш опыт — актеров!

Он выхватывает стилет из-за пояса актера и приставляет его концом к горлу актера; актер пятится, Гильденстерн наступает, говоря более спокойно:

Я говорю о смерти — а этого опыта у вас нет — и этого не сыграешь. Вы умираете тысячью случайных смертей — но в них нет той вытесняющей жизнь силы — и ничья кровь не стынет. Потому что, даже умирая, вы знаете, что вернетесь, только переменив шляпу. Но никто не приходит после *смерти* — и никаких аплодисментов — только тишина и поношенные вещи — и это — *смерть* ——

И он всаживает стилет по рукоятку в горло актеру. Актер стоит с выпученными от ужаса глазами, хватается за рану, после того как стилет оттуда вытащен; издает слабый стон, падает на колени, потом вытягивается.
Пока это происходит, Гильденстерн — взвинченный, почти в истерике — круто оборачивается к остальным актерам:

Если нам что на роду написано — то и ему тоже — и если именно это наша судьба, то она и его судьба — и если нет никакого объяснения для нас, то и для него его не будет ——

Актеры наблюдают за тем, как 1-й актер умирает,— делают они это с некоторым интересом. Наконец, 1-й актер замирает, вытянувшись. Некоторое время — тишина. Потом актеры начинают аплодировать с большим восхищением. 1-й актер встает, отряхивается.

Актер (*скромно*). О, довольно, господа, довольно — не льстите мне,— это было вполне заурядно ——

Актеры продолжают его поздравлять. Он приближается к Гильденстерну, который стоит как вкопанный со стилетом в руке.

А вы как думали? (*Пауза.*) Видите — вот то, во что они и верят,— и то, чего ждут.

Он подставляет руку под стилет Гильденстерна. Гильденстерн медленно нажимает концом лезвия на его ладонь, и... лезвие уходит в рукоятку; актер улыбается и прячет стилет.

На минуту вам показалось, что я — смошенничал.

Розенкранц смеется нервным смехом, освобождаясь от напряжения.

Розенкранц. О, замечательно! Замечательно! Я полностью поверил, полностью — а ты? Ты тоже? (*Аплодирует.*) Браво! Браво! Бис! Бис!

Актер (*воодушевляется, раскидывает руки, профессиональным голосом зазывалы*). Смерть всех времен и видов! Через повешение, от ран, под пытками, от удушения и голода! Отчаянная резня, мечи и яды! Двойная смерть — на дуэли! Начали!

Альфред, все еще в костюме королевы, умирает от яда. 1-й актер закалывает рапирой короля и сражается с четырьмя коллегами. Двое других — шпионы — в той же одежде, что Розенкранц и Гильденстерн, умирают, как во втором действии.
Свет понемногу меркнет, погружая убитых — в правом углу сцены — в темноту.

(*Умирая среди других умирающих, трагично, романтично.*) И так все кончается — банальностью: свет светит, пока есть жизнь; но когда приходит зима твоих дней, темнеет рано.

Гильденстерн (*измученный, опустошенный, но — нетерпеливо, жестикулируя*). Нет, нет... это не для нас, это не так. Умирание не романтично, и смерть — это не игра, которая скоро кончится... Смерть — это не то что... Смерть — это не... Это отсутствие присутствия... ничего больше... бесконечное время, в течение которого... нельзя вернуться... это дверь в пустоту... которой не видишь... и когда там поднимается ветер, он не производит шума...

Глубина сцены окончательно погружается в темноту. Видны только Гильденстерн и Розенкранц, который нерешительно хлопает — в тишине.

Небольшая пауза.

Розенкранц. Значит, все, видимо. А?

Ответа не следует. Он оборачивается и смотрит в зал.

Солнце опускается. Или земля поднимается. Как утверждает модная теория. (*Небольшая пауза.*) Что одно и то же. (*Пауза.*) К чему было все это? И когда началось?

Пауза. Ответа нет.

Чего нам тут торчать, а? Я имею в виду, никто не придет и силком не потащит... Обождать придется... Мы еще молоды... в соку... у нас еще годы.

Пауза. Молчание.

(*Кричит.*) Мы же ничего дурного не сделали! Никому! Правда?

Гильденстерн. Я не помню.

Розенкранц берет себя в руки.

Розенкранц. Ну, что ж. Мне все равно. С меня хватит. Говоря откровенно, так даже легче.

И он исчезает из виду. Гильденстерн не замечает этого.

Гильденстерн. Наши имена, выкрикнутые на каком-то рассвете... распоряжения... приказы... должно быть, был момент, тогда, в самом начале, когда мы могли сказать — нет. Но мы как-то его упустили. (*Оглядывается и видит, что он один.*) Розен ——? Гильден ——? (*Овладевает собой.*) Ладно, в следующий раз будем умнее. Вот вы меня видите, а вот вы —— (*И исчезает.*)

Немедленно вслед за этим вся сцена озаряется светом; в глубине сцены видны тела актеров — примерно в тех же позах, в каких они были оставлены; все это — последняя сцена «Гамлета».

Тела: Король, Королева, Лаэрт, Гамлет. Горацио поддерживает Гамлета. Здесь же Фортинбрас и два посла из Англии.

Посол. Этот вид зловещ.
И английские вести опоздали;
Бесчувствен слух того, кто должен был
Услышать, что его приказ исполнен:
Что Розенкранц и Гильденстерн мертвы.
Чьих уст нам ждать признательность?

Горацио. Не этих,
Когда б они благодарить могли;
Он никогда не требовал их казни.
Но так как прямо на кровавый суд
Вам из похода в Польшу, вам из Англии
Пришлось поспеть, пусть на помост высокий
Положат трупы на виду у всех,
И я скажу незнающему свету,
Как все произошло. То будет повесть
Бесчеловечных и кровавых дел,
Случайных кар, негаданных убийств,
Смертей, подстроенных в нужде лукавством,
И, наконец, коварных козней, павших
На головы зачинщиков. Все это
Я изложу вам.

При этих словах пьеса заканчивается, что сопровождается угасанием света и звуками музыки.

Парадоксы Тома Стоппарда

Как, почему, благодаря какой счастливой случайности открыл молодой Иосиф Бродский пьесу своего сверстника, тоже молодого, тоже начинающего, тоже в те годы безвестного английского собрата по перу Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»? Кто знает. Пути поэта, художника, как известно, неисповедимы. Проскользнув в потоке читаного пьеса, несомненно, увлекла его оригинальностью замысла: показать всем известную историю о принце датском глазами его безымянных (пусть и имеющих имена — все равно безымянных!) «друзей». А кроме того, может быть, именно в судьбе Гамлета и роли, которую сыграли в ней люди, ничего не смыслившие в высочайшей душевной муке, что испытывал тот, вспомнилось ему что-то из собственной судьбы, собственного недавнего прошлого, когда его самого гнусно и подло допрашивала судья Савельева (она — подобно Розенкранцу и Гильденстерну — тоже из тех, из «безымянных»), которой не дано было понять, что есть Поэт; а потом — высылка, а впереди — изгнание (ведь и Гамлета посылали в Англию, потому что был смутьяном, непохожим, чужим, потому — опасным...). Однако сегодня мы понимаем: в этой «случайности», конечно же, заключена и существенная доля закономерности, более того — неожиданное решение Судьбы; Бродский и Стоппард счастливо «нашли» друг друга, ибо — как показало развитие событий — обоим свойственна и философская остраненность, и склонность к историческому, историко-литературному балагану, и смелое смешение эпох, стилей, мод и мнений, и даже некая ироническая завороженность старинной гравюрой, с которой проступают одним им видимые и понятные тени и силуэты... И конечно же, замечательно, что именно Бродский столь ярко, столь неподражаемо открывает для русскоязычного читателя одного из оригинальнейших драматургов XX столетия, нам известного только по редким критическим публикациям, а в мире, в цивилизованном мире,— давно знаменитости, в свои пятьдесят — почти классика. О Стоппарде написаны десятки монографий, сотни статей, его сравнивают с Беккетом и Жене, Пинтером и Пиранделло, его ставят в театрах многих стран, он давно читаем и почитаем на самых разных языках... Ну что ж, не станем сетовать, а возблагодарим судьбу за то, что некогда, двадцать лет назад, безвестный поэт Иосиф Бродский «набрел» на эту пьесу; за то, что текст перевода ч у д о м сохранился (к удивлению, неподдельному, самого Бродского) и что теперь нам дано как бы заглянуть в «закулисье» шекспировской трагедии: ведь мы и в самом деле никогда не задумывались над тем — а что поделывали эти Розенкранц и Гильденстерн, предоставленные самим себе, пока Гамлет решал великие вопросы бытия, и отстаивал свое достоинство и честь отца и державы, и выходил на неравный, но все равно победный поединок с подлостью, низостью, коварством...

Пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», показанная впервые в 1966 году на фестивале в Эдинбурге, а годом позже — в лондонском Национальном театре, сразу сделала начинающего драматурга знаменитым. Поразил замысел, поразила форма, но более всего — точно подмеченная писателем драма «маленького человека», заброшенного в большой, чуждый, непознаваемый мир, в котором все время что-то происходит, а ему отчаянно не удается понять смысл происходящего — и в этом его беда, его бессилие, его трагедия. Начиная читать пьесу о Розенкранце и Гильденстерне, осознаешь эту их беспомощность сразу, с первых же страниц, с первых их реплик. Персонажи играют в «орлянку» — долго, нудно, бесконечно... Выигрывает все время один — кошелек другого постепенно пустеет. Из всех «вечных вопросов» их занимает только этот: почему монета всегда падает «орлом» вверх? И так могут проходить дни, месяцы, годы, сменяться правители и эпохи — а эти двое и сегодня, и завтра, и всегда будут продолжать свою бессмысленную «игру», не помня, когда и при каких обстоятельствах они начали, не понимая, где они находятся, как и почему оказались здесь, а не в каком-либо ином месте. Эта повторяемость, эта безысходность пугают их, ибо страх — это, пожалуй, единственное, что еще привязывает их к жизни, реальной жизни. Но они ничего не помнят. Все забыли. Им дано только ощущение собственной «малости», полной, тотальной зависимости — от судьбы, от чужой воли, от приказа извне. Сами «выбрать путь» они не в силах.

Вводя в пьесу актеров, отводя им столь существенную роль и в сюжете, и в замысле, Стоппард прибегает к излюбленному приему драматургии XX столетия — приему «театра в театре». В какой-то момент мы неизбежно перепутаем — что происходит «в действительности», а что — в разыгрываемом актерами спектакле, ибо в обоих сюжетах правит бал игра, лицедейство, вымысел. Актеры в пьесе Стоппарда оказываются зримым символом, точно найденной метафорой бессмысленности, случайности, алогизма бытия его персонажей. Когда «единственный вход — рождение, единственный выход — смерть» — и так между этими двумя полюсами проходит, просачивается сквозь пальцы жизнь человеческая, не оставляя после себя никакого следа, никакой «отметины», никакой пользы. Да, за раздвоенностью, двойственностью, расплывчатостью, призрачностью, ирреальностью существования стоппардовских персонажей стоит породившее их время. Породившее и определившее образ их мировосприятия, их бытия... Столь знакомые нам экзистенциальные мотивы — но с такой оригинальностью, с таким неподдельным драматизмом Стоппардом решенные, что воспринимаются сегодня, с двадцатилетней дистанции, как нечто совершенно новое, как если бы они были заявлены впервые...

Постепенно мы понимаем, что самое страшное для стоппардовских персонажей — это покинуть ограниченное пространство сцены, ими освоенное и кажущееся потому

безопасным. А за пределами этого пространства чудится им нечто враждебное, чуждое, губительное. Эта неподвижность, прикованность к одному месту — для Стоппарда символ духовной несвободы, безнадежности барьеров, окружающих со всех сторон «маленького человека» и определяющих эту вечную «западню». И чем дальше развивается действие (точнее — мучительное бездействие) — тем напряженней, лихорадочней ритм пьесы, тем отчаяннее диалоги ее главных персонажей. Их все больше занимает вопрос: а есть ли вообще что-нибудь за пределами этого обжитого ими оазиса? Быть может, ничего? И — как последний призыв, как финальный выплеск: Розенкранц. Все, что мы делаем, случайность! Боже мой, да неужто мы не имеем права на хоть сколько-нибудь логический ход вещей?! Гильденстерн. Но почему? Неужто все только ради этого? Неужто весь этот балаган сводится только к двум нашим маленьким смертям?.. Не иметь никакой информации — и такой конец — и даже сейчас не получить объяснения...

«Я предпочел бы искусство как зеркало жизни»,— говорит стоппардовский Гильденстерн. В контексте данной пьесы это высказывание может быть воспринято как очередной стоппардовский парадокс, еще один пример занижения, травестирования классических фраз и цитат,— однако сегодня, когда Стоппардом написаны и иные пьесы, и слова эти звучат иначе. Ибо во многих из этих пьес за внешней парадоксальностью, внешним алогизмом, абсурдом, неправдоподобием, за блистательной иронией, разрушительным сарказмом стоят мысли Стоппарда об искусстве, высказываемые на удивление четко и недвусмысленно. Этот пересмешник, фантазер и парадоксалист Том Стоппард, этот бунтарь и ниспровергатель, этот противник интеллектуальной серости, ординарности, всяческого начетничества — в особенности в политике — оказался подлинным апостолом Искусства, которое для него единственно, ибо в нем — долг, честь, нравственность художника; защитником и адептом Слова, как уникального оружия Поэта (не провидел ли и Иосиф Бродский это развитие мысли своего собрата по цеху, когда брался за перевод его пьесы?). Слова — в котором видится ему и откровение, и пророчество, и знание Истины. Слова — которое в руках Мастера способно совершить больше, нежели все революции, и войны, и вековые распри... И на этом он настаивает — последовательно проводя, провозглашая, проповедуя эту свою святую убежденность. Надо лишь прочитать все это в той «игре», которую ведут — бесконечно! — его персонажи, расслышать сквозь какофонию их разговоров чистый и прозрачный голос Поэта. Он явственно слышен и в радиопьесе «Художник, упавший с лестницы» (1973), и в «Пародиях» (иной перевод — «Травести», 1974), и, наконец, в пьесе с примечательным заголовком «Настоящее» (1983), где «настоящим» окажется для Стоппарда именно Слово: оно «несомненно священно и требует бережного с собой обращения»,— скажет герой пьесы, alter ego Стоппарда, писатель Генри. Я убежден — многие современные писатели (и Бродский в их числе!) подпишутся под словами одного из персонажей «Пародий»: «Самый простой способ определить, одержало ли добро победу над злом,— это выяснить степень свободы художника». Да, не случайно эти «пародии», смысл которых отнюдь не комедийно безобиден, провели пятнадцать лет в спецхране, заботливо укрытые от слишком любопытных глаз: тут уж не парадоксы — тут кредо! «Художник — это волшебник, живущий среди людей, дабы удовлетворить их тягу к бессмертию»,— так говорит еще один персонаж той же пьесы. Стоппард — его устами.

И все же стихия юмора, «игры», парадоксов, пародирования — в крови у Стоппарда-драматурга. Точнее — на кончике его острого пера. Отсюда — фантастические, ни на кого не похожие коллизии его интеллектуальных притч. Он любит «сталкивать лбами», сводя в одном сюжете: в «Прыгунах» (1972) — акробатов и философов; в «Пародиях» — Ленина, Джойса и Тристана Тцара; в «Настоящем» — писателя-сибарита и неотесанного мужлана... Не удовлетворенный первым своим парафразом шекспировской трагедии, он десятью годами позже пишет пьесу «Пятнадцатиминутный «Гамлет» — вновь и философскую и пародийную. Еще — он обожает детективную интригу, которую приходится расшифровывать, как подлинный интеллектуальный ребус — не всегда добиваясь при этом успеха («Настоящий инспектор Хаунд», 1968; «Хэпгуд», 1988).

Пьесы Стоппарда — это несомненно — блистательно театральны. Выдумка, лицедейство, балаган, буффонада — вот суть его театра. Пьесы его театром рождены, они дышат сценой, к ней стремятся, на нее нацелены. Стоппард обладает абсолютным «драматургическим слухом», то ли интуитивно, то ли профессионально, но в совершенстве зная тайну театрального спектакля, возможности, предоставляемые театром. Благодаря настоящей публикации наши режиссеры впервые получают этот шанс — воплотить на сцене непростой, прихотливый, ускользающий и в то же время манящий мир Стоппарда. Кто же первым поднимет брошенную им перчатку, кто первым решится вступить в неизведанное царство, имя которому — Театр Тома Стоппарда?

ЮРИЙ ФРИДШТЕЙН

P. S. Когда журнал уже был в наборе, мы узнали, что перчатка — поднята и вызов — принят: первым воплощением стоппардовской драматургии на советской сцене стал спектакль Московского театра им. Вл. Маяковского «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (перевод Иосифа Бродского). Итак — начало положено. Что дальше?

Из классики XX века

ХАИМ-НАХМАН БЯЛИК

Хаим-Нахман Бялик и его русские перелагатели

Как это было недавно. Как это было давно...

Первое десятилетие нашего века. Еврейский поэт, которому исполнилось тридцать, когда он сделал себя широко известным поэмой о кишиневском погроме. Выходец с Волыни, из бедной семьи. Пишет он на языке, который по-русски в эти годы еще принято называть «древнееврейским» и никто не называет «ивритом». На языке Ветхого завета, который только-только возвращается в современную литературную жизнь из причудливого мирка ешиботников — еврейских школяров. Это древний, очень древний язык, который, однако, удерживает в звучании бяликовского стиха характерные черты говора восточноевропейских евреев, с женственным смягчением некоторых звуков, с невозможным преизобилием дифтонгов, всех этих «эй» и «ой», колоритных, как жест. Если читать строки Бялика на «сефардский» манер, принятый ныне в государстве Израиль, неизбежны потери: стих перестает петь.

Перед поэтом, который хочет творить на таком языке поэзию своей эпохи и переводить на него «Дон Кихота» и «Вильгельма Телля», стоят задачи языкотворчества. Материя языка в его руках — еще плавкая. Возможности, которые надо угадывать. Ситуация до известной степени аналогична той, в которой оказались наследники другой древней традиции — греческие поэты, отыскивавшие свой путь между кафаревусой, древним наречием, и димотикой, говором улицы. Но здесь контрасты, пожалуй, резче.

(Когда в двадцатые годы Бялик уже в Палестине попробует сочинять стихи для детей в расчете на сефардский выговор, ему придется переучивать свое ухо. Но до этого тогда было далеко.)

Молодой еврейский поэт. И его переводчики — из самого первого ряда светил русской поэзии тех лет. В большинстве — символисты: Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб. Не без успеха соперничавший со своими русскими собратьями Юргис Балтрушайтис. И несговорчивый оппонент символистов — Бунин.

Для перевода с древнего языка они годились в разной мере, и по-разному мы оценим теперь их успехи. Да еще разойдемся в мнениях между собой. Мне, например, кажется, что лаконичность, прегнантность речи, свойственная переводческой работе Вяч. Иванова, уместнее, чем эклектика Брюсова, соединившего в пределах одного стихотворения экзотическую «Шехину» со словечком «идеал», которое заставляет вспомнить, увы, Надсона. Но это мое мнение; и это взгляд из 1990 года.

Для современников все они примерно в равной мере пользовались высоким авторитетом. У каждого из них было яркое имя. И все они почитали за честь переводить Бялика.

Во-первых, это было уважение к поэтическому дару еврейского поэта. Для поколений русской, отнюдь не только еврейской интеллигенции имя Бялика было почти легендой; все помнят, как оно звучит у раннего Маяковского. А символистам в высокой степени свойственна была установка

переводчиков-просветителей: все, что интересно и значительно на ином языке, должно прозвучать по-русски.

Во-вторых, не у одного Вячеслава Иванова позволительно предполагать романтическое увлечение библейской древностью языка и народа евреев. Иванов, как очевидно из контекста его творчества, унаследовал от своего учителя Владимира Соловьева христианско-мистическую мотивацию филосемитизма. Но даже Горькому сразу приходят в голову при мысли о Бялике библейские образы — пророк Исаия, страдалец Иов...

И была третья причина, о которой помнил каждый: реальность погромов. Сверяя даты, легко убедиться в причинной связи. Опрометчиво полагать, будто символисты были и впрямь затворниками башни из слоновой кости, забывавшими глянуть в окно, на улицу. Тот же Вяч. Иванов и оригинальные стихи писал не только о Дионисе или Софии Премудрости Божией, но и о погромах («Сатана свои крылья простер, Сатана...»). Чего бы иначе стоила всечеловеческая отзывчивость, эта сквозная тема русской мысли?

Прошу прощения за автобиографический экскурс, но я-то еще застал в мои школьные годы последних могикан старой русской интеллигенции, и мне памятно их скорбное удивление в пору «борьбы с космополитизмом». У этих русских стариков с избытком хватало своих обид, но они были чувствительны и к чужим. Они так были воспитаны. И потому мне трудно поверить, будто здесь что-то нуждается в разъяснениях. Когда бьют евреев, русские поэты откладывают свои дела и садятся переводить еврея.

Проще — не бывает.

С. АВЕРИНЦЕВ

М. ГОРЬКИЙ

[О Х-Н. Бялике]

Трудно говорить о большом поэте, почти невозможно передать с достаточной ясностью все то, что вызывают в душе твоей его стихи,— вихрь чувств, разбуженный имн, почти всегда неуловим для слова.

Для меня Бялик — великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он — точно Исаия, пророк, наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов.

Как все русские, я плохо знаю литературу евреев, но поскольку я знаю ее, мне кажется, что народ Израиля еще не имел,— по крайней мере на протяжении XIX века,— не создавал поэта такой мощности и красоты.

На русском языке стихи Бялика, вероятно, теряют половину своей силы, образности, но и то, что дают переводы, позволяет чувствовать красоту гневной поэзии Бялика.

Кто и что я? Сам Бог разрешил мою кровь,
В целом мире я — будто на плахе!..
Брызни, кровь моя, лей, заливая поля,
Чтоб осталась навеки, навеки земля,
Как палач, в этой красной рубахе!

Так может говорить только человек исключительной духовной силы, человек святого гнева, и — да возбудит этот гнев гордость народа пламенным сердцем поэта!

Но как все крупнейшие поэты, Бялик общечеловечен, и когда читаешь некоторые его стихотворения,— до отчаяния жалко становится уже не еврея, а свой народ и себя самого.

Не родится меж нами в день кары большой
Муж великих деяний, с великой душой,
Чей огонь проникал бы, как молния, в грудь
И глаза, как звезда, озаряли наш путь.
Рыцарь совести, правды и дерзкой борьбы
С беззаветной враждой против рабьей судьбы
И с великой, как скорбь, и с огромной, как срам,
И, как море, бездонною жалостью к нам,
Чтоб ярилась, бушуя, в нем буря Любви
И клубился пожар ненасытный в крови
И над нами гремел его голос сквозь тьму:
«Подымись! Созидай!»
Не родиться ему...

И далее:

...погиб мой народ. Срама жаждет он сам,
Нет опоры стопе, нет мерила делам:
Сбились люди с дороги. устали бродить,
И пропала в веках путеводная нить!
Рождены под бичом и бичом вскормлены —
Что им стыд, что им боль, кроме боли спины?

Эти слова великого отчаяния падают раскаленными углями не только на сердце еврея, нет, не только...

Одним из наиболее сильных стихотворений Бялика является для меня «Сказание о погроме»,— безжалостно карающее палача и справедливо — жертву, за ее покорность палачу.

Сквозь сердце Бялика прошли все муки его народа, и сердце поэта глубоко и звучно, как большой колокол.

Скорбь и гнев свой он выражает карающей речью пророка, но ему не чуждо и простое, милое — человеческое; когда он может, он является прекрасным лириком.

Он, вообще, широкий настоящий человек, которому ничто в мире не чуждо, он любит народ свой до отчаяния, он говорит с ним языком мстителя, оскорбляет его, кричит голосом Байрона:

Пусть умру средь молчанья: не пятнайте слезами
Мою память во гробе!
Семь пожаров Геенны, что прошел я при жизни,
Пусть найду я в могиле,
Лишь бы худшей из пыток — вашим плачем на тризне
Вы меня не казнили!
Дайте гнить без помехи, глядя мыслью бессонной,
Как гниете вы сами!
И обглоданной пастью хохотать о бездонной
Вашей муке, о сраме...

Но это гнев любящего, великий гнев народного сердца, ибо поэт — сердце народа.

Сквозь вихрь гнева, скорби и тоски пробивается ярким лучом любовь поэта к жизни, к земле и его крепкая вера в духовные силы еврейства.

Мы соперники Рока,
Рок последний для рабства и первый для радостной воли!

Эта вера Бялика не вызывает сомнения у меня,— народ Израиля — крепкий духом народ,— вот он дал миру еще одного великого поэта...

1916

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ *

Бялик

В лице недавно скончавшегося Хаима Иосифовича Бялика еврейский народ понес тягостную утрату. Роль, сыгранная им в культурной и общественной жизни еврейства, огромна. Он был поэтом, историком, талмудистом, педагогом, переводчиком, издателем, публицистом, общественным деятелем (между прочим — был избран выборщиком в Государственную Думу 3-го созыва, самая большая и плодотворная часть его жизни протекла в России, которую он покинул с воцарением большевиков) [1]. Я ограничусь тем, что скажу несколько слов о нем как о поэте. Неотделимый от своего народа биографически и творчески, он, как всякий истинный поэт, в то же время есть достояние всеобщее, и его смерть есть истинная потеря для всех.

Имя Бялика, разумеется, было знакомо каждому образованному человеку в России. Но знакомство это было довольно отдаленное, даже смутное. Бялика знали у нас по переводам, сделанным В. Жаботинским. Ряд его стихотворений был также переведен Вячеславом Ивановым, Федором Сологубом, Валерием Брюсовым и другими. При всех достоинствах этих переводов, ими, конечно, не заменялось знакомство с подлинником.

Прочесть Бялика в подлиннике могли слишком немногие, потому что писал он преимущественно на древне-еврейском языке, который после того, как еврейство утратило самостоятельное политическое бытие, постепенно перестал быть языком разговорным, но сохранился в литературе — и который теперь воскресает как разговорный в Палестине.

---

* © 1982 by Russica Publishers Inc.

[1] Бялик уехал из Советской России в 1921 г. с особого разрешения В. И. Ленина, жил в Берлине, с 1924 г.— в Палестине, где умер в 1934 г. *(Здесь и далее прим. ред.)*

Еврейская поэзия, начавшая бытие свое с книги Бытия, не пресеклась и в рассеянии. Ее подземный родник мощно пробился в Испании во второй половине десятого и в первой половине одиннадцатого столетий. Он жил в творениях Габироля и Иегуды Галеви и с тех пор, то уходя под почву, то вновь появляясь, докатился до наших дней. Зачатки ново-еврейской поэзии наметились в начале восемнадцатого века, через сто лет получили дальнейшее развитие в Германии, а затем, еще через пятьдесят лет, в России, где образовалась целая поэтическая школа, в которой Бялик не был зачинателем, но в которой, по своему дарованию, занял он самое видное и почетное место.

Не порывая с прошлым, эта новая плеяда совершила великий переворот. Жалобы на трагическую участь еврейства дотоле составляли у его поэтов неизменную тему, лишь изредка оставляемую для отвлеченных рассуждений дидактического характера. Вдохновляемые идеей культурного и политического возрождения, новые поэты, как бы впервые, сознали право свое не только говорить о национальном несчастии, но и вообще взглянуть на мир собственными глазами. Слова о жизни, о Боге, о любви, о природе впервые обрели право гражданства в еврейской поэзии. Еврейская муза была как бы выведена из ее тематического гетто, в котором она была обречена однообразию и провинциальности. Таким образом преобразованное национальное сознание вывело еврейскую поэзию на простор поэзии всеобщей. Этим глубоким изменением своей жизни она всего более обязана Бялику.

* * *

Однажды вечером, вскоре после февральской революции, Гершензон[1] дважды звонил мне по телефону, но меня не было дома. Я поздно вернулся и лишь на другой день спросил его, в чем дело.

— Вы много потеряли,— отвечал Гершензон,— я хотел вас позвать к себе, у меня был Бялик.

Теперь, когда изданы письма Гершензона к его родным (кстати сказать — необыкновенно обаятельная книга, в которой весь Гершензон — как живой, во всей чистоте своего прекрасного сердца), я могу с точностью установить, что это было 22 апреля 1917 г. На другой день Гершензон писал: «Вчера вечером Яффе привез к нам Бялика; была еще только жена Яффе. Они просидели часа три. Итак, скажу: много я видел замечательных людей, но такого большого, как Бялик, еще не было за нашим столом... Он так удивительно глубокомысленно умен и в своем мышлении так существен, конкретен, что, по сравнению с ним, наше мышление как-то беспочвенно и воздушно. И потому же, конечно, он с виду, по манерам, прост совершенно, точно приказчик. Говорит самым простым тоном, и когда вслушиваешься, то слышишь нарастающую стальную крепость мысли, отчетливость и поэтичность русских слов, а в узеньких глазах — острый ум... По сравнению с ним и Вяч. Иванов, и Сологуб, и А. Белый — дети, легкомысленно играющие в жизнь, в поэзию, в мышление»...

Встретиться с Бяликом мне так и не довелось. Я сравнительно довольно много переводил еврейских поэтов, но из Бялика перевел лишь одно стихотворение. Произошло это потому, что переводы мои почти все предназначались для «Еврейской Антологии» издательства «Сафрут». Вместе с уже упомянутым Л. Б. Яффе я был редактором этой книги. Распределение работы между переводчиками лежало как раз на мне, и я считал неудобным оставить за собой хоть что-нибудь из Бялика, зная, что всем хотелось переводить его стихи в особенности. Короче говоря, вышло так, что я не переводил Бялика не потому, что мало ценил его, а наоборот, потому что ценил очень высоко и был вынужден его уступать другим.

Не зная древне-еврейского языка, я, подобно другим, был знаком с Бялнком по переводам. Однако позволю себе сказать, что мое знакомство с ним было несколько более близким, нежели у людей, поставленных в такие же условия. Дело в том, что, помимо готовых стихотворных переводов из Бялика, мне посчастливилось видеть много прозаических, сделанных подстрочно, слово за словом, даже с соблюдением грамматических конструкций, русскому языку совершенно чуждых. Мало того: переводы эти сопровождались русской транскрипцией подлинников, и таким образом я, следя одновременно за подстрочником и транскрипцией, получал возможность не только следить за строем поэтической речи Бялика, но и проникнуть в ее звуковой состав. Грубый,

[1] Михаил Осипович Гершензон (1869—1925) — русский историк литературы и общественной мысли.

двойной покров, сквозь который мне приходилось прощупывать черты подлинника, в действительности оказывался гораздо тоньше, чем покров стихотворных переводов, даже столь образцовых, как сделанные Жаботинским и Вяч. Ивановым. Я читал Бялика почти в подлиннике, как читал другого прекрасного еврейского поэта — С. Черниховского, из которого мне посчастливилось перевести довольно много. При таком чтении я мог не только оценить силу, выразительность, меткость языка у Бялика (это — свойство всех больших поэтов), но и проникнуть хотя бы несколько более глубоко в тот дух поэзии, в ту ее иррациональную сферу, где таятся ее главные индивидуальные черты, всегда познаваемые только из подлинника.

Совершенно особенное, как ни у одного из известных мне поэтов, восприятие времени — вот, на мой взгляд, самая своеобразная черта в Бялике-поэте. Восприятие необыкновенно чувственное, конкретное и, в то же время, как бы ежесекундно преодолеваемое. Прошедшее и будущее у Бялика обращены друг на друга, подобно двум зеркалам. Перспектива будущего образуется из перспективы в нем отраженного прошлого — и наоборот: перспектива прошлого уже заключает в себе перспективу будущего. Вместе с тем для каждого отдельного отражения, в правой или левой перспективе может быть определено его порядковое место, по отношению ко всем предшествующим и последующим.

Далеко не самой глубокой, но зато очень наглядной иллюстрацией здесь может служить поэма «Мертвецы пустыни». Она выросла из талмудической легенды. В ней древние предки, великаны, побежденные, но не покоренные самим Богом, являются, чтобы стать укоризною перед современным еврейством. Но Бялик умеет их показать как-то так, что обычные понятия о жизни, смерти и воскресении не вполне к ним применимы. Читателю кажется, что в жизни они мертвы, в смерти живы, и процесс воскресения совершается в них постоянно. Аллегорический смысл поэмы очевиден: в ней дано прославление вечно живой стихии еврейства, в каждый миг повергаемого и восстающего, умирающего и воскресающего. Но надо было обладать особенным, бяликовским ощущением времени, чтобы эту отвлеченно-аллегорическую картину превратить в конкретно-символическую, придать ей совершенную убедительность и реальность.

Несомненно, исторические судьбы еврейства придали особую лирическую силу тому преображению времени, которое постоянно совершается в поэзии Бялика. Вероятно, они были даже первоначальной причиной возникновения в нем этой удивительной способности. Бялик — еврей каждой клеточкой своего организма, и в каждое мгновение своей жизни. Но простым и поверхностным национализмом, одной специальной приверженностью к своему народу его не объяснишь. Замечательно в нем чувство народа вообще, способность к необычайно живому, чувственному переживанию самого понятия культуры, как непрестанно обновляемого в самом себе начала, движимого не воспоминанием о прошлом и не чаянием будущего, но непрерывно и таинственно совершающимся умиранием и воскресением. Может быть, именно это чувство культуры, неотделимое от чувства национального, в Бялике столь живое и никогда его не покидавшее, оно-то и придавало, не только его стихам, но и всей его деятельности, и самой личности, ту существенность и конкретность, которые так удивили и привлекли к нему Гершензона. Мне кажется, это чувство и есть самое поучительное в Бялике: поучительное вовсе не для одних евреев — для всех...

12 июня 1934

Стихи разных лет

С иврита

Последний

Всех их ветер умчал к свету, солнцу, теплу,
Песня жизни взманила, нова, незнакома;
Я остался один, позабытый, в углу
Опустелого Божьего дома.

И мне чудилась дрожь чьих-то крыл в тишине —
Трепет раненых крыл позабытой Святыни,
И я знал: то трепещет она обо мне,
О последнем, единственном сыне...

Всюду изгнана, нет ей угла на земле,
Кроме старой и темной молитвенной школы,—
И забилась сюда, и делил я во мгле
С ней приют невеселый.

И когда, истомив над строками глаза,
Я тянулся к окошку, на свет из темницы,—
Она никла ко мне, и катилась слеза
На святые страницы.

Тихо плакала, тихо ласкалась ко мне,
Словно пряча крылом от какого-то рока:
«Всех их ветер унес, все в иной стороне,
Я одна... одинока...»

И в беззвучном рыданьи, в упреке без слов,
В этой жгучей слезе от незримого взора
Был последний аккорд скорбной песни веков,
И мольба о пощаде, и страх приговора...

1902

Из зимних песен

I

Разбудил меня сегодня
Гам ворон и утра холод.
Я проснулся почему-то
Словно в праздник бодр и молод:

Словно в сердце, кто — не знаю,
Брызнул струйкой родниковой;
Словно вдруг моя каморка
Стала лучше, стала новой...

А, мороз убрал окошко!
Хорошо убрал, на славу:
Точно посох Аарона
За ночь вырастил дубраву.

Кипарисы в хлопьях снега,
Дуб, алоэ, пальма, роза...
Добрый день, побеги стужи!
Шлю привет, цветы мороза!

И холодный, свежий, белый
Залил блеск мою каморку.
Словно был в ней добрый ангел,
Прилетавший на уборку.

И сияньем беззаботным
Залилась душа, ликуя,
Словно был в ней добрый ангел
И омыл ее целуя.

1904

Перевод ВЛ. ЖАБОТИНСКОГО

Где ты?

Из мест, где скрыта ты, о жизни свет единый,
Моей тоски Шехина [1],

Приди, приди, как сон необычайный,
В приют мой тайный;

Пока еще и мне есть избавленье,
Предстань и дай целенье,

Верни мне юность, ряд утраченных видений,
Мой бред весенний!

Мой пламень погаси блаженным поцелуем!
Твоими персями волнуем,

Пусть я, как мотылек, погасну, в час закатный,
На чаше ароматной!

Но где ты?
Еще не знал я, кто ты, что ты, где ты,—
Мечта тебе несла обеты;

Во мгле, как красный угль, в час бденья, на постели,
Сны о тебе горели;

В ночи рыдая, я — кусал подушку; тело
В предчувствии тебя — немело;

И целый день,— меж буквами, в Гемаре,
В прозрачном облачке и солнечном пожаре,

В чистейшей из молитв и в чистоте мечтаний,
В восторге дум, в величии страданий,

Моя душа во всем всегда, как идеала,
Тебя, тебя, тебя одной искала.

1904

Перевод ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

Истинно, и это — кара Божья

И горшую кару пошлет Элоим:
Вы лгать изощритесь — пред сердцем своим,

Ронять свои слезы в чужие озера,
Низать их на нити любого убора.

В кумир иноверца и мрамор чужой
Вдохнете свой пламень с душою живой.

---

[1] Одно из имен Бога, выражающее идею Его пребывания среди людей.

Что плоть вашу ели,— еще ль не довольно?
Вы дух отдадите во снедь добровольно!

И, строя гордыни египетской град,
В кирпич превратите возлюбленных чад.

Когда ж из темницы возропщут их души,
Крадясь под стенами, заткнете вы уши.

И, если бы в роде был зачат орел,
Он, крылья расправив, гнезда б не обрел:

От дома далече б он взмыл к поднебесью,
Не стал бы ширяться над вашею весью.

Прорезал бы тучи лучистой тропой,
Но луч не скользнул бы над весью слепой,

И отклик нагорный на клекот орлиный
Расслышан бы не был могильной долиной.

Так, лучших отринув потомков своих,
Вы будете сиры в селеньях глухих.

Краса не смеется в округе бездетной;
Повиснет лохмотьем шатер многоцветный,

И светочи будут мерцать вам темно,
И милость Господня не стукнет в окно;

Когда ж в запустеньи потщитесь молиться,
Слезам утешенья из глаз не пролиться:

Иссохшее сердце — как выжатый грозд,
Сметенный в давильне на грязный помост,—

Из сморщенных ягод живительной дани
Не высосать жажде палимой гортани.

Очаг развалился, мяучит во мгле
Голодная кошка в остылой золе:

Застлалось ли небо завесою пепла?
Потухло ли солнце? Душа ли ослепла?

Лишь трупные мухи ползут по стеклу
Да ткет паутину Забвенье в углу.

В трубе с Нищетою Тоска завывает,
И ветер лачугу трясет и срывает.

1905

Перевод ВЯЧ. ИВАНОВА

Я знал, в глухую ночь...

Я знал, в глухую ночь я вдруг погасну, как звезда.
Не будет знать звезда моей могилы,
Но гнев мой все еще дымиться будет, как вулкан,
Когда уже его погаснет пламя,
И будет жить средь вас, пока закован гром
И гнев волны таится в океане.
Но вот умножится и ваша скорбь,
Наполнит лоно мира,
И напоит собой поля небес, поля земли,
И звезды все, и травы,
И будет с ними жить, дрожать, и никнуть, и всходить,
И как они, увянув, возродится;
Свидетель зла, бессмертно простоит,
Без имени, без родины, без вида,
Без слов, без слез, и в ад, и в небо возопит,
Замедлив избавленье мира.

Когда ж взойдет сиять могилам ваших жертв
В конце земных времен светило правды лживой,
И кровью вашей пьян, взовьется лицемерный стяг
В руках убийц, и нагло засмеется небу,
На стяге Божия поддельная печать
Под солнцем дерзко засверкает,—
От пляски праздничной, от кликов лжи
Ваш прах святой в могилах затрепещет,
И, омрачившись грустью вашей, дрогнет вдруг лазурь небес,
И солнце станет сгустком вашей чистой крови,—
Помета Каина над миром и бессилья знак
Для пораженной Божией десницы,—
Тогда звезда звезде воскликнет: «Вот ужаснейшая ложь!
Вот скорбь великая без меры!»
Бог мести, в сердце поражен, восстанет, возопит,
И, взявши меч великий, выдет.

1906

Перевод ФЕДОРА СОЛОГУБА

Ветка склонилась

Ветка склонилась к ограде и дремлет —
Как я — нелюдимо...
Плод пал на землю — и что мне до корня,
До ветви родимой?
Плод пал на землю, как цвет, и лишь живы
Листья с их шумом!
Гневная буря их скоро развеет
Тленом угрюмым.
Будут лишь ночи, лишь ужас, где мира
Не ведать, ни сна мне —
Где одиноко мне биться средь мрака
Главою о камни.
Буду угрюмо висеть я на ветви
Весною зеленой —
Прут омертвелый, нагой и бесплодный,
Средь цвета и звона...

1911

Перевод Ю. БАЛТРУШАЙТИСА

Да исполнятся сроки

Почто, о боже, столько лет
Ты мучишь нас в пустыне знойной?
Где правый путь? Где отчий след
В стране родимой и спокойной?

Мужайтесь, верные! Вперед!
Я дал вам горький лист оливы,
Но слаще будет он, чем мед
От тех, чьи руки нечестивы.

Прямые коротки пути:
Потребна скорбь, потребно время,
Чтобы могло произрасти
На ниву брошенное семя.

1916

Перевод И. БУНИНА

Моя мама, будь благословенна ее память

Из бесед цадика из Виледника

Набожной мама была, праведницей беспорочной,
Да осенит ее небо...
Вечер субботний настал, а в доме у нищей вдовицы
Нет ни свечей и ни хлеба.

Чудо: два гроша нашла! Что купить — хлеб или свечи?
Нет труднее заботы.
Сбегала в лавку, вернулась, а в ручечке тонкой —
Две свечи для Субботы.

Семь свечей — семь очей — семизвездье сияет ей с неба,
И вдовица в смущенье:
Благословит ли Господь женщины бедной Субботу
И всего лишь двух свечек свеченье?

Да освятит, Всеблагой, Он и чистую скатерть,
И тарелку пустую!
В платье субботнем, в платке она Господа встретит
И Субботу Святую.

И было: зажгла две свечи,— и ей сделалось горько,
Сердце больно заныло,
Упала слеза на свечу, по морщинам скатившись,
И свечу погасила.

Окривела Господня Суббота! И женщина страхом
И позором объята:
«О мой Бог, ты отверг приношенье рабы твоей бедной,
Но Суббота-то в чем виновата?

Почему ты ей выколол глаз?» Под субботним платочком
Затряслись ее плечи.
В тихом, сдавленном плаче стояла, в печали молитвы
Смотрела на свечи.

И взывали из сердца ее праматери и херувимы,
Из гортани рыдали:
Слышишь, Славы Престол, слышишь, ухо небесное,— этот
Голос печали?

И слеза, словно жгучая капля огня, соскользнула
Со щеки и упала
На свечу, что погасла,— и вновь засветилась
Та свеча, как сначала.

Мама открыла глаза — и я вижу: свет семидневный
Вспыхнул с огнем воедино,
Это вдову, что молилась за нас, за Израиль,
Поцеловала Шехина.

Лондон, месяц Шват, 5691 год от сотворения мира
(январь — февраль 1931 года)

Перевод С. ЛИПКИНА

Город Резни

ПОЭМА

С идиша

...Из стали и железа над огнем
Себе ты сердце выкуй — и пойдем.
Пойдем: своими осмотри глазами,
Своими сам ощупай все руками
Здесь, в Городе Резни, где на столбах,
На мостовых, на стенах и воротах,
На чердаках, на лестницах, в пролетах —
Мозг вперемешку с кровью, плоть и прах
Твоих собратьев. Сгустки, кровь из глоток
Старух, юнцов, младенцев и молодок.

Пойдем! Ты здесь заблудишься, в руинах,
В проломах пробираясь, в кирпичах
Развалённых печей. Кирпичный прах
Осядет на тебе. В обвалах длинных
И черных дымоходов — прах золы
Ссыпается, припорошив углы
Вчерашней бойни, где топор с огнем
Плясали, как на свадьбе, долгим днем.

По улицам пройди, по половодью перьев.
Пуховая река. Поплавай в той реке,
Багрово-белой от перин и пота
Кровавого, ступай, взбирайся по горам
Изрубленных шкафов, и стульев, и столов,
По грудам жизней, стекол, черепков
И черепов, через завал голов.

Идешь? Иди. Ты снова заблудился
В развалинах. Вот медь, вот алый шелк
И серебро. Вот масло. Вот листы
Всевечной Книги. Попрана ногами
Суббота. Праздники растоптаны. Изодран
Пергамент. Талес. Старые тефилин.

Обрывок Торы. Занавес священный,
И кисточки, и белые моточки
Твоей души — а ты смотри, как вьются
Они вкруг ног твоих и поцелуем
Твой высветляют след в грязи, лобзая
Стопы, с ботинок смахивая пыль...

Ты убегаешь? К воздуху и свету?

Беги! А над тобой смеется небо
И стрелами-лучами метит солнце!
Акации, в зеленом все и белом,
Тебя отравят запахом цветенья
И крови.
И голову осыплют лепестками
И перьями.
Разбитых стекол блестки
В зрачки тебе вопьются — и ослепнешь
Посередине улицы...
Бог двойней одарил тебя так щедро:
Резнею и весной;
Сад расцветал, и солнышко светило,
И резник резал...
И нож сверкал, и кровь кругом текла,
И золото из раны...

Убегаешь
И на задворках прячешься? Напрасно.
Вот мусорник, глухая свалка. Здесь
Вчера двоих прикончили: еврея
С его собакой...
Убили их снаружи, во дворе,
А уж сюда их после затащила
Свинья и рылом рылась в них, вдыхая
Перемешавшуюся кровь...
Ша! Тихо! Завтра хлынет дождь весенний,
Он смоет кровь в канаву — не кричать же
Ей здесь из мусора; а впрочем, просочилась
Она уже, должно быть, вглубь, под почву
И поит корни трав, кустов, бурьяна
У старого забора.
И солнце встанет завтра, как вчера
И как сегодня, как всегда встает,
Сияя на востоке тихим светом
Спокойствия: а что произошло?

Ты как безумный на глухой чердак
Карабкаешься и во мраке дышишь.
Ты слышишь? Здесь еще витает страх
Смертельный — он крылом холодным, черным
Вокруг повеял, корешки волос
Студя на голове твоей горячей...
Со всех сторон — из тьмы, из темных дыр
Глядят глаза.
То жертвы убиенные, кадошим [1],
Еще не успокоенные души
Столпились, бесприютные, в углу,
Где их настиг топор...
Они сюда вернулись — напоследок
Запечатлеть в зрачках, навеки мертвых,

Последнего мгновенья страшный отблеск,
Весь ужас смерти, весь итог злосчастной
жизни...

Как голуби пред шхитою [2] дрожа,
Они все вместе, стайкой, жмутся к кровле
И долго смотрят на тебя глазами
Просящими и что-то бессловесно
Кричащими про то, что никогда
Святых небес еще не достигало
И не достигнет никогда:
— За что?

И ты свой взгляд отводишь: нет небес!

Пустой чердак под крышей разоренной.
Паук зеленый. Ты его спроси —
Он видел все, единственный свидетель,
Оставшийся в живых на чердаке.
Пусть он тебе свою расскажет сказку
Про перьями набитый рот и чрево,
Про ноздри с туго вбитыми гвоздями,
Про голову с торчащим молотком
И трупы, головами вниз, как гуси,
Подвешенные к балке чердака,
И про дитя: его укрыть пыталась
Собою мать — и задушила... Губы
Отрезанные, и отдельно — груди...
И мальчик — он был заживо и вместе
С последним криком надвое разодран:
Полкрика — Ма...— закончить не успел.
И множество еще таких же сказок,
Что страшной явью мозг тебе пронзают
И душу умертвляют...
Спрыгнешь наземь
И побежишь, и снова пред тобой
Окрестный мир начнет в глазах сиять
И солнцем лить бесстыдно, как вчера
И как всегда. И солнца знойный свет
Разбросан здесь в дверях и на порогах —
Как золото пред свиньями...

Прочь, прочь от света! Спрячься, схоронись,
Заройся в землю, в погреб, в подземелье
И там сожри свое стальное сердце
И зубы обломай...
Открой глаза:
Здесь дочерей народа твоего
Порочили поганые арейлим [3],
Сквернили их. По десять — на одну.
Мать — на глазах у дочери. И дочь —
Пред взором матери. Пред тем, как их зарезать.
И снова — нож воткнув уже. И снова —
Убитую. Возьми же, человек,
Бен-одем [4] и рукой своей ощупай
Невысохшие эти пятна крови
С белесой мерзкой жижей вперемешку,
Заляпавшие смятую подушку.
Здесь с топором, с которого стекала
Кровь, теплая еще, сопя, валялось

И утоляло похоть существо,
Неведомое миру. Существо
Невиданное: человек-свинья...
Теперь смотри, бен-одем: в том углу,
За бочкой, вон за той, за сундуком
Лежали скучась, притаив дыханье,
И издали безмолвно наблюдали
Мужья и братья, женихи, отцы
И сыновья — из нор своих глядели,
Как корчатся, захлебываясь кровью
И скверною белесой, под тяжелым
И грязным хряком — дочери и жены,
Пречистые, святейшие тела.
Глядели из щелей своих. Молчали.
Глаза себе не вырвали.
Не раздробили голову себе.
И не сошли с ума.
А может — и шептали, бормотали
Молитву про себя, прося о чуде:
«Содей, мой Бог, чтоб *их* глаза ослепли,
Дабы меня здесь, Твоего раба,
Злодеи не заметили...»
А после,
Когда одна из жен очнулась все же
И выбралась,
Вернувшись к жизни, вся в грязи пред Богом
И пред собой, перед двумя мирами [5] —
Он, муж ее, свою покинул норку
И побежал скорее в синагогу
Свой Гоймл возносить [6] — благодарить
Всевышнего за то, что спас от смерти
Или иной напасти — и спросить
Раввина о законе благочестья:
Дозволено ль с *такой* женою жить?

Пойдем на воздух! Дальше, человек!
Я покажу тебе места прибежищ —
Свинарники, где в лужах, в нечистотах
Твои собратья прятались — потомки,
Наследники отважных Хасмонеев [7],
Праправнуки заступников народных:
По три десятка, как клопы, в дыру
Позабивались в День Резни — и всуе
Мое, Пророка, имя поминали...
Как мыши, врассыпную, убегали...
Как псы — околевали...
А утром вышел сын — и вдруг нашел
На свалке труп отца... Так что ж ты плачешь,
Бен-одем? Что лицо закрыл руками?

Зубами скрипни. Боль превозмоги.

Теперь в овраг. Там зеленеет сад.
А в том саду сарай, а там — колеса,
Как спящие на трупах упыри,
Лежат, как пальцы спицы протянув
Изломанные — к горлам...
Войди в сарай — и канешь в бездну страха.
Страх здесь повсюду. Страх колышет воздух.
Со стен стекает. Вдавлен в тишину.

Прислушайся: колеса шевелятся —
Пульсируют обрубки тел под ними,
В своей крови, сочась и разбухая...
Вдруг — нет, не оклик — хрип чьего-то горла,
Последний выдох, стон недоубитый
Или зубовный скрежет...
Все это под колесами, вповалку,—
И в спицы бьется, в бревна и колоды,
Набрякнув, пробивается в ободьях,
Растет — под крышу самую, нависнув,
Как черная над головою хупа [8],
Над бедною твоею головой.

Немая боль. Боль бессловесной боли.

Неслышный шорох крыльев: боль.
Но тише!
Здесь кто-то есть еще, здесь кто-то ходит
По темноте с закрытыми глазами,
Весь погруженный в пропасть, в полночь горя,
И выпростав перед собой незряче
Две тонкие руки
В пространство, страхов полное, на ощупь
Исследуя перстами темноту
И выхода не находя из скорби.
То Он, Он самый, Дух великой скорби,
Здесь заперший себя в глухой темнице
Навек, по своему же приговору,
И осудивший сам себя на боль.
И где-то здесь же, в беспросветном мраке
Парит и не найдет себе покоя,
Никак себе не сыщет уголка,
Намаявшись, усталая Шехина.
Ей только б разрыдаться — но не может.
Ей крик один исторгнуть — онемела...
Она безмолвно давится слезами,
И крылья над кадошим простирает.
И, голову склонив, над ними плачет —
Ни стона, ни слезы не обронив...
— — — — — — — —

Ты за собою плотно дверь прикрой
И в темноте останься с ней, с Шехиной,
И дай душе своей напиться вдоволь
От мук Ее... когда ж в тебе все смолкнет
И все умрет — к Ее притронься болям,
И оживут они в тебе, заропщут,
Заголосят.
И ты пойдешь, их разнося по миру
В себе самом, как в лоне сокровенном —
Лишь имени для них не находя...

Вон, вон из города! Так, чтоб никто не видел,
Ты проберись,ты проскользни к кладбищу
И у могил —
У наскоро, поспешно зарытых жертв —
Остановись. И стой.
И опусти глаза.
Окаменей.
Пусть сердце изойдет, захолонув,

Слезами. Но останется сухой
Зеница ока — как в пустыне камень.
Стой и смотри.
Не порывайся в горе
могилы разрывать,
Хрипеть, метаться,
Как обезумевший и связанный на бойне
Ревущий бык. Но молча, как надгробье,
Стой и смотри:
Здесь, здесь они, кадошим,
Зарезанные, как телок под праздник,
А у тебя для них нет ни слезинки,
Ни слова утешения,
Ни вздоха.

Простите.

Простите, кости мертвые. Зайт мойхл,
Простите Богу вашему. Простите
За ваш позор вовек. За униженья.
За вашу жизнь во мгле Меня простите
И — в десять раз темнее — вашу смерть.
Когда вы завтра явитесь к престольным
Моим вратам, прося о воздаянье,
Я широко их распахну — входите,
Смотрите: ничего у Бога нет!
Я разорен — как вы. Я нищ — как вы.
Во всех мирах моих окрестных — горе.
Все небеса — кричат, вопят и воют:
«Такие жертвы, *столько* жертв — впустую?
Впустую жили *так, и так* погибли,
Не ведая зачем, ради кого?»
Окутав тучей голову, отныне
Вовеки будет плакать здесь Шехина —
От боли и позора.
Каждой ночью
Я стану сам спускаться, чтоб на вашей
могиле выплакаться...
Большой позор. Большая скорбь. Что больше? —
Быть может, ты ответишь мне, бен-одем?
Ступай. И никому не говори,
Что здесь ты зрел Меня, что был свидетель
Бессилья Моего и нищеты,
Что был ты соглядатай этой Скорби.
Ты — возвращаясь к людям — забери
Часть горя моего, толику боли,
Смешав все вместе с ядом гнева, брось
Во чрево их — живых, живых пока что...

Ты загляделся, на траву глядишь?

Привет весны, такой блаженной, юной,
Тебе наполнил сердце? Дышит зелень
В глаза тебе и опьяняет грезой
О будущей, о дальней, новой жизни?
То, человек, *могильная* трава!
Она пропахла смертью: горсть сорви
И за спиной рассыпь; закрой глаза
И так скажи при этом: «Мой народ —
Горсть сорванной травы, и разве может
Жить сорванное?..»

И бсльше не оглядываясь — прочь
Беги отсюда, к тем, кто жив еще.
Сегодня Пост. Ворвись к ним в синагогу
И затеряйся в шумном море слез...
Ты слышишь? Эти вопли — вылетая
Из сжатых ртов, сквозь стиснутые зубы —
Растерзанные мечутся и снова
Слепляются в один всеобщий крик,
Он бьется над толпою, как в падучей,
Над задранными в воздух головами,
Над лицами, изваянными болью.
И ужас пробирает — как озноб!
Так жаловаться может лишь народ
Пропавший, потерявшийся, погибший,
Народ, чье сердце — пепел, дым, пустыня,
Да! Дикою пустыней нынче стала
Его душа.
И — ни одной живой травинки мщенья
Иль ненависти зернышка.
Ты слышишь? —
Они колотят в грудь себя: «Ашамну!» [9] —
И молят,
Чтобы Я, их Бог, им отпустил грехи...
Но разве грешен черепок разбитый,
Червяк раздавленный
Иль тень на стенах? —
О чем мольба их, и зачем простерты
Ко мне их руки — а не кулаки?
Где? Где великий гром,
Который искупил бы, стал расплатой
За все их поколенья — накренил бы
Вселенную, и небо разодрал,
И опрокинул Трон — Кисэ-хаковед? [10]

— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —

Послушай, как хазан [11] заголосил:
«Яви нам милость ради убиенных!
Яви нам ради праведников-старцев!
Ради грудных зарезанных младенцев!»
А следом — люд истошно вопиет,
Так, что опоры, кровли все и стены
Затрепетали грозно, затряслись.
Но я к тебе, бен-одем, здесь останусь
Жестоким: с ними плакать не посмеешь!
А если рев звериный не удержишь —
Я удушу его в твоих устах.
Дабы, подобно им, не осквернил
Великого неслыханного горя,
Дабы вовек осталось в поколеньях
Невыплаканным...
Ты слезу свою
Похорони в себе. Глубоко в сердце
Ты замуруй ее. Ты в нем воздвигни
Из ненависти, гнева, желчи —
Крепость,
И пусть в гнезде там вырастет змея —
И напивайтесь ядом друг от друга,
Не утоляя жажды...

День придет,
День Судный — ты свое взломаешь сердце
И дикую освободишь змею!
И как стрелу, наполненную ядом,
Ее ты пустишь, алчущую пищи,
В грудь, в сердце, глубже — в сердца сердцевину
Народа твоего...

А завтра, человек, ты выйди утром
На улицы: базар живого лома!
Раздавленные люди, люди-черви,
Обрубки, перешибленные спины,
Культи, едва прикрытые, в лохмотьях,
Калеки дети, женщины-хромушки —
Как стаи саранчи к исходу лета,
Как мухи, облепившие ворота,
И двери, и пороги — тянут руки
В гноящихся разводах ран, и каждый
Показывает свой товар лицом!
Пустых глазниц кровяшки задирают
К высоким окнам — как рабы, как псы
Перед хозяином!
Грош — рана! Грош — за глаз!
Грош — за позором сгубленную дочь!
Грош — за отца!
Грош — за малютку сына!

На кладбище спешите! Прихватите
С собой мешки. Недавние отройте
Могилы, где лежат кадошим ваши,—
Набив костями нищую суму,
По свету в путь пускайтесь, по дорогам
И городам, по ярмаркам и рынкам,
И под чужими окнами хрипите,
Бродяги, ваши нищенские песни,
И клянчьте, попрошайничайте — с толком
Торгуя, как и прежде, своей плотью
И кровью, и костями...

А теперь
Беги, бен-одем! Навсегда! Навечно!
В пустыню мертвую! И там сойди с ума
И душу разорви на сто лоскутьев,
И диким псам — вот! жрите! — сердце кинь.
И пусть на камень, на горячий камень
Падет твоя горючая слеза,
И поглотит твой вопль шальная буря...

1904

Перевод ЛЬВА БЕРИНСКОГО

Примечания переводчика

Эту поэму, как и некоторые другие свои произведения, Бялик сам перевел с иврита на идиш. Но речь может скорее идти не о переводе, а о новом варианте произведения, первоначально написанного на иврите, высоким штилем библейского слога; **«жаргон»**, как в начале века называли идиш,— это язык российских и европейских евреев-ашкеназим. Русскому дореволюционному читателю эта поэма была известна под названием «Сказание о погроме» в переводе, выполненном с иврита Владимиром Жаботинским; перевод этот недавно опубликован в «Вестнике еврейской культуры»

(март — апрель 1989 г.), выходящем в Риге. Публикуемый перевод поэмы выполнен с идиша.

Поводом для написания поэмы послужили трагические события в Кишиневе в апреле 1903 г. (об этом см.: «Кодры», 1989, № 3), а документальной основой — записи, сделанные Бяликом в Кишиневе, куда он приехал сразу же после погрома. Отдельные эпизоды, описанные в поэме, совпадают с опубликованными впоследствии документами судебного процесса, а также с документальными записями других литераторов и журналистов (см., например, очерк В. Г. Короленко «Дом № 13». Собр. соч. в десяти томах, т. 9, М., ГИХЛ, 1955).

В языке идиш сохранилась значительная часть ивритской (древнееврейской) лексики, относящейся, среди прочего, к области духовно-религиозной и общинной жизни; переводчик счел целесообразным сохранить наиболее ключевые из этих слов.

Авторский (идишский) вариант поэмы основан на «ашкеназийской» (в отличие от «сефардской») системе огласовки и ударений. В транслитерации ивритских слов в данном тексте используется, таким образом, именно эта система.

[1] *Кадошим* — святые мученики.

[2] *Шхита* — букв.: резня. Также: ритуальное умерщвление животных, употребляемых в пищу. В крови, по верованиям евреев, находится дух (душа) жизни, а жизнь есть достояние Бога, Он дает ее и Он ее отнимает, поэтому человек не может проливать кровь живого существа. В каждой еврейской общине эту необходимую в быту функцию выполнял специальный резник (шойхет), которому грех сей заведомо отпускался. Этот иудаистский, а не только общегуманистический смысл вложил, очевидно, автор и в название поэмы.

[3] *Арейлим* — иноверцы.

[4] *Бен-одем* — сын человеческий, человек как родовое понятие, а не просто тот или иной человеческий индивидуум.

[5] *Перед двумя мирами* — имеется в виду мир земной и мир будущий, существование после смерти.

[6] *Возносить Гойме* — благодарить Господа за то, что отвел беду или не подверг каре.

[7] *Хасмонеи* (Маккавеи) — род, скорее семья, представители которой освободили древнюю Иудею от сирийского ига; из Хасмонеев вышли цари, первосвященники, военачальники. Здесь имеется в виду Иуда Маккавей, вождь освободительного движения во II веке до н. э.: «Он распространил славу народа своего; он облекался бронею, как исполин...» (Первая книга Маккавейская, гл. 3, 3.)

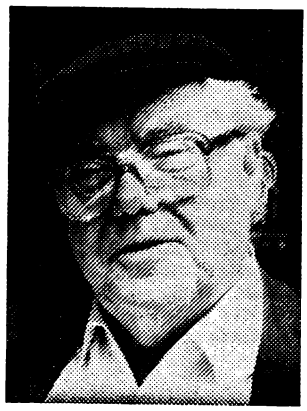
[8] *Хупа* — свадебный балдахин.

[9] *Ашамну* — «мы провинились».

[10] *Кисэ-хаковед* — Трон Божий.

[11] *Хазан* — должностное лицо общины, в наши дни — кантор, главный певец в синагоге.

Жертвы кишиневского погрома 1903 г. Снимок публикуется впервые.



МАКС ФРИШ

Швейцария без армии?

Пустопорожний разговор

Вступление и перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

После длительного перерыва вышла новая книжка Макса Фриша. Он давно уже ничего не писал (последней была повесть «Синяя Борода», вышедшая в 1982 году и в том же году опубликованная в «Иностранной литературе») и, более того, неоднократно заявлял, что писать больше не будет (хотя втайне я все же надеюсь, что он нет-нет да заносит что-нибудь в третий том своих «Дневников»). Создана новая вещь быстро (на обороте титула обозначено: «Написано в феврале—марте 1989», а в конце апреля книжка уже вышла в свет) и, по его словам, неожиданно для него самого.

Книга — диалог Фриша с внуком-резервистом (капралом, как и некогда сам Фриш) на тему, казалось бы, локальную: нужна ли Швейцарии армия. Однако «локальна» она только по материалу, в ней звучат проблемы глобальные: разоружение, гонка вооружения как мнимая гарантия мира, образ врага, социализм реальный и утопический, буржуазная демократия реальная и утопическая, выборы подлинные и мнимые, отношение к Советскому Союзу и т. д.

Диалог обстоятельный, неспешный, с пикировкой, воспоминаниями о собственной небравой военной службе, с отступлениями и паузами — у камина, за бутылкой вина, в типично фришевской манере. Это все тот же Фриш, его прищуренный глаз, отточенная мысль.

За диалогом следует обширный комментарий, или, как Фриш его называет, «толковый словарь» — язвительный, ироничный, даже саркастичный. Собственно говоря, это не столько комментарий, сколько разговор о тех же проблемах, только в другой форме, в другой тональности — жесткой, с предельно четкими оценками.

А все вместе — это как бы третья часть своего рода «военной» трилогии Фриша. Первой можно считать «Листки из вещевого мешка» (1940) — дневник капрала Фриша, призванного в армию 1 сентября 1939 года,— она впервые принесла автору широкую известность. В 1973 году Фриш вернулся к этому периоду своей жизни — в «Солдатской книжке», вступив с нынешних позиций, позиций убежденного антифашиста и антимилитариста, в полемику с самим собой — тогдашним; цитаты из этих книжек с укором зачитывает внук недовольному дедушке. И вот спустя 16 лет Фриш, подхлестнутый предстоявшим осенью, 26 ноября 1989 года, референдумом, яростными спорами о том, нужна ли Швейцарии армия, снова обратился к тому же кругу проблем.

Заметим попутно, что победу, как и следовало ожидать, одержали сторонники сохранения армии. Но результат референдума тем не менее поразительный: 36 % населения Швейцарии высказалось за отказ от содержания постоянной армии! На этот результат славно поработала и маленькая книжка Макса Фриша, оказавшаяся в самом центре этих острейших дискуссий и сама вызвавшая горячие дебаты. В короткий срок она стала бестселлером, сразу же была переведена на другие государственные языки страны — французский и итальянский, поставлена в нескольких театрах.

...Интересно, каким получился заключительный эпизод на сцене. Как у кого, а у меня сердце щемит от последних строк: старый писатель, один в пустом доме, с недоумением вертит в руках свою давнюю книгу и бросает ее в огонь... Извечная фришевская тема неизбывного одиночества шелестнула и здесь, в этих, казалось бы, сугубо политических рассуждениях и размышлениях.

Написано в феврале—марте 1989

Дени Дидро (1713—1784)
Ульриху Брекеру (1735—1798)
С благодарностью

— Дедушка, ты спишь?

— Нет.

— Я тебя спросил.

— Я смотрю на пламя.

Внук встает:

— Принести еще полено?

Старик берет штопор:

— Я думал, ты шутишь. Швейцария без армии! Об этом нечего и говорить. Почему именно Швейцария должна не иметь армии? Армии стоят миллиарды и миллиарды, но мы можем себе это позволить. В конце концов, мы ведь богатая страна.

— Дело не в деньгах.

— Ты уверен?

Старик открывает бутылку:

— Выпьешь немного?

— С удовольствием.

— Тогда принеси два стакана.

Внук приносит два стакана.

— Они собрали более ста тысяч подписей, это не шутка, дедушка, а теперь будет референдум. Ты же знаешь. Даже парламент не смог отмолчаться.

Старик наполняет оба стакана:

— И что же они сказали?

— Что об этом не может быть и речи. Армия необходима. Для защиты нашего нейтралитета и вообще. Всеобщая оборона. Правда, несколько штатских публично поставили вопрос: а что швейцарская армия в состоянии сделать?

— Ты имеешь в виду — в случае войны?

— Ясное дело.

— В будущей войне?

— Да.

— И парламент это знает?

— Это знает армейская верхушка.

Старик отпивает глоток:

— Твое здоровье!

Потом поднимает свой стакан:

— Это «енинзер»...

Внук не притрагивается к своему стакану.

— Ты все еще капрал?

— Они опять настаивают. Сам майор пишет: так полагается. Как только получу диплом, я должен поступить на офицерские курсы.

— А почему бы нет?

— Ты считаешь, ради карьеры?

— Или ты хочешь уехать из страны?

Внук отпивает глоток:

— Если швейцарская армия будет ликвидирована, то не в результате референдума, Йонас, это я могу тебе сказать, а в результате войны.

Старик отпивает глоток:

— Тебе нравится это вино?

Старик рассматривает этикетку:

— Не знаю. Откровенно говоря. Даже если я когда-нибудь уеду в Америку, Швейцарию без армии я не могу себе представить.

— А кто требует, чтобы ты мог?

— Вот Дюрренматт может.

— Дюрренматт духовидец.

— Биксель не может себе этого представить.

— Петер Биксель — поэт и человек, который торчит в кабаках, говорит с людьми, умеет и слушать. Он-то знает, до чего нашему народу нет дела.

— А ты, дедушка?

— Не повторяй все время «дедушка».

— Я не понимаю твоей логики! С одной стороны, ты тоже не веришь, что армия может защитить страну в будущей войне, и заявляешь об этом даже публично. Тем не менее ты хочешь, чтобы я стал лейтенантом, то есть чтобы у нас была армия и чтобы мы вооружались, и так далее...

— Логика!

— Вразуми меня.

— Референдум тебя вразумит [1]*.

— Да, еще как, я знаю.

— Швейцарская армия не угрожает миру на земле. Почему же нам не покупать немецких танков «леопард» или не изготовлять их по лицензии? Это создает рабочие места. С этим ты должен согласиться. И почему бы не американские истребители-перехватчики? Зато и наша промышленность получает право кое-что экспортировать, что опять-таки создает новые рабочие места. С этим ты тоже не можешь не согласиться. Рабочие места и для иностранных рабочих. Не угрожая миру на земле, как уже сказано...

— ...и ничего не делая для мира на земле.

— Я тебе вот что скажу: если бы наступил настоящий мир, это скорее всего тоже было бы опасно. Почему нам нужна «холодная война»? При подлинном мире блекнет испытанный образ врага, а это может внезапно поставить под угрозу ассигнование миллиардов на вооружение. И потому наша армейская верхушка невысокого мнения о так называемых мирных инициативах, она мыслит реалистически: швейцарскую армию сохранит от ликвидации не мир во всем мире, а не-война.

Внук встает:

— Значит, мне надо стать лейтенантом!

— Почему бы нет?

— Я тоже считаю.

— Что ты тоже считаешь?

— Это не представит угрозы миру...

Внук стоит перед книжными полками и что-то ищет.

— Я рад твоему приезду, Йонас.

Внук листает синюю книжицу.

— Что ты там ищешь?

— Подожди минутку, дедушка.

— По вечерам я наслаждаюсь камином, если он не дымит. Наш камин слишком велик, это мне и тогда говорили: при таком большом проеме тяги не будет. Я снял старый дымоход. Сплошная ржавчина. Но нам нравилось — проем такой большой, что там почти стоять можно. Но они были правы, мне понадобилось семнадцать лет, пока я не научился укладывать длинные поленья так, чтобы не дымило...

— Я тебе кое-что прочитаю, дедушка.

— Что же?

— Ты послушаешь?

— Да, только не слишком длинное.

Внук стоя читает:

«Противоречие, будто армия, существую-

* Цифрами отмечены прилагаемые комментарии автора.

щая для защиты демократии, по своей природе антидемократична, лишь кажется противоречием до тех пор, пока веришь заверениям, будто она защищает демократию, а этому я в те годы верил».

Внук показывает название книги:

— Это писал ты, дедушка.

Старик наполняет свой стакан.

— «Солдатская книжка». 1974. Издательство «Зуркамп».

Внук продолжает стоя листать.

— Пожалуйста, не читай дальше!

— Ты отказываешься от собственных книг?

Внук читает открытую наугад страницу:

«Кто считался прежде, как и теперь, истинным швейцарцем — есть вещи, делать которые истинному швейцарцу не пристало,— его отличительные черты не в том, что он черноволос или рус, остроголов или круглоголов и т. д., истинный швейцарец может выглядеть по-разному. Ему не обязательно быть гимнастом, снайпером, борцом и т. д., но ему свойственно нечто здоровое, нечто мужественное. Он может быть и растолстевшим трактирщиком, но его образу мысли присуще здоровое начало. Чаще всего он кажется человеком солидным, хозяином, который и от своего помощника может требовать, чтобы тот был истинным швейцарцем. Что это такое, истинному швейцарцу объяснять не нужно. Он сам считает себя таковым. Истинный швейцарец может быть и человеком тщедушным, пригодным лишь для нестроевой службы. Дело не в чине, нет, чин ни при чем. Истинный швейцарец может быть и в гражданском платье, например, в своем трактире за столом завсегдатаев. И не в доходах дело. Истинный швейцарец может быть банкиром, но это вовсе не обязательно; и привратник может быть истинным швейцарцем, и учитель. Тот, кто еще не знает, что такое истинный швейцарец, уж во всяком случае узнает это на военной службе. Истинных швейцарцев большинство... Есть и швейцарки истинные, но истинный швейцарец лучше себя чувствует среди мужчин. Хотя не только поэтому армия ему по душе. Нельзя сказать, что каждому истинному швейцарцу военная форма к лицу; как правило, она больше к лицу офицерам».

Внук смеется:

— По-моему, это забавно, дедушка.

— Есть книжица, еще более трогательная, она написана пятьдесят лет назад: начало второй мировой войны, ты это проходил в школе, мобилизация швейцарской армии [2]...

— Ты ведь участвовал в этом?

— Пятьдесят лет назад...

— Юбилей готовится с размахом [3].

Старик молчит.

— Ты разве ничего не знаешь?

Старик наполняет стакан:

— Поговорим о чем-нибудь другом!

Пауза.

— Йонас, ты теперь ездишь на «хонде»?

Внук садится у камина:

— Дедушка, на что ты тогда надеялся?

Старик молчит.

— Уж не надеялись ли вы, что, захватив Польшу и Голландию, а потом и Францию, гитлеровская армия не решится переступить за Рейн, потому что там стояли вы со штыками и в касках?

— Я был в Тессине.

— Почему тебя злит мой вопрос?

— Потому что известно, Йонас: входная плата! Никто от нас не ожидал, что мы разобьем наголову гитлеровский вермахт, но швейцарская армия установила такую, так сказать, входную плату, которая Гитлеру была не по карману.

— Так оно и было.

Внук кашляет и смеется:

— Теперь все-таки дымит!

Старик встает и открывает дверь.

— Ты не боишься сквозняка?

Старик тоже кашляет.

— На дворе дождь...

Внук сидит и листает книжку. Старик закрывает дверь, возвращается к камину, стоит:

— Принесешь еще полено?

— Тут есть же еще одно, дедушка.

Внук продолжает листать:

— Я не хотел тебя злить. Sorry! * О том, что Швейцария избежала вторую мировую войну благодаря нашей армии, об этом нам твердят еще с детского сада.

Старик берет кочергу, наклоняется и старается размешать угли так, чтобы они не дымили,— это ему удается. Юноша читает:

«Первые сообщения нашего радио о победах немецкого вермахта — я их не слышал, был как раз в кухонной команде, которая доставляла котлы с супом и мешки с хлебом; солдаты подходили со своими котелками злые и молчаливые, только когда их спрашивали, они зло смеялись: немцы издавна слыли большими хвастунами. Быстрый разгром Польши был неприятен, но Польша далеко. А потом еще более быстрый разгром Голландии и Бельгии; но в Голландии и Бельгии нет таких гор, как у нас. Мы понимали, что немецкий вермахт нельзя будет остановить на нашей границе, никто подобного не утверждал, ни один лейтенант, ни один капитан; в этом отношении у нас не было иллюзий. Но мы бы сражались. Заявлений на этот счет не требовалось; это разумелось само собой, вытекало из швейцарской истории; с заявлениями такого рода обращались не к нам, а к Гитлеру, если он строил себе иллюзии. Иначе зачем бы проводить учения днем и ночью. Франция оккупирована, и вдруг немцы под самой Женевой. Но мы сражались бы. От контрудара к контрудару, пока были бы под защитой гор. Новая концепция: укрепления».

Внук листает дальше:

— Когда ты написал эту книжицу?

— До Чернобыля.

Старик подкладывает полено:

— Это каштан, он горит медленно...

Старик наполняет свой стакан:

— Йонас, ты совсем не пьешь...

— Спасибо.

Внук делает небольшой глоток:

— И какой же была бы «входная плата»?

Старик делает большой глоток:

— Это лучший «енинзер»...

Внук читает:

«Те четыре бункера... Плоский зеленый луг, кое-где яблони, открытая местность. Дальше, на другой стороне, может быть,— лес. Вид с самолета: на этом открытом и зеленом подносе четыре глинисто-желтых сооружения, конфигурация которых сама себя выдает; бункеры готовы, одна бетоно-

* Прости! (*англ.*) (Отмеченные звездочками постраничные примечания — переводчика.)

мешалка еще на месте, на бункерах свежая земля. Мы уже знали повадки немецких пикирующих бомбардировщиков: без долгих поисков, четырех пикирующих налетов достаточно. Мы бы предпочли расставить свои четыре орудия под яблонями, а еще лучше в лесу. Но мы, конечно, не вправе что-то предлагать. К чему бы такое привело? Позднее, оказавшись как-то вдвоем с капитаном в маленькой командирской палатке, я спросил, как он оценивал нашу тогдашнюю позицию; мы уже находились в другом месте, поэтому можно было об этом говорить. Смешно, он знал, что нас наверняка уничтожили бы, прежде чем наша батарея с ее скромной дальнобойностью увидела хотя бы одну цель».

— Зачем ты это читаешь?

— Увлекательное чтение.

— Швейцария без армии — это немыслимо, Йонас, наше население верит в свою армию еще со времен Наполеона.

Внук продолжает листать.

— Оставь, наконец!

Внук читает:

«Май 1940-го, ночью, когда мы ожидали немецкого нападения, телефонная команда, прокладывая линию, вышла на Мутшелленское шоссе, которое ведет от Цюриха в глубь страны; затемнение, машины с синим светом, колонна частных машин из Цюриха; один из нас встал с карманным фонариком на дороге и спрашивал штатских: куда вы? Он развлекался тем, что каждому светил в лицо: куда? Они были бледны и покорны, нервничали, словно при переходе границы. Один говорил, что у него дачный домик на Тунерзее, у другого родственники в Эмментале, еще у одного дачный домик и т. д. Цюрих мы будем защищать, говорил наш вояка с карманным фонариком и тяжелой связкой кабеля на спине, для того мы и здесь. Другой серьезно: моя жена тоже торчит в Цюрихе, боже мой. Машины тяжело нагружены, чемоданы, сумки, меховые шубы, даже люстры, скатанные ковры на крыше... Я негодовал. А этот, с карманным фонариком, с тяжелой связкой кабеля на спине, был практичнее меня: слышь, у них есть дачные домики! А у нас нет».

Старик смеется:

— Так было прежде: дачный домик под Гриндельвальдом или в Валлисе, теперь не то. Они это знают. Наши промышленные заправилы, если дело дойдет до всеобщей обороны, укроются в своих убежищах в Канаде.

— Это правда?

— У клана Рокфеллеров тоже есть такое убежище, серьезно, в прекрасном месте на Карибском море и, говорят, защищенном от радиации.

Внук поднимается и идет к окну:

— Можно?

Внук открывает окно:

— Что меня интересует, дедушка...

— Кому из нас придется ехать в Канаду?

— Дедушка, я говорю серьезно.

— Это серьезно. Задача всеобщей обороны: сохранить швейцарскую промышленность до той поры, пока швейцарская территория не станет снова обитаемой и превратится во внутренний рынок.

— Что сказал генерал Гуизан на Рютли?

— Точно никто не знает, даже профессор Эдгар Бонжур, я сам у него спрашивал. А он ведь изучал это как историк по поручению Конфедерации. Известно одно: генерал Гуизан созвал тогдашних руководителей армии, чтобы объяснить, что и после перемирия во Франции мы дадим отпор любому нападению. Да, это был исторический момент, там, на историческом лугу под горой Рютли. А что он сказал — протокола нет.

— И пленки нет?

— Нет.

— И стенограммы?

— Ничего нет.

— Странно.

Внук закрывает окно.

— Профессор Бонжур говорит, что он в Лондоне добрался до архивов, в Лондоне никаких препон нет, не то что в Берне. Видимо, в Берне скорее хотят к нынешнему юбилею выпустить альбом, а не заниматься историографией.

Внук садится:

— Ты тогда верил в укрепления?

— Знаешь, Йонас...

Старик отпивает глоток, внук снова берет книжицу в руки и, по-видимому, ищет какое-то место, пока старик говорит:

— Гитлеровская армия под Ленинградом, гитлеровская армия на Атлантике, тут уж мне, рядовому артиллеристу, остается только радоваться, что мы еще держим оборону наверху, на Лукманире или на Фурке, которые Гитлеру вовсе не нужны. Сколько зим ты выдержишь, если знаешь, что офицер вермахта живет у твоей жены в Цюрихе, два или три твоих друга, по всей вероятности, в концлагере, все остальные вкалывают на благо третьего рейха, в то время как мы тут, наверху, занимаем свою позицию: защитники сурков. Смелая идея — эти укрепления.

Внук листает, старик говорит:

— Конечно, союзники снабжали бы нас. У них ведь были парашюты, а немецкая военная авиация наверняка побоялась бы наших гор. И мы бы говорили друг другу: нам ничего не остается, кроме как выстоять,— пока в руках врага вся местность, и города, и деревни, вся швейцарская промышленность, да еще и жена. Но мы, парни в маскировочной одежде, обхватим руками накрест плечи, если холодно, будем экономить продукты и боеприпасы в пещерах и целые годы верить, что представляем собой опасный фланг — для немецкого вермахта между Атлантикой и Одессой... Не знаю, как долго мы могли бы в это верить, мы, рядовые артиллеристы, слесари или студенты, бензозаправщики или мясники, и наш капитан, любивший приходить на перекличку с прутиком, которым похлопывал как хлыстом по сапогу, хотя в нашей батарее не было лошадей, после армии он стал начальником отдела кадров Сандоца *...

Внук нашел нужное место и читает:

«Как-то, в 1943 году, к нам прибыл генерал Гуизан. Я однажды видел его, еще до того, как он стал генералом, во время доклада в Федеральном техническом университете. Теперь он стоял на снегу: роста меньшего, чем можно было представить себе по известному поясному портрету. Мы были взволнованы: никакого парада; он прибыл, чтобы проверить нашу лыжную подготовку.

* Химическое предприятие в Базеле.

Из верхней части Самедана. На нем были снегозащитные очки. Мы ждали у склона, готовые к старту. Длилось это довольно долго, но мы все равно были взволнованы; перед нами ведь был действительно он, наш Генерал, чей поясной портрет висел во всех трактирах и учреждениях. Холодный зимний солнечный день. Каждый из нас должен был проехать перед человеком, давно уже принадлежавшим истории Швейцарии, сделать поворот в упоре, дело нехитрое при хорошем снеге, а снег был хорош».

— Ты считаешь это забавным?

— Я не это место имел в виду...

— Это было до Сталинграда.

Внук находит нужное место и читает:

«14.8.1940, то есть меньше месяца после «Доклада на Рютли», генерал Гуизан ходатайствовал перед Федеральным советом, чтобы направить в Берлин делегацию во главе с министром К.-Я. Буркхардтом: "pour tenter un apaisement et instituer une collaboration *". Федеральный совет не дал согласия».

— Все-таки.

— Генерал верил в свои укрепления?

Внук откладывает книжку:

— Теперь почти не дымит.

— Потому что хорошо горит.

— Ты помнишь вахмистра из этой книжечки, в мае 1940-го, когда ожидалось вторжение немецких войск?

— Жив ли он еще?

— Он когда-нибудь читал твою книжечку?

— Мы его любили.

— Ты так и пишешь.

— Он был фермером, кажется, из-под Берна, покрепче всех нас, упрямец; но когда приходилось туго, он собственноручно брался за дело... Я помню, как он стоял в тот вечер за сараем. Перекличка посреди дня, неожиданная. Наш капитан сказал, что наступление немецких войск предположительно начнется в четыре часа утра. Так что надо побриться и отдохнуть. Никаких вылазок в трактиры. То есть отдыхать здесь, на лугу. То есть полная боевая готовность. И вот мы торчали все на месте, за исключением двух мотоциклистов, тайком унесшихся в Цюрих к своим женам. Ложиться спать в сарае было еще слишком рано. Слишком светло, слишком красиво: луга, куры, деревья в цвету. Он уже около часа стоял в стороне, и я подошел к нему. Слышал ли он меня вообще? Спустя какое-то время он сказал: если они придут, я застрелюсь!

— Ты думаешь, он это сделал бы?

Старик коротко смеется:

— Торжественный это был момент.

— То есть?

— Цементная труба под небольшой яблоней, я сижу на ней, уткнувшись локтями в колени, уставившись вдаль, на поля. Вон он, значит, где наступит — конец. И что же мне пришло в голову? Море!

Старик наполняет свой стакан:

— Понятия не имею, откуда тогда взялся в сарае шнапс, на соломе спали совсем немногие.

— И ты считаешь, что армия сражалась бы.

— Да, конечно, большей частью...

Старик не пьет, размышляет:

— Мой брат был старшим лейтенантом. Молодой химик, кандидат наук, тут уж на Сандоц или Гайги * не попадешь, будучи рядовым артиллеристом. А Францу надо было содержать нашу мать. Он был не очень здоровым человеком, тем не менее он не хотел освобождаться от военной службы. Франц — офицер! Он был женат на польской еврейке. Ты знал ее? Его батарея имела современные гаубицы, в отличие от нашей [4]. Лишь после победы союзных держав он мне сказал: до 1943 года, то есть до Сталинграда, за их офицерским столом, если рядом не было ординарцев, постоянно обсуждали, надо ли в случае необходимости обеим батареям давать приказ действительно стрелять. Кое-что в гитлеровской Германии иным офицерам вовсе не претило. Так что восемь гаубиц были в полной боевой готовности, и никто не знает, кто бы еще мог в случае реальной опасности сохранить спокойствие [5].

Старик осушает свой стакан:

— Уверен, наша батарея на Мутшеллене сражалась бы до первого дневного налета пикирующих бомбардировщиков [6].

Пауза.

— Когда ты узнал о концлагерях?

Старик берет в руки книжицу:

— Тут, кажется, есть об этом.

Старик листает:

— Куда опять подевались мои очки?

— Я думал, ты и слышать не хочешь об этой книжке, а то бы еще почитал тебе.

Старик находит свои очки:

— Где-то тут есть об этом.

Старик листает туда-обратно:

«Речь к швейцарскому народу (25.6.1940) одного из федеральных президентов, уже обратившего свой нейтральный прозорливый взор на Новую Европу Адольфа Гитлера, я тогда пропустил мимо ушей».

Старик листает дальше:

— Звали его Пиле-Голац...

— И ты еще жалуешься на свою память!

— Не путать с Филиппом Этгером, тоже в то время членом Федерального совета. Он выступал за то, чтобы Красный Крест не протестовал против концлагерей,— о них уже было известно. Но и его не надо путать с Джузеппе Мотта, тоже членом швейцарского Федерального совета: он признал диктатуру Франко еще до того, как Мадрид пал...

Старик читает:

«30.8.1942. После трех лет войны в Швейцарии находятся 9600 беженцев. Член Федерального совета фон Штайгер, ответственный за швейцарскую политику в отношении беженцев, заявил в евангелической церкви одной земельной общины: «Лодка полна».

— Я уже слышал об этом.

— 9600. Столько, сколько на среднем футбольном матче.

Старик читает:

«9.1.1944. Эдда Чиано, дочь Муссолини, нелегально перешла со своими детьми швейцарскую границу. В политическом убежище ей было отказано, но страну она покинула только после войны».

— Это тебе не курдская семья.

«12.7.1944. Ведающий делами переселенцев департамент издал новые распоряжения касательно приема беженцев; впервые евреи

* Для умиротворения и установления сотрудничества (*франц.*).

* Гайги, как и Сандоц,— крупные химические предприятия.

признаны беженцами как люди, поголовно подвергающиеся опасности».

— Когда это было?

— После того как в газовых камерах были уничтожены первые миллионы.

Старик читает:

«6.2.1945. Федеральный совет заявил немецкому правительству протест против массового уничтожения евреев и дал разрешение на въезд 1200 евреев из концентрационного лагеря Терезиенштадта».

Старик перестает листать:

— Их можно было увидеть на Шульском вокзале, наши санитары выдавали им горячий суп или по крайней мере пытались это делать, у некоторых заключенных он проливался прямо в штаны.

Старик снова листает, читает:

«Что касается заключенных, то о директивах относительно того, кому предоставляется право политического убежища, а кого отсылают обратно через границу,— об этом нас не информировали. Наша задача — быть справными на марше и постояно ухаживать за походной обувью, даже в отпуске».

Старик захлопывает книжку:

— Не могу найти это место!

Старик встает и ставит книжку на место:

— Память, Йонас, память!

— Слабеет, говоришь?

— Напротив, Йонас. Один старый друг в Париже,— но ты ведь не знаешь художников, даже швейцарцев,— он был санитаром швейцарской армии. Тогда. Стало быть, сейчас ему лет семьдесят. И вот на днях в Тобельхофе, за кислой капустой и ливерной колбасой, он вдруг рассказывает, что́ видел, будучи ефрейтором санитарной службы, на своем посту — полвека назад, в 1941 году, на рейнском мосту. Мы знаем друг друга тридцать лет, я при случае тощу у него, но никогда еще Готфрид не рассказывал о своей военной службе. А сейчас вдруг без всякой связи: со своего поста он видел, как несколько евреев пытались переплыть Рейн, чтобы бежать от СС. Рейн под Базелем не ручей, тут Вальтер Беньямин не добрался бы и до первого мостового быка, и маленькая Аина Франк тоже. Но в ту ночь одному из пловцов это удалось. Трудно поверить. И когда коричневый водоворот не оторвал его, как остальных, от мостового быка и он сумел удержаться, он, конечно, решил, что спасен. Разумеется, он знал: «Переход строго запрещен». Готфрид — санитар, без оружия — ему не положено стрелять. И это, видимо, прибавило еврею сил, ему действительно удалось доплыть до самого швейцарского берега, где он ухватился одной рукой за какой-то выступ. И держался некоторое время, говорит Готфрид, и тут на берегу появился лейтенант, швейцарский лейтенант, который знал приказы, они были известны, эти приказы, он наступил каблуком своего сапога на четыре окоченевших пальца и пошел себе. Бултых! Вероятно, молодой еврей утонул — еще до тех мест, где Рейн становится немецким.

Старик садится к камину:

— Поговорим о чем-нибудь другом.

Внук наполняет свой стакан:

— Дедушка, правда ли, что ты больше ничего не пишешь? Кроме писем. Я хочу сказать: романов, дневников?

— Да, правда; уже много лет.

— А стихов ты никогда не писал?

Старик пожимает плечами и молчит.

— А что же ты делаешь, когда нельзя работать в саду, потому что идет дождь, и телевидение здесь можно принимать только швейцарское?

— Читаю...

Внук замечает книгу на подоконнике:

— Дени Дидро.

— К примеру.

— А как это сегодня читается?

— Сейчас я читаю Ули Брекера.

— «Жизнь и приключения бедняка в Токенбурге».

— Он описал битву лучше всякого историка: как дезертир, который кое-что понял...

Старик берет из корзины газету:

— Да, еще газеты, их я тоже читаю.

Старик читает:

«Наиболее частой причиной смерти (30 %) швейцарцев в возрасте от 20 до 34 лет является самоубийство... Увеличение доли самоубийств среди молодежи ученые объясняют, в первую очередь, усиливающейся необходимостью приспосабливаться... Кроме того, ныне молодые люди испытывают гораздо больший страх, что они не смогут стать полноценными членами общества».

— Тридцать процентов — это слишком много.

— В той же газете от того же числа крупный заголовок: «Подъем швейцарской промышленности продолжается». Радостное сообщение, если принимать его вне связи с предыдущей информацией этой газеты.

Старик откладывает газету и зевает.

— Дедушка, ты устал.

— О чем мы говорили?

— О нашей армии.

Старик снова зевает:

— Я говорю об армии, которая проводит на нашей территории маневры, состоя на службе у швейцарских финансовых воротил и их офицерского корпуса [7], а ты говоришь о «нашей армии»...

Внук берет кочергу:

— Опять дымит!

Внук возится с кочергой:

— Ты сказал, что лично знаком с Хельмутом Хубахером, а он сторонник обороиой доктрины.

— Как все, Йонас!

— Ты тоже?

— Вопрос только в том, как защищать Швейцарию, да и ие все из нас имеют в виду одну и ту же Швейцарию... Знаешь, Йонас, чего бы я пожелал себе вместо следующего большого военного парада: чтобы во всей стране был обычный будний день или, скажем, неделя, налогоплательщикам это ничего не стоит, да, это должна быть неделя под девизом: «Граждане в военной форме». Сегодня, допустим, в отъезде Кристоф Блохер [8], и вот уже не хватает одного полковника, завтра в отъезде другой высокий чин нашей страны, в среду и в четверг конференция на Уолл-стрите или в Стамбуле. Да и в одну иеделю, боюсь я, вряд ли возможно провести милицейский парад со всеми директорами и президентами, пригодными к военной службе. Но вот чего хватает: одних майоров там и сям, это ведь не ключевые фигуры в хозяйстве, скорее предприниматели в регионах, или руководители филиалов, или менеджеры, не забудем еще капитанов, армии требуется их много, командиры рот, работающие в школьной администрации или ад-

вокатами, или еще кем-то, конечно, не крановщиками, скорее уж прокуристами или завкадрами. И вот так во всей стране в течение недели, ничего больше, просто пригодные к военной службе швейцарские граждане появляются на рабочих местах в своей военной форме. Ничего больше. Что ты об этом думаешь? И все это безо всяких военных ритуалов. Всё как всегда: Петер Штудер, например, руководитель вот этой газеты, сидит в своем офисе, как обычно, когда дает указания своим редакторам и корреспондентам,— в мундире полковника [9]...

Внук встает:

— Дедушка, я принесу дров.

Внук идет в подвал.

— Через неделю я тебе позвоню, и ты мне скажешь, что ты об этом думаешь. Ты меня слышишь? Ты мне скажешь, насколько наши командные кадры в хозяйстве, в промышленности, в прессе и в высших школах совпадают с нашими офицерскими кадрами, и мы подумаем, чья она лейб-гвардия, эта армия...

Внук приносит большую охапку дров.

— Спасибо, Йонас, спасибо.

— Береза. Каштан. А это что?

— Бузина, наверное.

Внук засовывает в камин большой сук.

— Защитный цвет — испытанный цвет сукна, защитный с золотом в виде нашивок и дубовых листьев. Разве это причина для того, чтобы упразднить всю армию с ее арсеналами, и окопами, и казармами, и ангарами — со всем, что там имеется? Сукно и без того найдется... Что я хотел сказать, Йонас?

— Не знаю.

— Они не боятся войны. Поверь мне! Им не хватает мужества, чтобы бояться. Они просто беспокоятся за свою власть. А они ведь держат все поводья в своих руках. Прямо-таки параноидальный клуб какой-то. Может быть, ты знаешь, почему это Швейцария постоянно чувствует себя под угрозой? Куда ни повернешься, слышишь одни страхи, как бы их хитрости не разгадали, видишь метастазы бьющего через край изобилия... Я что хотел сказать...

Внук смотрит на наручные часы.

— Будь я в твоем возрасте, Йонас, я бы уехал.

Старик смотрит на пустую бутылку:

— Откроем еще одну?

— Я ведь за рулем, дедушка.

Старик убирает пустую бутылку:

— Почему нужно упразднить армию?

— Почему ее нельзя упразднить?

— Ее невозможно упразднить, Йонас.

— Зачем же тогда всенародный референдум?

— Он укрепит нашу веру, будто есть демократия, и армия ее защищает... Подумай, Йонас, что соединяет в единое целое нашу милую Швейцарию? Как особое явление [10]. Швейцарских французов и Цюрих, тессинцев и Берн, не говоря уж о Юре. Швейцарская федеральная железная дорога, какой бы надежной она всегда ни была, и единые во всей стране почтовые марки еще ведь не делают нацию нацией. И благосостояние тоже. Богатым ты можешь стать и будучи немцем или американцем и так далее. У нас есть государственный флаг, конечно, и ты повсюду видишь его: на гостиницах, и на казармах, и на пароходах в воскресенье, и на всех банках, когда в Цюрихе проходят юношеские соревнования, и во время физкультурных праздников, и на олимпиаде среди множества других флагов. Так-то оно так. Но большой верой этот нарядный флаг не осенен. Если дойдет до дела, то мы окажемся просто нацией лыжников. Да и то зимой [11]. Веры в историческое предназначение, связывающей нас в единую нацию,— ее и в помине нет. Все, что приходит им в голову в связи с будущим, это оборона! оборона страны! всеобщая оборона!

— А что же скрепляет эту Швейцарию воедино?

— Именно армия: как традиция.

Внук осушает свой стакан и молчит.

— Я опять слишком много говорю?

Внук заглядывает в свой пустой стакан:

— Армия как традиция!..

Внук относит стакан на кухню.

— Йонас, а что ты имеешь против традиций?

— Я думаю, есть другие традиции. Знаменитая масленица в Базеле, а в Люцерне масленица празднуется иначе, в Граубюндене свой Calanda Marz, или как он там называется, у Цюриха свой шестизвон [12] с юношескими стрелковыми соревнованиями в придачу, в Берне свое.

— А в Аппенцелле общинное собрание.

— Так что недостатка в традициях нет.

— Но по себе ли женевцу на базельской масленице и что тессинцу до цюрихского шестизвона? А армия — традиция для всех.

— И потому нет Швейцарии без армии!

— Армия как традиция — и на случай, если дело дойдет до полного банкротства. Во всемирном масштабе. В нашем столетии такое уж случилось однажды. Кто расплачивается за банкротство? Безработные и арендаторы, выброшенные на улицу, и пенсионеры у себя дома или Старший брат: швейцарские банки? Армия покажет, кто тут хозяин. Как в 1918 году.

— Дедушка, это же мемуары [13]!

Пауза.

— Йонас, в чем я должен тебя убедить?

В деревне бьют часы. Тишина. Еще один удар.

— Ты прав, такое уже было однажды: красная чернь с поднятым кулаком. Те, что сегодня толпятся и скучают под аркадами в Локарно, отменно одеты. И зачем они глазеют на витрины! У них ведь все уже есть. И точно такое, как в витрине: à la mode. Но они останавливаются перед любым выставленным товаром. Как по принуждению. Даже те, кто знает, что никогда не займется катанием на водных лыжах или нырянием, все равно рассматривают инвентарь, приценяются. Как по приказу. Потом они стоят перед витриной с часами, которые у них уже есть, или с ювелирными изделиями. Они уже наелись. Их беда — покупательная способность есть, а Великого Желания нет, они дуреют от товаров и каникулы свои проводят у нас, содействуя нашему экономическому процветанию.

Внук молчит.

— Ты собираешься уходить?

— Будь все так, как ты рисуешь, тогда эта армия сплошной обман — так ты не говоришь, дедушка, но ты говоришь, что наша армия, в сущности, предназначена для использования внутри страны.

— А это и есть всеобщая оборона.

— Извини, дедушка, но это чепуха.

— Я слушаю.

— Для лейб-гвардии буржуазии, в твоем представлении, достаточно иметь бронетранспортеры, пулеметы, может быть, минометы и тому подобное, несколько дюжин легких самолетов вроде тех, что Пиночет пустил в ход в своей стране, и вертолеты, да, вертолеты нужны...

— И экипажи, которые повинуются.

— Я считаю...

— Йонас, ты знаешь военную присягу?

— Я считаю, что для лейб-гвардии швейцарская армия вооружена сверх всякой меры, дедушка, с этим ты, пожалуй, не можешь не согласиться.

— Я, пожалуй, и согласен.

— Зачем эти танки-«леопарды», новые американские истребители-перехватчики, на которые тратятся миллиарды и миллиарды, зачем это сверхвооружение?

— Хороший вопрос.

— Зачем?

— Чтобы никто в стране не заметил, для какой цели эта швейцарская армия на самом деле нужна. Народ не обманешь Федеральной охранной полицией, какой ее хотел бы видеть бундесрат Фурглер. Вот и не обойтись без сверхвооружения армии, Йонас, для того чтобы ты не посчитал ее Федеральной охранной полицией.

Пауза.

— Подложить еще полено, дедушка?

— Ты смеешься...

— Да ну вас с вашей Швейцарией!

Внук смеется и потягивается:

— Меня интересует информатика.

— Все остальное ты считаешь устаревшим.

— Знаешь ли, я еще не ветеран.

— Надеюсь, Йонас.

— Меня интересует информатика.

Внук еще раз потягивается.

— Твое поколение мыслит глобально. Ты тоже так думаешь? Информатика — дело глобальное. Швейцария без армии или армия без Швейцарии — что тебе до этого! И тем не менее ты говоришь: «Наша армия».

— Так она ведь называется...

Внук засовывает в камин полено.

— Йонас, что тебя раздражает?

— Патриотизм.

— Чей патриотизм?

— В том числе и твой, дедушка.

Пауза.

— Да ну вас с вашей Швейцарией...

Пауза.

— Йонас, дымит.

Внук берется за кочергу:

— Твое подозрение мне кажется необоснованным. Может быть, они там, в военном руководстве, действительно убеждены, что смогли бы своей армией защитить народ, если у нее будет мощное вооружение.

— Оно у нее и есть.

— В конце концов они ведь военные специалисты.

— И члены правлений.

— Зачем им обманывать самих себя?

— Не спорю, их фуражки, что висят в гардеробе, вот как я на днях видел в отеле «Адлер», эти высокие и пустые фуражки с золотом чем-то даже умиляют. Я случайно забрел в рыцарский зальчик — головы сплошь, как в каком-нибудь совете правления, все господа в мундирах, но без шпаги и без тугого жесткого воротника того рыцаря на коне, что победил безоружную чернь в Цюрихе. Когда-то. Один из них поздоровался со мной, солидный архитектор, впрочем не плохой и не хороший, знакомый, который застроил уже пол-отечества. Я тоже кивнул. А какой-то бригадир посмотрел на меня так, словно я принимаю его за бригадира Деникера [14]...

Внук вешает кочергу на место.

— И что же тебя умилило?

— Знаешь, мальчишкой я собирал картинки с изображениями городов Моргартен и Земпах, насобирал целый альбом, то была реклама шоколада, я их очень любил. Все это давно уже было, Моргартен, и Земпах, и Санкт-Якоб на Бирсе, да и Мариньяно. Достаточно ли этого для того, чтобы считать необходимой армию в наши дни? Мы ведь даже поражения не пережили, как польская армия, как голландская армия, французская, русская или армия гитлеровская, итальянская армия, японская,— я даже немножко сочувствую нашему офицерскому корпусу, страдающему оттого, что об его армии не сотворишь легенду.

Внук кашляет и открывает окно.

— Не простудись, Йонас!

Старик остается в кресле.

— Возможно, без наших позиций на Мутшеллене немецкие войска легко и просто вошли бы к нам. За одну ночь. Даже недели не понадобилось бы, как в Голландии и Бельгии... А может быть, Гитлер подумал, что нашу промышленность, будь она в немецких руках, бомбили бы, как Рурскую область, и не только Оэрликон, зато вся швейцарская промышленность будет надежнее его снабжать, если он не тронет швейцарскую армию. Иной раз нейтралитет приносит другим и выгоду. Да мы бы ведь тотчас взорвали Готард, да-да, я не мелю чепуху, Йонас: однажды твой дедушка, то бишь я, лично закладывал взрывчатку на Чертовом мосту в ущелье [15]. Собственноручно. Ты когда-нибудь обращал внимание на гнезда в быках, высоко над бурлящим Ройсом и на узкую лестницу к ним? Обращал?

— Нет.

— Ветеранские россказни...

Старик взмахивает рукой. Пауза.

— О чем мы думаем, Йонас!

Старик встает и смеется:

— Да, это было как в альбоме. Мы охраняли участок дороги на Готард, под Амстегом, там была маленькая электростанция, или в Тессине: с карабином в руке, знаешь, невзирая на пургу. Как в альбоме для швейцарской семьи. Так оно и было на самом деле. Мы гадали, что же там катится и катится в этих длинных товарных составах, главным образом ночью, в Италию. Рурский уголь? Но мы не ломали себе головы. Швейцария зависела от милости держав «оси», которым нужен был наш Готард. А когда началось вторжение в Сицилию, то в этих длинных составах, наверное, была и военная техника. Немцы оборонялись там, внизу. Монте-Кассино! Возможно, иной раз поезда везли немецкие войска, а мы охраняли их ночные рейсы на юг, с карабинами в руках,— стоило каштану упасть на землю и с треском лопнуть, как мы немедленно ставили карабины на боевой взвод: стой,

кто идет! — в духе нашего вооруженного нейтралитета [16].

Старик закрывает окно:

— По-моему, стало прохладно.

Старик возвращается к камину:

— Посидим уютно...

В камине потрескивает.

— Стало быть, ты изучаешь информатику?

— Я тебе это уже говорил, дедушка. Надеюсь, получится что-нибудь путное. Знаешь, я хотел бы на два семестра поехать в Калифорнию...

Звонит телефон.

— Ты подойдешь, дедушка?

— Нет.

— Мне подойти?

— Нет.

Телефон звонит и звонит.

— Тебя разве опять ругают?

— Когда-нибудь он замолчит...

Телефон звонит и звонит.

— Йонас, что такое информатика?

Внук снимает трубку:

— Алло? Алло! Алло...

Внук кладет трубку, старик зевает:

— Посидим уютно!

В камине потрескивает.

— Кажется, теперь его зовут Люти.

— Кого?

— Того, кто зорко следит за врагом. Даже и тогда, когда он появляется на людях в штатском камзоле и галстуке: почти что голова Августа с римской монеты. Его ответы в «Церковном вестнике» для Цюрихского кантона звучат убедительно.

— Ты читаешь «Церковный вестник»?

— У него сложности с христианской этикой. Так он сам говорит. Этика не связана с религией, говорит он, и он, Люти, широко растягивает границы обороны.

— А что это значит?

— Этого армия не может разгласить. Нам надлежит довольствоваться признанием того, что военная защита страны необходима. Но он хотя бы говорит, что, по его мнению, следует защищать: например, говорит он, право на свободу высказывать собственное мнение.

— И то хорошо.

— Например, мнение человека, отказывающегося от военной службы.

— Это говорит начальник нашего Генерального штаба?

— Правда, если ты, Йонас, зайдешь слишком далеко и не просто выскажешь мнение, а будешь действовать согласно ему, то можешь нарваться на неприятности.

Пауза.

— Почему ты стоишь? Устроился бы поуютнее. Почему не садишься к камину? Пусть мы и не будем больше пить «енинзер».

Внук садится.

— Ты не против, если я закурю?

Внук берет сигарету.

— Дедушка, ты никогда не хотел отказаться от военной службы?

— Нет.

— А сегодня ты бы советовал это сделать?

— Если дело в религиозных убеждениях, Йонас, то совет тебе не нужен. Да и что может измениться, раз знаешь: все равно военная юстиция решает, что такое религиозные убеждения [17].

— «Этика не связана с религией».

— Другой причиной отказа от военной службы могут быть политические соображения, но это не принимается во внимание. Ты это сам знаешь. Тут уж правовое государство, как сказала бы дама, напоминает о себе. В данном случае — тюрьмой, Йонас.

— Теперь дают уже четырнадцать месяцев!

— И чего ты этим достигнешь в политическом смысле?

— Я знаю парня, которого это доконало.

— То есть?

— Плацшпиц и прочее [18].

— Что такое политическое сознание? Есть множество людей, вовсе в нем не нуждающихся, если только на них не давят средства массовой информации. Но в таком случае это никакое не политическое сознание, не собственное, развитое тобой самим, Йонас, и развивающее тебя самого, я хочу сказать, то, что помогает тебе выбраться из пеленок... Я говорю теперь как дедушка. Да.

— Если бы существовала гражданская служба...

— Не понимаю, почему так медлит военная верхушка. В этом случае они действительно имели бы свою армию. Без единого солдата в строю, которого порой гложут сомнения, и без единого капрала, которого порой тоже гложут сомнения, или даже лейтенанта. А выше ты и не поднимешься! Начальство ведь замечает, если у тебя есть нечто вроде собственного сознания.

Внук молчит, не глядя на старика.

— О чем ты думаешь, Йонас?

— Ползать надо!

— Не кричи, пожалуйста.

— Ползать!

— Такова школа жизни.

— Вот как это называется!

— Да, Йонас, то, что тебе предстоит, лучше всего познается на казарменном плацу. В этом что-то есть: «школа жизни». Неизбежно наступает время, когда пора оторваться от мамочки. Даже представить себе невозможно, сколько народу только в маленькой Швейцарии уже наползалось за государственный счет, кое-кто при этом пробирается дальше других, а иные попадают даже в федеральное правительство.

— А другого общественного устройства не существует?

— Не забывай о восточных государствах [19].

Пауза.

— Я еще не спросил тебя, Йонас, как дома? Говоришь, шлют приветы?

Слышен бой часов в деревне.

— Так о чем мы говорили?

— Об их армии.

— Значит, не будем больше пить «енинзер»?

Снова слышен бой часов.

— У меня есть друг, врач, немного старше меня, сейчас он как раз за решеткой. Потому что не верит в гражданскую оборону. То есть не совсем за решеткой, днем его отпускают в больницу, где он работает, в окружной тюрьме он находится только вечером и ночью, ну и, конечно, в выходные дни.

— А скоро пасха, вот беда.

— У него семья.

— Почему ты говоришь об этом?

— Зато он в этом не участвует, в этой

гражданской обороне, предписывающей швейцарцам торчать в своих могильниках, пока армия удерживает пораженную радиоактивным облучением территорию. В качестве врача — нет, говорит он. Кажется, он отказался в третий раз, до сих пор дело ограничивалось денежными штрафами, потому что так меньше шуму. Ты слышал о International association of physicians * или как она там называется?

— Да, есть такая в Нью-Йорке.

— Он говорит, гражданская оборона граничит с государственным обманом населения, и он смог бы доказать это перед судом.

— Last aid **.

— Ты знаешь эту книгу, дедушка?

— Точное название этого объединения — International psysicians for the prevention of nuclear war ***, я знаком с одним американским ученым — Робертом Лифтоном, он побывал в Хиросиме и написал об этом.

— Ты бы видел, что за картиночку предлагает наше федеральное ведомство гражданской обороны: швейцарский солдат в каске и с автоматической винтовкой, нацеленной на врага, солдат исполнен уверенного спокойствия,— представляешь, все это на плакате! — ведь его родные и близкие в надежном бомбоубежище. Старики, вероятно, играют в ясс, а дети — в монополькy, пока, спустя несколько месяцев или лет, не раздается, как обещано, отбой тревоги и они выходят на божий свет — ты не поверишь, это нарисовано! — и идут в магазин за свежим йогуртом. Видел ты когда-нибудь это конфедеральное издание?

— Ты смеешься, Йонас...

— Крестьянин чистит щеткой свою корову, выскребывает радиоактивную дрянь, мать орудует садовым шлангом, чтобы обезвредить салат, и тут домой возвращается солдат, строительные компании восстанавливают нашу Швейцарию.

— Йонас, ну кто же читает книгу вроде Last aid?

— Есть и другие книги [20].

— Но должностные лица не обязаны их читать, Йонас, и потому нельзя говорить о государственном обмане населения: они не действуют против своей совести.

— Перестань!

— В бетонной промышленности тоже так считают.

— А поэтому, значит, и бундесрат?

— Кстати, и я знаю человека, который попал в окружную тюрьму, только он киношник, но его дием не отпускали в студию, правда, ему позволяли в тюрьме читать.

— Дедушка, и что же ты считаешь?

— Йонас...

— Ты устал, дедушка?

— Разве обязательно всегда что-то считать!

— Последний вопрос.

— Я видел под Пекином могильники эпохи Мин.

— Что ты думаешь о нашей гражданской обороне?

— Йонас...

— Дедушка, я никому об этом не скажу.

— А я даже внуку не скажу.

— Прошу тебя.

Старик берет в руку трубку.

— Я думал, ты бросил курить, дедушка.

— Потому у меня и нет табаку.

— Дедушка, сколько тебе лет?

— Если он и дальше будет действовать в таком духе, трудно придется армейской верхушке. И русским в самом деле почти ничего иного не останется, Горбачев это понял. Либо разорение из-за гонки вооружения, либо победа благоразумия. Их разоружение диктуется вовсе не любовью к нам, оно эгоистично. И это может создать трудности для Швейцарии как армии. Наши специалисты понимают это. Армия, не имеющая определенного врага, начинает нервничать. Когда вы проводите маневры и вам сообщают: «Враг наступает!» — никто, конечно, не думает об эскимосах...

— Нет.

— Ты смеешься, Йонас, но чем благоразумнее становятся русские, я имею в виду Советский Союз, тем настойчивее ведутся поиски внутреннего врага. И дело принимает серьезный оборот. Это-то и подразумевает господин Люти, когда говорит в «Церковном вестнике», что оборону он понимает в широком смысле слова. Никто не хочет признаться, для чего на самом деле существует швейцарская армия.

Внук встает и берет свою кожаную куртку.

— Генерал Роджерс тоже, я думаю, специалист — НАТО'вский генерал и американец,— так вот, генерал Роджерс писал, что война в Европе уже не будет традиционной, он считает — она займет три или четыре дня, чего вполне достаточно, чтобы разместиться в наших гражданских убежищах; тебе ведь известен научный прогноз, ты о нем упоминал: смертельное облучение не споткнется о нашу родную границу, о чем дал знать Чернобыль, а это был лишь слабый удар, Йонас: да и что смогут сделать наши танки-«леопарды» в Тоггенбурге и тридцать четыре американских истребителя-перехватчика, пока население будет чахнуть в убежищах?

Внук надевает свою кожаную куртку.

— Без веры в бомбоубежища, Йонас, швейцарская армия не имеет, собственно говоря, смысла или во всяком случае того смысла, который нам втолковывают. Стало быть, бомбоубежища необходимы.

— Даже если вера эта — иллюзия?

— И потому гражданская оборона тоже должна быть вооруженной. Кто во время тревоги не спускается в бомбоубежище, предпочитая околеть в своей библиотеке или на набережной Митен, тот дезертир: он подрывает веру в военное руководство.

— Логично.

— Без гражданской обороны нет армии, Йонас.

— А армия нам необходима...

— Она у нас есть, Йонас!

Внук смотрит на старика:

— Иной раз я не знаю, говоришь ты серьезно, дедушка, или шутишь...

— Она нам необходима: это серьезно!

Старик загибает пальцы:

— Во-первых, как школа жизни.

— Во-вторых?

— Во-вторых, как школа возмужания.

Внук застегивает свою кожаную куртку.

— Твой дорогой отец не привил тебе этой

---

* Международная ассоциация врачей (*англ.*).

** Последняя цель (*англ.*).

*** Международная ассоциация врачей за предотвращение ядерной войны (*англ.*).

науки. Ты не стоишь навытяжку, когда с тобой говорят. А где еще ты научишься отдавать приказания? Пожалуй, даже младшая сестра не примет тебя за капрала, тем более—мать. Брать на себя ответственность! Дешевле всего, Йонас, научиться этому в армии [21]. Если ты отдал какой-нибудь вздорный приказ, твоя фирма не пострадает. Аварий на свете не избежать, стало быть и в армии они неизбежны. А уж когда случается что-то серьезное, вообще все идет кувырком. В последний раз ты рассказывал мне о своей подруге — ну и как, удалось ей убежать? А воинская часть, видишь ли, будь то всего лишь орудийный расчет, убежать не может, Йонас, и тут ты можешь упражняться в приказах сколько угодно, пока не овладеешь этим искусством, да, ну а потом можешь смело являться по броскому объявлению: требуется инженер с качествами хорошего управленца.

Внук невесело смеется.

— Йонас, без армии такого не добиться.

— В-третьих?

— Как школа нации.

— Разве патриотизм должен быть вооруженным?

— Видимо, да. Собственно, только левые круги ищут путей, как превратить в подлинное отечество эту международную финансовую площадку сомнительного свойства.

— В-четвертых?

— В-четвертых, как лейб-гвардия нашей плутократии [22].

— Это у тебя навязчивая идея, дедушка.

— В-пятых...

— А зачем ей лейб-гвардия?

— Наверное, чтобы чувствовать себя увереннее.

— Думаешь, народ замышляет переворот?

— Пожалуйста, не говори «народ». То, что существует в нашей стране, уже с давних пор можно именовать только населением. А население никогда не замышляет переворотов, напротив, оно само боится переворота — еще как боится! На этом-то страхе и играют.

— Тогда кто же может произвести переворот?

— Спроси господ из Генерального штаба.

— Неужели левые вроде тебя, дедушка, могут произвести переворот?

Внук от души смеется.

— Когда на историческую арену выступила наша буржуазия, а это не был союз отмывателей денег, надеюсь, ты и сам знаешь, это были люди высоких помыслов, Йонас, они действительно стремились к демократии. Одним из первых, кто стал крутить носом, был наш дорогой Готфрид Келлер, я думаю, он в самой конфедерации уже учуял плутократию [23]. И это — сто лет назад, когда наша буржуазия еще отстаивала ценности, обещанные и отчасти созданные ею. Сто лет господства! Это всегда многовато...

— Что ты хочешь этим сказать, дедушка?

— Вполне естественно, что, промотав эти ценности, буржуазия окапывается в бункерах. Принципиально. И что наша потребность в ценностях, которые она не способна дать, воспринимается ею как угроза. «Противодействуй в начале!» — гремело в 1968 году, Йонас, когда ты еще пускал слюни в манежике. Я знал людей, которых истязала тогда цюрихская полиция, знал молодую женщину, она не имела никакого отношения к демонстрации, но случайно попала под струю брандспойта, упала, и ее поволокли в подвал, били сапогами в живот, фамилия полицейского осталась неизвестной... И они достигли своего. Порядок и спокойствие: общество, где практически все подчинено экономическому росту, одержимое прибылями и больное общество.

— В-пятых?

— Уверенность ему дает армия.

— В-пятых?

— В-пятых, Йонас, как бы мы, швейцарцы, обходились без демонстрации — хотя бы время от времени — нашей военной мощи? Без того, чтобы здесь, над долиной, раз в неделю не проносилась со свистом эскадрилья: ц-с-с! — и еще одна: ц-с-с! Я каждый раз смотрю и думаю: ай да мы! Конечно, такие штуки есть у других, но и у нас тоже.

Внук что-то ищет.

— Я ищу свой шарф.

— Я повесил его в передней.

— За кого ты будешь голосовать, дедушка?

— Знаешь, я больше не хожу на выборы. Если я голосую, то всегда оказываюсь в убывающем меньшинстве.

— А если не голосуешь?

— Тогда принадлежу к большинству [24].

— Но я считаю это важным, дедушка. Ведь речь идет не только о вопросительном знаке к слову армия, но и о призыве к широкой мирной политике [25].

— Постепенно я узнал нашу страну.

— Что ты имеешь в виду?

— Мирная политика? Швейцарская?

— Разве кто-нибудь хочет здесь войны?

— Войны здесь? Нет.

— Войны в другом месте?

— Нет, но прибылей во что бы то ни стало.

Внук берет яблоко и откусывает.

— В одной дорогой клинике со мной заговорил соотечественник. Что я думаю о вступлении в ООН. Я не люблю разговаривать в сауне. Вступление в ООН, говорит он, нам ничего не принесет! Так считает весь швейцарский народ. Вот так! Идея, что и мы что-то должны принести, это не швейцарская идея, Йонас [26].

Внук жует яблоко.

— Ты действительно хочешь ехать?

— Конечно.

— Но ведь дождь идет.

Внук открывает двери и выходит:

— Небо ясное, почти ясное.

Из деревни слышен бой часов: двенадцать.

— Долго же мы болтали [27].

Внук закрывает двери:

— Будь здоров, дедушка.

— Завтра возвращается Карин.

Из деревни снова слышен бой часов.

— Здесь так заведено: наши башенные часы бьют дважды. Люди в поле или в лесу слышат звон из долины. И если сомневаешься, правильно ли сосчитал — через несколько минут звонят снова и можно посчитать: десять, одиннадцать, двенадцать. Верно!

Внук берет свой мотоциклетный шлем:

— А почему ты не уехал из Швейцарии, дедушка?

— Я все чаще и сам задаюсь таким вопросом...

Внук протягивает руку:

— Пока!

— Езжай осторожно.

— Это был пустопорожний разговор, дедушка.

Внук уходит.

— Не забудь свой шарф!

Старик стоит и смотрит, действительно ли бутылка пуста. Слышно, как завелся мотор. Старик снова берет с полки синюю книжку и раскрывает на последней странице, шум мотора быстро удаляется, старик стоит и читает голосом школьника, вынужденного зачитывать вслух нечто ему малопонятное:

«Я не решался думать о том, что могло бы быть. Повиновение может быть порождено тупостью, но повиновение может быть порождено и верой в Конфедерацию. Доведись идти в бой, я не хотел бы погибнуть рядовым артиллеристом без веры. Я хотел не знать, а верить. Мне кажется, именно так это было».

Он мимоходом бросает книжку в камин.

— Да, Йонас, трусоват человек...

Старик выключает свет.

Толковый словарь

1. Тот, кто вырос в наших краях,— не важно, к какой налоговой категории он относится,— знает, что у нас есть демократия. В школе даже убеждены, что демократию изобрели на Фирвальдштетском озере. В любом случае демократия подразумевает: все решает большинство; меньшинство должно подчиняться, но оно сохраняет право голоса и тем самым свободу. Я это знаю с тех пор, как научился слышать. Что касается Швейцарии, то у нас не просто демократия, как у всех, но прямая демократия: не только выборы, но и голосования из года в год, народное волеизъявление и референдум, и каждый истинный швейцарец горд тем, что мы можем этакое демонстрировать.

2. В еженедельнике «Вельтвохе» Оскар Рекк напоминает о том, что «генерал Гуизан, только что избранный швейцарским главнокомандующим, не обнаружил, как сказано в его отчетном докладе, ни единого оперативного плана для своей армии. В наличии было только санитарное имущество всего лишь на несколько дней боевых действий. Таким образом, в случае нападения пришлось бы сразу истечь кровью или капитулировать».

3. Бундесрат утвердил дополнительный кредит в 6,5 миллиона франков для празднеств по всей стране под лозунгом: «Благодарность потомков поколению защитников границ»; организуются и проводятся эти празднества военными, которые могут рассчитывать еще и на миллионные дотации промышленников, реклама окупится, в конце концов речь ведь идет об армии, то есть о долговременном бизнесе.

4. Наша батарея, принадлежавшая к так называемой моторизованной горной артиллерии, имела в своем распоряжении полевые орудия образца 1903 года (Крупп). Поскольку орудия были без резиновых шин, их нельзя было прицепить к мототранспортным средствам; для перевозки их приходилось грузить на мототранспорт, для чего хватало мускульной силы восьми артиллеристов, хотя это было нелегко. И поскольку мы с этими полевыми пушками стояли не на Марне, а в Тессине или Энгадине, их надо было каждый раз водружать на козлы, чтобы стрелять через собственные горы; сперва мы, конечно, вкапывали козлы в землю, чтобы они стояли устойчиво, не шатались, не опрокидывались при первом же выстреле. Все это мы усвоили во время прежних многократных учений. В 1939 году к этому добавилось смутное представление о том, что во время нашей возни с козлами при каждой перемене позиций враг мог не торопясь перестрелять нас. За шесть лет никакого улучшения в этом деле не произошло.

5. За слишком явные симпатии к третьему рейху командир бригады Густав Деникер был уволен из армии; в 1942 году, ссылаясь на гитлеровские победы, он советовал отказаться от военной обороны страны. Не был уволен командир дивизии Ойген Бирхер, который, будучи почитателем Адольфа Гитлера, возглавил группу швейцарских врачей, отправившихся в распоряжение немецкой санитарной службы на Восточном фронте. За измену родине были расстреляны люди вроде рядового солдата Эрнста С., продавшего врагу три швейцарские гранаты, в то время как фирма Бюрле на вполне законной основе продавала зенитные пушки.

6. Насколько разнятся воспоминания людей, переживших один и тот же день в одной и той же части (мот. арт. бат. 73), свидетельствует рассказ Вилли Б., нашего тогдашнего лейтенанта, опубликованный в одном частном издании, которое я недавно получил: «50 Jöhrli spöter — gwüehlet im Erinnerigs-Trückli» [1].

7. Разумеется, это и армия унтер-офицерских объединений, завсегдатаев и хозяев пивных, участников ежегодных военизированных соревнований (спорт как выражение любви к отечеству или наоборот), и многих матерей,— да, все это совсем не так просто.

8. В настоящее время известный крупный предприниматель, член парламента.

9. Скоро эти данные устареют: Петер Штудер уйдет из цюрихской газеты и (еще до референдума об армии) станет главным редактором телевидения, этого монопольного института, в качестве полковника, точнее говоря: полковника в армейском штабе, члена политико-публицистического руководства армии.

10. К особым явлениям относится то обстоятельство, что в Швейцарии существуют четыре государственных языка. Наша батарея сплошь состояла из немецкоязычных швейцарцев, за исключением одного лейтенанта мотоциклистов, тессинца, а ведь большая часть нашей службы отечеству прошла в Тессине. К счастью, среди артиллеристов был учитель гимназии, д-р Хуго Глетли, специалист по романским языкам, ему однажды позволили провести урок для собравшихся расчетов («курить разрешено!») и научить их нескольким итальянским словам — essere, avere [2] и т. д. Возможно, второй урок я пропустил, неся караульную службу или дежуря на кухне. Но больше уроков за весь долгий период 1939—1944-го не проводилось. Муштра была важнее. Дети Мальвальи видели перед собой своего рода оккупационные войска.

---

[1] «50 лет спустя — порывшись в кладовке воспоминаний» (*швейцарский диалект немецкого языка*).

[2] Быть, иметь (*итал.*).

11. Ш. Ф. Рамю[1]: «Следует отметить, что «швейцарцы» (если это слово имеет смысл, то я хотел бы обозначить им лишь совокупность индивидуумов, граждан Швейцарии), бесспорно, аккуратны, добросовестны, усердны, но и ограниченны. Они активны, но в пределах своей территории; они отгораживаются от всего, потому что пекутся только о своем покое. И разве нельзя утверждать, что ради этого покоя, благодаря которому они столь прилежно могут заниматься совершенствованием своего домашнего хозяйства, они пожертвовали всем, что составляет престиж иного народа? По мнению бедных — богатые, по мнению богатых — бедные, швейцарцы (если таковые существуют) могли бы быть славными людьми, они не вмешиваются в дела других, лишь бы другие не вмешивались в их дела. Смысл этих слов не требует пространного толкования, чтобы понять, к чему они ведут и на какое ни с чем не сравнимое ограничение собственной жизни обрекает себя народ, решающийся на этот отказ участвовать — хотя бы эмоционально — во всеобщей драме. Одновременно это приводит и к утрате чувства трагедии и величия. Но кто же не понимает, что тем самым достигается великая способность, исключительная и трагическая способность во всем блистать заурядностью, в любом деле быть добросовестным, крайне щепетильным, то есть всегда блистать там, где ничего иного и не требуется, кроме крайней щепетильности и добросовестности. Ах, дорогой мсье де Ружемон, изнурительное это предприятие, постигать народ, в особенности если его не существует».

12. Весенний праздник с шествием: парики, треуголки, кринолиновая ностальгия по сословному государству донаполеоновых времен, причем и сегодня глазной врач или консультант по рекламе может гарцевать в гильдии плотников; высокопоставленный предприниматель шагает в рядах гильдии мясников; профессор щеголяет в чистом кожаном фартуке гильдии виноделов; гильдия чесальщиков верблюжьей шерсти не восседает на верблюдах, но выступает в арабских национальных одеждах, бедуином нарядился тридцатикратный член правления, который как раз пытается совладать с конем, а потеющий в форме своей гильдии прокурор бросает обратно на тротуар букетики, портняжья гильдия гарцует по кругу, и горожане с горячей сосиской в руке веселятся вовсю — эгей! — вот оно, доброе старое время... См. красочную обложку телефонной книги города Цюриха за 1987—1989 годы.

13. Была нужда. Растущая дороговизна и бедственное положение семей военнослужащих, не получавших никакой компенсации вместо заработной платы, заставили власти ввести удешевленное общественное питание, как это тогда называлось; раздавали еду в спортивном зале. Мне было семь лет, и я мало что замечал. Отец, безработный архитектор, пробовал свои силы в роли мелкого маклера. В погребе у нас была картошка. Бурых брикетов, которые я доставал из погреба, хватало на отопление лишь одной комнаты. Мать, происходившая из базельской семьи Шультесс, очень стыдилась, стоя на стреме, когда я перелезал через заборы, чтобы собрать паданцы. Я помню, она готовила много яблочного мусса без сахара; чтобы разнообразить стол, пекла яблоки в печи, обогревавшей единственную комнату, когда не было мелочи для газа. Собирать желуди в лесу, который, в отличие от фруктовых садов с паданцами, был общественным, мне нравилось больше, чем сам кофе из этих желудей. Старший брат (ослабевший после тяжелого гриппа) получал овомальтин; конечно, мне было стыдно, когда я украдкой им лакомился. Наш отец тоже был против красной черни, высыпавшей на улицы, даже на Парадную площадь в Цюрихе — без оружия. Оружейного склада, непременного условия насильственного переворота, если бы он планировался, не нашли и потом. Требования трудящихся, заставившие буржуазный бундесрат направить войска против собственного народа, были следующие:

а) перевыборы Национального совета по пропорциональному принципу,

б) активное и пассивное выборное право для женщин,

в) введение всеобщей трудовой обязанности,

г) введение 48-часовой рабочей недели,

д) реорганизация армии в народную армию,

е) страхование по старости и инвалидности,

ж) погашение государственного долга имущими...

Войска бросили в бой в ответ не на какой-нибудь акт насилия, а на забастовку, распространившуюся по всей стране лишь вследствие провокации со стороны бундесрата,— а именно так восприняли трудящиеся демонстративное введение войск, кавалерии с саблями наголо и т. д. Армия действовала, треть ее состава победила в течение нескольких дней, не прибегая к ручным гранатам, применение которых было санкционировано полковником Зондереггером.

P.S. В других случаях, когда дело доходило до введения войск для подавления внутренних беспорядков, открывали огонь, имелись жертвы среди рабочих, которые бастовали или проводили демонстрации против сторонников Гитлера — Муссолини в начале тридцатых годов; внутриполитическая нацеленность этих выстрелов швейцарской армии не вызывает сомнений.

14. Имеется в виду не отец, командир бригады Густав Деникер, а сын, не несущий ответственности за своего отца,— командир дивизии Густав Деникер, директор агентства средств массовой информации Фарнер, «Начальник штаба оперативного обучения», называемый Клаузевицом швейцарского телевидения.

15. Переобучение артиллериста на минера происходило в 1953 году в Андерматте. Явиться должны были сплошь мужчины за сорок: столярных дел мастер, владелец автомастерской, машинист локомотива, писатель, трактирщик, прокурист, привратник, типограф и т. д., в большинстве отцы семейства, и то, что нам предстояло освоить в течение недели, не представляло особой сложности. Обучение происходило под палящим солнцем и в клубах пыли на казарменном плацу, а не, скажем, в тени и защищенном от ветра месте за цейхгаузом. Солдат всегда солдат — наперекор погоде и ветру! Инструктору, пожилому старшему лейтенанту,

[1] Шарль Фердинанд Рамю (1878—1947) — швейцарский франкоязычный писатель

приходится бороться не только с ветром, но и с языком: вместо «пиротехника» он говорит «бюротехника», однако мы его понимаем. Как прикрепить капсюль-воспламенитель к детонирующему шнуру, чтобы он не отцеплялся? Не так, а вот так. Понятно? И плоскогубцы накладывают не прямо перед собственным носом, а подальше от лица, чтобы не попасть в глаз. Понятно? Если взорвется, кисти как не бывало. Или предплечья. Так что — внимание! Он показывает каждому из нас: не так, а вот так! И каждый из нас, конечно, весь внимание. Послушен. Каждый из нас дома бросил работу по специальности, и раз уж нужно чему-то научиться на казарменном плацу Андерматта, то лучше сделать это как следует. Все поняли? И вот я вижу: двадцать сограждан и отцов семейства (ландвер) одновременно делают свою первую попытку прикрепить один и тот же детонирующий шнур. Если я сделаю оплошность, то покалечу всех остальных. И потому я осмеливаюсь сказать: «Господин старший лейтенант!» — а он, хотя на мгновение и насторожился, стоит, широко расставив ноги, засунув большие пальцы за пояс, и смеется: «Поджилки трясутся?» У защитника родины такого быть не может, и, значит, одновременно со всеми я плоскогубцами прикрепляю один и тот же детонирующий шнур. По-видимому, мы все прикрепляем без ошибок. У всех руки остаются невредимыми...

16. «Из Швейцарии в третий рейх вывозилось: имеющие важное значение военно-промышленные изделия и снаряжение высокого качества (машины, оружие, часы и т. д.). Ввозилось из третьего рейха: сырье — главным образом железо, уголь, горючее, химикаты. Так, малое государство Швейцария в 1943 году импортировало: 14 миллионов тонн угля, 60 процентов своей потребности; 1,3 миллиона тонн железа, 50 процентов своей потребности. Другими словами, блокады Германией и Италией со средины 1940 года было бы достаточно, чтобы в течение нескольких месяцев (чтобы не сказать — недель) разорить швейцарскую экономику. Но что пользы от сколь угодно решительной армии для блокированной страны, лишенной экономического базиса?» (Отто Ф. Вальтер. «Фазаний сезон», 1988).

17. Я присутствовал при четырех или пяти полевых богослужениях. Деревянная протестантская церковная кафедра (спереди большой швейцарский крест, сразу на ум приходят праздник стрелков или состязания борцов) чаще всего стоит на опушке леса или на поляне среди груш, но никогда на казарменном плацу или у цейхгауза; богу пристало деревенское окружение, по возможности с видом на Альпы, поскольку именно он «подарил нам сей прекрасный край». Незабываемо безлесое альпийское пастбище с бездействующей сыроварней. Когда в поле зрения появляется армейский проповедник, раздается команда: «Батарея, смирно!» Тем самым наш капитан, очень редко надевающий каску, передает свою батарею армейскому проповеднику, который, тоже в чине капитана, небрежно отдает честь, прикладывая правую руку к головному убору; в другой руке он держит карманного формата Библию. «Батарея, вольно!» И фельдфебель добавляет: «Снять каски!» — это относится и к офицерам. А это кое-что значит: сплошь нестриженные головы, без знаков различия. Проповедь не привязана к времени (будь то Варшава — Орадур — Дюнкерк — Лидице — Коивентри — Ленинград — Дрезден) и вовсе не длинна, по сравнению с часами, отведенными нашей муштре. При молитве можно, но не обязательно складывать руки. Верю ли я в Бога, в особенности в Иисуса как сына Божьего? Будучи рядовым, я могу произносить «аминь», но могу и промолчать. «Надеть каски!» И поем: «Родина, можешь быть спокойна». Петь может не каждый, требуется лишь делать вид, что поешь. «Батарея, смирно!» Проповедник надевает свою фуражку, отходит от кафедры, очередь за фельдфебелем: «На плечо!» И: «На-право! Вперед прямо шагом марш!» — при необходимости капрал добавляет: «Ать-два, ать-два!..» Что нам говорили проповедники? Одно и то же: «Верность приказу — что верность Богу!» Как во всякой армии на этой земле.

18. Так называется общественный парк, где разворачиваются драмы наркоманов, за Швейцарским государственным музеем, в стороне от торговых улиц Цюриха с их роскошными витринами. В последнее лето я, вместе с одним знакомым, побывал в этом грустном месте. Попытка завязать беседу с одним из наркоманов ни к чему не привела; все его предплечье было в бинтах, он сказал, что рука ужасно болит, но вдруг он гляиул в сторону и прикинулся глухим. Он почуял полицию в штатском. Потом еще сказал: «Нам никто не помогает». В беседке, где они уже устраивались на ночлег, но некоторые еще сидели на своем тряпье, удалось разговорить одного беднягу, который, видимо, не имел наркотиков: он стоял. Есть ли у него здесь друзья? — спросил я. Он горько засмеялся: во всяком случае, в другом месте их нет! Ему тридцать один год. На что надеется? Тоже дурацкий вопрос. Мы оба прислонились к перилам. Такая изящная беседка для дневных воскресных концертов со скамейками под старыми платанами. Но уже ночь, и те, что устроились на полу, зажгли около себя свечи. Время от времени он зарабатывает немного денег, нанимаясь кровельщиком, но это не его профессия. Пробовал воровать, но его поймали, и он с этим покончил. Причин бояться полиции нет, но она всегда здесь торчит, говорит он, даже если ничего не предпринимает. Надежды? Ответ его звучит как запоздалое эхо: никаких. И добрых советов он тоже не ждет. А что тут делаю я? Видимо, он не принимает меня за полицейского в штатском; я слишком стар. Я писатель. Кажется, он разочарован; мы все еще стоим, прислонившись к изящным перилам, но он молчит. Когда я прощаюсь и ухожу, он даже не кивает. Куда-то направляется «скорая помощь» с синей мигалкой, но никто в парке не обращает внимания. Такое здесь случается. На широких ступенях перед Государственным музеем лежит молодое существо, видимо женского пола, в белых брюках. Не люблю зевак, но сам им становлюсь и вижу: делают искусственное дыхание. Двое санитаров работают, стоя на коленях. Кто-то ругает всех вокруг: вы даже не знаете, как вызвать «скорую», бросаете без помощи лежачего. Но искусственное дыхание оказывает свое

действие. Мой спутник шепчет: с ней что-то серьезное, она отдает концы. Подбегает какой-то тип, расталкивает зевак и кричит: «Эрика!» Она приходит в себя. «А ну-ка,— орет он,— вставай, Эрика!» Он рывком дергает ее за пояс, и она действительно становится на ноги. Красивая молодая женщина с копной черных волос; она вдруг распахивает глаза, большие и круглые, как у волоокой Афины Паллады, несколько секунд смотрит и падает наземь — никакая ругань, никакие ласки, никакие встряски больше не помогают.

19. Когда нам, критически мыслящим швейцарцам, указывают на реально существующий социализм, который по сравнению с утопическим социализмом беден, а это мы знаем не только из нашей буржуазной прессы, но и по собственным наблюдениям — да, он беден, безрадостен,— то я считаю, что нельзя говорить о реально существующем социализме — у них, равно как у нас,— о демократии плакатной, приукрашенной легендами и т. д.: мы не получим никакого представления ни о социализме, ни о демократии. Мы тоже должны говорить о реально существующей демократии буржуазного типа, то есть говорить не так, как говорит по какому-нибудь торжественному поводу какой-нибудь бундесрат, который, словно он никогда не встречался с лоббизмом, непринужденно говорит о народе-суверене (а суверен в ответ сам себе аплодирует!).

Ввергающий меня в растерянность вопрос в принципе тот же, что и вопрос о бедности реально существующего социализма: оказывается ли бедность (там) лишь следствием временной неудачи, так сказать локально-историческим явлением (Сталин), или же она неизбежна? — что означало бы, что утопический социализм, зависимый от человеческой натуры, то есть от каналья, каким человек нередко оказывается, всегда и всюду потерпит крушение.

Многим кажется, что так оно и есть.

Вопрос к нам:
может ли наша утопическая демократия, зависимая от человеческой натуры, то есть каналья, каким человек в большинстве своем и является, привести к чему-то другому, а не к реально существующей демократии лоббизма, приукрашенной легендами; или, другими словами: сколько подлинной демократии (народ-суверен) вообще возможно претворить в жизнь при реально существующем капитализме?

20. Отчет международного комитета медицины и здравоохранения для осуществления резолюции WHO [1]. Выводы.

1. «Обычные» войны с течением времени вызывали все большие разрушения; но оснащение атомным оружием создало совершенно новые масштабы ведения войны.

2. Одна-единственная термоядерная бомба обладает взрывной силой, в миллионы раз превосходящей самые большие обычные подрывные средства. В нынешних арсеналах ядерного оружия хранится потенциал разрушения, в тысячи раз превосходящий все взорванные во вторую мировую войну взрывные устройства. При взрывах атомной бомбы к взрывной волне и испепеляющему жару добавляются излучения и радиоактивные осадки, приводящие к опустошающим последствиям не только сразу после взрыва, но и спустя длительное время.

3. В рамках данного исследования были рассмотрены три сценария:

а) взрыв бомбы в одну мегатонну над большим городом приведет к гибели более полутора миллионов человек и к такому же количеству раненых;

б) «ограниченная» атомная война, с применением небольших тактических ядерных зарядов общей взрывной силы в 20 мегатонн, направленных на военные цели в относительно густо населенной области,— такая война будет стоить примерно девять миллионов погибших и тяжелораненых, из них более восьми миллионов гражданского населения;

в) неограниченная атомная война, в которой была бы применена хотя бы половина нынешнего арсенала ядерного оружия (общей взрывной силы примерно в 10 000 мегатонн),— такая война стоила бы более одного миллиарда погибших и один миллиард раненых.

4. Совершенно очевидно, что никакая страна на свете не обладает таким здравоохранением, которое было бы в состоянии обеспечить лечение сотни тысяч людей, тяжело раненных взрывной волной, тепловым и радиоактивным излучением при взрыве бомбы в одну мегатонну. Даже если из огромного арсенала случайно взорвется «только» одно-единственное взрывное устройство, это вызовет столько жертв, что любое государственное здравоохранение окажется совершенно несостоятельным.

5. Катастрофические последствия и безмерные человеческие страдания, вызванные ядерными взрывами по сценариям б) и в), человек представить себе не в силах. Что бы ни сохранилось после ядерного удара от системы медицинского обеспечения в мире, это никоим образом не сможет заметно облегчить последствия катастрофы.

6. Кроме катастрофы, последующей сразу же за взрывом, следует иметь в виду длительное воздействие атомного удара на окружающую среду. Голод и болезни охватили бы обширные области, во всем мире полностью развалились бы общественные и экономические системы.

7. Таким образом, единственно возможное лечение людей, пострадавших от ядерного оружия, состоит в том, чтобы заранее помешать подобным взрывам, то есть предотвратить атомную войну.

21. Когда в Мальвальи, где нас месяцами муштровали «направо-вперед-марш» и «смирно», был получен приказ по части: устроить забег в девять ноль-ноль для офицеров, унтер-офицеров и расчетов орудий в спортивных трусах и спортивной обуви — вот была радость! Дистанция: Мальвалья — Мотто — Лудиано — Семионе и почти до Биаски, затем обратно в Мальвалью, примерно десять километров. То есть никакой не марафон. К тому же, вид офицеров в спортивных трусах всегда доставлял нам маленькое удовольствие. В общем, мы радовались предстоящему забегу. И вдруг более высокое начальство, видимо дивизионное, дало другой приказ на это утро: в девять ноль-ноль — десять ноль-ноль противостолбнячная прививка. Наш капитан должен был

[1] World Health Organization — Всемирная организация здравоохранения *(англ.)*.

повиноваться. Начали делать прививку. Я лично ничего против прививок не имею, но некоторые хотели уклониться. Однако приказ есть приказ. Запах этой сыворотки отвратителен, укол же едва ощутим. Но мне стало дурно, я упал прямо на деревенской площади. Правда, носилки не понадобились. Медики отправились к следующей батарее или роте вверх по долине. Приказ: расчетам два часа отдыхать на соломе. Затем старт забега на десять километров. Наш санитарный капрал назвал приказ вздором. «А ты скажи это капитану!» Он отправился в канцелярию батареи, где наш капитан непрерывно курил одну сигарету за другой: «Как студент медицины (пятого курса) я выражаю опасения относительно забега после противостолбнячной прививки». Однако приказ не был отменен. Трое или четверо, среди них старший лейтенант, потеряли на дистанции сознание, но военная казна не понесла убытков.

22. Рекомендую прочитать две книги Ханса Чени: «Кто правит Швейцарией?» и «Кому принадлежит Швейцария?». Например, 0,5 процента населения владеет 50 процентами совокупного имущества, не облагаемого налогом. Это значит: из 200 граждан Конфедерации один владеет такнм же состоянием, как все остальные 199, вместе взятые. Что касается недвижимого имущества: из 10 граждан Конфедерации один владеет 80 процентами недвижимости. Я это представляю себе так: десять граждан Конфедерации стоят перед десятью стульями, и выясняется, что из них восемь стульев несвободны, принадлежат одному-единственному гражданину Конфедерации. Но он сдает их в аренду.

P.S. Полмиллиона, то есть десять процентов граждан, живут сегодня ниже границы бедности, две трети из них трудятся.

23. «Настанет время, когда в нашей стране, как и в других местах, скопится большое количество денег, не заработанных и не сэкономленных честным путем; тогда сам черт не брат нам будет; тогда выяснится, прочны ли ткань и краски нашего знамени! Короче говоря, я не понимаю, почему один из моих сыновей может получать проценты с чужого добра, не ударив пальцем о палец. Это мошенничество ничуть не лучше всякого другого».
(Готфрид Келлер, «Флажок семи стойких»).

24. Имеется в виду, что большинство обладающих в нашей стране правом голоса не ходят больше на выборы. Ни один парламентарий, ни один член правительства не вправе сказать, что он избран большинством избирателей. В последних конфедеральных выборах участвовало около 47 процентов избирателей. Это больше, чем обычно. А в одном кантоне в выборах Совета кантонов и вовсе участвовало 22 процента имеющих право голоса. Что же означает здесь большинство? Достаточно, значит, 12 процентов голосов, чтобы был выбран Совет кантонов. И для чего мы, собственно, делаем вид, будто верим, что решает большинство? — словно не знаем, что большинство-то потому именно и не идет на выборы, что считает само собой разумеющимся: все равно de facto, но, по возможности маскируясь легендами, решает власть, то есть в свободном мире — капитал.

25. Известен прогноз, что конфликт рода человеческого, создавшего невероятную технологию, с окружающей средой, по масштабам своим превосходит любой мыслимый конфликт между нациями или блоками государств. Стратегия взаимного запугивания затрудняет народам возможность совместными усилиями помешать уничтожению жизни на планете, это уничтожение, несмотря на состояние не-войны, уже началось. Ныне, при неустойчивом равновесии ракетного арсенала, заключая от случая к случаю мирные соглашения между блоками государств, дипломатия немалого достигла: сохранения состояния не-войны, продления отсрочки. Предпосылкой мира явилось бы разрушение образа врага. Но кто может себе это позволить во внутриполитическом плане? Они: если не делать стереотипных ссылок, не злорадствовать в связи с имеющейся где-то, но не у них, безработицы, имеющейся где-то, но не у них, преступности и т. д., как сможет население трудолюбиво и молча переносить бесхозяйственность государственного капитализма и тотальное бесправие гражданина? Мы: как можно сохранить господство без образа врага, который страх каждого отдельного члена общества эксплуатации, охраняемой законом, за собственную жизнь претворяет в коллективный страх перед Советским Союзом? Стало быть, внутренняя политика нуждается в образе врага. Отчасти (но лишь отчасти) образ врага исторнчески оправдан; народы имели печальный опыт взаимоотношений — например, поляки и чехословаки с немцами и русскими,— и существует естественное недоверие, изжить которое удастся только медленным накоплением нового опыта взаимоотношений. Что вполне возможно: Федеративная Республика Германии — это не гитлеровская Германия. Беспокойство о том, что политика разрядки (нового опыта взаимоотношений) приведет не к миру, а лишь к ослаблению собственной власти, закономерно вытекает из логики политики насилия, которая стремится к расширению власти если и не посредством войны, то посредством угрозы войной. Для этого ей требуется прежде всего образ врага иного рода: образ врага, покоящийся не на воспоминаниях, а на предвосхищении. Например, Советский Союз никогда не нападал на американский народ: они даже были союзниками. Как ни странно, труднее всего избавиться именно от предвосхищенного образа врага, ибо тот перенесен в будущее.

Наш вопрос:
когда мы говорим о мире — допустим, что мы верим в его возможность,— то как мы себе представляем мир? В 1946 году во Франкфурте-на-Майне, приехав к разбомбленным немцам, я представлял себе мир очень просто: никаких больше бомб, никаких побед, вернутся домой военнопленные. В Праге, где почти не было развалин, после посещения Терезиенштадте, где я видел виселицу и тысячи пакетов с человеческим прахом, ответ тоже казался простым: мир — это конец страха, никаких чужеземных военных мундиров. В Варшаве в 1948 году после многочасового хождения среди тишины развалин я вдруг услышал грохот пневматических молотков на первых быках нового моста через Вислу: мир! И там и тут беседовал (поделившись сигаре-

той) с людьми, которые ничего не имели, кроме великой надежды: из развалин явится новый человек. Одни ожидали его, будучи коммунистами, другие — будучи христианами. Теперь мы знаем: новый человек не явился. Наше разумное отрицание войны как средства политики еще не означает, что мы способны к миру. Да, общества со структурами насилия желают не-войны; но мир противоречит их сущности. Поскольку никакая власть никогда не признается, что ей нужна армия для того, чтобы при случае направить ее против собственного народа, эта власть, с целью маскировки, вынуждена прибегнуть к такому вооружению, которое обещает защиту отечества от всего мира; в свою очередь, такое вооружение заставляет культивировать образ врага, что в свою очередь оправдывает непомерность военных расходов, но, как бы то ни было, все это никоим образом не означает, будто кто-нибудь хочет третьей мировой войны. Вот только существует вооружение, нервирующее соседа и подтверждающее его образ врага и тем самым гонку вооружений; при этом каждый образ врага всегда выдает и сущность его создателя: как может шантажист по натуре поверить, что другой не замышляет шантажа? В этом заколдованном кругу научное исследование проблем миротворчества взвешивает размеры риска, заключенного в подобной политике террора; информирует о технических новшествах, требующих изменения стратегии; исчисляет реальный в настоящий момент шанс для установления не-войны между неспособными к миру обществами, не давая, конечно, гарантии, что по какой-либо невыясненной причине или просто из-за обычной аварии (вызванной, например, внезапным помрачением ума у кого-то в стане противника, просчетами в оценке силы противника) завтра или послезавтра не разразится беда. Способным к миру было бы лишь общество, обходящееся без образа врага. Бывают фазы, когда мы не можем обойтись без споров, возмущения, но без ненависти, без образа врага обойтись можно; когда мы (просто говоря) счастливы или хотя бы живы — например, благодаря такому виду работы, который приносит не только заработок, но и удовлетворение (неотчужденный труд), и благодаря такому виду человеческого общежития, которое способствует самоосуществлению человека. Да и подразумевает ли свобода, это столь затасканное слово, что-либо иное? Свобода не как кулачное право сильного, свобода не как власть над другими. Самоосуществление; скажем: возможность жить творчески. Но много ли людей имеют возможность жить в существующих обществах творчески? Одним благосостоянием это еще далеко не обеспечивается...

Я не знаю, хватит ли воли к выживанию рода человеческого, смогут ли наши общества перестроиться в общество, способное к миру. Мы надеемся. Это не терпит отлагательств. Молитва за мир не освобождает от вопроса о нашем политическом отношении к этой надежде, радикальной по своей сути. Вера в возможность мира (а значит, и в выживание людей) — это революционная вера.

(Речь в соборе Св. Павла, Франкфурт, 1976.)

26. Экономические отношения с развивающимися странами дали Швейцарии в 1985 году прямое повышение национального дохода на 8 миллиардов франков. Экономическая помощь (общественная и частная), оказанная в размере 122 франков каждым швейцарцем, благодаря сделкам с третьим миром принесла ему прибыль в 1245 франков.

(«Реформированный форум», март 1989.)

27. Вот что дедушка явно забыл: гимназистом я явился в школу добровольной начальной военподготовки, там выдавали берет с кокардой, ремень с патронташем и длинное ружье, а также куртку из цейхгауза. Я хотел стать мужчиной. Военные ритуалы подчинения несомненно вызывают определенное чувство наслаждения. Послеобеденные часы по субботам мы проводили следующим образом: бег с препятствиями, строевая подготовка, стрельба настоящими патронами и песни в строю, который сопровождал настоящий лейтенант. Его звали Цюблин, позднее он стал известным командиром корпуса. В трамвае я чувствовал себя неловко с длинным ружьем в руках, хотя никто ни разу не спросил, для чего оно. Через год я бросил эту школу. Без всякой видимой причины.

P.S. Поскольку помешать дискуссии об армии вряд ли удастся, Рольф Биндер, руководитель военного обучения, выступил по случаю Дня связи с общественностью (март 1989-го) перед рекрутами и произнес речь во славу «армии, отличающейся большим чувством сердечности». Чтобы пели в строю и т. д. «На биваке должен всегда гореть костер, вокруг которого после окончания работы собирается весь взвод»,— считает Биндер, и, «если вместе затянуть песню, что при нынешнем служебном распорядке бывает редковато», это способствовало бы укреплению содружества. Далее, армия хочет впредь, согласно Биндеру, не упускать из виду душу солдата, и с недавних пор, вероятно руководствуясь советом специалистов по рекламе, обращает внимание на связь с природой, что, по мнению командира корпуса Биндера, «ведет к повышению уверенности в себе и тем самым в конечном счете к повышению боеготовности».

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА

Башковитые курицы

Перевод с итальянского Л. ВЕРШИНИНА

Узнав, что Земля круглая, как шар, и очень быстро вращается в пространстве, курицы всполошились, и у них началось сильное головокружение. Шли они по лугам, качаясь как пьяные, и для верности держались друг за дружку. Наконец самая находчивая из них предложила поискать место поспокойнее и по возможности квадратное.

Одна башковитая курица забилась в угол курятника и лапой чесала себе голову. До того дочесалась, что облысела. Как-то раз подошла к ней подружка и спросила, что ее так заботит.

— Лысина,— ответила башковитая курица.

Одна курица из Умбрии была уверена, что у нее этрусский профиль. Она все время поворачивала голову так, чтобы все могли полюбоваться этим профилем. Кончилось же тем, что голова у нее скособочилась, из-за чего курица и упала однажды в яму и сломала ногу. После падения голова курицы выпрямилась, но курица навсегда осталась хромой.

Одна бродячая курица случайно очутилась в скопище людей и коней, и ее чуть не раздавили, но в конце концов ей удалось выбраться и спрятаться в кустах. Когда она рассказала об этом происшествии, ей объяснили, что она попала на поле битвы при Ватерлоо, где Наполеон потерпел окончательное поражение. И бродячая курица очень возгордилась оттого, что стала свидетельницей великого исторического события.

Воскресным утром курицы вышли из курятника и отправились на поиски зернышек и червячков. Одна из них подошла к крольчатнику и спросила у кролика:

— У вас тоже сегодня воскресенье?

Кролик ответил утвердительно, и курица помчалась сообщить эту новость подругам. Петух задумался и изрек:

— Странно.

Одна очень набожная курица каждое воскресенье приходила к мессе и кудахтала в лад церковному хору. Священнику это надоело, и он пожаловался ее хозяйке. А набожная курица только этого и добивалась — она мечтала умереть на костре, как Жанна д'Арк. Правда, в костер ее не бросили, а изжарили на решетке, как Святого Лоренцо.

Одна курица пыталась втолковать подругам теорему Пифагора, но те никак не могли ее усвоить. И тогда она нашла весьма остроумное объяснение. Встав посреди курятника, она объявила:

— Курица, нарисованная на гипотенузе прямоугольного треугольника, равна сумме куриц, нарисованных на двух катетах.

С того дня теорема Пифагора стала неотъемлемой частью культурного наследия курятника.

Одна курица, несколько неуверенная в себе, все бродила по курятнику, бормоча:

— Кто я такая? Кто я такая?

Подруги забеспокоились: уж не сошла ли она часом с ума. Наконец другая курица не выдержала и ответила:

— Ты дура!

И неуверенная в себе курица сразу перестала мудрствовать лукаво.

Одна курица-астроном сделала открытие, что все небесные галактики есть не что иное, как клубы пыли, подымаемые курицей, которая роется в глубинах мироздания.

— А за этими галактиками что? — спросили ее подруги.

— Приглядитесь хорошенько — и вы увидите там, в самом низу лапы курицы, которая подняла всю эту пыль.

Одна тщеславная курица утверждала, будто она из рода Теодолинды, королевы Лангобардов, и потому подруги должны называть ее принцессой. Как-то раз на гумне ей преградила путь соперница, заявив, что она происходит от викингов и среди ее предков была королева Тови Венди, дочь принца Мистивоя и жена короля Гаральда Вендландского, сына Горма Победоносного. Услышав такое, тщеславная курица спряталась в кустах и трое суток не показывалась в курятнике.

Одна хвастливая курица встретила в огороде жабу. Жаба тут же стала раздувать-

© 1980 Giulio Einaudi editore S.p.A. Torino

ся, раздуваться, чтоб сравняться ростом с курицей.

— Гляди,— предупредила ее курица,— как бы с тобой не случилось того же, что с лягушкой, которая хотела дорасти до вола.

— Ничего,— ответила жаба,— ты ведь не вол, а я не лягушка.

И продолжала раздуваться, пока не стала даже больше курицы.

Однажды на рассвете к дверям курятника подошла утка и во всеуслышание заявила, что знаменитое колумбово яйцо было вовсе не куриным, а утиным. И тут же пустилась наутек, а все курицы бросились за ней вдогонку. Хорошо еще, что утки умеют плавать, а на пути попался пруд, иначе туго бы ей пришлось.

Одна косоглазая курица видела мир словно в кривом зеркале и была уверена, что он и в самом деле кривой. Все ей казались кривыми: и остальные курицы, и сам петух. Ходила она все время бочком и часто натыкалась на стены. Однажды ветреным днем она шла с подругами мимо Пизанской башни.

— Смотрите, как ветер клонит башню!— воскликнули курицы.

Косоглазая курица тоже взглянула, и ей башня показалась абсолютно прямой. Она не стала спорить с другими, но про себя подумала: видно, они косоглазые.

Одна легкомысленная курица вдали от курятника встретила фазана. Она безумно в него влюбилась, но это была несчастная любовь, потому что фазан по близорукости принял ее за крольчиху. Впрочем, даже если б фазан и понял, что перед ним курица, он бы вряд ли ответил на ее любовь.

Одна курица-поджигательница бродила повсюду со спичкой в клюве.

— Все могу сжечь дотла!— грозилась она.— А вот не сжигаю, потому что я курица культурная.

В конце концов подруги приперли ее к стенке, и она призналась, что ничего бы не могла спалить, так как не умеет зажигать спички.

Одна экстравагантная курица становилась посреди гумна, прятала лапу под крыло и застывала так надолго в надежде, что подруги примут ее за цаплю. Но те никак не хотели принимать ее за цаплю. А утки и вовсе ее жалели, считая калекой. Индюк же долго кружил вокруг, а потом воскликнул:

— Глядите на эту дуру-цаплю, которая притворяется курицей!

У одной курицы была мания: ей казалось, что она — автомобиль. Подруги не стали ее разуверять, но предупредили, чтоб не вздумала заводить мотор ночью, когда они спят.

На общем собрании курятника было решено сделать праздничным днем не воскресенье, а пятницу, поскольку в пятницу люди не едят мяса. Но неизменная курица-скептик не преминула заметить:

— Да, но куриные-то яйца они едят.

Одна курица взяла моду навешивать на себя индюшачьи, фазаньи и даже павлиньи перья, которые подбирала где только могла. Она казалась себе очень элегантной и все время твердила, что одевается в стиле либерти. Остальные курицы не знали, как расценить ее причуды, и решили не выносить приговора, пока не составят окончательного суждения о своей подруге.

Одна курица-спортсменка очень хотела научиться ездить на трехколесном велосипеде, но отказалась от этого намерения, когда, сосчитав свои лапы, убедилась, что их всего две. Она думала, что управлять трехколесным велосипедом можно лишь, если у тебя три лапы.

Одна безумная курица считала себя Жанной д'Арк, а подруги ей говорили:

— Ну, ладно, пожалуйста, Жанна д'Арк так Жанна д'Арк.

Но вскоре курице надоело быть Жанной д'Арк, и она решила стать Наполеоном.

— Но это невозможно,— возразили подруги,— ведь Наполеон — мужчина.

Но безумная курица ответила, что раз она безумна, то может быть кем угодно.

— Вот захочу и буду бронзовым памятником Наполеону.

На это уж подругам нечего было возразить, и с тех пор безумная курица целыми днями неподвижно стояла посреди гумна, воображая себя бронзовым памятником Наполеону.

Один петух, страдавший манией величия, вбил себе в голову, что он — царь зверей. Цари нынче не в моде, сказали ему, теперь везде республики, но петух не успокоился и стал рыскать по лугам в надежде встретить льва, чтоб показать ему фигу. Льва он не нашел, поэтому петушиной фиги так никто и не увидел.

Одна неграмотная курица мечтала научиться ставить подпись. Наконец она отыскала другую курицу, умевшую читать и писать, и та согласилась давать ей уроки. Но неграмотная курица вдруг хлопнула себя лапой по лбу и воскликнула:

— Да ведь я не знаю, как меня зовут!

Невежественная курица услыхала разговор на латыни и решила, что латынь — это новый корм. Она сообщила о своем открытии подругам, но те не поверили. Одна курица, считавшая себя самой умной, заявила:

— Дуры, латынь — это не корм, а домашнее животное.— И с видом знатока добавила: — Оно похоже на свинью, только еще грязней.

Один ненормальный петух надеялся, что рано или поздно ему удастся снести яйцо. Он забивался в угол курятника и сидел там часами, но, несмотря на все старания, ни одного яйца так и не снес. Вот несправедливость, думал он, преглупые курицы и те яйца несут, а мне не удается — хоть тресни.

— Чтобы стать философом,— говорила одна старая курица, возомнившая себя очень мудрой,— не обязательно думать о чем-то, можно думать ни о чем.

Вот она становилась в уголок и думала ни о чем. Именно так, а не иначе, по ее словам, она и стала философом.

Одна курица по ошибке угодила лапой в мышеловку. Мышь свалилась в навозную жижу и чуть не утонула. Свинья съела куриное перо и потом кашляла до захода солнца. Бык сломал рог, ударившись о столб. Кот, греясь у камина, обжег усы. Собака вошла в курятник и съела все яйца. А к вечеру пошел проливной дождь и затопил курятник. Ну и денек выдался!

Одна брезгливая курица терпеть не могла червей. Она была охоча до конопляного семени, а еще клевала ракушечник, чтобы скорлупа у яиц была крепкой. Когда же находила червя, то завязывала его узлом и бросала. А если попадался червь подлиннее, завязывала его в два узла.

Одна курица-швейцарка мечтала нести шоколадные яйца. Она плитками поглощала шоколад и спустя несколько месяцев, на пасху, умудрилась снести коричневатое яйцо — только и всего! Курица так расстроилась, что решила отказаться от швейцарского гражданства.

Заносчивая курица решила написать трактат.

— О чем?— спросили ее подруги.

— Обо всем,— ответила она.

Подружки фыркнули: обо всем —это, пожалуй, чересчур. Заносчивая курица уточнила свою идею и сказала, что напишет трактат почти обо всем.

Год выдался неурожайным, и куры голодали. Горсть проса да горсть кукурузы — вот и вся еда на целый курятник. Днем курицы охотились за червяками и глотали ракушечник. Одна курица, считавшая себя умнее всех, искала обрывки газет и тайком от подруг склевывала все буквы «о», принимая их за просяные зерна.

Одна курица-декадентка как-то вечером залюбовалась на закат и потом, вернувшись в курятник, произнесла ставшую знаменитой фразу:

— Ах, до чего красив закат!

Курица — дзен-буддистка все ходила и у всех допытывалась:

— Как там живется, в яйце?

Курицы отвечали по-разному, но ни один из ответов дзен-буддистку не удовлетворял. Собственно, она и не искала ответа, а хотела пробудить в курах самосознание. Когда они это поняли, то, сговорившись между собой, стали неизменно отвечать ей:

— Дай нам пожить спокойно.

Но дзен-буддистка как ни в чем не бывало продолжала задавать все тот же вопрос.

Одна юная, неопытная курица влюбилась в кролика. Она хранила свою любовь в тайне, даже с лучшими подругами не поделилась. Каждый день она проходила мимо крольчатника и украдкой поглядывала на своего возлюбленного. Но кролик не ответил ей взаимностью, поэтому и рассказывать тут, собственно, не о чем.

Как-то раз гадюка подползла к курице, которая рылась в земле под кустом, и хотела ужалить ее в лапу. Но лапа оказалась такая твердая, что гадюка не смогла ее прокусить. Курица искоса взглянула на гадюку, а та стала оправдываться: это, мол, просто шутка.

— Знаешь басню про лису и виноград? — спросила курица.

Гадюка такой басни не слыхала.

— Мало того что ты злая, так ты еще и невежественная,— сказала курица и сильно клюнула ее в шею. Гадюка, скособочив шею, убралась восвояси с жалобными стонами.

Ничем не примечательная курица в поисках корма добрела до шоссе. И там вместо корма нашла монету. В денежных вопросах она не разбиралась и потому решила, что, если склюет эту монету, сразу разбогатеет. Но при всем желании проглотить эту монету она не смогла. С тех пор и пошла поговорка: «Денег куры не клюют».

Одна высокообразованная курица решила научить подруг счету и сложению. На стене курятника она написала цифры от 1 до 9 и объяснила, что, сложив эти цифры вместе, можно получить большие величины. А на другой стене показала, как складывать:

— 1+1=11, 2+2=22, 3+3=33, и так до 9+9=99.

Курицы быстро научились сложению и пришли к выводу, что это им очень пригодится.

Одна гоночная курица никогда не сбавляла скорость на поворотах. Как-то раз она даже сделала сальто-мортале, но все обошлось. Но в другой раз ее занесло на обочину, и она сильно повредила «обшивку». Подругам, навестившим ее после аварии, она сказала:

— Хорошо еще, что не загорелась.

Гуси хвастались перед курами, что их предки Рим спасли — подняли тревогу на Капитолийском холме, увидев, что «галльские петухи» подступают к крепостным стенам. Одна курица заметила, что, будь на месте гусей куры, они бы впустили захватчиков, и тогда Рим был бы наверняка сейчас огромным курятником.

Курица-философ, глядя на камень, вопрошала:

— Кто может утверждать, что это камень?— Потом переводила взгляд на дерево:— Кто может утверждать, что это дерево?

— Я могу,— ответила какая-то курица.

Курица-философ снисходительно на нее поглядела.

— А кто ты такая, что решаешься отвечать мне?

Та оробела и пробормотала:

— Я курица.

— А кто может утверждать, что ты курица?

Вскоре курица-философ осталась в полном одиночестве.

На одном заседании при закрытых дверях куры решили внести в индекс запрещенных книг «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, ибо там говорится, что удобнее всего подтирать задницу живым цыпленком. Но курица-литературовед возразила, что Гаргантюа вытирал задницу вовсе не цыпленком, а гусенком, поэтому книгу запрещать не стоит.

Одна римская курица прошла под аркой Константина, но при этом не испытала никаких эмоций. Прошла во второй раз и снова осталась разочарована. Не понятно, недоумевала она, зачем надо было Константину воздвигать эту арку, чтобы потом проходить под нею.

Курица-археолог отпразилась смотреть пирамиды. Обошла вокруг, взобралась наверх по наклонной стене, а затем вернулась в курятник.

— Ну и какие же они, эти пирамиды? — спросили ее подруги.

— Слишком каменистые,— ответила курица-археолог.

Что бы ни случилось в курятнике, курица-фаталистка восклицала:

— Так и есть!

Подруги заметили, что у нее пассивное мировосприятие. Курица-фаталистка исправилась и во всех случаях жизни стала восклицать:

—Пусть так и будет!

Во время пасхальных каникул куры объявили забастовку в знак протеста против незаконной конкуренции сахарных и шоколадных яиц. После долгих дебатов курицы решили, что на каждом яйце надо ставить штамп: «Стопроцентно гарантированные куриные яйца».

Один рассеянный кролик по ошибке забрел в курятник. Ничего подобного прежде не случалось, и куры просто не могли в это поверить.

— Ну и ну!— воскликнули они хором.— Посмотрите на эту безмозглую курицу, которая изображает из себя кролика!

Одна развеселая курица взяла себе за привычку кудахтать и петь в любое время дня и ночи, не важно, снесла она яйцо или нет. Хозяйка прибегала в курятник, не находила яйца и очень сердилась.

— Ну чего ты раскудахталась и распелась? — спрашивали подруги.

—От счастья,— отвечала развеселая курица

Подруги решили, что она не в своем уме. А курица пыталась им втолковать, что с головой у нее все в порядке, просто она счастлива.

— Вот скажите, что плохого в том, что я счастлива? — добавила она.

Одна курица из Бергамо тронулась умом, и ее поместили в сумасшедший дом.

Петух звонил ей время от времени справиться о здоровье, а она всякий раз сетовала:

— И я бы тебе позвонила да у нас тут телефона нет.

После этого петух сообщал курам, что, к сожалению, подруга их еще не поправилась и придется ей пока остаться в сумасшедшем доме.

Одна курица, помешанная на психоанализе, взлетела на насест и громко объявила всем своим подругам:

— Материнство — это сублимация яйца!

Куры молча вышли из курятника и отправились на гумно, чтобы осмыслить услышанное.

Наконец одна из них вернулась в курятник и сказала подружке, бредившей психоанализом:

— Яйцо — это сублимация материнства!

Одна курица-энциклопедистка выучила наизусть больше тысячи слов. И время от времени щеголяла своей образованностью перед подругами, небрежно роняя: «ромб», «кратер», «стигмат». А если у нее спрашивали значение этих слов, она отвечала, что мир состоит из слов,— не будь их, не было бы мира, в том числе и кур.

Одна угрюмая курица разгуливала по гумну и клевала зернышки. Над нею с грохотом пронесся реактивный самолет, оставив за собой длинную белую полосу.

Курица возвела глаза к небу и пробурчала:

— Небось возомнил о себе невесть что!— И продолжала клевать зерна.

В стародавние времена изобретательная курица придумала колесо. Показала его подругам, но те подняли ее на смех, сказав, что оно никому не нужно. Так и случилось, что куриная цивилизация отстала от человеческой надолго и люди преградили курам путь к научно-техническому прогрессу.

Одна курица, склонная к созерцательности, объявила в большом волнении, что видела неопознанный летающий объект. Подруги отнеслись к этой новости с недоверием и сказали, что скорее всего это был мираж или галлюцинация. Курица возмутилась и закудахтала:

— Да провалиться мне на этом месте, я видела неопознанный летающий объект, даже два! — И, удаляясь, добавила вполголоса: — По телевизору!

Курица держала в клюве кусочек сыра. Подошел к ней кот и сказал:

— Какие у тебя перышки, какой носок! Что, ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица? Ведь ты б у нас была царь-птица. Спой, светик, не стыдись...

Курица уже слыхала басню о вороне и лисе и ответила:

— Шиш тебе!

Сыр выпал на землю. Кот схватил его и был таков.

Однажды утром в курятнике поднялся шум и гам. Все куры сгрудились вокруг

гнездышка, где сверкало золотое яйцо. Золотоносная курица с горделивым видом стояла тут же и упивалась своим триумфом. Но вдруг одна из кур подскочила и клювом сорвала с яйца золотистую обертку. Обман раскрылся.

— Так это же шутка!

— Шутка! — сказала мошенница и поспешно вышла подышать свежим воздухом.

Одна курица научилась считать до четырех и требовала, чтобы подруги называли ее профессором. Она даже хотела свергнуть петуха и занять его место. Куры ощипали ее догола и сказали, что, если она сосчитает все свои ощипанные перья, тогда они станут называть ее профессором.

Одна чувствительная курица посмотрела по телевизору «Госпожу Бовари» и страшно расстроилась оттого, что она живет в жалком провинциальном курятнике. Она мечтала попасть в столицу, расхаживать по тротуарам людных улиц и приковывать к себе восхищенные взгляды. Она как наяву видела шикарные магазины, сверкающие огнями витрин. И вот однажды ее вместе с другими курами погрузили в фургончик. Все впали в отчаяние, а она была счастлива: ведь на фургончике был столичный номер. На другой день ее ощипали и повесили вниз головой в витрине большого магазина в самом центре города.

Курица-зоолог долго изучала кур и пришла к выводу, что куры не животные, но и не птицы.

— А кто ж они такие? — спросили подруги.

— Куры — это куры,— ответила курица и, гордо выпятив зоб, удалилась.

Однажды в курятнике возник спор, что красивее — рассвет или закат. Сформировалось две партии — рассветисты и закатисты. Со временем первые забыли о рассветах, а вторые — о закатах, осталась лишь взаимная ненависть.

Курица-факир устроила представление посреди гумна. На виду публики она глотала осколки стекла и ржавые гвозди. Потом облизала клюв, показывая, что они пришлись ей по вкусу. В конце она обошла зрителей с мешком в надежде, что ей станут бросать туда червяков и кукурузные зерна. Но куры, посмотрев, с каким аппетитом она ела во время представления, бросали ей лишь осколки стекла и ржавые гвозди.

Одна курица, последовательница Аристотеля, задумала взглянуть на кота с научной точки зрения. Изучила хвост, лапы, когти, уши, нос, шерсть, но зашла в тупик, пытаясь определить, для чего коту усы.

— Для красоты,— предположила курица, не знакомая с Аристотелем.

— Красота не есть научное понятие,— заявила ученая курица и попыталась вырвать усы у кота.

А кот взял да откусил ей гребешок, который с научной точки зрения никакой ценности не представляет.

Одна нескромная курица утверждала, что у нее самые красивые ноги в курятнике, и демонстрировала их при каждом удобном случае. Но однажды она случайно увидела свое отражение в зеркале и очень расстроилась, показавшись себе донельзя уродливой и неуклюжей. С того дня она стала прятаться подальше от чужих глаз. Подружка, заметив эти ее переживания, ободряюще шепнула ей на ухо:

— А что же тогда делать женщинам?

Курицы единогласно постановили объявить всеобщую забастовку в знак протеста против смеси, которая воняла дегтем. Они решили прекратить нести яйца, но как ни старались, все равно несли. Так всеобщая куриная забастовка потерпела поражение, и пришлось есть смесь, провонявшую дегтем.

Одна очень старая курица рассказывала в курятнике сказки про фей, ведьм, магов, принцев, гномов и драконов. Из этих сказок курицы узнали, что у драконов тоже есть гребешки. Но раз так, то почему же о драконах слагают сказки, а о курицах — нет?

Одна курица-хулиганка забавы ради гонялась за кроликами и пугала их до смерти.

— Смотрите, как улепетывают! — смеялась она. А кот взял да и погнался за этой хулиганкой. Курица до смерти испугалась и кинулась бежать.

— Смотрите, как улепетывает! — смеялся ей вслед кот.

Одна курица-лгунья как-то встала поутру, жалуясь на зубную боль. Когда ей заметили, что у куриц нет зубов, лгунья устыдилась и спряталась в кустарнике.

Одна курица увлекалась астрономией и днем спала, а ночью все искала в небе созвездие Курицы. Когда же она наконец его нашла, то продолжала наблюдать за ним все ночи напролет в надежде, что оно снесет яйцо.

Две курицы отправились в зоопарк и там долго разглядывали невиданных зверей и птиц в клетках. Потом задумчиво поглядели друг на друга, не понимая, почему же нет клетки с курами.

— Выходит, курица не птица,— с грустью заключили они.

Одна лионская курица добралась до самого Парижа и, замешавшись в толпу, проникла в Лувр. Следуя указателям, она прямиком направилась в зал, где выставлена «Джоконда» Леонардо Да Винчи. Долго она стояла у картины, околдованная загадочной улыбкой этой женщины. С того дня лионская курица стала целыми днями торчать перед зеркалом, безуспешно пытаясь повторить улыбку Джоконды.

Одна курица поднялась на Эйфелеву башню. С трудом одолевая ступеньку за ступенькой, она добралась до самой верхней площадки. Глянула вниз и разинула клюв от удивления, увидев дома, памятники, сады.

«Что это за город?» — спросила себя парижская курица. А потом понеслась вниз по ступенькам, чтобы узнать у сторожа название города, который она увидела с высоты Эйфелевой башни.

Одна курица из Миннесоты слыхала, будто небоскребы вызывают головокружение. Как-то раз она посетила Нью-Йорк, но ходила по улицам, глядя в землю, потому что боялась головокружения. Домой она так и вернулась, не увидев небоскребов.

«Тем хуже для них»,— сказала она себе на обратном пути.

Одна дерзкая курица дразнила уток: «кря-кря-кря». Однажды утки схватили ее за хвост и бросили в воду. Курица страшно перепугалась и завопила:

— Помогите, тону!

Но утки ответили:

— Раз ты крякаешь, то должна уметь и плавать.

В конце концов они ее все-таки вытащили, и с тех пор дерзкая курица уже не осмеливалась дразнить уток.

Проамерикански настроенная курица пила всегда кока-колу, а потом, притворяясь, будто опьянела, билась головой о стенку. Куры вскоре выяснили, что она просто рекламирует этот напиток, пытаясь уверить всех, что он лучше вина. Однажды они окружили курицу и откровенно ей заявили:

— Продажная тварь!

Проамерикански настроенная курица спряталась со стыда в кустарнике.

Одна севильская курица задумала стать великой гитаристкой, но сомневалась, чем ей играть — клювом или лапами. Сомнение оказалось роковым для ее карьеры: севильская курица так и не стала великой гитаристкой.

Курица по имени Наталия решила написать роман, но никак не могла придумать сюжет, персонажей, название и стиль. Тогда эта волюнтаристка-наседка написала воспоминания детства, имевшие большой успех среди гусынь.

Одна безграмотная курица вставала посреди курятника с обрывком газеты, притворяясь, будто читает.

— Ну, что нового в мире? — спрашивали подруги.

Чтобы не попасть впросак, безграмотная курица неизменно отвечала: ровным счетом ничего.

Как-то раз одна раздражительная курица дала ей такого пинка, что та отлетела на луг А раздражительная курица сказала:

— Ну вот, теперь есть новости, посмотрим, напишут ли об этом в газете.

Одна пугливая курица шла вдоль стены под лучами августовского солнца, погруженная в свои мысли. Вдруг она скосила глаза, и ей почудилось, будто она отбрасывает тень не курицы, а лисы. Пугливая курица бросилась бежать и с той поры в солнечные дни держалась от стен подальше.

Одна страшно тщеславная курица участвовала в конкурсе красоты, но приза не получила. Она вернулась в курятник смущенная и подругам объяснила, что ее провалили по политическим мотивам.

— А к какой ты партии принадлежишь? — спросили ее.

На это курица ответить не смогла.

У кур спросили, какое их самое заветное желание. Одна ответила, что хотела бы найти червей длиною в километр, вторая — что хотела бы выступить со своим кудахтаньем по телевидению, третья мечтала найти лису, угодившую в капкан, и клюнуть ее в нос. А последняя из опрошенных ответила, что хотела бы умереть от старости.

Услыхала однажды курица, как один человек говорит другому:

— Заткни свой клюв!

Удивленная курица прибежала в курятник и рассказала про это подругам. Все куры принялись разглядывать того человека, пытаясь понять, где же у него клюв, но так его и не обнаружили. В конце концов они решили, что он стесняется показывать клюв, и очень оскорбились.

Задумчивая курица все время жаловалась на пустоту в голове, как раз там, где обычно находится мозг.

— Боюсь, у меня вообще нет мозга,— сокрушалась несчастная.— Если бы он был, я бы это чувствовала.

Но другие курицы ее утешили, говоря, что тоже не чувствуют у себя мозга.

■

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Сказки

Перевод с итальянского Ф. ДВИН

Когда К.Ит был таким маленьким

Миллиард лет тому назад в маленьком озере среди глухих джунглей жил-поживал один К.Ит. Был он не больше обыкновенной пиявки — такой резвый, подвижный, шаловливый, неутомимый, ну не рыбка, а бесенок; да вот беда, слишком уж маленький. И нередко можно было услышать, как он сокрушается: «Все, ну все больше меня. До чего же плохо быть маленьким».

У самого озера росло дерево, на котором свил себе гнездо некий А.Ист. Этот А.Ист не спускал глаз с озера. Стоило какой-нибудь рыбе выглянуть на поверхность, чтобы подышать свежим воздухом, как А.Ист стремительно кидался вниз, хватал ее своим длинным клювом и мгновенно проглатывал.

Однажды на поверхности озера показался К.Ит: он хотел поймать стрекозу, которая, в свою очередь, гонялась за мухой, пытавшейся сцапать какую-то мошку.

А.Ист молниеносно сорвался с места, схватил К.Ита и унес его наверх, в гнездо, чтобы закусить им в свое удовольствие.

Расположившись в гнезде, он сказал:

— Сейчас я тебя съем, но прежде скажи, как тебя зовут, кто ты и чем занимаешься. Иначе какой интерес есть что-то, когда не знаешь, что это такое?

К.Ит в отчаянии закричал:

— Меня зовут К.Ит. Чем занимаюсь? Умираю с голоду. Кто я? Самая несчастная рыба на свете!

А.Ист спросил:

— Почему ты самая несчастная рыба на свете?

— А потому,— ответил К.Ит,— что я родился и вырос в этом жалком озерке, в этой вот луже. Ничего-то я в своей жизни не видел, и только потому, что я такой маленький. Сейчас ты меня съешь, и конец. Ну, можно ли быть несчастнее?

Искренность страданий К.Ита произвела на А.Иста сильное впечатление, и он спросил:

— А что бы ты стал делать, если бы я сохранил тебе жизнь?

К.Ит ответил:

— Я сделал бы все возможное, чтобы стать большим и толстым.

— Каким большим? Вдвое больше, чем сейчас?

— Больше, больше. В сто тысяч раз больше.

— Зачем?

— А вот затем.

Услышав такое, А.Ист смущенно заметил:

— Сдается мне, ты такой маленький потому, что родился в этом малюсеньком озере. В мелкой воде и рыба мелкая. А я во время своих путешествий видел одно громаднейшее озеро, которое зовется морем. Вот если бы ты мог добраться до этого самого озера, которое зовется морем, то уж там ты наверняка стал бы большим, большущим, огромным, потому что озеро, которое зовется морем, большое — так уж большое.

— Какое большое? В два раза больше нашего?

— В два? Да ты что! В сто тысяч раз.

— Ну,— говорит К.Ит,— теперь ешь меня. Все равно ведь мне никогда не увидеть озера, которое зовется морем. Давай ешь, и делу конец.

Но А.Ист отвечает:

— Нет, ты необыкновенная рыбка, и есть я тебя не стану. Так уж и быть, возьму тебя в клюв и на крыльях отнесу к озеру, которое зовется морем.

А К.Ит ему:

— Нет, только не в клюв. Вдруг во время полета ты проголодаешься и проглотишь меня, чтобы подкрепить свои силы? Нет, я пойду пешком, а ты лети в небе надо мной и указывай мне дорогу.

Чтобы вы поняли, откуда столь неожиданные для рыбы речи, скажу, что в те времена у всех рыб, в том числе и у К.Ита, были ноги — две такие черненькие лапки, по форме напоминавшие гусиные, и росли они по бокам — одна с одной стороны, другая — с другой. На этих лапках К.Ит, когда ему нечем было заняться, прогуливался по суше.

Сказано — сделано, и вот наша парочка отправляется в путь. Ловкий, быстрый, неутомимый К.Ит шагает по лесам, лугам, полям, буеракам и долинам; А.Ист в небе, соразмеряя свой полет с шагом К.Ита, указывает ему дорогу. Вот так, один пешком,

© 1982 Gruppo Editoriale Fabbri — Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A.

другой на крыльях, добрались-таки А.Ист и К.Ит до высокого лесистого мыса, вдававшегося в безбрежную голубую водную гладь — океан.

Над спокойным, приветливым морем-океаном сияло солнце, миллионы маленьких шаловливых волн сверкали под его лучами. Тут А.Ист опустился на дерево и сказал:

— Ну вот мы на месте. Это и есть озеро, которое зовется морем. Теперь ныряй и плавай себе на здоровье! Дважды в тысячелетие я буду пролетать над этим мысом. Если захочешь что-нибудь мне сказать, приплывай сюда и жди: я сразу тебя узнаю, и мы потолкуем.

К.Ит возразил:

— Как же ты сможешь меня разглядеть, ведь я малюсенький.

А А.Ист ему в ответ:

— Не бойся, я разгляжу тебя, ведь ты станешь таким большим, что тебя можно будет увидеть даже издалека. Но на всякий случай помни, что у тебя есть ноги: если море тебе разонравится, ты сможешь в любой момент выйти на сушу и вернуться пешком домой, то есть, в наше озеро.

— Да кому она нужна, эта жалкая лужа? — презрительно воскликнул К.Ит.

Ну, ладно. А.Ист улетел, К.Ит бултыхнулся в море и от великой радости, что для него теперь наступило такое раздолье, сразу вырос вдвое. Довольный и счастливый, принялся он плавать; море было действительно безбрежным, и чем больше К.Ит плавал, тем быстрее рос. Короче говоря, через какой-нибудь миллион лет К.Ит стал большущей, огромной, колоссальной рыбищей. Весил он что-то около сотни тонн, в длину достиг по меньшей мере ста метров, питался же мелкой рыбешкой — по тонне за один присест.

Все шло прекрасно на протяжении двухсот или трехсот миллионов лет; потом помаленьку начали давать себя знать неудобства жизни в озере, которое зовется морем. Главное из них, как ни странно, заключалось в том, что пища здесь сама шла в рот, была слишком обильной и доступной. В своем родном озерке К.Ит едва мог прокормиться, целыми днями он искал, чем бы заморить червячка. Здесь же ему только и нужно было, покачиваясь на волнах, держаться на поверхности с открытым ртом: миллионы рыбешек заплывали в эту огромную пасть, принимая ее за подводный грот,— сами, можно сказать, спешили к нему в желудок, и потому К.Ит вообще перестал двигаться, предоставляя морским течениям носить себя с места на место. А поскольку ел он слишком много, то страдал плохим пищеварением и постоянно был вялым и сонливым. К.Ит жирел; все его тело заплыло жиром, особенно голова, превратившаяся в самую настоящую гору сала. Жир этот проникал даже в мозг, отчего у К.Ита начались сильные головные боли. Он только и делал, что ел да спал, и совсем перестал соображать.

В конце концов К.Ит испугался и созвал на консилиум четверку знаменитых докторов: У.Гря, О.Мара, Го Лу-бя и Че Репаху.

Доктора пришли к следующему заключению: «К.Ит слишком разжирел. Необходимо принять самые энергичные меры для похудания. Поэтому мы рекомендуем ему есть побольше». Вы спросите, возможно ли, чтобы доктора так сами себе противоречили? Ну что вам сказать, подобные вещи иногда случаются.

Кончилось дело тем, что К.Ит стал все чаще с тоской вспоминать об озере, в котором он родился и рос таким жизнерадостным, подвижным, вертким, блестящим. Ах, как было хорошо, когда было плохо! К.Ит решил: «Сейчас я отправлюсь к мысу, подожду, когда над ним будет пролетать А.Ист, а потом пешком, как в тот раз, отправлюсь в обратный путь, к моему дорогому озеру. В мелкой воде и рыба мелкая. Просто не дождусь, когда можно будет сбросить с себя весь этот жир».

Отправился К.Ит к мысу и стал дожидаться А.Иста. Ждать пришлось недолго — веков пять, не больше. Вот в небе появилась черная точка; приближаясь, она все увеличивалась и, наконец, приобрела очертания птицы с большим клювом и длинными ногами. Это был А.Ист. Едва завидев огромную спину К.Ита, возвышавшуюся над водой, словно диковинный остров, он спустился к нему и закричал:

— Привет, К.Ит, в чем дело?

— Дело в том,— ответил К.Ит,— что море мне не нравится и еще мне не нравится быть большим, и потому я хочу вернуться в озеро и снова стать маленьким, как обыкновенная пиявка.

— Ничего нет проще,— сказал А.Ист.— Выходи на сушу и шагай следом за мной своими гусиными лапками. Я, как и в тот раз, буду указывать тебе дорогу. Между прочим, ты прав. Лучше быть маленьким и умным в озере, чем большим и глупым в море.

К.Ит обрадовался, подплыл к пологому бережку, где начиналась тропа, и попытался выйти из воды. Увы! К великому своему огорчению, К.Ит обнаружил, что ног у него больше нет. Вернее, ноги были, но их так затянуло жиром, что снаружи ничего не осталось. К.Ит в отчаянии закричал:

— Горе мне! У меня нет больше ног. А.Ист, дорогой мой А.Ист, возьми меня в клюв и отнеси в озеро. Век буду тебе благодарен.

Тут А.Ист давай смеяться:

— Видно, жир и впрямь ударил тебе в голову и отнял у тебя способность смотреть на вещи реально! Ну как, по-твоему, могу я взять в клюв такую тушу? Да в тебе не меньше ста тонн одного сала.

С этими словами А.Ист улетел, а К.Ит остался в океане качаться на волнах и заглатывать без всякого удовольствия миллионы рыбешек. Время от времени К.Ит выбрасывает вверх струю воды — это он так сморкается, когда плачет. Ну да ведь он только и знает, что плачет и ест, ест и плачет от великой тоски по тем временам, когда он был маленьким.

Вот почему и в наши дни киты иногда выбрасываются на берег, на сушу, и умирают на песке. Они тоскуют о своем малом росте, пытаются высвободить ноги из жира, но не могут и с горя умирают. Потом приходят рыбаки, разрубают китов на части, чтобы добыть жир, обнаруживают у них две ноги и удивляются: «И зачем

киту нужны ноги?» Они не знают, что ноги эти нужны были китам, чтобы вернуться в озеро и снова стать веселыми и умными.

Хороший муравей императорского трона стоит

Миллиард лет тому назад некий Мур Ав Ед, субъект необщительный и надменный, бродил неторопливо по бразильским джунглям в поисках своего обычного первого завтрака — какой-нибудь муравейник с тысячью муравьев был для него все равно что для нас чашка кофе с молоком. Вдруг кто-то его окликнул:

— Мур! А Мур!

Поглядев вниз, он увидел муравья: взобравшись на стебелек травы, тот махал ему лапкой. Мур Ав Ед угрюмо проворчал:

— Для кого Мур, а для кого Мур Ав Ед. Между прочим, мне по праву полагается титул графа Муравского, князя Муравьиного и барона Муравейникова. Так что называй меня Вашим превосходительством.

Муравей тотчас закричал:

— Ваше превосходительство Мур Ав Ед! Мы тут собрались и решили провозгласить вас царем.

— Царем чего?

— Царем муравейников.

— Царем? И только?

— Ну, пусть императором.

— Императором? Всего императором?

Муравей подумал-подумал и сказал:

— Ладно, тогда — архиимператором. Согласны?

Чтобы вы поняли, что все это значит, скажу, что Мур Ав Ед был злейшим врагом муравейников. Выбросив свой язык — такой длинный, что его приходилось держать во рту в свернутом виде, как портновский метр,— он молниеносно мог одним махом слизнуть добрый миллион муравьев. Доведенные до отчаяния муравьи после долгих дебатов пришли к мудрому решению: «Надо провозгласить Мур Ав Еда царем муравейников, и он перестанет нас есть. Виданное ли дело, чтобы царь поедал собственных подданных?»

Мур Ав Ед, как вы уже, должно быть, сами догадались, был невероятно тщеславным. Перспектива стать архиимператором показалась ему заманчивой. Однако он поинтересовался:

— Допустим, я соглашусь быть вашим архиимператором и, естественно, перестану вас есть. Но как же я буду жить? Чем питаться?

Муравей заверил его:

— Мы сами позаботимся об этом и ежедневно будем доставлять тебе целую кучу ягод, корешков, зеленых побегов, клубней и тому подобного. Вот увидишь, какие они питательные!

— Выходит,— недовольным тоном сказал Мур Ав Ед,— вы из меня вегетарианца хотите сделать!

— Ну и что? Подумай, польза-то какая! Прежде всего тебе станет легче опорожнять кишечник. Всем ведь известно, какие у тебя запоры. Когда ты ходишь в уборную, от твоих стонов и кряхтенья весь лес содрогается.

Мур Ав Ед сделал вид, будто он не слышал этих слов, и ответил:

— Ладно, согласен. Но имейте в виду: ягоды и корешки должны доставляться регулярно и своевременно.

— Не сомневайся. Можешь на нас положиться.

— А когда состоится церемония коронации?

— Очень скоро. Как только мы закончим необходимые приготовления.

И вот в один прекрасный день, когда Мур Ав Ед, набив брюхо ягодами и корешками, дремал в своем логове, до его слуха донесся чей-то ехидный смех. Смех был страшный: Мур Ав Ед догадался, что насмехаются над ним. Он огляделся по сторонам. На поляне, где находилось его логово, не было ни души. Лишь среди травинок сновали туда-сюда муравьи, провозгласившие его архиимператором и чувствовавшие себя теперь в безопасности. Мур Ав Ед спросил:

— Кто тут смеется надо мной?

Ехидный голосок отозвался:

— Я.

— Кто это — я?

— Твой двоюродный братец, личинка Муравьиного Льва.

Мур Ав Еда покоробило. Ему было прекрасно известно, кто такой Муравьиный Лев: личинка этого ничтожного насекомого пряталась обычно в песчаной норке. Когда в эту норку падал какой-нибудь муравьишка, личинка Муравьиного Льва хватала его и тут же пожирала. Мур Ав Ед презирал Муравьиного Льва: сколько всяческих ухищрений и терпения ему надо, чтобы сцапать какую-нибудь дюжину муравьев за день, тогда как он, Мур Ав Ед, выбросив свой длиный язык, за один только раз мог слизнуть их целую тысячу. И он буркнул раздраженно:

— Между прочим, никакие мы не двоюродные. И вообще — над кем ты смеешься?

— Я смеюсь над тобой,— ответил тот.— Ради какого-то дурацкого титула ты отказался от самого лучшего, что есть на свете. Знаешь песенку?

— Не знаю и знать не хочу.

— А все-таки послушай:

Добрый жирный муравей
всяких титулов милей!

Мур Ав Ед в сердцах воскликнул:

— Кто такую глупость сказал?

— Неужели ты сам не понимаешь, до чего хорош муравей? Ты только подумай: жареный, пареный, в горшочке, запеченный на углях... Да и сырой неплох, особенно с оливковым маслом и лимончиком. Так-таки и не понимаешь?

Мур Ав Ед в ярости выбросил язык, чтобы слизнуть Муравьиного Льва, да не тут-то было: хитрец успел зарыться в свою норку. А у Мур Ав Еда на языке только песок остался.

Наконец наступил день коронации, и Мур Ав Ед уселся на трон, выгрызенный в стволе дерева и устланный мхом. И тут вперед выступил главный церемониймейстер:

— Ваше величество,— воскликнул он,— сейчас мы вам торжественно представим обитателей всего нашего Муравейника. Парад откроют министры, являющиеся, как известно, первыми гражданами после архиимператора.

Церемониймейстер сделал шаг в сторону, а к трону с поклоном подошли министры. Мур Ав Еда поразило их количество: целых тридцать! Министры были самые разные: путей сообщения (муравьи ведь только и делают, что перенравляют с места на место всякие грузы); жилых помещений и коридоров (в муравейниках всегда много клетушек и внутренних ходов); экономии (муравьи, как известно, очень скупы и бережливы); поставок (в муравейниках хранится огромное количество всяких припасов); военный министр (муравьи — народец очень воинственный) и так далее и тому подобное. Был там, представьте себе, даже министр по связям с Мур Ав Едом — должность в данной ситуации весьма важная. Мур Ав Ед посмотрел на них и подумал: «К чему мне все эти министры? Мне лично необходим только министр поставок. Все остальные мне совершенно не нужны, а потому лучше всего их съесть». Молниеносно выбросить язык и сразу же слизнуть всех министров, кроме одного, было для Мур Ав Еда секундным делом. Ах, что за прелесть! Мур Ав Ед прищелкнул языком и воскликнул:

— Ну, теперь давайте остальных!

На глазах у церемониймейстера во рту Мур Ав Еда исчез весь совет министров. Но церемониймейстер — это, что ни говорите, церемониймейстер, его долг — выполнять свои функции, и потому он продолжал:

— А вот, Ваше величество, ваша личная гвардия.

Под барабанную дробь вперед выступила сотня отборных солдат. Мур Ав Ед подумал: «И зачем мне эта личная гвардия? Я и сам за себя постоять могу. В крайнем случае пусть останется барабанщик: будет возвещать барабанной дробью о моем появлении. Всех остальных мне на один хороший глоток хватит». Сказано — сделано. Мур Ав Ед выбросил язык и в два приема проглотил всю свою личную гвардию. Церемониймейстер едва не лишился чувств. Он даже многозначительно кашлянул, желая намекнуть архиимператору, что так дальше продолжаться не может. Пустое! Мур Ав Ед облизнулся и, потеряв всякий стыд, стал мурлыкать песенку:

Вперед, вперед, вперед!
Сожру весь мой народ.

Церемониймейстер же едва выдавил из себя:

— Ваше величество, позвольте вам представить вашу непобедимую, доблестную армию!

С другого конца поляны плотными рядами под развевающимися знаменами выступила муравьиная армия. Тут были все рода войск: танки, пехота, артиллерия, авиация, морской флот и так далее и тому подобное. Мур Ав Ед запел глухим басом:

Я — пацифист,
желаю мира всем,
поэтому всю армию
немедленно и съем!

Произнеся эти слова, он в два-три хорошо рассчитанных приема схрумкал муравьиную армию. Спасся один только муравьишка, рядовой, да и то потому, что пообещал каждое утро кончиком штыка хорошенько чесать пятки Мур Ав Еду. Церемониймейстер хотел было предупредить муравьиный народец, чтобы он бежал, если не хочет оказаться в желудке Мур Ав Еда. Но, увы, он поздно спохватился! Муравьям не терпелось поглядеть на своего владыку вблизи, приветствовать его, и они, все как один, высыпали из муравейника на поляну. Мур Ав Еду только это и было надо. Слез он с трона и давай работать языком. Потом, насытившись, вновь расселся на троне и приказал церемониймейстеру:

— Зубочистку!

Бедный церемониймейстер поспешил выполнить приказание. Мур Ав Ед выковырнул из зубов двух или трех застрявших там муравьишек, потянулся и изрек:

— По-моему, церемония коронации прошла прекрасно.

Удрученный церемониймейстер ответил:

— Увы, Ваше величество, вы правы. Вот только одна небольшая неувязка...

— Какая же?

— Муравьев не осталось. Вы архиимператор, но все ваши подданные — это церемониймейстер, барабанщик, министр поставок и рядовой муравьишка.

— Ну и что?

— А то, что какой же вы архиимператор без народа и без армии, которая помогает им управлять?

Мур Ав Ед заорал:

— Ах, так! Тогда я сейчас съем и тебя, и твоих друзей и снова стану тем, кем был всегда.

Сказано — сделано: он выбросил язык в сторону церемониймейстера и других оставшихся в живых муравьев и в мгновение ока разделался со всеми — можно сказать, подчистую.

С тех пор муравьеды бродят по бразильским джунглям, и, завидев муравейник, подкрадываются к нему, и тихо спрашивают: «Вам случайно не нужен император? Или царь? Или хотя бы президент республики?» Муравьи, хорошо зная, что кроется за этим вопросом, отвечают: «Ишь, чего захотел!» И тогда муравьед пытается подобрать языком в траве тех муравьишек, которые замешкались, не успели добежать до муравейника. Знаете пословицу?

Лучше один муравей сегодня,
чем целый муравейник завтра.
Но лучше муравейник завтра,
чем коренья и ягоды сегодня.

Потоп, конец света и так далее...

Три миллиарда лет тому назад некий Бронто Завр, известный нытик и пессимист, заметив сгущающиеся на небе тучи, проворчал: «Однако, быть дождю! Придется захватить зонтик».

Представьте, на этот раз он не ошибся. Вс.Е.Вышнему надоел мир, созданный, между прочим, им же самим; вот он и ре-

шил полностью его уничтожить, а потом создать новый — отвечающий сегодняшним требованиям, то есть более современный. Для уничтожения мира у Вс.Е.Вышнего было два средства — вода и огонь. Водой он мог все затопить, огнем — все сжечь. Результат был бы один и тот же: на земле не уцелело бы ровным счетом ничего.

Вс.Е.Вышний вообще-то отличался нерешительностью. Он долго взвешивал все «за» и «против», но так ничего и не придумал. Тогда он призвал на помощь своего тайного советника по имени Слу Чай, и тот дал ему очень дельный совет — такой вопрос надо решать просто: орел или решка. Вс.Е.Вышнему совет пришелся по душе, и он подбросил монету: выпал «орел», что по уговору означало воду. Вс.Е.Вышний тотчас схватил шланг, с помощью которого он обычно поливал свой сад, и сказал:

— Теперь я буду держать его над землей, пока рука не устанет,— пусть хоть сорок тысяч лет. Сорок тысяч лет на земле будет идти дождь под названием Великий Потоп, в общем, как у нас говорят: разверзнутся хляби небесные.

И действительно, дождь шел и шел на протяжении сорока тысяч лет — приличный был дождичек — и затопил всю землю: под водой оказались растения, звери, Че Ло Веки. Потонул даже Бронто Завр, несмотря на то, что при нем был его красно-синий зонтик.

Через сорок тысяч лет у Вс.Е.Вышнего занемела рука, в которой он держал шланг. Он опустил руку, и Потоп прекратился. Но что делать с таким количеством воды? Вс.Е.Вышнего вдруг осенило: надо развести в ней рыб. Сказано — сделано. Рыб он создавал так: выпускал их изо рта, словно облачка пара, и, подхватив на лету, говорил каждой:

— Ты будешь тунцом.

— Ты будешь угрем.

— Ты будешь камбалой.

— Ты будешь треской.

— Ты будешь кефалью.

И так далее.

Создав рыб, Вс.Е.Вышний, отличавшийся, как вы уже догадались, характером неуравновешенным и капризным, утратил всякий интерес к земле и переключился на что-то другое.

Прошло несколько миллиардов лет. Мир оставался сплошным морем, а море кишело рыбой. Рыбы били хвостами, плавали, пожирали друг друга, в общем, делали все, что полагается делать рыбам. Одни рыбы были очень большими, например, К.Ит; другие очень маленькими, например, Сар Дина. Рыбы, как известно, существа серые, бессловесные, лишенные воображения, короче говоря — скучные. Но даже этим скучным существам надоело быть рыбами. В конце концов они надумали отправить к Вс.Е.Вышнему делегацию. Тот, как водится, помаринован их немножко — каких-нибудь пару миллионов лет — в приемной, но потом все-таки вызвал:

— Ну, что там у вас?

— У нас? У нас скучно.

— Вам скучно потому, что сами вы скучные.

— Нет, нам скучно потому, что мы все время находимся под водой.

— А чем вас не устраивает вода?

— Ну, во-первых, она мокрая: в воде ужасно сыро. Кроме того, там темно. Так темно, что мы постоянно сталкиваемся друг с другом. И наконец, там холодно, просто околеть можно. К.Ит — а он плавает, высунув голову на поверхность,— рассказывал, что над морем есть небо, а в небе солнце и оно теплое, светлое и сухое. В общем, мы хотим солнца.

Вс.Е.Вышний поскреб в затылке, вздохнул, подумал и изрек:

— Будь по-вашему. Солнце выпарит половину воды, и на поверхности моря появятся континенты. Кто хочет остаться в воде, пусть по-прежнему зовется рыбой. Кто решит жить и в воде и на суше, пусть называется земноводным, а кто поселится на земле, станет млекопитающим. Идет? Ну, а теперь проваливайте. Я не желаю слышать никаких разговоров о земле по крайней мере еще миллиард лет.

Все так и было. Солнце выпарило половину моря, из воды выступили континенты, многие рыбы переселились на сушу, многие остались в воде, многие могли жить и в воде и на суше. Среди тех, кто жил на земле, были существа, звавшиеся Че Ло Веками. Их Вс.Е.Вышний создал почему-то голыми. Да-да, они были голыми, словно какие-нибудь черви.

Че Ло Векам в конце концов надоело ходить голышом, и они тоже отправили к Вс.Е.Вышнему свою делегацию. Разговор получился такой:

— Мы мерзнем. Покрой наше тело чешуей, как у земноводных, или дай шкуру, как другим млекопитающим.

— Нет. Голыми я вас создал, голыми вы и останетесь.

— Но почему же?

— Никаких «почему». Я сказал, значит, все.

— Тогда сделай хотя бы так, чтобы солнце грело сильнее.

Это требование Вс.Е.Вышний нашел разумным. Он просунул свою огромную длань за солнечный диск и повернул заводной ключ. Вскоре солнце начало греть вдвое сильнее. Стало так жарко, что вблизи экватора — по обе стороны — погибли все животные и растения и образовались пустыни, то есть огромное количество раскаленного песка, в котором не осталось ничего живого, кроме Г.Адов, С.Корпионов и, естественно, Че Ло Века.

Прошло еще несколько миллиардов лет, и Че Ло Век отрядил к Вс.Е.Вышнему новую делегацию, которую тот принял в высшей степени невежливо:

— Что вам нужно еще, хотел бы я знать?

— Нам нужно больше солнца!

— Как, вам его опять не хватает?

— Дело в том, что в пустынях его с избытком, а вот на полюсах можно окочуриться от холода. Мы хотим, чтобы солнце было везде.

Однако на этот раз Вс.Е.Вышний не пошел им навстречу. Он сознательно создал землю с полюсами и менять своих решений не собирался. Поэтому он сказал:

— Я создал мир по справедливости: столько-то воды, столько-то земли, столько-то льда. Так что никакого солнца вам больше не полагается.

— Ради бога, Вс.Е.Вышний, дай нам его еще немного.

— Нет и нет. Если я пойду вам на уступки, могут запротестовать другие планеты. Вы, между прочим, не одни во Вселенной.

— Что же нам делать?

— А это уже ваша забота.

Тут Вс.Е.Вышнего вызвали по очень срочному делу: от небосклона отстала и начала падать маленькая планета — Плу Тон. Вы можете спросить, куда она могла упасть. Ну, куда падают зрелые плоды с дерева? Вниз, естественно. Ее нужно было подхватить и водворить на место. Вс.Е.Вышний убежал, а делегация осталась. И тогда глава делегации сказал:

— Знаете что? Пока Вс.Е.Вышнего нет, давайте зайдем за солнце, чуть-чуть повернем ключ и убежим. Он ничего не заметит, а у нас будет больше солнечного тепла.

Так и сделали. Зашли за солнце и повернули ключ на пол-оборота. К сожалению, среди делегатов была некая особа по имени Жен Щина. Она жила на Северном полюсе и завидовала девушкам с экватора, которые могли всегда разгуливать нагишом, потому что солнца у них было больше чем достаточно. И вот Жен Щина подумала: «Мы лишь слегка повернули ключ. Этого мало: все равно мне придется носить одежду, пусть и легкую. А как хочется разгуливать голой, да, голой. Я красива и хочу, чтобы все мной любовались».

И вот когда делегация направилась к выходу, Жен Щина возвратилась назад, повернула ключ сначала один раз, но, решив, что этого недостаточно, сделала еще пол-оборота. После чего, довольная, побежала догонять остальных.

Вдруг из солнца вырвался необычайно горячий луч, похожий на длинную раскаленную стрелу. В мгновение ока он достиг земли и уничтожил на ней воду, льды, почву, растения, животных, рыб, земноводных — в общем, все живое и неживое. Даже воздух. И земля превратилась в черный обгоревший камень. Вы спросите, а как же Че Ло Век? Он тоже погиб. Погибла и Жен Щина, суетность которой стала причиной этой страшной катастрофы.

Вс.Е.Вышний, вернувшись домой, посмотрел вниз и увидел, что вся земля стала черной, как головешка. Он заглянул за солнце и убедился, что ключ был повернут дважды. Какое безумие! И сказал Вс.Е.Вышний:

— Так. С землей все. Че Ло Веки превратили ее в камень, камнем пусть и останется.— Но потом передумал: все-таки слишком хороша она была, эта земля, чтобы не стоило труда ее воссоздать. И тогда он взял в руки шланг...

И снова был потоп, и земля зашипела и задымилась, как опущенный в воду раскаленный кусок железа. Потом всю ее затопило море. А в море появились рыбы.

Через миллиард лет рыбам надоело быть рыбами, и они отрядили делегацию к Вс.Е.Вышнему: пусть узнает, что им скучно в воде и хочется солнца. Вс.Е.Вышний сказал:

— Вам скучно, потому что сами вы скучные.

Остальное вы уже знаете. Спокойной ночи, приятных снов.

■

Философские аспекты

ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ НИЦШЕ

ФРИДРИХ НИЦШЕ

ИЗ НАСЛЕДИЯ

(осень 1887 года — март 1888 года)

Вступительная статья и составление Ю. Н. ДАВЫДОВА

Предлагаемые тексты Ф. Ницше состоят из трех частей: вводной (к философии истории нигилизма), основной — конспект «Бесов» Достоевского, ради которого, собственно, и предпринята вся публикация, и заключительной (фрагменты, примыкающие к конспекту «Бесов»: тема разрыва христианства с Христом). Вводная часть имеет целью дать читателю, по крайней мере, самое общее представление о той концептуальной схеме, разрабатывая которую Ницше испытал потребность тщательно проштудировать «Бесов», подвергнув их «медленному чтению филолога». Заключительная часть необходима, чтобы обратить читательское внимание на один специфический мотив конспекта (в созвучии с лейтмотивом сделанного Ницше ранее конспекта книги Толстого «В чем моя вера?»): в рамках ницшеанской философии истории нигилизма обособляется нечто вроде (философской) «психологии» истории христианства.

Формирование этого мотива под непосредственным впечатлением чтения трактата Толстого и романа Достоевского,— что документально подтверждается уже простым сопоставлением конспектов этих произведений с текстом ницшеанского «Антихриста»,— свидетельствует, что поздний Ницше ассимилировал их идеи, в ряде случаев просто-напросто ограничившись заменой стоявшего перед ними ценностного знака на противоположный («плюса» на «минус» и «минуса» на «плюс»). Анализ этого мотива у позднего Ницше убедительно свидетельствует также и о том, что, в отличие от многих своих последователей, философ не противопоставляет друг другу Достоевского и Толстого, а рассматривает их нравственную философию как единое целое, в центре которого — ж и в о й Христос, воплощение наивысшего этического принципа в человеческом облике.

По сравнению с текстами Ницше, вошедшими в первую и третью части публикуемых материалов, конспект «Бесов» представляет особую трудность. Дело в том, что немецкий философ читал «Бесов» во французском переводе, а конспектировал (за редкими исключениями) на немецком языке. При этом часть выдержек из романа Достоевского, воспроизведенных в конспекте, была просто переведена с французского на немецкий (в ряде случаев аутентичность перевода удостоверена кавычками, чтобы при необходимости можно было цитировать, не обращаясь к книге). Другая часть приближается к более или менее вольному пересказу «Бесов», — здесь, соответственно, явственнее проступает «оценочный момент». А кроме того, как и во всяком конспекте, есть комментирующие вкрапления, попутные замечания, ассоциации, в той или иной мере удаляющиеся от воспроизведенных цитат из романа. Тут уже нельзя было ограничиться «чисто переводческой» работой,— потребовалось произвести целое исследование, сопоставив текст немецкого конспекта с французским переводом, с одной стороны, и русским текстом романа — с другой.

Специальную работу пришлось произвести и по «идентификации» текстов из романа Достоевского, прочитанных по-французски, а затем переведенных на немецкий самим автором конспекта. При этом выявилась любопытная манера Ницшева конспектирования,— ее не мешает иметь в виду для правильной ориентации в конспекте. Ницше начинает его с конца романа — с предсмертной записки Ставрогина («Никого не винить»), затем делает выписки из его письма Даше, причем, не удовлетворяясь первыми, дополняет их новыми и новыми — до тех пор, пока не воспроизводит письмо почти целиком. После этого, продолжая двигаться от финала «Бесов» к началу, философ делает подробные извлечения из разговора Кириллова с Петром Верховенским, воспроизводит кирилловский монолог из беседы с Шатовым. Затем следует конспект рассуждения «от автора» об общей атмосфере «смуты», в которой творится «бесовщина» романа, после чего идут большие цитаты из рассуждений Петра Верховенского (разговор со Ставрогиным) о благодетельности «шигалевщины». Заключительная часть конспекта, которую Ницше выделил под заголовком «Бог как атрибут национальности».

посвящена монологу Шатова (беседа со Ставрогиным), с подробными извлечениями, характеризующими шатовскую «философию истории», отголоски которой прозвучали впоследствии в Ницшевом «Антихристе».

Три части конспекта «Бесов» так или иначе обозначены философом. Название первой дается не перед началом, а в середине ее — ближе к резюмирующим рассуждениям самого Ницше, она посвящена Ставрогину, его самоанализу и философской интерпретации ставрогинского «разврата» и озаглавлена «К психологии нигилиста»; кстати сказать, темы ставрогинского письма Даше, выделенные в конспекте, столь близко перекликаются с тематикой непосредственно предшествовавшего ему (в полном собрании сочинений Ницше) фрагмента «Дневник нигилиста...», что было бы резонно поставить вопрос: а не написан ли он по мотивам упомянутого письма и не следует ли и его причислить к конспекту?

Вторая часть, где изложена кирилловская идея богоборческого самоубийства, имеет заголовок «Логика атеизма»; здесь нигилизм атеиста Кириллова, логически приходящего к обожествлению человека («человеко-божество»), подвергается анализу на предмет установления степени его последовательности, в которой Ницше отказывает этому персонажу «Бесов». Что же касается третьей части, то, судя по приведенному выше ее названию, низводящему — вопреки намерению самого Шатова (но в соответствии с истолкованием Ставрогина) — Бога до уровня национальности (Бог не более как ее атрибут), Ницше стремится извлечь из шатовской «философии истории» только то, что соответствует ницшеански-ставрогинской интенции.

Для облегчения восприятия конспекта «Бесов» с точки зрения того, что — сознательно или бессознательно — Ницше внес от себя в выписанные (или пересказанные) им выдержки из Достоевского, мы воспроизводим их в конспекте так, как они звучат в романе, оговаривая все разночтения, связанные с французским или немецким («интерпретирующим») переводом, в примечаниях. Это дает возможность читателю прежде всего обратить внимание на идеи самого автора «Бесов», поразившие воображение Ницше, чтобы затем осмыслить их переводческое «истолкование», показывающее, каким увидел немецкий философ этот великий роман.

Такая возможность открывается читателю благодаря большой работе, проведенной Альбертом Викторовичем Карельским, автором перевода фрагментов Ницше, вкрапленных в конспект или предваряющих и непосредственно следующих за ним; отметим и серьезный, кропотливый труд Марианны Вадимовны Голубовской, не только выполнившей «обратный перевод» выписок Ницше из Достоевского с немецкого языка на русский, но и сличившей их как с русским оригиналом, так и с французским переводом «Бесов» — в том издании, с каким имел дело Ницше.

[К философии истории нигилизма]

9 (127)

Становление нигилизма
Логика нигилизма
Самопреодоление нигилизма
Победители и побежденные[1]

10 (58)

...XIX век, его двусмысленность: До сих пор не было свободы от морали. Пессимисты — это бунтари, движимые моральным пафосом.
Мораль как причина пессимизма.
Пессимизм как предтеча[2] нигилизма.

11 (149)

Совершенный нигилизм
Его симптомы: великое презрение
великое сострадание
великое разрушение
Его высшая точка: учение, которое провозглашает абсолютной и вечной именно жизнь, пробуждающую отвращение, сострадание и жажду разрушения.

11 (150)

К истории европейского нигилизма

Период неясности, разнообразных попыток сохранить в неприкосновенности старое и не упустить нового.

Период ясности: человек осознает, что старое и новое — прямые

[1] Букв.: «Преодолевшие и преодоленные». (*Здесь и далее, до конспекта «Бесов»,— прим. Ю. Н. Давыдова.*)
[2] Букв.: «предварительная форма».

противоположности; что старые ценности порождаются нисходящей, новые — восходящей жизнью — <что> незнание природы и истории уже не позволяет нам обольщаться «надеждами» — что все старые идеалы враждебны жизни (порождены упадком и порождают упадок, как бы нн рядились они в пышные воскресные одеяния морали) — мы понимаем старое, н в нас еще далеко не достаточно силы для нового.

Период трех великих аффектов:

презрения
сострадания
разрушения

Период катастрофического перелома[3]**:**

становление учения, просеивающего людей... побуждающего к решенням как слабых, так и снльных.

11 (151)

Истина, которой «свободомыслящие натуры» не понимают: та же самая дисциплина, которая сильного человека еще более укрепляет и делает способным на великие свершения, посредственного человека ломает и обрекает на прозябание:

: сомнение
: величие <сердца, души>
: эксперимент
: независимость

11 (157)

Устремление к равенству прав и в конце концов к равенству потребностей — эта почти неизбежная логика нашей цивилизации, зиждущейся на коммерции и на политической равноценности голосов,— несет с собою оттеснение и медленное вымирание людей более высокого, более опасного, более необычного,— в общем, более нового склада: всякий эксперимент как бы прекращается, и наступает своего рода застой.

11 (159)

К проблеме «великого отвращения»: отчасти страдая от него, отчасти сама его порождая

нервно-взвнчченная, католически-эротическая литература
литература песснмизма во Франции: Флобер, Золя, Гонкур, Бодлер
обеды у Маньи.

К проблеме «великого сострадания»

Толстой, Достоевский
Парцифаль.

11 (227)

Что необходимо понять:

что все разновидностн упадка и болезненностн всегда были причастны к выработке всех наших оценочных суждений; что в ныне господствующнх оценочных суждениях декаданс даже преобладает; что нам прнходится бороться не только со следствиями всего нынешнего ничтожества и вырождения — нет, весь прежний декаданс остался, т. е. он жив и поныне. Столь абсолютный отход человечества от своих изначальных инстинктов, столь всеобщий декаданс оценочного суждения — вот вопрос вопросов, вот главная загадка, которую задает животное по имени «человек» философу —

11 (228)

Главные разновидностн песснмнзма:

Пессимизм чувствнтельности (чрезвычайная раздражимость, в которой главное — отвращение ко всему).

Пессимизм «несвободной воли» (иными словами: слабость внутренних тормозов против соблазнов).

Пессимизм сомнения (:боязнь всего прочного, всякого прикосновения).

Все соответствующие психологические состояния можно наблюдать в сумасшедшем доме, хотя и в некотором преувеличении. Равно как и «нигилизм» (всепронизывающее ощущение пустоты, «Ничто»).

Но куда отнести моральный пессимизм Паскаля?
метафизический пессимизм философии Веданты?

[3] Букв.: «катастрофы».

[Церковь против Христа: толстовский мотив и его переосмысление]

11 (243)

Христиане никогда не практиковали действий, предписанных им Иисусом; и бесстыдная болтовня о «вере», об «оправдании верой» и о ее наивысочайшей и единственной значительности — это лишь следствие того, что у церкви не нашлось ни мужества, ни желания честно выполнять д е л а, которые требовал Иисус.

11 (244)

Буддист поступает иначе, чем небуддист; х р и с т и а н и н п о с т у п а е т к а к в с е и довольствуется христианством ритуалов и н а с т р о е н и й...

11 (257)

Ц е р к о в ь — это именно то, против чего проповедовал Иисус — и против чего он учил бороться своих учеников —

11 (262)

Бог создал человека счастливым, праздным, невинным и бессмертным: наша реальная жизнь — существование ложное, отпавшее, греховное, жизнь в наказание... Страдание, борьбу, труд, смерть следует рассматривать как доводы против жизни, ставящие ее под вопрос; как нечто неестественное, чему длиться не должно; против этого надобны средства исцеления — и они е с т ь!..

11 (276)

Если не понимают, что церковь — это не только карикатура на христианство, но и организованная в о й н а п р о т и в х р и с т и а н с т в а: — — —

11 (294)

«Христианство» превратилось в нечто совершенно противоположное тому, что делал и чего хотел его основатель

это великое а н т и я з ы ч е с к о е д в и ж е н и е древности, в своих формулах использовало жизнь, учение и «слова» основателя христианства, но в абсолютно п р о и з в о л ь н о й интерпретации — исходя из с о в е р ш е н н о п р о т и в о п о л о ж н ы х н у ж д: переводя это учение на язык всех уже существовавших х т о н и ч е с к и х р е л и г и й —

христианство означало приход пессимизма — в то время как Иисус хотел принести мир и счастье агнцам

: И это именно пессимизм слабых, проигравших, страдающих, угнетенных

их смертельные враги: 1) с и л а, м о щ ь — характера, духа, вкуса; «мирская суетность»; 2) «счастье», как оно понималось в классической древности,— т. е. благородная легкость духа и мысли, скепсис, суровая гордость, эксцентрическая развращенность и сдержанно-холодная замкнутость мудреца, греческая утонченность жеста, слова, формы; — их смертельный враг — р и м л я н и н, равно как и г р е к.

[К психологии нигилиста]

11 (327)

Д н е в н и к н и г и л и с т а...
Ужас перед открывшейся «фальшью» всего.
Пустота: мыслей больше нет; страсти сильны, а объекты ничтожны: [4]

— смотришь на эти абсурдные порывы «за» и «против» как зритель, со стороны
— усмешка превосходства, ирония, холодность — по отношению к самому себе
— самые сильные душевные порывы предстают как лжецы: будто хотят заставить нас поверить в их объекты, искусить, соблазнить нас —
— самая могучая сила уже не знает — для чего она?
— всё есть, нет только целей —
атеизм как полное отсутствие идеалов.

Фаза страстного отрицания, всеобъемлющего «Нет!»: в нем разряжается накопившаяся жажда утверждения, поклонения...
Фаза презрения — ко всему:

---

[4] Букв.: «страсти, кружащие вокруг объектов, не имеющих ценности».

даже к отрицанию...
даже к сомнению...
даже к иронии...
даже к презрению...

Катастрофический перелом:
а не является ли сама ложь чем-то божественным...
не заключается ли ценность всех вещей в их ложности...
не есть ли отчаяние лишь следствие веры в божественность истины
не являются ли как раз ложь и фальсификация (подделка) смысловнесением — ценностью, смыслом, целью?
не следует ли верить в Бога не потому, что он истинен (а потому, что он ложен — ?)

11 (328)

Понятие нигилизма.
К психологии нигилиста.
К истории европейского нигилизма.
Критика «духа модерна», «современности».

Высокие слова.
Из школы сильных.
Добрый человек.
Христианский дух.

Генеалогия идеала.
Цирцея философов.
Эстетические ценности: их происхождение и критика.

Искусство и художник; тут — новые вопросы.

[Конспект «Бесов» Достоевского] *

Besi

Никого не винить [5]—
Мои желания слишком несильны; руководить не могут —
...Я смотрел даже на отрицающих наших со злобой [6], от зависти к их надеждам [7]?..

Но к чему приложить эту силу...[8]

...я не мог быть тут товарищем... А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного,— я смешного не могу испугаться,— а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило [9].
«Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними» [10].

«...я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман,— последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодования и стыда во мне никогда быть не может [11], стало быть, и отчаяния...» [12].

Вникните тоже, что я вас не жалею [13], коли зову, и не уважаю, коли жду. А между тем и зову и жду —

Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие. Но и то

---

* а) В конспекте дается аутентичный текст Достоевского; случаи отступления от него специально оговариваются в подстрочных примечаниях переводчиком; примечания составителя оговариваются особо.
б) Многоточия означают пропуски по тексту «Бесов», сделанные Ницше (в дальнейшем — Н.).
в) Пропуски, возникшие из-за французского перевода, оговариваются специально.
г) Все неточности, идущие от фр перевода, оговариваются специально, если они не оговорены, то принадлежат Н.
д) Разрядка означает слова, выделенные у Н., курсив принадлежит самому Достоевскому.

[5] Продолжение фразы у Достоевского: «... Я сам».
[6] У Н.— с завистью (*из франц.*).
[7] У Н. добавлено — к тому, что они могут так всерьез принимать ненависть *(из франц.)*.
[8] У Н.— «К чему приложить силу?» — (Кавычками и вторым тире выделено у Н.) *(Сост.)*.
[9] У Н.— «связаться с ними мне мешал не страх перед смешным — я выше этого.— а ненависть и презрение, которое они мне внушали» *(из франц.)*.
[10] Кавычками выделено у Н. *(Сост.)*
[11] У Н.— негодование и стыд всегда были мне чужды (во франц.— причастный оборот, время определить нельзя), и я никогда не познаю отчаяния...» *(из франц.)*.
[12] Кавычками выделено у Н. *(Сост.)*.
[13] У Н. *(букв.)* — не испытываю никакого сострадания.

и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает...[14]

На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет[15]. ...Я попробовал большой разврат[16] и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата[17].

Тот, кто теряет связи со своею землей[18], тот теряет и богов своих, то есть все свои цели...[19]

Обо всем можно спорить бесконечно, но из м е н я вылилось о д н о о т р и ц а н и е, б е з в с я к о г о в е л и к о д у ш и я[20] и б е з о в с я к о й с и л ы (...)[21] Все всегда мелко и вяло[22].

Великодушный Кириллов не вынес идеи[23] и застрелился; но ведь я вижу, что он был великодушен потому, что не в здравом рассудке[24]. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он[25]. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не смогу застрелиться!

Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести с земли[26] как подлое насекомое.

11 (332)

К п с и х о л о г и и н и г и л и с т а[27].

«Самое достойное в человеке, по Гёте ——— последовательность»[28], и она-то свойственна нигилисту.

Вот он[29] решает предаться разврату. Надо воздать должное его логике; оценить ее может только философ. Все идеи — ложь, обман; чувственные ощущения — вот последняя реальность... Лишь изголодавшийся по «истине» взыскует разврата — «Любовь» тут не поможет[30]: надо отмести все покровы и прикрасы, всю эту фальшь; остается разврат, страдание и сплав разврата и страдания.

Но и больше того: страдание реальней, чем наслаждение... Элемент утверждения, присущий последнему, имеет привкус оценочности — т. е. это снова ложь, снова преувеличение...

страданием не так-то легко опьяниться, оно трезво...

— Но! — о п а с а т ь с я пьянящих, отуманивающих страданий...

— Страдание причиняемое реальней переживаемого...

11 (333)[31]

Абсолютная перемена, наступающая с отрицанием Бога —

Нет больше абсолютно никакого владыки над нами; прежний мир, мир оценок — теологичен, и он опрокинут,—

Короче: нет никакой высшей инстанции: там, где возможен Бог, мы сами и суть Бог...

И мы должны приписать себе атрибуты, которые приписывали Богу...

11 (334)

Л о г и к а а т е и з м а[32]

Если Бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если н е т, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие[33].

...самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому[34].

---

[14] У Н.— но все эти чувства, если они вообще возникают, являются обычно слишком легкими... *(из франц.)*

[15] Цитата в нем. тексте дается по-французски и в кавычках.

[16] У Н.— грандиозный разврат, разврат с размахом *(из франц.)*.

[17] У Н.— но я не люблю его, он не был моей целью.

[18] У Н.— «со своею родиной», во франц. это слово означает и «земля» и «родина».

[19] У Н.— то есть не имеет более целей существования...

[20] У Н. *(из франц.)* — «величия»

[21] Вместо опущенной фразы («Даже отрицания не вылилось») — у Н. *(из франц.)* — К тому же я лью себе, говоря так.

[22] Слова «мелко и вяло» — по-французски.

[23] У Н. *(букв.)* — был побежден идеей. *(Сост.)*

[24] У Н. *(из франц.)* — В том, что он потерял голову, я вижу величие его души. Я никогда не мог бы так поступить.

[25] У Н. *(из франц.)* — «Я никогда не мог бы так страстно поверить в идею».

[26] У Н. *(букв.)* — что я должен очистить от себя землю. *(Сост.)*

[27] Далее идет общее резюме Ницше по поводу первой части конспекта. *(Сост.)*

[28] Кавычками вначале, а затем тремя тире выделено у Н.

[29] Н. имеет в виду Ставрогина.

[30] У Н. *(букв.)* — «последняя жажда «истины» — вот что побуждает (здесь) к разврату — Ее не может утолить «любовь». *(Сост.)*

[31] Переход ко второй части (теме) конспекта — отношение к нигилизму; атеизм как вторая (активная, в противоположность христианской) форма нигилизма. *(Сост.)*

[32] Далее опять идут выписки из «Бесов» (рассуждения Кириллова). *(Сост.)*

[33] У Н. *(из франц.)* — если бог существует, то все зависит от его воли, и вне (помимо) его воли я ничто. Если он н е существует, то все зависит от меня, и я должен доказать независимость. Во франц. переводе: «вне его воли я ничего не могу».

[34] У Н. *(из франц.)* — самоубийство — самый полный способ доказать свою независимость —.

Бог необходим, а потому должен быть...
Но я знаю, что его нет и не может быть [35]...
...человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых [36]...

Ставрогина тоже съела идея [37]... Ставрогин [38], если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует [39].
к л а с с и ч е с к а я ф о р м у л а Кириллова у Досто<евского>:
Я обязан н е в е р и е заявить...[40] Для меня нет выше идеи, что бога нет [41]. За меня человеческая история [42]. Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя...[43] Я один... не захотел первый раз выдумывать бога...[44]

Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия [45] ...я хочу высший пункт...

— Да ведь не один же вы себя убиваете; много самоубийц.
— С причиною. Но безо всякой причины, а только для своеволия — один я [46].—

11 (335) [47]

Начало нигилизма:
отпадение, разрыв с почвой
в начале — н е п р и к а я н н о с т ь
в конце — о к а я н н о с т ь

11 (336)

...если законы природы [48] не пожалели и Этого [49], даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его [50] жить среди лжи и умереть за ложь [51], то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить... если ты человек?..
Если кончилась ложь [52] и вы догадались, что вся ложь оттого, что был прежний бог? [53]
...спасение для всех [54]— всем доказать эту мысль.
Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет бога, и не убить себя тотчас же?..
«Сознать [55], что нет бога, и не сознать [56] в тот же раз [57], что сам богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам [58], а будешь жить в самой главной славе...
«Я еще только бог поневоле, и я несчастен, ибо *обязан* заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявить своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия [59] и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. С т р а х е с т ь п р о к л я т и е ч е л о в е к а —
...это спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем ф и з и ч е с к о м виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего бога никак. Я три года искал [60] атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — С в о е в о л и е! ...Я убиваю себя [61], чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою» [62]—

---

[35] У Н.— но он не существует.
[36] У Н.— следовательно, больше жить нельзя.— Отрывки из фраз Достоевского организованы в силлогизм. *(Сост.)*
[37] У Н.— мысль.
[38] У Н.— «он».
[39] У Н. две последних фразы выделены кавычками. *(Сост.)*
[40] У Н.— ... утвердить свое н е в е р и е. *(Сост.)*
[41] У Н.— ... отрицания бога. *(Сост.)*
[42] У Н.— Что есть история человечества?
[43] У Н.— человек выдумывал бога, чтобы не убивать себя.
[44] У Н.— я первый отвергаю фикцию бога *(из франц.)*.
[45] У Н.— это была бы независимость в самой низкой форме. *(Сост.)*
[46] У Н. эта мысль сформулирована так: «У прежних самоубийц были на то причины; у меня же, кроме того, чтобы доказать свою независимость,— причин нет» *(франц.=русск.)*.
[47] Резюме самого Н.
[48] У Н.— природа сама.
[49] У Н.— Иисуса.
[50] У Н.— Иисуса.
[51] У Н.— жить среди лжи и для лжи. Далее в скобках — (— и ему земля обязана всем, что позволяет ей жить —) Ср. у Дост.: «этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить», а после скобок — «ну без него планета, со всем, что есть на ней, была бы чистой глупостью». *(Сост.)*
[52] У Н.— если вы разочарованы *(из франц.)*, вся фраза закавычена.
[53] У Н. выделена кавычками вся эта фраза. *(Сост.)*
[54] У Н.— для человечества *(из франц.)*.
[55] У Н.— чувствовать; кавычки у Н. открываются здесь, затем — в начале следующего абзаца и закрываются в конце третьего. *(Сост.)*
[56] У Н.— чувствовать. *(Сост.)*
[57] У Н.— тем самым.
[58] У Н.— и, далекий от того, чтобы убить себя. *(Сост.)*
[59] У Н.— боялся показать себя свободным в высшем смысле этого слова *(из франц.)*.
[60] У Н.— «ищу».
[61] У Н.— я хочу убить себя *(из франц.)*.
[62] Здесь особенно отчетливо видно, что закавычивание обозначает у Н. буквальность сделанной выписки в отличие от пересказа текста. *(Сост.)*

11 (337)

«— Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии[63] ...человек в земном виде не может перенести[64]. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». ...это не умиление, а ...[65] радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость[66]. Если более пяти секунд[67] — то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд[68], надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети... коли цель достигнута?»

Понимание Кирилловым символа воскресения:[69]

«В воскресении не будут родить, а будут как ангелы божии»[70]. Это значит — цель достигнута, и зачем тогда дети?.. В ребенке выражается неудовлетворенность женщины...

11 (338)

Если бы последовательность была в теле человека, она была бы и в его голове. Но эта мешанина...

11 (339)

Что меня всегда больше всего раздражало? Видеть, что ни у кого нет мужества додумывать до конца...

11 (340)[71]

...непомерно веселит русского человека всякая общественная суматоха. Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала: было всеобщее раздражение, что-то неутолимо злобное; казалось, всем все надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм, циннзм через силу, как бы с натуги[72].

Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе[73], и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собой изо всех сил беспокойство и нетерпение[74]. Между тем эта сволочь[75] почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых»... и та направляет весь этот сор куда ей угодно...[76]

...дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное[77], тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди[78] ...стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать[79].

11 (341)[80]

Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть...[81]

...у него шпионство. У него[82] каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается[83] уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие

---

[63] У Н. пропущено *(из франц.)*: совершенно достигнутой.
[64] У Н.— человек в своем земном обличии не может этого вынести.
[65] У Н. *(из франц.)* — пропущено «только так».
[66] У Н. *(из франц.)* — такая ужасная определенность, с которой это выражается, и такая радость, которой это наполняет.
[67] У Н.— «если дольше».
[68] У Н.— «чтобы выдержать дольше».
[69] Далее — до фрагмента 11/339 включительно идет нечто вроде комментирующего послесловия ко второй части (теме) конспекта. *(Сост.)*
[70] Выделено кавычками у Н. *(Сост.)*
[71] Переход к теме «бесовской» провокации, предваряющей тему П. Верховенского. *(Сост.)*
[72] У Н. эта мысль сформулирована так — «Предвестники большой смуты; цинизм по приказу, жажда скандала, усталость, раздражение [выделенные слова цитируются по-французски]. Взвинченная, сбитая с толку публика сама себя больше не узнавала».— Ср. франц. перевод: «... вся эта эскапада доставляет русским бесконечную радость. Правда, нами руководила и другая вещь, посерьезнее, чем жажда скандала: было раздражение и усталость. Всюду царил цинизм по приказу. Взвинченная, сбитая с толку публика не узнавала сама себя».
[73] У Н. *(из франц.)* — в кризисные моменты из глубин общества появляется масса индивидуумов.
[74] У Н. *(из франц.)* — любовь к беспорядку.
[75] У Н.— «они», т. е. индивиды. *(Сост.)*
[76] У Н. *(из франц.)* — которые делают из них, что хотят.
[77] У Н. *(из франц.)* — заслуживающее уважения.
[78] У Н. *(из франц.)* — «наиболее талантливые».
[79] У Н. *(из франц.)* — «одобрительно подхихикивать».
[80] Выписки из «проекта» Шигалева в изложении П. Верховенского. *(Сост.)*
[81] У Н.— ища преступной солидарности и получая над ним власть? Во франц.— Связывая меня преступной солидарностью, вы, должно быть, надеетесь получить власть надо мной.
[82] У Н. *(из франц.)* — в его системе. (Речь идет о Шигалеве.)
[83] У Н. *(из франц.)* — «снизить».

способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем принесли пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается каменьями... Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство... горы сровнять... не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию[84]. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности[85]. Мы уморим желание; мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство[86].

«Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого» — вот недавний девиз английских рабочих. Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безразличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает[87] и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине[88] не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина[89]... Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни[90]. «Вот, дескать, до чего меня довели!» — и все повалят за ним[91], даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина[92]. Надо только, чтобы с папой согласилась... А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет...

... вы красавец! В вас дороже всего то, что вы иногда про это не знаете[93]. ...В вас даже есть простодушие и наивность[94]. ...Вы, должно быть, страдаете, и страдаете искренно, от того простодушия... Я нигилист, но я люблю красоту[95]. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола![96] Вы мой идол!

Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо...

...мы проникаем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны?[97] Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы[98]. ...Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю... я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью... Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить... Школьники[99], убивающие мужика, чтоб испытать ощущение... Присяжные, оправдывающие преступников сплошь... Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален... Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны... везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский... Знаете ли... сколько мы одними готовыми идейками возьмем?[100] Я поехал[101] — свирепствовал[102] тезис Литтре, что преступление есть помешательство[103]; приезжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. «Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!» Но это еще ягодки. Русский бог спасовал перед «дешевкой»[104]. Народ пьян[105] ... церкви пусты... Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, и лечим ... если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького[106] ... вот чего надо!...[107] в русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов[108] себя? ... Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял[109].

---

[84] У Н. *(из франц.)* — надо организовать послушание.
[85] У Н. *(из франц.)* — *исчезает* желание собственности (симптоматичная ошибка перевода.— *Сост.)*
[86] Это предложение у Н. выделено кавычками. *(Сост.)*
[87] У Н. безличный оборот — «пускается судорога».
[88] У Н.— «в социализме».
[89] У Н.— «социализм».
[90] У Н.— «скажет народу».
[91] У Н.*(из франц.)* — «бросится к его ногам».
[92] У Н.— «социализм».
[93] У Н. *(из франц.)* — «забываете».
[94] У Н.— «Само простодушие и наивность!»
[95] Цитата повторяется по-французски.
[96] У Н.— «идолов».
[97] У Н.— мы уже сейчас ужасно сильны.
[98] У Н. пропущено — «или кусаются».
[99] У Н. — «студенты» (во франц. скорее «школьники, учащиеся»).
[100] У Н. *(из франц.)* — чем мы обязаны известным теориям.
[101] У Н.— когда я покидал Россию.
[102] У Н. — произвел фурор (из фр.).
[103] У Н. *(из франц.)*.— близко к помешательству.
[104] У Н. *(из франц.)* — «перед выпивкой».
[105] У Н.— «все пьяны». Пропущено: «матери пьяны, дети пьяны».
[106] У Н. *(по франц.)* — подлого, неслыханного, грязного.— Пропущено: «...когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь». Пропуск идет от франц. текста, где этих слов нет.
[107] Во франц. и соотв. у Н. в тексте пропущено: «А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык».
[108] У Н.— Тургенев.
[109] У Н. *(из франц.)* — «он остался верен своим богам, а Т<ургенев> своих бросил».

... надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим [110] ... Мы провозгласим разрушение...[111] эта идейка [112] так обаятельна!.. [113] Мы пустим пожары...[114] Он «скрывается» [115] ... А главное — новая сила идет [116].

11 (342) [117]

Театромания

11 (343)

«ceci tuera cela» [118]

11 (345) [119]

Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и... возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста...[120]

11 (346)

Бог как атрибут национальности

Народ — это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует [121] в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов.

Народы...[122] движутся силой иною... Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца [123]. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни [124] ... «реки воды живой»... начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное [125] ... «искание бога» [126] ... Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего... и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца... Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре [127]. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро [128]. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре [129], тогда вымирают народы и самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро [130] или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные [131]. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич [132] ... деспот, пред которым все преклонилось... даже сама наука...[133]

11 (347)

Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве...

---

[110] У Н.— Что все мы знаем цель (из франц., но во франц. «только мы знаем цель»).
[111] У Н. *(из франц.)* пропущено: «почему, почему, опять-таки».
[112] У Н. *(из франц.)* — «идея».
[113] Во франц. и соотв. у Н. пропущено: «Но надо, надо косточки поразмять».
[114] У Н.— Мы пустим пожары — И пистолетные выстрелы...— Ср. у Дост.: «Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще за честь благодарны останутся».
[115] У Н.— эта фраза дается по-французски и без кавычек.
[116] У Н.— «Требуется неслыханная сила» — ср. у Дост.: «А главное — новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная!» (во франц. переводе — «идет новая сила, которая требуется»).
[117] 11/342/ и 11/343 могут быть истолкованы как своего рода резюме по поводу выписок из «проекта» Шигалева — П. Верховенского. *(Сост.)*
[118] Букв.: «это убьет то» *(франц.)*.
[119] Переход к последней части (теме) конспекта: философия истории Шатова. *(Сост.)*
[120] Ср. конец фразы Шатова, оборванной в конспекте: «...и тем погубило весь западный мир». Что же касается выделенного здесь слова «Antichrist» (которое переводится одновременно и как «анти-Христос», антихрист, и как «антихристианин»), то оно всплыло затем в качестве заголовка книги, над которой работал в это время Ницше. *(Сост.)*
[121] У Н. *(из франц.)* — рассчитывает.
[122] У Н. пропущено: слагаются *(франц.=русск.)*.
[123] У Н.— народы движутся силой ненасытной потребности дойти до цели.
[124] У Н.— в кавычках.
[125] У Н. *(из франц.)* — эстетический или моральный принцип философов.
[126] У Н.— по-франц.
[127] У Н.— «...то есть» и далее — в скобках.
[128] У Н.— каждый народ понимает эти слова по-своему.
[129] У Н. *(из франц.)* — «...становиться общими эти идеи».
[130] У Н.— эти понятия.
[131] Эта фраза дается по-французски.
[132] У Н.— проклятье. *(Сост.)*
[133] У Дост. эта фраза полностью звучит так: «...пред которым трепещет даже сама наука...»

11 (348)

«Если великий народ не верует, что в нем одном истина[134]..., если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал»[135].

Истинный великий народ никогда не может примириться[136] со второстепенной ролью... или даже с первостепенною[137], а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ[138].

11 (349)

Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен[139]: это Вас соблазнило!..[140]

[Фрагменты, примыкающие к конспекту «Бесов»: тема разрыва христианства с Христом]

11 (364)

К истории христианства

Тип «христианина» шаг за шагом приобретает черты всего того, что он изначально отрицал / а это отрицание и было его сутью —[141] /

христианин становится бюргером, солдатом, судейским, рабочим, торговцем, ученым, теологом, священником, философом, земледельцем, художником, патриотом, политиком, «государем»... Он возобновляет все виды деятельности, от которых отрекался (самозащита, суд, наказание, клятва, различение между народом и народом, пренебрежительность, гнев...).

Вся жизнь христианина в конце концов становится именно той жизнью, отрешение от которой проповедовал Христос...

Церковь в такой же мере есть торжество антихристианского начала, как и современное государство, современный национализм...

Церковь — это варваризация христианства.

Над христианством восторжествовали: иудаизм (Павел), платонизм (Августин), мистериальные культы (учение о спасении, символ «креста»), аскетизм (враждебность к «естеству», «разуму», «чувствам» — Восток).

11 (365)

Нет больше эксцентрического понятия «святость»...

«Бог» и «человек» не оторваны друг от друга...

Нет «чуда» — нет попросту самой этой сферы...

— единственная оставшаяся сфера — «духовная» (т. е. символически-психологическая), сфера декаданса: параллель к «эпикуреизму»... Рай, в греческом понимании, так же «сад Эпикура»...

В такой жизни не существует задач:[142]

она ничего не хочет...

:это своего рода существование «богов-эпикурейцев» —

: нет больше самих оснований ставить себе какие-либо цели: иметь детей...

Все достигнуто...

Христианство еще возможно — в любой момент... Оно не привязано ни к каким бесстыдным догмам, украшавшим себя его именем; оно не нуждается ни в каких учениях, будь то о личном боге, о грехе, о бессмертии, об избавлении, о вере,— оно попросту не нуждается ни в какой метафизике, тем более — в аскетизме, тем более — в христианской «естественной науке»...

Кто сейчас сказал бы: «я не хочу быть солдатом», «мне нет дела до судов», «я не притязаю на должность полицейского»,— тот был бы христианином... «Не хочу делать ничего, что бы нарушило мир во мне; и даже если я буду страдать от этого, ничто не сохранит моего мира надежней, чем страдание»...

Все христианское учение о том, во что дóлжно верить, вся христианская «истина» — сплошная ложь; и прямая противоположность тому, что дало начало христианскому движению...

Именно то, что считается христианским в церковном смысле, есть изначально

---

[134] Во франц. цитате пропущено — (именно в одном и именно исключительно).
[135] Эта цитата выделена кавычками и дается по-французски.
[136] У Н.— никогда не довольствовался.
[137] У Н. *(из франц.)* — влиятельной
[138] У Н. *(из франц.)* — народ, отказавшийся от этого убеждения, отказывается от своего существования.
[139] Эта часть фразы написана по-французски.
[140] Этот фрагмент замыкает конспект «Бесов». *(Сост.)*
[141] Букв.: в отрицании чего заключалась его сущность. *(Сост.)*
[142] Букв.— отсутствует задача. *(Сост.)*

антихристианское: сплошь дела, вещи и лица вместо символов, сплошь история вместо вечных фактов, сплошь формы, ритуалы, догмы вместо практики жизни... истинно христианским является равнодушие к догмам, культу, священникам, церкви, теологии.

Практика христианства — не пустая химера, равно как и практика буддизма: она есть средство быть счастливым...

11 (366)

Наш век в определенном смысле является зрелым (а именно упадочным), подобно временам Будды...

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ

Великий катализатор: Ницше и русский неоидеализм [1]

«Сверхчеловек» есть путь от человека к богу.
Николай Бердяев

Приходится повторять слова профессора Генриха Штамлера, выступавшего с докладом на эту же тему на симпозиуме в Нью-Йорке: «Согласившись говорить о влиянии Ницше на русских мыслителей так называемого религиозно-философского возрождения начала этого века, я поступил легкомысленно». Дело в том, что, приступая к работе о влиянии Ницше на русскую мысль, исследователь очень быстро приходит к выводам, которые и вызвали признание профессора Штамлера в «легкомысленности»: почти никаких исследований на эту тему не существует, а утверждения многочисленных авторов, и русских и западных, о решающем влиянии Ницше на блестящую плеяду русских мыслителей начала XX века ничем не подтверждены и остаются голословными.

И тем не менее симптоматично то, что, проанализировав многие трудности на пути исследователя (полное отсутствие работ, полная противоположность духовной направленности нигилизма Фридриха Ницше и идеализма русских философов) и выразив пожелание увидеть в будущем доскональное исследование на эту тему, профессор Штамлер заявляет, что, несмотря на все, он глубоко верит в то, что Ницше необходимо признать «святым заступником и отцом того движения, которое мы называем Возрождением религиозной и моральной философии в России». Другой американский автор, профессор Джордж Клайн в чрезвычайно интересной книге «Религиозная и антирелигиозная мысль в России» пишет почти то же самое: «Западным мыслителем, более всего повлиявшим на эту плеяду, был Ницше... Влияние мысли Ницше яснее всего видно у религиозных экзистенциалистов Шестова и Бердяева и у марксистов-«богостроителей» Горького и Луначарского. Однако и Леонтьев и Розанов были «русскими Ницше» — так же, как до некоторой степени и Александр Герцен был в этом avant la lettre [2]». Вряд ли что-то еще, кроме подобных утверждений, можно найти во всех существующих работах по истории русской мысли, среди которых выделяются исследования В. В. Зеньковского и Н. Лосского.

Единственным мне известным большим исследованием на эту тему является диссертация на степень доктора философии Энн М. Лэйн (университет Висконсин-Мадисон) под названием «Ницше и русская мысль 1890—1917», к сожалению, еще не напечатанная. В этой объемной и очень содержательной работе, написанной в 1976 году, речь идет главным образом о том, *что* русские философы писали о Ницше, и лишь немного о том, *в чем* выразилось влияние немецкого мыслителя. Создается впечатление, что о влиянии Ницше судят скорее по восторженным отзывам самих философов об авторе «Заратустры», чем на основании сравнения их философских идей и систем, То, что русские мыслители миого писали о Ницше, выходит, является важнейшим доказательством его влияния. А не напиши оии о нем ни слова — никому и в голову не пришло бы, что такое влияние существует.

И в самом деле, в то время, как марксистских «богостроителей» — Горького, Луначарского, Богданова и Базарова — нетрудно признать «ницшеанцами», охарактеризовать так крупнейших «неоидеалистов» — Льва Шестова, Николая Бердяева, Семена Франка, Николая Лосского и Сергея Булгакова — совершенно невозможно. Василий Розанов был «ницшеанцем» до Ницше и духовно опирался на Леонтьева.

Все русские мыслители — религиозные христиане (только Шестов не высказывается до конца, и иногда кажется, что он ближе к Богу Ветхого Завета). Ницше — анти-

[1] Статья эта была опубликована на русском языке в общественно-политическом журнале «Форум» (1986, № 14), выходящем в Мюнхене, а на английском — в весьма репрезентативном сборнике «Ницше в России», изданном американской исследовательницей русской культуры Бернис Розенталь (Принстонский университет, 1986). Сегодня с ней получает возможность ознакомиться и читатель «Иностранной литературы». *(Прим. ред.)*

[2] Здесь: впереди своего времени (*франц.*).

теист и яростный антихристианин. Что может быть более противоположным провозглашению «Бог умер» Ницше, чем категорическое утверждение Семена Франка «С нами Бог» (так называется последняя его книга)? Что есть общего между призывами Ницше «Будьте верными земле, братья мои» и основной идеей Бердяева, будто любая «объективизация» есть зло, т. е. что всякая реализация духовного в физическом мире (земля) — зло? Как не признать полнейшую противоположность важнейших мыслей Ницше (таких, например, как эта: «Моя формула человеческого величия — заключается в словах amor fati[3]: не желать изменить ни одного факта в прошедшем, в будущем, вечно; не только выносить необходимость — еще менее скрывать ее: всякий идеализм есть ложь перед лицом необходимости,— но любить ее»[4]) убеждению Шестова, что вся надежда на то, что «Бог может сделать бывшее небывшим». Много ли общего между людьми, открыто поднявшими знамя идеализма в борьбе против позитивизма, и Ницше, выступавшим за полностью противоположные и даже враждебные идеи: «Нам смешны претензии человека отыскать ценности, которые превосходили бы ценности реального мира»[5].

И несмотря на все это, по собственному признанию русских мыслителей, Бердяеву Ницше открыл дорогу к религии, Франку — к осознанию духовного мира, а Шестову, больше всего о Ницше писавшему, очевидно, помог поверить в возможность «преодоления самоочевидностей», в том числе и самой непреодолимой «самоочевидности» — уже случившегося. Вот какое влияние имел мыслитель, объявивший «смерть Бога», иллюзорность духовного мира и «вечное возвращение», то есть вечную самоочевидность.

Ницше — открыватель пути к духовному миру, Богу и религии! Ницше — ведущий к христианскому мистицизму! Ницше — «творец целой грандиозной моральной системы»! «Сверхчеловек» как ступенька к Богу!

Однако сомнений нет. Именно так воспринимали русские философы гениального немца. Такими словами заканчивает свою раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Нитше» (1900) Лев Шестов: «Нитше открыл путь. Нужно искать то, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога». А Франк, вспоминая, какое впечатление на него произвело чтение «Так говорил Заратустра», писал: «Я был совершенно потрясен глубиной и напряженностью духовного борения этого мыслителя, остротой, с которой он заново ставил проблему религии (как прежде нам казалось, давно уже разрешенную — в отрицательном смысле — всеми просвещенными людьми) и проверкой основоположений нравственной жизни. Под влиянием Ницше во мне совершился настоящий духовный переворот, отчасти, очевидно, подготовленный и всем прошлым моим умственным развитием, и переживаниями личного порядка: мне впервые, можно сказать, открылась реальность духовной жизни. В душе моей начало складываться некое «героическое» миросозерцание, определенное верой в абсолютные ценности духа и в необходимость борьбы за них»[6].

Думается, что такое своеобразное восприятие Ницше мыслителями русского неоидеализма и создает одну из трудностей, и является причиной почти полного отсутствия работ, посвященных влиянию Ницше на русскую мысль. Насколько велико непонимание роли, которую Ницше сыграл в истории русской мысли, могут проиллюстрировать слова профессора Джеймса Скенлона:

«Замечательное возрождение русского искусства, литературы, религии и философии в первом десятилетии XX века стало возможным благодаря творческим усилиям группы религиозных бунтовщиков, которые черпали свое вдохновение отнюдь не из двух важнейших источников русской культуры — идей радикальной интеллигенции и православной церкви. Их вел не Николай Чернышевский, а Фридрих Ницше, указавший им на святость язычества и классической древности...

Земное и Божественное, издавна разделенные в русской культуре, соединялись в странную смесь языческого и христианского. Читая о дважды рождением Дионисе, они представляли воскресшего Христа. Изучая христианские тексты, они находили там дионисийский праздник плоти, Апокалипсис. В результате возникло новое, завораживающее видение мира, его будущего — «новое религиозное сознание», которое не только уравнивает тело с душой, но и предсказывает приближение нового золотого века, где это равенство преобразует мир»[7].

Вряд ли что-либо может быть более неверным: Ницше помог русской мысли открыть дорогу в духовное, религиозное, мистическое, а отнюдь не в телесно-языческое. Оригинальность русской мысли именно в том, что она в лице своих самых значительных мыслителей восприняла Ницше отнюдь не так, как подавляющее большинство «ницшеанцев» и в России и на Западе, вплоть до нашего времени. В произведениях Ницше русские мыслители услышали трагический крик живой души человеческой, распятой в обезбоженном мире и обесчеловеченном обществе. Сила этого крика, еще раньше слышанного в произведениях Достоевского, помогла осознать существование человеческой души, ее реальность, противопоставленную всему «объективному миру». Само же существование метафизической реальности — души, личности, «я» — прямо вело к открытию духовного и религиозного. Поэтому и Шестов, и Франк, и Бердяев, даже восторгаясь Ницше, все время подчеркивают его «слепоту», неосознанную основу его идей, трагедию непонимания трансцендентности. Символично: Лев Шестов объясняет, что «вечное возвращение» у Ницше было лишь неосознанной надеждой и верой в «новое небо и новую землю». Короче говоря, Ниц-

[3] Букв.: любовь к року (*лат.*).

[4] Ф. Ницше. Дневник 1888 года. Цит. по кн.: Л. Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Нитше. Спб., 1900. с. 187—188. *(Здесь и далее, кроме обговоренных особо,— прим. авт.)*

[5] Ф. Ницше. Радостная наука, с. 279. Цит. по кн.: Л. Шестов. Добро в учении.., с. 189.

[6] С. Франк. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. с. 28—29.

[7] James Scanlan. Berdjaev and Merezkovsky. Papers of International Conference on Russian Idealism. Aix-en-Provance, 1968.

ше в глазах русских философов-неоидеалистов является трагической жертвой не только мира космического и социальиого, но и собственной религиозной слепоты. Жертвой позитивизма и духа своего века, духа веры в прогресс и социализм. Так, в 1903 г. Сергей Булгаков пишет: «Не нужно разделять сознательно идеи века, чтобы быть тем не менее его сыном; иногда отрицание свидетельствует о гораздо более страстном отношении к отрицаемому учению, нежели равнодушное его принятие. В этом смысле можно, между прочим, сказать, что Ницше, со своей враждой к социализму, является вполне продуктом мировоззрения социализма, незаконным его духовным сыном»[8].

Принимая во внимание, что почти все крупные мыслители русского неоидеализма начинали с марксизма и даже были участниками так называемой «первой марксистской волны» в России, иетрудно понять, что трагический голос Ницше им показался голосом собственной души. Тем более, что послышался голос Ницше как раз в то время, когда самые талантливые, думающие люди в России перестали находить в марксизме ответы на вопросы, которые начали их мучать. Если Ницше и был трагической жертвой в их глазах, то отнюдь не напрасной. Потрясенные силой его голоса, они двинулись по пути, приведшему их к прямо противоположному тому, о чем вещал Ницше. Так зародилось одно из самых оригинальных философских течений XX века, все еще малоизвестное и на Западе и в России, по разным, правда, причинам.

Главные препятствия

Анализ трудностей, с которыми исследователь сталкивается, пытаясь определнть специфику и степень вличния Ницше на русских мыслителей, парадоксальным путем приводит к пониманию самого этого влияния. Кроме уже упомянутой *основной трудности* — полной противоположности философии русских неоидеалистов философии Ницше, существуют еще четыре главных затруднения при исследовании:

Первое. Это уже упомянутое отсутствие (кроме диссертации Энн Лэйн) какой-либо работы, прямо посвященной Ницше и русским неоидеалистам.

В то время как в Советском Союзе, совершенно понятно почему, Ницше, а тем более русские немарксистские мыслители — все еще тема почти недозволенная[9], отсутствие таких работ на Западе объясняется тем, что самые значительные произведения Шестова, Бердяева, Франка, Лосского были написаны ими уже в эмиграции, в промежутке между первой и второй мировыми войнами, изданы маленькими тиражами и прочитаны очень ограниченным кругом читателей. Те же их книги, что были переведены на Западе, очевидно, не вызывали у исследователей желания уточнить степень влияния Ницше, поскольку оно там незаметно. Статьями и книгами русских мыслителей о Ницше, написанными еще в первом десятилетии XX века, занимались, главным образом, редкие историки русской мысли. Лишь в наше время интерес к философско-религиозному ренессансу возрастает и в Советском Союзе и на Западе. Выяснение отношений между Ницше и русскими неоидеалистами — дело чрезвычайно сложное, требующее досконального изучения огромного материала, никем до сих пор не обработанного. Это дело будущего.

Второе. Изучение влияния Ницше на русских мыслителей осложняется еще и тем, что в России задолго до Ницше жили и писали самые настоящие «ницшеанцы». Кроме Константина Леонтьева, с полным правом называемого «русским Ницше», богоборческие идеи, задолго до немецкого мыслителя и почти теми же словами, высказывал Бакунин.

Третье. Еще значительней влияние Достоевского: с одной стороны, на Ницше, а с другой — на русских философов. После опубликования в 1970 году в ФРГ второй книги VIII тома Полного собрания сочинений Ницше, содержащей его подготовительные статьи и черновики, стало несомненным, что влияние русского романиста на Ницше во время его работы над самыми важными книгами было абсолютно решающим. Ницше не только постоянно упоминает Достоевского и ссылается на него, но и конспектирует некоторые его произведения. С другой стороны, практически все крупнейшие мыслители русского неоидеализма тщательно изучали Достоевского, и все очень много писали о нем. Разобраться в том, что идет от Ницше, а что от Достоевского — чрезвычайно сложно. В диссертацни Энн Лэйн, к примеру, большинство из того, что приписывается влиянию Ницше, идет прямо от Достоевского.

Четвертое и самое большое затруднение состоит в том, что сама по себе философия русских неоидеалистов не понята полностью. Причина этого в том, что, несмотря на общую духовную установку, каждый мыслитель философско-релнгиозного ренессанса шел собственным, отличным от других путем. Русская философия все еще ждет того, кто выявил бы ту общую основу, на которой произрастали важнейшие идеи и теории Шестова, Бердяева, Лосского, Франка — этих четырех важнейших русских мыслителей первой половины XX века. Появление некоторых философских произведений в русском самиздате за последние годы убеждает в том, что завершение постройки русской мысли — не за горами. Основная же трудность в понимании русского неоидеализма состоит в том, что это отнюдь не идеализм классической философии — греческой или немецкой. Совсем не случайно свою философскую систему Франк назвал «идеал-реализмом». Философский идеализм от Платона до Гегеля предполагает доминирование духовного мира, сферы идей над миром физическим, над материей. Материализм во всех его видах, наоборот, утверждает преобладание материального бытия, определяющего мир духовный, мир идей — идеальный мир, существующий лишь иллюзорно, то есть в сознании человека и человечества. Оригинальность русских мыслителей в том, что они (а яснее всего это выражено у Франка и Лосского), увидели *три, а не две* сферы бытия. Одна сфера — предметный мир, то

[8] С. Булгаков. От марксизма к идеализму. Спб., 1903, с. 108.

[9] Читателю следует иметь в виду, что работа М. Михайлова написана в 1984 году. (*Прим. ред.*)

есть мир физический. Вторая сфера — мир духовный, мир идей, открывающийся человеческому уму и созначию. И третий мир — *ненаблюдаемая* реальность, в которой оба мира — и материальный и духовный — каким-то странным путем объединены. На Западе близко к такой концепции подошел лишь Николай Гартман, однако необходимо подчеркнуть, что свои книги он начал писать после того, как прослушал философские курсы С. Франка в Петербургском университете еще до первой мировой войны. Думается, что эта оригинальность и полная новизна русской мысли является важнейшей причиной того, что она все еще не понята. Буквально все, например, американские авторы, уверены, что речь идет просто о новой форме классического идеализма, начавшегося с Платона, то есть о следовании призыву «назад к Канту». Сразу же нужно сказать, что это совершенно неверно, так же, как неверно ранее упомянутое уже мнение о том, что Ницше якобы русским философам открыл глаза на языческую телесность бытия. Речь идет о том, что открытием третьего ненаблюдаемого уровня онтологии, объединяющего мир физический и мир духовный, мир «для нас» и мир «для себя», русская мысль так называемого неоидеализма полностью преодолела Канта, преодолела разрыв «двух миров». Вот это все еще не понято.

Пониманию русской мысли мешает также само ее определение как религиозной философии. На Западе есть теология и есть философия, однако русская мысль является чем-то третьим. В то время как теология является мышлением, основывающимся на исходной предпосылке существования (несомненного) Творца,— русская религиозная философия никакой такой предпосылки не имеет вообще (так же, как и западная философия). Однако в то время, как западная философия является таким мышлением о человеке и мире, как если бы Бога вообще не было (вопрос о Творце она оставляет теологии, а сама занимается законами мышления — логикой, гносеологией, моральной сферой бытия — этикой и так далее), русская религиозная философия (т. е. философия течения, называемого неоидеализмом), начиная движение, как и западная мысль без всяких предпосылок, приходит к выводам прямо религиозным и кончает свой путь утверждением веры в Бога, без которой теряют свою основу все философские дисциплины — логика гносеология, этика, эстетика. В этом смысле символичен путь, пройденный С. Франком: в молодости марксизм, потом переход (с помощью Ницше) просто к классическому идеализму и попытка «дополнения» Канта идеями Ницше, потом первый плод его собственной мысли — книга «Предмет знания» (именно гносеологию Франка изучал Николай Гартман), затем полное раскрытие третьей сферы онтологии в книге «Непостижимое» и, наконец,— книга «С нами Бог». Путь от марксизма и классической философской гносеологии к неоидеализму, точнее — «идеал-реализму», и, в конце концов, к полной уверенности в бытии Божьем Можно сказать, что в некотором смысле русские мыслители, о которых идет речь, завершили круг европейской мысли. Западная мысль отпочковалась от теологии и в течение трех-четырех столетий независимого развития дошла до марксизма и экзистенциализма, чрезвычайно развила и усложнила логику и гносеологию, духовно потрясла мир такими крупными явлениями, как Кант, Гегель и Ницше, и надолго застряла в логическом позитивизме, структурализме и экзистенциалистском нигилизме. Мыслители русского религиозно-философского возрождения начинали именно там, где закончила свое развитие западноевропейская мысль, и, вооруженные всеми достижениями и всем инструментарием западной философии, подошли с противоположной стороны, как бы завершив движение по кругу, к исходной точке и началу европейской мысли нового века — к единству философии и теологии, к осознанию того, что философия, как и всякая мысль, может существовать только потому, что существует Бог.

Вот это истинно духовно революционное достижение русской мысли — по многим упомянутым и неупомянутым причинам — пока что еще полностью не осознано, особенно в кругах профессиональных, университетских философов. До тех пор пока сама русская мысль не будет усвоена, иллюзорно ожидать серьезных трудов о влиянии Ницше на эту мысль.

«Ницшеанцы» до Ницше

Когда в 1892 году Василий Розанов впервые прочел статью о Ницше в одном московском журнале, он воскликнул: «Да это — Леонтьев, без всякой перемены». И Леонтьева и Розанова называют «русскими Ницше», однако Леонтьев написал свои «ницшеанские» работы на десяток лет раньше, чем Ницше начал печататься, и умер до того, как слова Ницше докатились до России. Так же, как впоследствии и Ницше, Леонтьев был страстным ненавистником европейского мещанства, демократического нивелирования общественной жизни и писал: «Христианская проповедь и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь». Хотя, в отличие от Ницше, Леонтьев преклонялся перед византийским христианством (и вообще перед Востоком, с которым хорошо познакомился, будучи дипломатом в Турции), в котором он видел «животворящие силы общественного неравенства»,— его своеобразное христианство почти что не отличается от антихристианской проповеди Ницше. Леонтьев воспевал красоту бурных эпох истории, риск, борьбу и даже кровопролитие и противопоставлял им творчески бесплодное прозябание в удобстве и безопасности европейской цивилизации XIX века. Особенно яростно Леонтьев обрушивался на либерализм и социализм, видя в них силы смерти общественного организма. «Эстетический аморализм», «трансцендентный эгоизм», восхваление Возрождения (совершенно так же, как у Ницше прославляются — героизм, трагедия и даже «демонизм» эпохи Возрождения) — все это определяет Леонтьева как прямого предшественника Ницше. Как верно заметил Джордж Клайн, Леонтьев даже очень близко подошел к идее «сверхчеловека». Вот ка-

кие «ницшеанские» мысли высказывал он в 1882 году:

«Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий буржуа в безобразной комической одежде своей благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия... Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки» [10].

Розанов же в леонтьевском отрицании универсальности морального мерила видел то, что позднее у Ницше и ницшеанцев получило название «по ту сторону добра и зла».

Хотя в свое время Леонтьев был малоизвестен в России, его влияние на мыслителей русского неоидеализма, начиная с последнего десятилетия прошлого века (когда Розанов первым осознал значение Леонтьева и начал о нем писать), несомненно. Бердяев даже написал книгу о Леонтьеве. Определить и разделить, где и в чем выражается влияние Ницше, а где Леонтьева,— дело нелегкое. Правда, еще труднее обстоит дело с влиянием Достоевского, которого в наше время вполне можно назвать учителем самого Ницше.

Если, грубо говоря, учение Леонтьева — «эстетический аморализм», а учение Ницше — «культурный аморализм», то учение второго «русского Ницше» Розанова — это «экзистенциальный аморализм».

Розанов на одно поколение моложе Леонтьева и испытал его влияние задолго до того, как познакомился с Ницше. Конечно, он, так же как и они, не любил европейскую «уравнительную» цивилизацию, а в критике христианства пошел еще дальше Ницше, провозгласив, что христианство — это «религия смерти» и что христиане поклоняются «Богу в гробу». И тем не менее единственное, в чем можно быть уверенным, говоря о влиянии Ницше на Розанова,— это общность стиля их книг; Розанов, как и Ницше, писал главным образом афоризмами. Надо думать, что только после Ницше в России можно было так писать.

В то время как Леонтьев поклонялся «византийскому христианству», а Розанов — «святой сексуальности» Ветхого Завета, один из основателей и теоретиков анархизма Бакунин задолго до Ницше, обрушивался на религию и веру в Бога с такой же силой, используя те же слова, что и Ницше впоследствии. Он писал: «Если Бог существует, то человек — раб; но человек... свободен; поэтому Бог не существует... Если Бог все, то жизнь и человек — ничто...» Бакунин предвосхитил Ницше и в критике священников, считая, что даже самые гуманные из них «всегда имеют на дне своего сердца... что-то жестокое и кровавое». Он же писал: «Я переворачиваю афоризм Вольтера и говорю: если Бог существует, то необходимо его упразднить» [11].

Читая впоследствии у Ницше: «Лучше совсем без Бога, лучше на свой страх устраивать свою судьбу, лучше быть дураком, лучше самому быть Богом» [12], как отличить влияние Ницше от влияния Леонтьева, Бакунина, Розанова и даже Герцена, с его критикой западноевропейской цивилизации?

Достоевский, Ницше и неоидеалисты

Как мы уже сказали, в 1970 году вышла в свет вторая книга VIII тома собрания сочинений Ницше. В ней впервые были опубликованы черновики и подготовительные работы немецкого философа к некоторым его самым значительным книгам. Постоянные ссылки, выписки, цитаты, конспекты из книг Достоевского уже вызвали широкую волну комментариев,— даже в Советском Союзе. Кроме работы Г. Фридлендера «Достоевский и Фридрих Ницше» в сборнике Академии наук СССР «Достоевский и мировая литература» анализу влияния Достоевского на Ницше посвящена интереснейшая книга Ю. Давыдова «Этика любви и метафизика своеволия».

Правда, еще до опубликования черновиков Ницше были известны его слова: «Достоевский — это единственный психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни» [13]. В черновиках Ницше продолжает: «Он принадлежит к прекраснейшим счастливым случаям моей жизни, даже в большей степени, чем открытие Стендаля... Этот глубочайший человек, который был десятки раз прав, презирая поверхностных немцев, воспринял совершенно иначе, чем ожидал он сам, сибирских каторжников, среди которых он долго жил, сплошь тяжких преступников, для которых не было больше никакого возврата в общество,— (убедившись), что они как бы вырезаны из лучшего, прочнейшего и ценнейшего дерева, которое вообще вырастало на русской земле» [14].

Особенно усиленно занимался Ницше Достоевским в самый последний период своей жизни, размышляя о проблеме нигилизма. Ницше даже конспектирует «Бесы» Достоевского, а Ю. Давыдов убедительно показывает, что «Дневник нигилиста» немецкого философа основывается на простой интерпретации письма Ставрогина перед самоубийством.

Кроме «Бесов» Ницше подробно анализирует и комментирует «Записки из Мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных». Конечно, проблема преступления более все-

---

[10] К. Леонтьев. Письма к Василию Розанову. Лондон, 1981, с. 42.

[11] Цит. по: G. I. Kline. Religious and Anti-Religious Thought in Russia. The University of Chicago Press, 1968, p.p. 17—18.

[12] Ф. Ницше. Так говорил Заратустра.

[13] F. Nietzsche. Werke, B. VIII, S. 158. Цит по кн.: Л. Шестов. Достоевский и Ницше. Берлин, «Скифы», 1922, с. 19.

[14] Цит. по кн.: Ю. Давыдов. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1982, с. 96.

го привлекает философа: «Вернуть злому человеку чистую совесть — не это ли является моим непроизвольным стремлением? А именно злому человеку, поскольку он — сильный человек? (при этом привести суждение Достоевского о преступниках из тюрем)»,— пишет Ницше в 1887 году. И дальше: «Достоевский не был не прав, когда говорил о заключенных того сибирского острога, что они образуют ценнейшую и сильнейшую составную часть русского народа» [15].

«Записки из Мертвого дома» являлись настольной книгой Ницше во время его работы над «Сумерками Богов», а «Бесы» — во время подготовки «Антихриста». Так же явственно влияние «Идиота» Достоевского на эту последнюю книгу. Ницше пишет: «Как жаль, что в этом обществе не было своего Достоевского: действительно вся история (возникновения христианства.— *М. М.*) больше всего годится для русского романа — своей болезненностью, трогательностью, отдельными чертами сублимированной странности, посреди низменно-распутного и грязно-вульгарного... (как Мария Магдалина)». И дальше: «Тот странный и больной мир, в который нас вводят Евангелия,— мир словно из русского романа, где как будто происходит rendez-vous отбросов общества, нервных страданий и «детского» идиотизма, во всяком случае должен был огрубить тип (Иисуса.— *М. М.*)... Пророк, Мессия, будущий судья, моралист, чудотворец, Иоанн Креститель — все это поводы, чтобы обозначаться в типе... Можно пожалеть, что вблизи этого интереснейшего декадента не жил какой-нибудь Достоевский, то есть кто-нибудь, кто умел бы ощутить захватывающую прелесть такой смеси возвышенного, больного и детского». А в отрывке под названием «Иисус: Достоевский» Ницше пишет, что Достоевский был единственным, кто «разгадал Христа». Достоевский, по мнению Ницше, «инстинктивно уберегся от того, чтобы представить этот тип с вульгарностью Ренана... В Париже верят, что Ренан страдает слишком большой утонченностью! Но можно ли впасть в более глубокую ошибку, чем сделав гения из Христа, который был идиотом?» И еще: «Иисус противоположность гения: он — идиот». Правда, в окончательном тексте книги «Антихрист» слово «идиот» отсутствует и заменено многоточием: «И какое недоразумение представляет собой слово гений»! Все наше понятие, наше культурное понятие «ума» не имеет никакого смысла в том мире, где живет Иисус. Строгость психолога заставляет сказать, что здесь было бы уместнее совершенно другое слово...» [16].

Ницшеанскую «переоценку всех ценностей», «по ту сторону добра и зла», его радикальный нигилизм и богоборчество, даже идею «сверхчеловека» — все это не трудно найти в романах Достоевского, хотя там, конечно, есть и вовсе противоположные идеи. Можно сказать, что Достоевский всю жизнь боролся против «ницшеанских» идей в себе.

Шестов, Бердяев, Франк, Лосский, Булгаков, Розанов, все они, как и Ницше, читали и перечитывали Достоевского до того, как начали читать в России Ницше. Почти все они написали по книге о Достоевском, и очевидно, что «ницшеанские» идеи Достоевского им были, до знакомства с Ницше, известны и близки. Так почему же все-таки Ницше был так восторженно воспринят в среде этих мыслителей? Почему Шестов пишет две книги о Ницше: «Добро в учении гр. Толстого и Нитше» (1900) и «Достоевский и Ницше — Философия трагедии» (1903)? Почему в чрезвычайно важном сборнике статей «Проблемы идеализма» (1902) Бердяев печатает большую статью именно о Ницше — «Этическая проблема в свете философского идеализма», а Франк огромнейшую статью — «Фр. Ницше и этика любви к дальнему»? Почему Булгаков в своем известном сборнике «От марксизма к идеализму» (1903) также не может не коснуться Ницше и пишет о нем в статье «Иван Карамазов как философский тип»?

Думается, что самой важной причиной восторженного принятия Ницше в среде мыслителей русского религиозно-философского возрождения начала века был тот факт, что впервые в истории западноевропейский властитель дум и прославленный философ во весь голос повторял то, что уже было добыто русской мыслью в лице Достоевского, тем самым как бы подтверждая правильность и значительность не так уж давно зародившейся оригинальной русской мысли. К тому же, по воле судьбы, Ницше попал в Россию именно в тот момент, когда самые талантливые мыслители русского марксизма стали от него отходить — в поисках других, более глубоких идей, которые давали бы ответы на все более усложнявшуюся действительность. Им, воспитанным в западноевропейской философской традиции и в то же время на романах Достоевского и Толстого, необходим был авторитетный (а это значит — западноевропейский) уверенный голос, который бы подтвердил, что зародившаяся русская мысль и есть тот выход из духовного и философского тупика, в который попало человечество. Таким могучим и авторитетным голосом для этих мыслителей стал голос автора «Так говорил Заратустра». В Ницше они признали «своего». Бердяев даже писал в книге «Смысл творчества» (1916), что в Ницше «много славянского». Шестов сравнивал Ницше с героем «Записок из подполья» Достоевского. Булгаков — с Иваном Карамазовым и Великим Инквизитором из «Братьев Карамазовых».

Однако именно в этом восприятии русскими неоидеалистами Ницше как «своего», «русского» и «славянского», заключается и ответ на вопрос: почему, вопреки восторженному приему Ницше, никто из них не стал «ницшеанцем», зато стали таковыми вражески к этим мыслителям настроенные марксисты — «богостроители» Луначарский, Горький, Богданов, Базаров? Дело в том, что, с восторгом приняв от Ницше подтверждение правильности пути, по которому пошла независимая русская мысль, эти мыслители отнюдь не приняли философию Ницше, видя в ней лишь одну сторону многогранной мысли Достоевского. Могучий голос Ницше подтвердил правильность основного направления русской мысли, а не одной лишь ее ступеньки. Отсюда и парадок-

[15] Там же, с. 93.
[16] Там же, с. 114—118.

сальное, на первый взгляд, постоянное повторение в восторженных статьях о Ницше того, что Ницше — «не понимает», «борется против ложной идеи о Боге, а не против Бога», что он «слепой» и так далее и так далее. Если бы не искренний тон похвал Ницше, то статьи и книги русских неоидеалистов о нем можно было бы принять за решительную критику. Марксистские «богостроители», не принимавшие творчества Достоевского, а тем более Владимира Соловьева или Константина Леонтьева, в Ницше воспринимали действительно только его мысль, точно так же, как это делали на Западе,— поэтому-то они и становнлись настоящими «ницшеанцами».

Короче говоря, решительно все те идеи, которые нередко приписываются влиянию Ницше (например, в диссертации Энн Лэйн), перешли к мыслителям неоидеализма от Достоевского, а не от Ницше. Его же влияние действительно было очень важным и в тот момент решающим,— но исключительно лишь как влияние катализатора, открывшего дорогу русским мыслителям в совершенно противоположную сторону от той, в которую шел сам Ницше. Идеи о «школе страдания», через которую должен пройти человек, об историческом христианстве, попирающем свободу человека, о «переоценке всех ценностей» (на языке Ницше) и «перерождении всех убеждений» (на языке Достоевского), о том, что «красота спасет мир», о «безгранично глупой наивности ученого» (Ницше) или о «бернардах проклятых» (французский ученый Клод Бернар — по Достоевскому); о «дионисийстве» Ницше и «карамазовщине» Достоевского, о «по ту сторону добра и зла» Раскольникова — обо всем этом русские философы узнали задолго до Ницше из романов Достоевского. Ничего, решительно ничего нового он им не сказал. Однако сам факт, что Ницше это сказал, и сила его голоса — были решающими. Ницше писал: «Великие эпохи нашей жизни начинаются тогда, когда мы приобретаем смелость переименовать в добро то, что мы в себе считали злом» [17]. Такую эпохальную переоценку благодаря *моральной* поддержке Ницше и совершили мыслители русского религиозно-философского ренессанса.

Неоидеализм

Ницше помог бывшим марксистам увидеть реальность личности, «я», души, духовного мира, противостоящих миру физическому, миру «объективному». Даже названия важнейших книг русских философов свидетельствуют о том, что факт осознания духовной, нефизической реальности явился важнейшим событием и исходным пунктом для их мысли: Бердяев — «Я и мир объектов», Шестов — «На весах Иова» (библейская символика в противопоставлении реальности, страданий Иова и «объективной» реальности, песка морского), Франк — «Душа человека», Лосский — «О свободе воли». Однако, как мы уже сказали, величайшая оригинальность и все еще не осознанная историческая новизна мысли русских философов состоит в открытии *третьего онтологического слоя* — ненаблюдаемой реальности, в которой объединены обе наблюдаемые сферы бытия: физическая и духовная реальности.

У Бердяева трехступенчатость бытия выражается в формуле: Бог, мир и несотворенная свобода, а осознание ненаблюдаемой реальности у него, так же как и у Шестова, выражено менее ясно, чем у Франка и Лосского. Лосский строит логику и гносеологию на признании третьего слоя бытия, объединяющего духовную и физическую сферы. Насколько такой подход оригинален, показывает пример квантовой физики, введшей «ненаблюдаемую реальность, как носителя «волновой функции» в свои теории. Как пишет московский математик и философ Виктор Тростников: «Начнем с того, что квантовая теория сделала несомненным и очевидным давно уже созревшее в физике представление о ненаблюдаемой данности как единственной настоящей онтологии, т. е. сущности, обладающей независимым, объективным статусом. В этой теории состояние физической системы описывается *волновой функцией,* не доступной ни чувственному восприятию, ни фиксацни какими-либо приборами» [18]. В интереснейшей книге «Мысли перед рассветом», изданной в 1980 году, Тростников, по-видимому, не знакомый с философией русского неоидеализма, оперируя лишь даннымн современной науки, приходит к тем же выводам, к которым пришли мыслители русского религиозно-философского возрождения. Парадоксально, что эти мыслителн создали философскую основу для современных физики и астрономии, начиная свой собственный путь с осознания реальности человеческого «я». Если одним из постоянных параметров русской философии была идея «всеединства», особенно ярко выраженная у Соловьева и Достоевского, то, как это показывает в своей книге Тростников, в наше время «в современной физике микромира она является центральным практическим наставлением, без которого нельзя обойтись почти ни в одном расчете».

Однако важнейшее слово русская философия неоидеализма сказала через 30—40 лет после знакомства с Ницше, и нам кажется, что излишне показывать, насколько это слово далеко от того, что говорил автор «Заратустры». Вначале, в последние годы прошлого века и в первое десятилетие этого столетия, Ницше в России был воспринят главным образом как моралист, и нравственный аспект его мысли вызывал наибольший интерес. Начиная с первой статьи о Ницше (статья проф. Преображенского «Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма» в журнале «Вопросы философии и психологии», 1892), в книгах Шестова, в статьях Бердяева и Франка в «Проблемах идеализма», в сборнике Булгакова и впоследствии в «Вехах» — все писавшие о Ницше анализировали главным образом этические аспекты его мысли. Главный и основной вывод, по существу, состоял в том, что «я» человека есть единственный носитель морального начала. И это считалось главной

[17] F. Nietzsche. Werke, B. VII, S. 100.

[18] В Тростников. Мысли перед рассветом. Париж. 1980, с. 151.

заслугой немецкого философа в борьбе с утилитаризмом. Бердяев даже утверждал, что «общество является частью личности, а не наоборот». Однако, несмотря на все свое преклонение перед Ницше, он в своей самой «ницшеанской» книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (1916) вот так исправлял Ницше:

«Он сгорел от огненной творческой жажды. Религиозно ведомы ему были лишь закон и искупление, в которых нет творческого откровения человека. И он возненавидел закон и искупление. Ницше возненавидел Бога, потому что одержим был той несчастной идеей, что творчество человека невозможно, если есть Бог. Ницше стоит на мировом перевале к религиозной эпохе творчества, но не в силах осознать неразрывной связи религии творчества с религией искупления и религией закона, не знает он, что религия едина и что в творчестве человека раскрывается тот же Бог, Единый и Троичный, что и в законе и в искуплении» [19].

«Ницше говорил как религиозный слепец, лишенный дара видения последних тайн. Религия Христа совсем не то, за что Ницше ее принимал. Христианская мораль не рабски плебейская, а аристократически благородная, мораль сынов Божьих, их первородства, их высокого происхождения и высокого предназначения. Христианство — религия сильных духом, а не слабых. В христианской святости был подбор сильных духом, было накопление духовной мощи. Христианская этика — этика духовной победы, а не поражения» [20].

Ницшеанской «воли к власти» Бердяев противопоставляет идею, что «у Бога меньше власти, чем у полицейского», и в основу своей философии кладет идею свободы, религиозно освященной — «Бог требует свободы от человека, а не сам человек». Франк и Шестов совершенно так же понимали, исправляли и дополняли Ницше, несмотря на все свое преклонение перед ним. Ничего, конечно, странного нет в том, что впоследствии их философия стала полностью противоположной философии Фридриха Ницше, особенно в том виде, как ее сейчас понимают.

Надо ли еще раз подчеркивать, что русская мысль религиозно-философского возрождения прямо противоположна всякому нигилизму? Надо ли повторять, что это так во многом благодаря парадоксальной заслуге Ницше?

В 1886 году Ницше, описывая происхождение своей книги «Утренняя заря», писал: «В этой книге вы видите подземного человека за работой — как он роет, копает, подкапывается. Вы видите, если только ваши глаза привыкли различать в глубине, как он медленно, осторожно, с кроткой неумолимостью идет вперед, не слишком выдавая, как трудно ему так долго выносить отсутствие света и воздуха; можно, пожалуй, сказать, что он доволен своей темной работой. Начинает даже казаться, что его ведет какая-то вера, что у него есть свое утешение... Ему, может быть, нужна своя долгая тьма, ему нужно свое непонятное, таинственное, загадочное, ибо он знает, что его ждет: свое утро, свое избавление, своя заря» [21].

Все русские мыслители неоидеализма прошли путь подпольного, или подземного, человека, однако, в отличие от Ницше,— нашли «свое утро, свое избавление, свою зарю».

Остается лишь добавить, что влияние Ницше на русскую мысль еще далеко не завершено по той простой причине, что Ницше еще не переведен полностью на русский язык. До революции, в Москве в 1909—1912 годах, вышлн в свет четыре тома Полного собрания его сочинений (тома 1—3 и 9). Некоторые (но далеко не все) работы Ницше вышли в русском переводе в первые годы XX века. Надо думать, что книги Ницше, раньше или позже, будут заново переведены и изданы в СССР.

[19] Н. Бердяев. Собрание сочинений, т. II. Париж, 1984, с. 138—139.

[20] Там же, с. 295.

[21] F. Nietzsche. Werke, B. VI, S.3 («Also sprach Zarathustra»). Цит. по кн.: Л. Шестов. Достоевский и Ницше, с. 137.

А. ЗВЕРЕВ

ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬСЯ

Размышления над письмами в «ИЛ»

Начну с уточнения.

Обнаружив мою фамилию в списке редколлегии «ИЛ», читатель, вероятно, решит, что за эту статью я взялся, движимый заботами о чести мундира. Это не так.

Во-первых, старания такого рода мне вообще кажутся пустыми — если престиж пошатнулся, его можно восстановить только делом, а не уверениями, будто всему виной чья-то пристрастность и недоброжелательство. Во-вторых, не думаю, чтобы репутацию журнала в действительности требовалось сейчас активно защищать. По многим свидетельствам, включая полученные из читательских писем, знаю, что она достаточно высока.

Отсюда, однако, вовсе не следует, что читатели, выражающие недовольство содержанием последних — примерно за полтора года — номеров «ИЛ», заведомо неправы, а мы, делающие журнал, безупречны. Связанный с «ИЛ» фактически всю свою профессиональную жизнь, я вряд ли могу быть в суждениях о журнале вполне беспристрастным. Но тешу себя надеждой, что инстинкт критика, редко испытывающего чувство полного удовлетворения, у меня не исчезает, даже когда речь идет об этом очень мне близком издании.

И поэтому во многих случаях мне кажется обоснованной критика, которой в своих письмах подвергают журнал его подписчики. Они хотят видеть «Иностранку» более насыщенной по содержанию, более изобретательной по композиции — я (и, не сомневаюсь, вся редакция) тоже. Они корят «ИЛ» за то, что мы упускаем произведения, вызывающие особенно большой интерес нашей аудитории,— не у нас, например, были напечатаны Кёстлер, Оруэлл, «Возвращение из СССР» А. Жида, «Образы детства» К. Вольф. На такие укоры возражать нечего: промах есть промах.

Тем более нечего возразить на гневные письма, в которых нам выговаривают за обещанный, но не напечатанный детектив Р. Чандлера «Долгое прощание». Одна надежда, что публикуемый «ИЛ» в этом году Ле Карре, пусть с запозданием, но как-то компенсирует наш долг любителям детективного чтения. А вообще хочу заметить, что снобизм приписывают журналу напрасно. Сколько знаю, он не намерен отказываться ни от детективов, ни от фантастики, но при условии, что это литература, а не поделки. На страницах «ИЛ» и должно находить место — независимо от жанра — все, отвечающее этому условию.

Скажут: но ведь журнал не всегда его выполняет, публикуя материалы, которые представляют интерес скорее идеологический, чем художественный. Печатает, например, неважную повесть В. Хайдучека «Прегрешение». Набоковская «Лолита», на радость книжным спекулянтам, дана в приложении, рядовому читателю почти недоступном, а в журнале идет «Пнин», далеко не самая значительная книга Набокова.

Насчет Хайдучека — согласен. Но согласимся — справедливость того требует — и с тем, что таких произведений в «ИЛ» последнее время немного, во всяком случае, не они определяют облик журнала. А ведь прежде они едва ли не доминировали. И отчего-то считалось, что по праву.

Что до «Лолиты», кто же не понимает, что ее следовало бы дать в самом журнале. Но год назад, насколько я знаю, сделать это было еще очень сложно. Нельзя оценивать минувшее так, словно сегодняшние возможности издавать книги, почти не оглядываясь на разнообразные запреты, существовали всегда. Эти возможности приходится отвоевывать, преодолевая, среди прочего, и яростное неприятие со стороны значительной части читателей. Журнальная почта в связи с тем же Набоковым — наглядное тому подтверждение.

Все это говорится не в оправдание тех

или иных упущений, а только для прояснения реальностей. Они бывают весомее наших желаний и устремлений. Вот, допустим, пеняют «ИЛ» за то, что она не опубликовала последних книг Гарсиа Маркеса — «Любовь во время холеры», «Генерал у себя в лабиринте». Господи, да неужто в журнале не хотели их опубликовать! Очень даже хотели, предпринимали усилия. Но... Гарсиа Маркес очень высокооплачиваемый автор, и платить, понятно, надо не рублями. А откуда взять такие суммы, когда в стране нет валюты ни на детское питание, ни на одноразовые шприцы.

Понимаю, читатель не обязан вникать в такие сложности. Он получает готовую книжку «ИЛ» и вправе высказать свои претензии к ней. Нередко я готов их разделить. Но когда пишут, что сама линия, выбранная журналом в последнее время, неверна, что его позиция бесперспективна, а тенденция ошибочна,— с этим согласиться я решительно не могу.

То, что вы читаете,— попытка объясниться с авторами писем, отвергающих не то или иное напечатанное в «ИЛ» произведение, а нынешние установки журнала в целом. Попытка эти установки сформулировать и обосновать, как я их понимаю. Еще раз: это только мой собственный взгляд на положение дел. Скажу больше: не все из читавших статью в рукописи разделяют ее положения, во всяком случае некоторые.

Критических писем немало, и все они повторяют в общем-то одну мысль. А именно: Джойс, Сартр, Мисима, Набоков, то есть самые важные публикации прошлого года,— непроходимая скука. Эти писатели непопулярны в народе, и, стало быть, незачем тратить на их книги журнальную площадь. Надо, как встарь, ориентироваться на устоявшийся вкус, радуя читателей то Ремарком, то «Нищим, вором» И. Шоу, то «Мертвой зоной» С. Кинга. Похоже, «ИЛ» теперь издается для интеллектуальной элиты или вообще неведомо для кого. Поэтому ее не читают, за ней не стоят в очередях к киоскам. И будет еще хуже, если журнал останется верен своим новым принципам, печатая, как выразилась читательница О. Г. Филиппович, «бред сумасшедших и шизофреников и заумных идиотов».

Другие наши корреспонденты выражаются не настолько энергично, но суть их недовольства та же самая. Отчего-то считают, что на своих страницах «ИЛ» ни в коем случае не допустит критики в собственный адрес. А ведь в журнале существует рубрика читательских откликов. В прошлом году дважды (№№ 5, 10) публиковались подборки мнений о наших материалах, причем были обнародованы и мнения резко отрицательные.

Но все равно чуть не каждое бранчливое письмо содержит что-нибудь в таком роде: «Мои суждения вы, конечно, не поместите». Или: «Я, естественно, не жду ответа на мои замечания». Зря не ждете. Отвечать в журнале стараются всем пишущим. Находят место и для публикации писем, где «ИЛ» не то что не поддерживают, а чуть ли не бичуют да еще запугивают, как О. Г. Филиппович, падением тиража, так что в конце концов «вы останетесь одни или с читающими придурками, а нормальные люди вас читать не будут».

Что касается тиража, он в этом году на самом деле снизился по сравнению с прошлым, впрочем, отнюдь не катастрофически. На мой взгляд, никакой трагедии здесь нет. Мне вообще кажется странным такое положение, когда авторитетнейший наш литературный журнал («Новый мир») набирает почти такой же высокий тираж, как ежемесячник для первокурсников («Ровесник»), где основное место занимают описания меню эстрадных звезд и прелестей пляжного волейбола. Пусть меня назовут элитаристом, снобом, кем угодно, но я убежден, что для издания, занятого серьезными, в каком-то смысле фундаментальными проблемами общества и культуры, тираж в полмиллиона — предельный, а дальше начинают действовать факторы, к литературе отношения не имеющие: сенсационность, мода, экзальтация.

При А. Т. Твардовском тот же «Новый мир» выходил тиражом в сто пятьдесят тысяч,— всего-то! — и это не мешало ему оставаться оплотом целого направления в общественной жизни.

Та же «ИЛ» тех лет имела тираж намного меньше, чем сегодня, но никому в голову не приходило ставить под сомнение престиж издания, которое открыло советскому читателю Фолкнера, Кафку, Бёлля, Кобо Абэ, Гарсиа Маркеса и вообще было одним из самых ярких в стране.

На протяжении прошлого года периферийная «Волга» опубликовала «Лето Господне» и «Солнце мертвых» И. Шмелева, рассказы В. Шаламова, романы таких заметных современных прозаиков, как Евг. Попов, В. Пьецух, Саша Соколов. Тираж ее только пятьдесят тысяч. Но по своему авторитету и значению саратовский журнал перевесил многие ежемесячники, чья аудитория в десять, двадцать раз шире.

Это для кооператоров, борющихся за покупателя, самое главное продать побольше пирожков, гвоздик или курток из плащев-

ки, а в журнальном деле значимы все-таки несколько иные критерии успеха. Когда сообщают (ленинградец А. Уткин, к примеру), что не будут более выписывать журнал и постараются отговорить от подобной глупости товарищей по работе, сей факт, полагаю, следует воспринять как огорчительный, но не убийственный. Отнестись к нему спокойно, тем паче что есть не одни разочарованные и разуверившиеся, есть и новообращенные приверженцы «ИЛ».

Приведу два письма, полученные почти одновременно; в силу необходимости цитирую их с сокращениями, ничуть, однако, не меняющими смысла и тона. Первое от читателя, подписавшегося А. С.: «Выписываю «ИЛ» с 1986 г. Я считаю, что Ваш журнал с того времени намного ухудшился в разделе публикаций художественной литературы... Раньше более или менее можно было читать журнал... В 1989 году номера, которые приносят, можно смело выкидывать в мусоропровод. Читать в них абсолютно нечего. Если же начнешь читать какой-нибудь рассказ, начинается зубная боль». Далее — угроза, что «ИЛ» останется без подписчиков, и традиционная фраза: «Знаю, что не опубликуете это письмо, но пусть оно послужит вам предостережением!»

Автор другого письма — Ю. А. Жах, военнослужащий срочной службы. «На протяжении последних пяти лет я постоянно читаю «ИЛ». В вашем журнале я всегда находил для себя очень много интересного. Некоторые журналы перечитывал и перечитываю с удовольствием по нескольку раз. В последние годы я привязался к журналу еще больше.... Публикация на страницах «ИЛ» таких произведений, как «Патриотизм» и «Золотой Храм» Ю. Мисимы, «Улисс» Д. Джойса и многих других, на мой взгляд, очень важна в процессе ломки закостенелых стереотипов в сознании людей. Лично я — «ЗА» такие публикации в дальнейшем».

Самое любопытное, что пишут почти ровесники: А. С. заканчивает школу, Юрию Жаху — 19 лет. Вряд ли между ними такое уж большое различие по социальной среде, воспитанию и т. д. Но в своих представлениях о литературе (а оттого и о журнале) они на противоположных полюсах. Одного привлекают Джойс и эссе Д. Г. Лоуренса, другой очарован «Мертвой зоной», а если ничего схожего с нею в «ИЛ» не обнаруживает, убежден, что зря извели бумагу.

С такой полярностью вкусов и оценок сталкиваешься в редакционной почте постоянно. С. И. Львова (Таллинн), двадцать лет читавшая «ИЛ», уверена, что «журнал утратил свое лицо, свой стиль», и причина, по ее мнению, в том, что он, «перестав быть нейтрально-бесстрастным, стал явно политизированным... Подписчики и читатели (я говорю не только от своего имени) в недоумении». А москвич М. Сидоров, настроенный еще более сурово, недоумевает по прямо противоположному поводу: как это понимать, что «ИЛ» отдает свои страницы «русскому иностранцу» Набокову, но в ней нечего прочесть «об афганской революции»?

Инженер Т. А. Лащенко от имени десяти бывших симферопольских подписчиков «ИЛ» указывает: «Вместо пропаганды и знакомства с лучшими произведениями вы преподносите произведения просто-напросто непопулярные». Тут замечательна осведомленность автора, совершенно точно знающего, какие именно произведения в мировой литературе самые лучшие. Жаль только, что ни одно не названо. Смутило меня в этом письме вот что: автор усматривает чуть ли не преступление в том, что «вы делаете журнал по своей мерке, соответственно своему личному вкусу». А как же его делать — путем читательских опросов и выявления среднестатистических показателей?

Их, однако, не вывести даже по полученным откликам. К примеру, Л. Г. Шевченко из Краматорска требует, чтобы не печатались «вещи давно ушедшего времени». Письмо резкое, патетическое: «Я протестую против превращения журнала в чтиво для элиты». Почему-то Л. Г. Шевченко протестует и «против сюрреалистического раздевания на людях». Этого я в буднях редакции как-то не замечал.

Позиция корреспондента ясна. Но вот приходит письмо воронежца М. А. Афонина. Он старый читатель «ИЛ», которую выписывает как раз ради «вещей давно ушедшего времени» — «Замка», «Улисса». В журнале он хотел бы прочесть еще Кафку («Америка» ведь по сей день не переведена), Пруста («Беглянка», «Пленница» — «что мы их к столетию написания увидим?!»), словом, бесспорную классику, от которой советский читатель был десятилетиями отлучен.

И так вот в нашей почте все время. Оставляет она ощущение конфронтации, привычной скорее на митингах, чем в спорах о литературе. Стилистика отнюдь не парламентская. Перехлестов хватает что в ту сторону, что в другую. «Дорогие кудесники журнального слова и пера!» — обращается в «ИЛ» Д. Толстограев (Анапа). А из Никополя словами, вскипающими нетерпимостью, Н. П. Куличенко обличает: «Вы обворовали нас и материально, и духовно... Судя по всему, у Вас надежный «дебильный» состав редакции».

Короче говоря, то лед, то пламень. И мне это необыкновенно интересно читать. Даже

когда в пух и прах разносят журнал, которому столько отдано, с которым столько пережито.

Пусть разносят — это лучше, чем безразличие.

Пусть непримиримость, пусть конфронтация — значит, что ни говори, журнал сумел расшевелить читающий народ от Сахалина до самого Черного моря.

Однако же давайте вместе порассуждаем: мыслимое ли дело издавать журнал, который удовлетворил бы абсолютно всех, вне зависимости от жизненного опыта, пристрастий, запросов, образования? Такой журнал, чтобы в нем и М. А. Афонин мог наслаждаться тончайшим рисунком Пруста, и наш юный критик А. С., забросив уроки, забылся над новыми откровениями Стивена Кинга? Чтобы и слезы лились над очередной любовной историей, рассказанной Франсуазой Саган, и споры кипели о смысле категории абсурда у Беккета?

Мы никакие не «кудесники» (хотя, хотелось бы думать, все-таки не «дебилы»), но, отвлеченно говоря, подобное издание возможно. Оно могло бы выставить своим девизом «Всем сестрам по серьгам». И было бы неким альманахом, а точнее, инвентарной описью мировой литературы с демонстрацией представительных образцов. Все бы тут пошло в употребление, словно у ноздревского повара: перец, молоко, горох, соцреализм, постмодернизм, бытописательство, богоискательство, гротеск пополам с заумью, эротика в оправе мелодрамы — в литературе, особенно зарубежной, чего только не отыщется.

Вас привлекает блюдо, изготовленное по рецепту «было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет»?

Меня нисколько.

Потому что я твердо убежден, что журнал, который в стремлении к полноте охвата и представительства отказывается от «своей мерки»,— детище мертворожденное. Уж в наше-то бурное время отсутствие позиции погубит любое издание на корню.

Выше цитировалось письмо С. И. Львовой, сожалеющей, что журнал стал «явно политизированным». Есть и еще такие письма, в частности от читателя Панченко из г. Кольчугино. Читатель находит, что вместо литературы в «ИЛ» дается «подборка тем по политграмоте». Но критика, думаю, некорректна ни по части журнала в целом, ни в отношении послуживших ей поводом «Монсеньора Кихота» Г. Грина, «Размышлений о гильотине» А. Камю. Помилуйте, ну какая же тут «политграмота»! Эдак и «Бориса Годунова» можно объявить учебным пособием по истмату.

А насчет «политизированности» хочу сказать следующее — и уверен, не только от собственного лица. Да, журнал не безучастен в борьбе идей, которая охватывает наше общество и шире, и глубже месяц от месяца. Он не «над схваткой», если воспользоваться заглавием старой статьи Ромена Роллана. Если же, в силу особого своего статуса как журнала *иностранной* литературы, он редко и не напрямую вовлекается в накаленную полемику «самобытников» с «ультралевыми», не прибивается ни к «национал-радикалам», ни к «радикал-демократам», то отсюда никак не следует, будто «ИЛ» с олимпийским бесстрастием взирает на этот конфликт, взяв себе за образец швейцарский вечный нейтралитет.

В наших сегодняшних условиях нейтралитет, поверьте, просто невозможен; неизбежен выбор. И журналом он сделан. Какой именно — может судить каждый непредвзятый читатель.

Он не ошибется, если действительно непредвзят. Л. И. Чемезова, научный сотрудник из Томска, пишет: «Прежде я читала «ИЛ» от случая к случаю... Сейчас, мне кажется, журнал стал несравненно интереснее. Ну, а поскольку выписывать все невозможно, мы на работе объединились и всем миром подписались на «Знамя», «Новый мир», «Дружбу народов», «Неву» и «ИЛ» («Октябрь» вот забыли). Считаем, что эти журналы стоят того!»

Спасибо. Я, со своей стороны, считаю, что Л. И. Чемезова и ее коллеги нашли для «ИЛ» правильный контекст и фон.

Отчего, впрочем, этот контекст для некоторых неочевиден? Конечно, и в силу специфики журнала. Но не в ней одной дело. Скорее в том, что при общей близости ряду других изданий «ИЛ», конечно, не является их слепком. Это вполне естественно, что у нее свои особые задачи.

Лично мне самой важной из них кажется преодоление того очень утилитарного взгляда на зарубежную литературу, который господствовал у нас много лет. Именовался он «идеологическим подходом», но больше напоминал описанную у Солженицына стратификацию арестантской массы на «социально близких» и «политически опасных». Сколько себя помню, выбор книг для перевода в наших издательствах («ИЛ» это коснулось, правда, меньше) определяли, в первую голову, заботы о правильной идейной линии автора, а художественное качество оставалось делом второстепенным. Пусть проза слабовата, зато тенденция дивно хороша. Как-нибудь обойдемся без сом-

нительных по своим взглядам Борхеса и Кортасара, без грубо ошибающихся в политических своих оценках Грина и Грасса. Велика важность, что мир давно почитает их классиками. Они ведь не прогрессивные. Зато вот автор имярек очень прогрессивный: обличает, к примеру, апартеид или не дает спуску пентагоновским ястребам. Так зажжем перед ним зеленый свет.

Обличать апартеид надо. И к ястребам я не испытываю ни малейшей симпатии. Я только полагаю, что прекрасные устремления сами по себе еще не создают литературу. Более того, когда нет ни таланта, ни мастерства, пародией увенчиваются творческие поползновения, осененные самыми благими порывами.

Преобладала, однако, противоположная точка зрения, и вред она принесла огромный. Называя вещи своими именами, из просвещенной державы мы превратились в медвежий угол. Десятки имен из самого первого ряда для нас были не более как пустым звуком. Мы приучились к иллюзорной иерархии ценностей, всерьез почитая ведущими современными писателями легковесных, зато вполне прогрессивных беллетристов Гора Видала и Джеймса Олдриджа, «социально близкого» Эрве Базена и классово родного Алана Силлитоу (пока он, впрочем, не переместился в разряд неблагонадежных, так как не оценил альтруизма, проявленного нами в Чехословакии летом 1968 года). Мы вообще утратили чувство многообразия, динамики, разноликости мировой культуры, отвыкли от всего нешаблонного, экспериментального, действительно творческого по духу, хотя бы и спорного по результату.

Это вот и была та дубовая политизация отношения к литературе, которая надолго сделалась у нас непререкаемым правилом. Журнал в свое время тоже пострадал от нее очень заметно. Как и от вынужденного «двоемыслия», если воспользоваться ироничным термином Оруэлла.

Когда я начинал в «ИЛ» — это середина 60-х годов,— его не было. Но лет десять спустя все переменилось. Любопытства ради просмотрите подшивки «ИЛ» того времени. Не скажу, что они пустые. Но с какими предосторожностями и оговорками изредка удается ввести полузапретное имя или коснуться темы, которую начальство предпочитает игнорировать. И сколько умолчаний, подневольного искажения реальной картины мировой литературы. Сколько произведений ординарных, случайных, зато идеологически вполне благонадежных. Осторожность на каждом шагу...

Вот от всего этого журнал, по моему ощущению, теперь старается избавиться — навсегда. Делается это отнюдь не с целью вознестись в сферы полулегендарного «чистого искусства». Цель совсем иная. Мы хотели бы утвердить реальный ценностный ряд, восстановив уважение к культуре в неущемленном ее богатстве. Взаимодействие культуры и политики мы хотели бы, наконец, поставить с головы на ноги.

Может быть, пока это нам не слишком удается, не знаю. Однако знаю, что такие усилия далеко не у всех встречают понимание, не говоря о поддержке. Журнал сильно изменился, и часть читателей перестала его принимать — факт бесспорный. Переубедить их трудно. Они привыкли к другому кругу авторов, другой прозе, публицистике, поэзии. Теперь они чувствуют себя обманутыми: «Ждали новых хороших романов с нового 1989 года, но ожидания оказались напрасными. Когда ваша редакция будет печатать интересные романы типа И. Шоу «Богач, бедняк...», «Сицилийский специалист», «Самодельные гробики», «Зима в Венеции» и др.?» (Е. Н. Стрельникова, Тихорецк). Вот в чем беда: «Вы печатаете то, что вам надо, а не читателям».

Да нет, уважаемая Евгения Николаевна, печатаем мы иужное именно Вам, пусть Вы от этого сейчас отмахиваетесь обеими руками. Не вина это ваша, а беда, если Вас, как множество других советских читателей, лишили возможности знать, какая огромная литература существует в современном мире, возможности знакомиться со всем ее составом, сравнивать и выбирать, основываясь на знании, а не на вынужденной привычке, когда делать выбор не из чего. Если Вы все равно отдадите предпочтение Ирвину Шоу перед Фаулзом или Зингером, это Ваше неотъемлемое право, только пусть будет именно предпочтение, а не игнорирование другого ввиду того, что оно недоступно. И кстати, журнал совсем не исключает в своих планах обращения к книгам такого уровня, как понравившаяся Вам повесть Капоте. Был бы уровень...

И вот еще о чем задумываешься над письмом Е. Н. Стрельниковой. Совсем недавно самым трудным делом было каким-то образом вырваться из-под идеологического контроля, нагромождавшего один запрет на другой. Теперь ситуация переменилась — ио так ли уж к лучшему? Существует ведь и цензура иного рода; за неимением готовых терминов назову ее цензурой распространенного вкуса. Допустим, многим чужд и непонятеи Джойс — ну, следовательно, это вообще не литература. Или: поскольку лично мне не нравится «Золотой Храм», он ие привлечет абсолютно никого. Я, скажем, не

принимаю современной поэзии—значит, журнал напрасно тратит на нее место. Не люблю и не понимаю нынешний театр — зачем же печатать в «ИЛ» пьесы? И т. п.

Честное слово, я ничуть не утрирую. В письмах, получаемых журналом, подобные ноты звучат постоянно. Этому не следует удивляться. Нас долго приучали ко многому, только не к широте мышления или хотя бы к терпимости в отношении других, нами не разделяемых понятий и мнений. Оттого и завидная уверенность многих корреспондентов «ИЛ», что уж они-то совершенно точно знают, что «нужно читателям»,— не им самим, заметьте, а именно читателям, которых у журнала сотни тысяч. И, не найдя «нужного читателям», начинают попрекать редакцию за то, что она пренебрегла своими же добрыми традициями: какой, мол, славный был журнал, а теперь— одни слезы.

Хотя, откровенно говоря, никак не могу я согласиться с довольно частыми утверждениями, что прежде «ИЛ» была интереснее, представляла собой, как полагает инженер-физик В. Большаков, «спокойный, объективный, может чуть суховатый, но интеллигентный журнал». Полноте. Спокойный — да, даже слишком спокойный, а уж суховатый до того, что рот драло. Но объективный? Перелистайте прошлогодние номера и спросите себя: можно ли было прежде в «ИЛ» читать Одена, Сен-Жон Перса, Зингера, Мисиму, Рушди, не поминая уж Набокова или Джойса? Все названные, между прочим, писатели с мировым именем, среди них — два Нобелевских лауреата. Хотим мы того или нет, они-то и придали литературе XX века ее неповторимый облик, ее специфический тон и лад. Мы же имели о них представление, очень мягко выражаясь, расплывчатое.

Вот так обстоит дело с тогдашней объективностью.

Ну, а что касается интеллигентности, то для меня, во всяком случае, она никогда не ладила с невежеством.

Ностальгия по добрым старым временам, сквозящая в некоторых письмах, чаще всего сугубо эмоциональна: больше не прочтешь в «ИЛ» ни «Челюстей», ни того же «Сицилийского специалиста», а как было здорово, когда такая беллетристика шла неубывающим потоком. Как вы уже поняли, я этих восторгов не разделяю. Тут, видимо, коренное различие вкусов, а вкус — дело деликатное и субъективное. Как выразилась одна наша читательница, «кто любит арбуз, а кто свиной хрящик».

Но иногда эту ностальгию обосновывают теоретически, и это интереснее. Скажем, М. Трачум, живущая на Сахалине, недовольна тем, что «ИЛ» стала «журналом для избранных». Раньше было по-другому: «Журнал печатал авторов не просто хороших, а главное — разных». И каждый мог найти в «ИЛ» что-нибудь себе по сердцу: допустим, Апдайка или Причард, чтение для интеллекта и чтение для души.

Это очень серьезная претензия, если она обоснована. В самом деле, обязанность журнала — показывать современную литературу по возможности полно, во всем ее многоцветии. Неужели этого нет?

Давайте посмотрим два журнальных комплекта и сравним их именно под этим углом зрения: какой из них разнообразнее и насыщеннее — комплект за 1989 год или за 1984-й, когда «ИЛ» последний раз печатала упомянутого М. Трачум Апдайка. О публикациях прошлого года речь уже шла. Среди них были в высшей степени сложные, рассчитанные на очень эрудированного читателя,— те же Джойс, Набоков, Сен-Жон Перс, Сартр, но был и роман Мигеля Отеро Сильвы, обращенный, мне кажется, к очень широкой аудитории, как и многие другие публикации,— «Монсеньор Кихот» Грина, повесть талантливого молодого болгарского прозаика В. Паскова «Баллада о Георге Хениге», стихи Анны Свирщиньской, повесть Нобелевского лауреата Нагиба Махфуза, эссеистика Ингмара Бергмана... По-моему, достаточно широкий спектр, что географический, что тематический, что творческий. Хотя, конечно, далеко не все мне нравится одинаково, и несколько тонов я бы в эту гамму добавил.

Теперь достанем уже желтеющие от времени книжки «ИЛ», которые выходили шесть лет назад. Просматривая их, ловлю себя на ощущении, что забыл почти все, тогда печатавшееся, хотя на полях всюду пометы карандашом — следы профессионального чтения. С радостью обнаруживаю «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф, «Пьяный корабль» Рембо в блестящем переводе Д. Самойлова, сценарий Феллини и Гуэрры «И плывет корабль». Что еще? Пожалуй, «Сожженная вода» Фуэнтеса — писателя, который мне всегда интересен. А вот подборка стихов Борхеса. Своим появлением она облегчила долгий путь великого аргентинца к нашим читателям.

Но пожалуй, это и все радости. Дальше идет проза, не запомнившаяся хотя бы по заглавиям: «Милый доктор» А. Стиля, «Человек с Лабрадора» Б. Клавеля, монгольские, кубинские, румынские рассказы... Апдайк тоже представлен рассказами — скучными, невыразительными, словно и не создатель «Кентавра» их писал. А посреди

всей этой безликости две сенсационные однодневки — «Челюсти» и «Мертвая зона».

О да, их читали. Еще как читали! Пресерьезно думая, будто это последнее свершение западной прозы. Будто ничего более значительного в ней даже искать не стоит.

Согласен, настолько «разных» авторов, как Бенчли и Борхес, под обложкой «ИЛ» теперь не встретишь. Но, простите, эпитет «хороший» отнести что к тому, что к другому не могу.

Вы предпочли бы видеть в журнале их обоих?

Еще раз простите, но от методики ноздревского повара журнал отказался. По причинам, изложенным выше.

Мне почему-то кажется, уважаемая М. Трачум, что вы немножечко лукавите. На самом-то деле хлопочете вы, должно быть, не о широте выбора, не то остереглись бы так уж категорически аттестовать роман Джойса «шизофреническим бредом». Хлопочете вы о том, чтобы в журнале преобладало занимательное чтение, которое не обременяет ум и не будоражит совесть. Вот читательница из Шахт Л. П. Струнина, которая «Улисса» тоже считает «самой настоящей чушью», в своем письме гораздо откровеннее. Она находит, что весь прошлый год ничего стоящего не было и что надо «печатать произведения, которые будут нравиться не только отдельным читателям, но и основной массе их».

Что это за произведения, всего лучше объяснила киевлянка Н. Романовская. Ее письмо опубликовано в № 10 за прошлый год, однако оно заслуживает того, чтобы к нему вернуться. Помимо недоумений из-за «невоспринимающегося» Джойса Н. Романовская растолковала нам, что «люди устали и не хотят читать про негров, войну или философию». Они хотят «что-нибудь романтическое, легко читаемое, приключенческое, увлекательное, детективы». А конкретно — Бенчли, И. Шоу, Клавеля, Амаду, Саган «и т. п.».

Амаду, положим, мы недавно опубликовали, и в таком ряду он вообще выглядит чужаком, но дело не в этом. Для меня письмо Н. Романовской всего любопытнее тем, что оно написано библиотечным работником. Я много общаюсь с людьми этой профессии и питаю к ним искреннюю любовь. Думается, пушкинские слова о «почтовых лошадях просвещения» сегодня должны быть отнесены даже не столько к переводчикам, сколько к библиотекарям. Зная, в каких тяжелейших условиях и за какую мизерную зарплату они трудятся, остается только снять шляпу перед их поистине рыцарским служением литературе, поистине бескорыстным интересом к ней, способностью отличать ценности неподдельные, небоязнью художественной сложности и новизны.

И когда это знакомое, это, прошу извинить за резкость, мещанское требование: «Сделайте нам красиво!» — раздается из уст библиотекаря, мною овладевают грустные мысли о духовном состоянии общества, хотя, хотелось бы надеяться, все-таки не «основной массы». Суть ведь не в том, нравится или не нравится «Улисс», не в том даже, привлекает или отталкивает сегодняшняя «ИЛ». Суть в активном и, если угодно, принципиальном нежелании приобщаться к серьезной литературе, равно как размышлять «про негров, войну или философию», потому как мы, видите ли, устали, едва успела мертвая зыбь застойных лет смениться сегодняшним общественным напряжением, которое заставляет думать о вещах очень ответственных, очень непростых.

Поэт В. Корнилов, отвечая журналу «Знамя» (№ 1, 1990) на вопрос о лучших публикациях прошлого года, первым назвал роман Джойса. Я бы, наверное, ответил по-другому, памятуя, что прошлый год — это «Архипелаг ГУЛАГ» и «Все течет», «1984» и две большие подборки прозы В. Шаламова. Но логику мысли В. Корнилова я понимаю. Действительно, над Джойсом испытываешь чувство, словно все это тебе знакомо, но только в переложениях, подписанных другими именами,— столько было отражений этого романа в книгах, которые мы читали задолго до того, как нам открылся первоисточник. А стало быть, до чего мы себя обеднили, семьдесят без малого лет существуя среди отголосков Джойса, но имея смутное понятие, откуда они исходят и почему остаются такими частыми.

Свершилось литературное событие — «Улисс» опубликован, постыдное наше неведение кончилось.

А что же читатели? Есть в почте по «Улиссу» письма восторженные, полные благодарности. И не только от филологов, от преподавателей литературы (например, от Л. С. Цехановской из Таллинна). Благодарили и просто интеллигентные читатели. Ветеран войны Д. Дажин, признавая, что «Улисс» дается нелегко, считает, что это «усилия, полезные для ума и для сердца» и что они «воздадут сторицей и введут вас в досель неведомый вам мир — мир высокой культуры, философского осмысления быстротекущей жизни». Д. Дажин, мне кажется, прав, когда призывает нетерпеливых к сосредоточенности и вдумчивости: «Не будем с порога отбрасывать книжку журнала и писать, что вот, дескать, журнал стал

скучным. Не журнал скучен, а мы с вами ленивы и нелюбознательны».

Однако, что скрывать, преобладают относительно «Улисса» оценки иного характера, и выражения типа «шизофренический бред» в письмах, где фигурирует Джойс, вполне обыденны. Листаю я эти письма, и вспоминается мне страничка из книги, десятки раз перечитанной в детстве,— из «Кондуита и Швамбрании» Л. Кассиля. Если не забыли, там описана Покровская слобода предреволюционных лет, теперешний город Энгельс Саратовской области. Слободу затопляли болота и грязь, обыватели, большей частью лавочники или хлеборобы-украинцы, отдыхая от трудов, пили водку, лузгали подсолнухи да дрались на берегу Волги. Время от времени «зажиточные хуторяне собирались в волостное правление «на сходку». И если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:

— Нэ треба!»

Не то же ли самое и у нас — пытаемся «сеять разумное», просвещать, предлагаем пищу посущественнее семечек, а в ответ доносится такое вот «нэ треба!», как будто это вполне нормально — удовлетворяться поделками литераторов средней руки. Они ведь зато — спору нет — «легко читаются»...

Случается, правда, что мотивировки «нэ треба!» принципиально иные. Письма, в которых содержатся подобные мотивировки, не столь часты, и касаться их мне крайне неприятно. Однако придется.

Тут нужно оговориться. Стилистика писем, о которых дальше пойдет речь, уж не касаясь пока их аргументации, такова, что прямо-таки искушает переслать их создателям 16-й полосы «Литгазеты». Простите, если и для меня окажется слишком сильным искушение насмешкой. Я сознаю, что смеяться-то не над чем, но что поделаешь, слаб человек... Впрочем, к делу.

В прошлогодней подборке откликов (№ 10) помещено суждение об «ИЛ» москвички Т. Звоновой. Она не является нашей постоянной читательницей, о чем, как станет ясно из дальнейшего, едва ли стоит сожалеть. В наш художественный отдел она, видимо, вообще не заглядывает, находясь целиком во власти идеологических страстей.

Опубликованное ее письмо содержало отповедь «ИЛ» за публикацию главы из книги И. Дойчера «Пророк в изгнании». Т. Звонова возмущена: как это смеют рассуждать о неодномерности фигуры Троцкого, когда на сей счет имеются четкие, гениально глубокие указания тов. И. В. Сталина. Общеизвестно, что тов. И. В. Сталин не ошибался никогда и ни в чем — ни с оценкой троцкистов как врагов народа, которых надо уничтожать, ни с «революционной целесообразностью», требующей репрессий, репрессий и еще раз репрессий, ни с пактом 1939 года. А этот Троцкий (не Троцкий, а Бронштейн, как настойчиво просвещала нас Т. Звонова) был просто кликушей, неучем в марксизме, интриганом, авантюристом и клеветником. «Гадина дождалась своего возмездия»,— сказал, узнав о его гибели, Бунин, и это, добавляет Т. Звонова, «была единственно правильная оценка».

К огорчению Т. Звоновой, нигде не зафиксировано, что Бунин посыпал главу пеплом по случаю кончины Отца народов, и наоборот, зафиксированы отзывы Бунина о «величайшем в эпохах», ничуть не более лестные, чем о Троцком. Это, впрочем, мелочь, нюанс. Но вовсе не нюанс та апологетика сталинизма, которой заполнены два других письма Т. Звоновой. Продолжая клеймить журнал за политические ляпсусы, она, как говорится, камня на камне не оставила ни от статьи Ц. Кин «Из хроники Коминтерна» (1989, № 1), ни от публикации фрагментов из книги Р. Орловой «Двери открываются медленно» (1989, № 6).

Сюжеты этих статей совсем разные: первая показывает — без упрощений и умолчаний,— как Коминтерн стал послушным орудием для сталинского руководства и к каким тягостным последствиям это привело; вторая говорит о драме русской эмиграции «третьей» (брежневского периода) волны. Т. Звонова, похоже, толком не прочла ни ту, ни другую. Ей достаточно оказалось того, что Ц. Кин — какая наглость! — «ставит под сомнение позицию И. В. Сталина», которую «жизнь тысячекратно подтвердила» как непогрешимо и единственно верную. Ибо благодаря этой позиции «страна и партия оказались на высоте происходящих событий. Разве это не так? ТАК, ТЫСЯЧИ РАЗ ТАК!»

«Захочет Бог покарать — разума лишит»,— утверждает древняя мудрость. Добавлю: самых элементарных человеческих чувств — тоже. Отклик Т. Звоновой на публикацию Р. Орловой, написанный в форме открытого письма ей, помечен 4.8.89 — по жестокой (хочу думать, что все же от незнания) иронии ровно через два месяца после смерти Раисы Давыдовны. И уж в этом отклике чего не понатолкано. Там и про лицемерие, и про то, что «наше хулят и бранят, а сало русское едят», и про эмигрантских подголосков наших заклятых врагов, и про «сахаровскую кухню», и про «всяких тех, подобных Солженицыну» — норовят «причислить себя к лику святых», а у

самих одно «копание в интересах коммунальных квартир»...

Противно?

Очень противно. Но куда денешься, все это есть в сегодняшнем обществе. И Т. Звонова, славящая Сталина, который вместе с партией «за две пятилетки сделали шаг через столетие». И читатель из Куйбышева П. Д. Оленин, член КПСС с 1942 года, порицающий «ИЛ» за то, что она предоставляет трибуну Л. Копелеву, которого «Советская Россия» устами литератора С. Рожновского «вполне доказательно» охарактеризовала «как давнишнего и ярого антисоветчика». Петр Дмитриевич тверд, непреклонен: не следует печатать «сомнительных иностранцев», в трудные времена бежавших из Советского Союза и зело борзо критикующих из-под зарубежной подворотни (язычок-то! язычок! — *А. З.*) наши, к сожалению, не очень-то упорядоченные порядки.

Только вот в чем дело, почтенный Петр Дмитриевич, никуда они не бежали, а были выгнаны в шею или, выражаясь дипломатически, поставлены в условия, когда либо отрекайся от убеждений, либо эмигрируй. А если кёльнский центр по изучению литературных связей России и Германии, который создал и которым руководит Л. Копелев,— «подворотня», то уж наши-то с вами культурные начинания в недавние «трудные времена» не показались бы и подавно конурой.

Что порядки у нас «не очень-то упорядоченные», спорить не буду. И знаете, не нахожу я ничего криминального в том, что их критикуют недавние наши сограждане. Разные, конечно, бывают у них мотивы, но чаще всего движет ими не ожесточенность, не злорадство, а желание участвовать в общем поиске пути к демократической России, которая станет нормальным домом для всех нас, разбросанных сегодня от Астрахани до Калифорнии, от Баварии до Охотска.

Не отталкивать их, думаю, надо, а вернуть в наше сообщество, которое они покинули вынужденно, хотя некто, подписавшийся без инициалов фамилией Новикова, убежден, что «добровольно» («все, кроме Солженицына»). Этот читатель вознегодовал на нас за статью М. Шимечки «Совесть русской интеллигенции» (№ 9): автор «в оскорбительном тоне пишет об Астафьеве, Распутине, Проскурине и даже обвиняет их в неонационализме... Ему мало того, что сионисты в нашей стране смешивают их с грязью только за то, что они ратуют за духовное возрождение русского народа». Замечу, что автор статьи как раз достаточно осведомлен, чтобы избегать простых перечислений, не замечая различий между названными именами. К тому же, не в пример Новиковой, Шимечка приводит доводы и факты. Все эти доводы могут не убедить, но одной голословной патетикой на грани ругани их не опровергнуть. И ладно бы ругань адресовалась только журналу, так нет: походя достается А. Д. Сахарову, который-де к русским судьбам равнодушен. А вывод предсказать легко: «ИЛ» с недавних пор «стала похожа на сионистский печатный орган».

Эта нота в нашей почте звучит, увы, не впервые. Странно было бы, если бы она не прозвучала. Читательница из г. Клинцы под Брянском С. Б. Русакова совершенно права: «Антисемитизм — это же в порядке вещей, если бы не было евреев, их надо было бы выдумать, есть на кого бушующие страсти отвести». С. Б. Русакова подписалась собственным именем и указала свой адрес. Обличители «ИЛ»овского «сионизма» этого почему-то не делают, то ли напор гнева заставляет позабыть о таких пустяках, то ли еще что. Зато уверенности в их инвективах хоть отбавляй.

«Вы печатаете Кафку, от которого все журналы отказались, «Улисса», забиваете журнал еврейской литературой... Исправляйтесь!» — грозит некий аноним. На дискуссии о Джойсе в «ИЛ» (1990, № 1) указывалось, кстати, что в «Улиссе» кое-кто видел антисемитские настроения. С этим можно спорить, но причисление Джойса к сионистам, поскольку один из главных его героев еврей, замечательно по логике. Тогда уж и Чехов сионист, а то не написал бы «Скрипку Ротшильда».

Или вот письмо, на сей раз от «Ивановой» (и, конечно, без обратного адреса). Орфографию и пунктуацию автора сохраняю: «Тов. гл. редактор Айтматов! Вы, что обалдели? Мало того, что, по Вашим понятиям, вся ин. литература состоит из евреев... Но, если за границей нет никого, кто бы писал лучше Исаака Башевиса Зингера — то мне их, за границей, жалко. Этот прекрасный мат на стр. ... И Вы думаете, что мы, в СССР, ни за что бы не выжили, если бы не прочли его «писания»? Или никогда не услышали бы этого у себя, чтобы нас Исаак из Америки еще этому обучал?! Сколько они Вам за это платят? Вы ему даете заработать, а он Вам за это платит? Ведь у евреев во всем счет на деньги... Они уже отбросили русских на 70 лет своей «революцией»! Скольких русских они столкнули и погубили в эту еврейскую революцию. И фамилии почти все поменяли, чтобы лучше закомуфлироваться. Теперь, превратив нас в злобных бедняков, они добивают нашу нравственность. Вот. Одумайтесь».

Не правда ли, славное письмецо. Кроме «мата» (русского и, значит, принадлежащего, если уж строго говорить, переводчику, а не автору, «обучающему» нас из Америки), «Иванова» ничего у Зингера не вычитала по той первой и единственной причине, что он Зингер. Нобелевскую премию он, очевидно, получнл тоже за мат, ибо, как установлено «Ивановой», «ни по сюжету, ни по литературным качествам этот Исаак ничего не стоит». Так и видишь шведских академиков, вычитавших у «этого Исаака» англнйский эквивалент слова «целка» и тут же полезших в карманы за премиальными деньгами. А он, Исаак, это слово специально в рассказ и вставил, чтобы припереть к стене Нобелевский комитет, заставив раскошелиться. «Ведь у евреев во всем счет на деньги»...

Шутки шутками, однако пора сказать о некоторых вещах с необходимой определенностью. «Иванова» — аноним, этакнй неопознаваемый голос из хора, который, что ни месяц, звучит все громче н настойчивее, подчас перекрывая всю нестройную музыку сегодняшней общественной жизни. Возможных последствий этого факта мы, как нн жаль, еще не осознали. Думаем, что тут просто накипь, агрессия бескультурья, раздраженне обывателей, скоропреходящее затмение умов. Утешаемся тем, что на выборах этой весной приверженцы взглядов, блнзких сердцу «Ивановой», провалились, как и весной прошлого года, и уговариваем самнх себя, что кончатся же когда-то нищета, инфляция, дефициты, а значит, жизнь войдет в спокойные берега.

Я же ловлю себя на том, что то и дело вспоминается мне старый американский фильм «Кабаре». Недавно он, наконец, пробился на наши экраны, и зрители могли оценить его печальную, а точнее, жестокую иронню. В этом фильме герои да и люди, их окружавшие, тоже отмахнвались, отшучивались от происходившего буквально рядом с ними, считая, что нацистскне парады и звучавшие на них маниакальные речи — сущий вздор, самоочевидная нелепость, над которой можно подтрунивать, если вообще удостоить ее внимания. Они были очень заняты собой, эти симпатичные молодые герои, им хотелось жить празднично и беззаботно. Онн не заметили, как накатывается мутная волна, затопляя улицы уютных городов культурнейшей европейской страны и сметая на своем путн все — лншь казавшиеся прочнымн преграды.

Мне не хочется проводить аналогий, хочется верить, что они сугубо внешние. Но вот беда — чем дальше, тем они неотступнее.

И еще я постоянно вспоминаю строки гениального русского поэта.

«Как наше слово отзовется...» Тютчев считал, что этого предугадать нам не дано. Ну, так смотря какое слово. Одно дело — тютчевское. И совсем другое — слово литераторов, подписавших недавно письмо «семидесяти четырех», неукротимых борцов с «русофобией», которые «инородцев» (сиречь, евреев в первую очередь) обвиняют во всем — от бессудных расстрелов до скверной экологии, от эпидемни алкоголизма до отсутствия колготок и колбасы в наших лавках.

Да вот так оно и отзывается, их слово,— процитированным письмом «Ивановой» (или «Новиковой»). Наглядными иллюстрациями тесной переплетенности такого рода «литературы» с жнзнью. Исковерканными понятиями и фантасмагориями посмелее кафкианских. Виноват, не то сравнение. Кафка ведь тоже был еврей...

Быть может, кому-то все это покажется неубедительным, быть может, кто-то повторнт: имеет ли смысл втягиваться в полемику на таком уровне, надо быть выше всей этой накипи. Ну а я остаюсь при своем: надо, необходимо, ибо перед нами лишь вульгарная форма распространенных, увы, идей. Таких идей, которые, по глубокому моему убеждению, чреваты большой бедой.

Я, конечно, коснулся только очень малой части читательских откликов, но постарался выбрать самые характерные, самые острые. Если у кого-то сложилось впечатление, что «ИЛ» больше хулят, оно односторонне. Миого писем, в которых линию, проводимую журналом в последние два года, поддерживают, причем активно — аиализируют напечатанное, предлагают дополнения и корректировки. В журнале всегда благодарны корреспондентам. Тем более — доброжелательным.

Закончить мне хочется одним из таких отзывов, и отнюдь не для цитирования комплиментов, которые содержатся в письме молодой читательницы Н. Ильяшевой. Это письмо привлекло меня тем, что в нем чувствуется очень серьезное отношение к литературе и понимание сегодняшней снтуации, которая потребовала основательно обновить журнал, хотя дело это трудное и рискованное.

Н. Ильяшева пишет, что ее «привели в ужас некоторые из читательских писем, опубликованных в октябрьском номере». Боюсь, по прочтении этой статьи ее охватит еще большее уныние. Напрасно. Обновление никогда ие дается безболезненно. В «ИЛ» оно было резким, решительным, и

какие-то потери при этом оказались неизбежными. Потери старых подписчиков, отвернувшихся от журнала. Потери в тираже.

Но не беспокойтесь, Нина, я не думаю, чтобы в журнале стали «слушать тех, кто твердит, будто напрасно целый год печатаете Джойса». Планы журнала на ближайшие годы более или менее определились, работы по восстановлению реальной картины литературы XX века — и уже ставшей классикой, и современной — очень много. И журнал, надеюсь, продолжит эту работу, как бы ни менялась атмосфера вокруг нас.

Вы хотите прочесть в журнале «Человека бунтующего» А. Камю, «Маятник Фуко» Умберто Эко — вы их прочтете. Вы хотите видеть на его страницах прежде запретных авторов из Восточной Европы — вы их видите (Грабал, Анджеевский) и увидите еще. Вы предлагаете рубрику «Иностранцы о России и СССР», в частности книгу маркиза де Кюстина,— возможно, появится и рубрика, а с маркизом, возмутившим Николая I, читатели «ИЛ» обязательно познакомятся.

Единственное, в чем я с Вами не согласен,— это призыв отказаться от полемики с оппонентами, даже если они сталинисты или антисемиты, хотя спорить с ними отнюдь не удовольствие. Почта «ИЛ» — маленький, но выразительный срез общественных веяний и настроений; а среди них имеются и такие, и я не думаю, чтобы в обозримое время они исчезли. Стало быть, нельзя и не нужно их игнорировать. Ведь мы устремились теперь к открытому обществу. А открытость и умолчания — планеты несовместные.

Вступив в фазу демократичности, давайте постараемся быть последовательными и не лишать слова тех, чьи мнения для нас неприемлемы. Однако и за собой оставим право аргументировать собственную позицию, подтверждая ее реальным делом. В конце концов, дело и решит спор с сегодняшними критиками и противниками «ИЛ».

Я верю, что серьезных причин опасаться за исход этого спора у журнала нет.

ФРАНТИШЕК ЯНОУХ

НЕТ, Я НЕ СОЖАЛЕЮ...

Малая мозаика периода «нормализации»

Перевод с чешского АДЫ КОЛЬМАН

Два письма на Запад

(Обычной почтой)

Профессору П. В., в Монреаль

Дорогой П.,

сердечно благодарю за твое письмо. Пользуюсь тем, что мы отправили Катю в лагерь на 14 дней, а сами, с Адой и Эриком, приехали сюда, в Уезд.

Я сижу на террасе, передо мною — гора Клеть как на ладони, а сзади — пограничные Новодворские горы. Все это так красиво и так близко, что по вечерам можно смотреть австрийское телевидение и улучшать таким способом свой немецкий.

Я хотел отдохнуть в Уезде, потому что немного устал от всего за последнее время, но перед отъездом как раз получил срочную работу — перевод на 80 страниц. В нашем положении трудно отказываться от чего бы то ни было — и вот я потратил четыре дня на эту неинтересную, нудную, но зато неплохо оплачиваемую работу. Отдых из-за этого не получился, но хоть удалось побывать на свежем воздухе, да еще — этот красивый вид с террасы на цветущий сад.

Прости, что пишу на машинке. Но в последнее время моих писем стало пропадать больше, чем допускает статистика, а поэтому я начал делать копии и в случае «утери» посылать их снова. Может быть, машинописные тексты будут скорее доходить до адресатов, так как непрошеным читателям не придется долго разгадывать мои каракули, чтобы убедиться, что в моих письмах — так же как и в мыслях — нет ничего антигосударственного...

Когда я прочел Аде твое письмо, где ты говоришь, что мы — единственные, кому ты пишешь, то она заметила, что мы как-то забыли или разучились бояться. Это довольно глубокое замечание, точно характеризующее нашу эпоху. У меня есть для этой эпохи подходящее название: сталинизм с человеческим лицом. По-моему, это довольно точно отражает суть.

Думаю, что мне в чем-то повезло. У меня не только mens sana in corpore sano [1], но и разнородность моей натуры, которая мне раньше иногда мешала сосредоточиваться на чем-то одном, сейчас очень кстати. Мне удается скромно зарабатывать, причем я трачу на это время, которое раньше уходило на общественную и административную деятельность, так что на науку оставалось примерно столько же времени, как сейчас. Может, с той разницей, что к науке меня сейчас притягивают только собственный интерес и чувство морального долга. Переводы утомляют меня не больше, чем когда-то — административная работа.

Не могу особенно жаловаться на эту вынужденную «пенсию» в сорок лет. Думаю, что она больше вредит обществу, чем мне,— изменения в наше время происходят столь стремительно, что я-то как-нибудь переживу.

Я даже сделал такой вывод — тут я немного потеоретизирую,— что пенсия в шестьдесят лет — дело несправедливое. По-настоящему наслаждаться пенсией человек может, когда ему именно около сорока: он уже достаточно стар, чтобы ценить свое свободное время и знать, как им воспользоваться. Вместе с тем он еще достаточно молод и здоров, его не мучают инфаркты и ревматизм, и поэтому он в состоянии наслаждаться свободой, которую дает ему пенсия.

Я намерен в будущем добиваться того, чтобы человек в возрасте сорока лет мог на несколько лет уйти на пенсию.... а потом снова вернуться к своей работе...

Я сам не знаю, пишу ли это в шутку или серьезно: правда, наверное, где-то посредине, так же как должна быть пенсия...

Буду очень благодарен за книги — посылай их заказным, а если там будет что-либо спорное, то по отдельности.

Сердечные приветы вам всем

15.4. 1972

Твой Франта

Л. Пахману, в Золинген

Дорогой друг,

благодарю за письмо и красивую открытку, которую мне даже удалось разобрать. Простите, что так долго не отвечал. Но мне не хотелось писать банальности, да и вообще представляете ли вы, сколько работы у такого чехословацкого безработного? Иног-

Окончание. Начало см. в № 3.

[1] В здоровом теле здоровый дух (*лат.*). (*Прим. перев.*)

да я чувствую себя как Лидия Корабельникова[1], работавшая разом на одиннадцати станках...

Начну с философского размышления. Если господа из федерального «министерства любви» прочли ваше письмо, то вы сослужили мне хорошую службу: если уж такой «ренегат», как Вы, ругает меня за то, что я марксист, они, может, отнесутся ко мне более милостиво. Правда, для милости, так же как для пощечины, нужны по крайней мере двое: тот, кто ее дает, и тот, кто ее принимает.

Что касается меня, то я прежде всего физик. Как таковой, я не могу не быть материалистом и считаю диалектический материализм наиболее подходящей для естественника философией. Но к тому, что сейчас у нас называется марксизмом, у меня есть существенные оговорки, потому что в нем не хватает самого главного и притягательного в марксизме — диалектики, способности неустанно трансформировать самого себя, абсорбировать и синтезировать в себе все то новое, что появляется в окружающем мире и в обществе. Марксизм как застывший список цитат и неизменных истин, служащих для оправдания статус-кво и современной политики, мне чужд, но в таком понимании он был чужд Марксу и Энгельсу тоже. Особенно чужда мне идеологическая нетерпимость, которая во имя марксизма применяется у нас повсеместно. Я могу еще понять нетерпимость в научных дискуссиях или философских спорах, вызванную страстной убежденностью в своей правоте или сделанном открытии,— но даже в этом случае считаю толерантность, стремление понять отличающийся взгляд, гораздо более конструктивным методом в поисках правды. Я осуждаю фанатичную нетерпимость в идеологии или политике, особенно если она связана с материальным и физическим ущемлением или даже уничтожением противника — она не имеет с марксизмом ничего общего.

Такова примерно суть моих взглядов. Само собой, я не стремлюсь. чтобы Вы придерживались моей точки зрения — это противоречило бы вышесказанному.

В нашем положении практически ничего не изменилось, если не считать, что мою жену уволили из Института микробиологии, Быть дочкой Кольмана, женой Яноуха и аспиранткой академика Малека — это твердый орешек даже для очень либерального деятеля, а таковых у нас уже целый ряд лет не существует.

Кончаю, надеюсь, что вы хорошо накупались на юге, в том числе и за нас, которым в данное время соленая вода тоже запрещается. Сердечные приветы вам всем.

Ваш Франта

[1] Л. Корабельникова (р. 1926) — работница фабрики «Парижская коммуна», инициатор социалистического соревнования в 1950 г. *(Прим. ред.)*

Три письма на Запад

(«Необычной почтой»)

«Свободный» раб

«Бюллетень ученых-ядерщиков», США
сентябрь 1973 г.

В дополнение к вашей статье «Рабы XX века» я хотел бы привести кое-что из моего собственного опыта, поскольку принадлежу к той же категории «рабов».

Мне 41 год. Я физик-теоретик, окончивший Ленинградский и Московский университеты, кандидат наук, доцент кафедры теоретической физики в Карловом университете в Праге. В настоящее время — безработный (вот уже два года).

В июне 1970 года я потерял место заведующего Отделом теоретической ядерной физики в Институте ядерной физики ЧСАН, в Ржеже, под Прагой, которое я занимал почти 10 лет. В сентябре 1970 года я был уволен с работы якобы из-за «нарушения законов социалистического общественного строя». Поскольку я никогда не нарушал ни этих, ни каких-либо других законов моей страны, я подал на институт в суд.

Я лишен возможности продолжать свою научную работу, потому что старался — строго в рамках чехословацких законов — добиться реализации требований, которые находятся в полном согласии с моралью и этикой науки, сформулированные, например, в Хартии, Декларации и Правилах Международной федерации научных работников.

В течение более чем двух с половиною лет мне не удается найти работу по специальности, несмотря на то, что ряд институтов в Чехословакии был заинтересован в моих научных исследованиях (государственным учреждениям запрещено принимать меня на работу, но ведь частных научных учреждений в ЧССР не существует).

Мое жизненное пространство неустанно сужается. Мне не позволено участвовать в научных семинарах отдела, созданного мною. Не позволено руководить далее моими аспирантами, я не имею права даже закончить работы, начатые мною со студентами. Мне запрещается преподавать теорию атомного ядра в Карловом университете, а также — печатать свои статьи в чехословацких научных журналах.

У меня отобрали незаконным способом заграничный паспорт; мне не позволено путешествовать за границу, даже в соседние восточноевропейские страны. Позже, когда мне была предложена профессура в Швеции, ни одно из учреждений, к которым я обращался за разрешением уехать за границу, не сочло нужным даже ответить мне.

Незачем терять здесь время для описания той «заботы», которой я окружен со стороны органов безопасности. Поскольку я — отец двоих маленьких детей, которые должны жить и есть, я вынужден искать себе заработки в области, далекой от моей научной работы и образования, но и здесь за последнее время появляются все большие трудности и препятствия.

Приведенные мною подробности могут показаться излишними. Но мои коллеги, живущие в более благоприятных условиях, с трудом могут представить себе обстановку, в которой нам приходится существовать.

Причина моих трудностей состоит в том, что я занимался не только наукой, но и ее общественным преломлением; что я позволил себе поддерживать политику, которая в то время была политикой легального правительства моей страны, что мои взгляды на некоторые события нашей современной истории (август 1968 г.) расходятся с официальными.

Таким образом, меня преследуют за мои взгляды на науку и ее общественную значимость; за то, что я проявлял интерес к судьбам своей страны и ее народа, за то, что я открыто высказывал свою позицию.

Мой случай не является исключением. Судьбы многих высококвалифицированных специалистов дают впечатляющую картину несправедливости, развала и расточительства в науке и образовании. Изоляция специалистов, невозможность вести научную работу практически означают в наше время быстрого развития науки научную смерть, ликвидацию их как ученых.

Наука становится сегодня все более важным фактором и в глобальном масштабе. Она играет огромную роль в общем мировом стремлении к созданию более благоприятных жизненных условий на нашей планете, особенно принимая во внимание недостаточный научный и интеллектуальный потенциал так называемого «третьего мира». Поэтому расточительство интеллектуальных ресурсов, о котором я пишу, не только преступно, но и подлежит осуждению с моральной точки зрения.

В подобной ситуации протесты и проявление участия и озабоченности со стороны научного мира имеют большое значение и, несомненно, могут оказаться крайне действенными. На основании личного опыта могу сказать, что свидетельства поддержки и солидарности, полученные мною и моими коллегами-учеными в эти тяжелые дни не только с Запада, но и с Востока, были для меня и для нас всех крайне важны, увеличивали наши силы...

Последнее замечание: естественно, что люди вообще, а интеллигенция в особенности отвечают на каждую попытку их порабощения повышенным чувством собственного достоинства, человеческой гордости и сопротивлением бесправию. Вызвать в таких людях чувство порабощенности невозможно. Могу подтвердить это на своем примере и на примере многих моих друзей. Мы внутренне чувствуем себя свободными учеными и гражданами, которые считают своим неотъемлемым правом высказывать взгляды на науку и общественное развитие, хотя мы и отдаем себе отчет в том риске, который несет с собой использование этой свободы.

Франтишек Яноух
Прага, Чехословакия

Сообщение из Праги

«Физикс тудей», июнь 1973 г.

Я прочел ваше сообщение о том, что Американское физическое общество решило поддержать нашего советского коллегу Б. Левича.

Такое решение вполне естественно и заслуживает уважения, поскольку в моральную обязанность международного содружества ученых входит реагировать во всех случаях, когда дело касается нарушения основ науки, ее морали и этики, вне зависимости от того, в какой части света эти нарушения происходят.

Однако я хотел бы дополнить ваше сообщение. Случай Левича вызвал значительный отклик и симпатии, потому что он является ученым с мировым именем. Это лишь часть гораздо более широкой проблемы.

В настоящее время ученые в разных странах потеряли работу и возможность вести научные исследования. Международное содружество физиков должно было бы занять подобную позицию и в других случаях, не имеющих столь широкого международного резонанса.

В этой связи я хотел бы сказать о своей стране, о Чехословакии. В течение последних двух-трех лет здесь потеряли работу в научно-исследовательских институтах и университетах многие ученые. Эти люди, каждый из которых внес вклад в науку, вынуждены сегодня зарабатывать себе на хлеб трудом, очень далеким от их научной квалификации и интересов...

В 1970—1972 годах трое сотрудников моего отдела (включая меня) были изгнаны из института по чисто политическим причинам. Из этих троих лишь одному удалось найти работу, более или менее соответствующую квалификации. Еще трое работников моего отдела, находившиеся в то критическое время за границей, решили не возвращаться домой из опасения, что их постигнет подобная участь. Судьба одного из сотрудников до сих пор неясна.

Около 40 % научных сотрудников моего бывшего отдела подверглись, таким образом, преследованиям только потому, что осмелились использовать право каждого гражданина высказывать свои взгляды.

Не лучше ситуация и во всем институте: по крайней мере 20 ученых потеряли работу по тем же самым причинам. Их будущее тоже неясно.

Судьба моих коллег особенно трагична еще и тем, что их деятельность была прервана в период наибольшей научной активности, до того, как они достигли международной известности. Поэтому их участь не вызывает отклика мировой общественности, который мог бы помочь в их положении.

Затронутые проблемы имеют также морально-этическую сторону. В наши дни, когда наука становится важным глобальным фактором, преодолевающим государственные границы и идеологические рубежи, факты, о которых я пишу, объективно объединяют интеллектуальный и материальный потенциал человечества.

Ф. Яноух
Прага, ЧССР

Я выгнал бы и Эйнштейна [1]

Наука и высшие учебные заведения в ЧССР достигли за последнюю четверть века значительного прогресса. Возникла новая, современная интеллигенция с высоким профессиональным уровнем, хорошо информированная и принимающая участие в жизни социалистического общества. Поэтому было совершенно естественным, что чехословацкая интеллигенция активно участвовала в общественных преобразованиях 1968 года.

Сегодня интеллигенции приходится дорого расплачиваться за все это. Чехословацкая наука стала жертвой мести, мести продуманной и длительной, которая ставит своей целью уничтожить наиболее активных научных работников, а остальным — служит предупреждением, чтобы они больше не осмеливались вмешиваться в политику, в общественную жизнь. Последнее дозволено лишь профессиональным работникам аппарата, да еще второстепенным научным работникам, выступающим в лучшем случае в роли послушных статистов.

Сначала в законодательство были внесены частные изменения, лишившие научную жизнь демократизма и автономии. Демократически избранные органы были разогнаны и заменены послушными. Члены Академии наук теперь не выбираются, а назначаются. Разве удивительно после этого, что новые «академики» известны лишь своим политическим послушанием и конформизмом? Пражское «армянское радио» немедленно прореагировало на это двумя анекдотами: 1. «Может ли паралитик стать академиком?» — «В принципе — да, но только в том случае, если паралич у него прогрессивный». 2. «Может ли неграмотный попасть в Академию наук?» — «В принципе — да, но только не как член-корреспондент».

Присуждение ученых степеней за плагиат

В высших учебных заведениях и в Академии наук было распущено много партийных и профсоюзных организаций, которые наверняка сопротивлялись бы «нормализации» и защищали бы преследуемых научных работников.

Целый ряд политических и общественно-научных институтов был упразднен и заменен новыми. Всех работников этих институтов уволили со ссылкой на параграф Трудового кодекса о реорганизации. Новую работу предложили лишь тем, кто выступил с самокритикой или не проявлял ранее политической активности. Так были ликвидированы институты: исторический, философский, социологический, общественного мнения и другие. Большинство сотрудников этих институтов работает в настоящее время на второстепенных должностях или выполняет неквалифицированную работу. В сентябре 1969 года ликвидировали даже все кафедры марксизма-ленинизма, и преподавание этого предмета было временно запрещено. Это можно считать неким рубежом в международном социалистическом движении: господствующий класс боится собственной идеологии.

Практически все ректоры, директоры, деканы, заведующие кафедрами и отделениями были заменены как в вузах, так и в Академии наук. Научная квалификация этих новых кадров сомнительна: она почти никогда не достигает уровня их предшественников. Снова на поверхность выплывают люди, имевшие в 1945 году неприятности из-за сотрудничества с нацистами, люди, страдающие комплексом неполноценности, а также явные карьеристы и проходимцы.

Крупным Институтом микробиологии руководит в настоящее время некий инженер Залабак. Когда-то он изучал экономику механизации сельского хозяйства, но ему так и не удалось получить звание кандидата наук: дважды было доказано, что его диссертационные работы — плагиат. И вот теперь Залабак опять добивается этого звания — на сей раз путем публичной защиты в институте, где он сейчас директорствует. Чехословацкие законы действительно предоставляют возможность подобной защиты, но лишь в исключительных случаях, особо талантливым людям. Предоставляется ли такая возможность и проходимцам, закон умалчивает. Тайное голосование о присуждении научного звания Залабаку будет серьезным испытанием для совести членов ученого совета института.

Институтом ядерной физики руководит некий д-р Прохазка. О нем известно, что он вынужден был оставить учебу на физико-математическом факультете, так как она давалась ему с большим трудом. Позднее он окончил университет заочно. Прохазка прославился фактической ликвидацией вверенного ему института. В академических кругах он известен таким заявлением: «Я выгнал бы из института и Эйнштейна, если бы его политические взгляды не были полностью «в порядке». Прохазка развил деятельность, неприятно поразившую даже некоторых советских ученых. Профессор Франк, директор лаборатории в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна), член Академии наук СССР и лауреат Нобелевской премии, жаловался чехословацкому послу, что тесное сотрудничество чехословацких и советских ученых прервано. Посол ответил, что это последствие 1968 года. Академик Франк заметил, что в 1968 и 1969 годах сотрудничество было превосходным и что ухудшение наступило только в 1970 году. Это понятно. Прохазка и ему подобные не позволяют тем, кто был исключен из партии, ездить за границу, причем этот запрет касается также Дубны, находящейся недалеко от Москвы.

Из партии было изгнано большинство активных ученых. Даже заступничество академика Франка не помогло его бывшему заместителю и талантливому сотруднику доктору Урбанецу. Последний был уволен из института точно так же, как член-корреспондент Трлифай и несколько десятков других ученых. В настоящее время они либо безработные, либо же выполняемая ими ра-

---

[1] Перевод статьи, вышедшей в гамбургском еженедельнике «Цайт» (№ 13. 1973 г.) и чешском эмигрантском журнале «Листы» (№ 19, 1973 г.) и посвященной положению чехословацких научных работников. Эта статья была написана мной в ЧССР, но по понятным причинам опубликована анонимно.

бота не соответствует их знаниям и квалификации.

Иногда даже создается впечатление, что советский метод помещения здоровых людей в психиатрические клиники применяется и в Чехословакии, но только как бы наоборот: руководство совершенно здоровыми людьми поручают лицам с нарушенной психикой.

Главным содержанием работы в вузах и институтах Академии наук является в настоящее время администрирование. Потоки инструкций, планов, постановлений, сводок, характеристик и рекомендаций, постоянное контролирование и политические беседы почти не оставляют времени для творческой работы.

Самые простые действия, как, например, заказ новой книги или прибора, приглашение иностранного ученого или — не дай бог! — планирование командировки на Запад, оказываются теперь до такой степени сложными, что многие заранее отказываются от них. Средства для закупки иностранной литературы и журналов сильно ограничены. Но даже из подписных изданий не все номера доходят до библиотек. Вместо этого часто случается, что адресат получает размноженное письмо примерно такого содержания: «Журнал «Нейчер» № ... Не посылайте рекламации. Разрешения на доставку не выдано».

Преждевременно на пенсию

Контакты с заграницей были уменьшены, с одной стороны, путем сокращения средств на командировки, а с другой — путем запрещения принимать приглашения от зарубежных учреждений. Заграничную командировку должна теперь одобрить особая правительственная комиссия, а это длится в лучшем случае полгода. Командировки даже в социалистические страны крайне ограничены.

В Академии наук и в вузах сейчас не существует постоянных трудовых договоров. Самый длительный договор составляется с сотрудником на четыре года, и получить его могут лишь те, кто никогда не занимался активной политической деятельностью. А те, кто был исключен из партии или добровольно вышел из нее, могут рассчитывать на договор не больше чем на 6—12 месяцев, причем это касается лишь наиболее известных чехословацких ученых. Так, например, полугодовой договор имеет академик Вихтерле, автор ряда выдающихся открытий. Аналогичный договор был и у академика Малека, лауреата Ленинской премии мира, известного микробиолога. В таком же положении находятся академики Шорм (бывший президент ЧСАН), Мацек (бывший директор Института истории), Сервит, Трлифай, Кроупа и др. Некоторые, как, например, академик Прушек, были преждевременно отправлены на пенсию.

Против младших научных сотрудников, к которым не относится система договоров (это парадокс, но факт: договоры, то есть краткосрочная работа, касаются лишь тех, у кого имеется научное звание и должность старшего научного сотрудника), нашлись другие средства. Их, например, не допускают к защите кандидатских или докторских диссертаций. Механизм работает очень просто: для защиты требуется характеристика. «Характеристику Вы получите через год или два, в зависимости от того, как будете себя вести», — сказал директор одного из крупных институтов ученому, представившему кандидатскую диссертацию.

В Москву на цензуру

Издательство ЧСАН разослало всем редакциям своих журналов инструкцию, предупреждающую, что авторы и работники научных журналов должны быть «одобрены» издательством, и потребовало сообщить об изменениях в партийности, а также другие данные о политических взглядах и поведении всех сотрудников.

Почти все работы нового Института философии и нового Института экономики ЧСАН переводятся на русский язык и посылаются в Москву на цензуру. По приказу советского посольства издательству ЧСАН пришлось изъять из обращения весь тираж вышедшей в Праге книги «Китайская империя в первых столетиях новой эры и варвары с Севера», написанной академиком Прушеком, всемирно известным синологом. Ведь каждый мог бы догадаться, кто такие варвары с Севера!

Некоторые ученые постоянно оказываются мишенью для клеветы в печати, по радио или телевидению, причем у них нет возможности протестовать против лжи, распространяемой средствами массовой информации.

Министерство просвещения — очевидно, в борьбе за европейское взаимопонимание — особым распоряжением категорически запретило пускать в академические институты и учреждения иностранных научных работников, приезжающих в ЧССР в качестве туристов или частных лиц. Это касается и ученых из социалистических стран.

Имена авторов, исключенных из партии, приказано убирать с титульных листов новых изданий лекций и учебников. Один знакомый, которого я недавно встретил, сказал мне: «Меня теперь зовут «Кол.». Посмотрите на эти лекции: я писал их с профессором Новаком. В новом издании стоит: «Проф. Новак и кол.».

Увольнения десятков и сотен профессоров, доцентов и ассистентов коснулись не только гуманитарного, но и медицинского, естественного и других факультетов. Уровень преподавания существенно снизился. Все больше времени и внимания уделяется формальным вопросам и так называемой политической деятельности. Для назначения на должность младшего научного сотрудника необходимо одобрение районного комитета партии, для назначения доцента — одобрение городского комитета партии, а для назначения профессора — одобрение ЦК партии. Профессиональный уровень при этом не играет роли. На философском факультете по главным политическим дисциплинам были введены лекции советских профессоров на русском языке. Посещаемость этих лекций обязательна и контролируется.

Дружба через границы

Попытка связаться с внеземной цивилизацией

(Переписка с другом [1], сидящим в тюрьме Рузине)

Дорогой Карел,

свое долгое молчание я могу объяснить только тем, что

1) с января жду, что ты появишься среди нас,— я неисправимый оптимист;

2) я не привык писать письма другу, находящемуся тут же, в Праге,— лучше позвонить или зайти, но ведь в твоем случае это невозможно;

3) несмотря на усиленное изучение законов, не сразу догадался, что могу написать тебе письмо.

Пишу на машинке, чтобы мой почерк не послужил предлогом для задержания этого письма...

С удовольствием читаю твои письма близким. Даже научился разбирать твои каракули... Должен немного поругать тебя за чрезмерную любовь к бухтам [2] и другим мучным изделиям: разве ты не знаешь, что такая пища противоречит основам правильного питания! Не забудь, что в твоем положении диета особенно необходима...

Думаю, что для первого раза я написал тебе довольно много и что новое письмо уже не потребуется — я смогу вместо этого позвонить тебе домой по телефону.

Сердечные приветы.

29.5.1972 *Твой Франта*

Дорогой Карел,

надеюсь, что ты получил мое первое письмо. Если задуматься, то оно шло к тебе не столь уж долго. Что такое полтора месяца? Во времена Марко Поло письмо от римского папы китайскому императору шло по крайней мере год, и было неясно, дойдет ли оно вообще и не пострадает ли от каких-нибудь татар или уйгуров. Таких опасений у меня нет, потому что над нашей перепиской бдит закон и твой следователь, беседовавший и со мной на одном из многочисленных допросов.

Когда тебя допрашивали (и не только тебя) пять месяцев и не было видно конца этому, я сказал себе, что все хорошо в меру, и написал в том же смысле генеральному прокурору. Свою петицию я направил также — к сведению — и некоторым государственным деятелям, напр. Г. Гусаку и другим, с просьбой поддержать меня... Генеральный прокурор — через старшего прокурора Прокопова — ответил, что у меня нет никаких причин для беспокойства. Остальные пока не ответили. Ответ из прокуратуры меня не успокоил, скорее наоборот...

Я уже почти 20 дней один дома — Ада с детьми находится в Москве, у родителей. Я беспокоился, как бы наш полуторагодовалый гунн не разорил Москву и ее окрестности (словно мало разорения нашей квартиры). Оказалось, что те же страхи разделяли со мною паспортные отделы... Но с помощью секретариата д-ра Гусака, федерального министра внутренних дел Каски и канцелярии господина президента республики удалось развеять эти страхи — дочери наконец разрешили навестить своего отца, восьмидесятилетнего большевика. По этому случаю мы вновь вспоминали 1 мая 1919 года и вытащили старую, пожелтевшую фотографию — Ленин с Арноштом Кольманом на Красной площади.

У меня были наивные представления, что я смогу отдохнуть в одиночестве и написать статью о внутреннем тормозном излучении. Но быть соломенным вдовцом, наверное, еще хуже, чем быть политзаключенным в Рузине в 70-е годы... Поэтому пришлось сбежать на дачу, в Уезд...

В Уезде я смотрел по телевизору один страшный американский фильм («Преждевременные похороны» Эдгара По), а перед этим — очень хороший фильм об Иване Ольбрахте [1], где есть кадры о его пребывании в тюрьме. Вместо того чтобы отвлечься, я снова впал в размышления. В своем «Зеркале за решеткой» Ольбрахт писал (цитирую по своей официально признанной слабой памяти): «Иногда мне хочется прижаться лбом к решетке и плакать, но потом я говорю себе — раз другие выдержали это, то выдержишь и ты...» У всех политзаключенных во все времена было нечто общее: их всегда наконец реабилитировали. В темном средневековье на реабилитацию уходили иногда столетия. В нашу эпоху быстрых изменений и технического развития все ускоряется. Для реабилитации политзаключенных при капитализме нужно было обычно изменить общественный строй или режим. Насколько же совершеннее социализм, который раньше или позже находит в себе силы и способность исправлять свои ошибки и преступления. Хотя я и уверен, что суд освободит тебя, но если этого не произойдет, то ты должен будешь терпеливо дожидаться освобождения и реабилитации — они не за горами, может, за небольшими горками...

Надеюсь, что вскоре смогу обнять тебя и пригласить к нам выпить вина или чаю...

Желаю здоровья.

21.7 1972 *Твой Франта*

Дорогой Карел,

я отправил тебе 21 июля длинное письмо (№ 2), которое — после длительного блуждания — вскрыли и в конверте генеральной прокуратуры доставили на твой домашний адрес. В прокуратуре, наверное, думали, что ты уже дома...

Посылаю тебе поэтому ксерокопию письма № 2. Одновременно прилагаю объяснительную записку для управления тюрьмы Рузине.

К своему письму добавлю лишь немного. После окончания твоего процесса я отправился в небольшое путешествие пешком. Машину я оставил в Праге, доехал авто-

---

[1] Карелом Кынцлом.

[2] Чешские сладкие пирожки. *(Прим. перев.)*

[1] Иван Ольбрахт (1882—1952) — известный чешский писатель-коммунист.

бусом до Яблонца, а оттуда пешком пошел в Бескиды...

Я шел больше недели, и мне было очень хорошо. Ежедневно я проделывал около 40 км, через Йизерские горы, Крконоши, Подкрконоши, Орлицкие горы, Йесеники, Яворник и, наконец, Бескиды. Я сдался только в Яблунькове. У меня был с собой легкий рюкзак, легкий спальный мешок и никакой еды. Со второго дня я начал есть только раз в день. Спал я под открытым небом или в заброшенных шалашах. Вставал около четырех часов утра и шел до 6—7 часов вечера, а потом — без ужина, только выпив литр чаю или воды,— падал и спал как убитый.

Горы очень красивые, природа чудесная, о людях не говорю — это было прекрасно, мило и поучительно.

Было это также и полезно. Я похудел за эту неделю больше чем на *8 кг* (видишь, столько же, сколько ты потерял за 8 месяцев в тюрьме — мы, физики, используем более эффективные, хотя иногда и немного суровые методы). Я ходил по горам со свежей и ясной головой и раздумывал. Мысли были чистые и ясные, как горные потоки и ручьи, из которых я пил вкуснейшую воду, и вспоминал стихи Гейне:

Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где привольно веет ветер,
Где дышать свободней будет.

Ухожу от вас я в горы,
Где шумят густые ели,
Где журчат ключи и птицы
Вьются в облачной купели.

Вы, прилизанные дамы,
Вы, лощеные мужчины,
Как смешны мне будут сверху
Ваши гладкие долины! [1]

Сердечный привет.

17.8.1972 *Твой Франта*

Управление Рузиньской тюрьмы
Рузине
Прага

Уважаемые господа,
как я узнал сегодня, мое письмо, адресованное Карелу Кынцлу, заключенному в даиное время в вашей тюрьме, было 21 июля 1972 года — явно по ошибке — отправлено в распечатанном виде на домашний адрес К. Кынцла.

Предполагаю, что речь идет о недоразумении, потому что после окончания предварительного заключения и перед законным приговором нельзя — согласно чехословацким законам — как-либо ограничивать корреспонденцию К. Кынцла (см. § 2, абз. 2 закона 32/1970 и § 239 закона 140/1961).

Поэтому я посылаю ксерокопию своего письма от 21 июля 1972 года снова, вместе с этой запиской, и требую, чтобы письмо было вручено господину Кынцлу.

С уважением
доц. д-р Франтишек Яноух

Письмо Карела Кынцла из Рузиньской тюрьмы

Рузине, 3.10.1972

...Как мне кажется, теперь уже даже друзья не должны будут писать в пространство и для всяких архивов: вчера — вместе с телеграммой о рождении Маркетки — я наконец получил и письмо Франты от 21.7, которое проделало столь загадочное путешествие.

Это чудесное письмо — умное, остроумное, сердечное и поддерживающее. Даже не скажешь, что его писал простой физик-теоретик. Поэтому я еще больше сожалею, что Франта, как человек с математическим мозгом, допустил неточность сразу в начале письма. Он успокаивает меня, чтобы я не удивлялся долгим срокам доставки корреспонденции, ссылаясь на то, что при Марко Поло письмо от папы китайскому императору шло целый год. Но где был папа? И где император?! Если сопоставить расстояния, то мы придем к выводу, что если бы меня посадили в тюрьму в Нью-Йорке в тот же день, когда мы туда в феврале 1962 года прилетели,— а после ознакомления с Уголовным кодексом я сознаю, что там могли бы иметь примерно в сто пятьдесят раз больше причин посадить меня, чем здесь,— то мое письмо с этой новостью сейчас было бы где-нибудь в районе Азорских островов. И это смог подсчитать я — полный профан в математике! После такого ошибочного подхода к делу я уже не удивляюсь, что Франта — безработный научный сотрудник! А если он и далее будет отдавать предпочтение общественной жизни вместо работы над монографией о внутреннем излучении (господи, что это такое?), то вполне может случиться, что останется физиком-теоретиком только теоретически. В интересах чехословацкой науки и в личных интересах Франты я искренне советую ему, чтобы он — раз уж ему трудно отказаться от роли салонного льва — следовал по моим стопам. Я гарантирую ему избыток времени для научной работы, хотя доступ к литературе несколько ограничен. Внутреннее излучение тоже не идеальная тема для здешней среды, хотя и не совсем безнадежная. Однако он должен будет избавиться от некоторых идеалистических представлений о здешних условиях, почерпнутых, напр., из Ивана Ольбрахта: прижиматься лбом к решетке можно было только во времена прогнившего либерализма...

Я рад, что Аде с детьми все же наконец удалось навестить родителей. Не удивляюсь, что при осуществлении этого плана у нее были определенные затруднения (я уже вообще ничему не удивляюсь), поскольку если бы этого захотел каждый, то возник бы хаос. А если хаос возникает и без того, то все же этот гораздо лучше, потому что он — организованный...

Ада, Франта, Катя и Эрик, благодарю вас за все и обнимаю.

Ваш Карел

Дорогой Карел,

Весть о том, что ты наконец получил мое второе письмо, меня очень обрадовала и прибавила надежды: видно, что мой исторический оптимизм не столь уж наивен. Или уже начинает работать та комиссия, которую я в последнее время предлагал создать в целях улучшения условий жизни подобных тебе индивидов.

Проблема писания в пустоту, в пространство, которая начала меня, в связи с нашей переписки, теоретически интересовать, очень

[1] Перевод Ал. Дейча. *(Прим. ред.)*

похожа на попытку связаться с внеземной цивилизацией. Занимаясь этой проблемой, я стал читать сборник одного американо-советского симпозиума, посвященного таким контактам и проходившего недавно в советской Армении. В связи с этим была проведена также международная анкета среди ученых, касавшаяся возможности и целей таких контактов. Интересно было прочесть выступления Капицы, Сахарова и других. Если бы спросили меня, то я считал бы — вместе с некоторыми другими,— что это возможно, но что на данном этапе было бы важнее достигнуть понимания между отдельными земными цивилизациями, и даже контактов и понимания в рамках отдельных субцивилизаций. Последнее совсем непросто — об этом свидетельствуют трудности при попытках наладить контакт с тобою.

...В последнее время я написал нечто вроде диссертации в области правовых и государственных наук, анализ современного состояния права. Мой будущий биограф наверняка назовет этот период моей жизни так: «между юриспруденцией и физикой».

Я выбрал для тебя в сегодняшней страничке поэзии двоих из моих любимых русских авторов. Чтобы тебе было легче читать, перехожу на русскую машинку:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

(1956)

Борис Пастернак

ВЗЯЛИ...

Чехи подходили к немцам и плевали.
(См. мартовские газеты 1939 г.)

Брали — скоро и брали — щедро:
Взяли горы и взяли недра,
Взяли уголь и взяли сталь,
И свинец у нас, и хрусталь.

Взяли сахар и взяли клевер,
Взяли Запад и взяли Север,
Взяли улей и взяли стог,
Взяли Юг у нас и Восток.

Вары — взяли и Татры — взяли,
Взяли близи и взяли дали.
Но больнее, чем рай земной! —
Битву взяли — за край родной.

Взяли пули и взяли ружья,
Взяли руды и взяли дружбы...
Но покамест во рту слюна —
Вся страна вооружена!

Марина Цветаева.
Библиотека поэта
Москва, 1965

Надеюсь, что заставлю тебя таким путем немного поупражняться в русской азбуке и языке — несколько трудных слов перевожу на полях. Если это письмо пойдет столь же быстро, как предыдущее, то ты получишь его как раз к месячнику дружбы с СССР и сможешь продекламировать стихи по какому-нибудь праздничному случаю — только не перепутай ударения!

В конце мне только остается поздравить тебя по случаю изменения твоего статуса — только чтобы у Маркетки не было из-за тебя кадровых проблем! В анкете она должна будет писать, что деда исключили из партии и что он совершал разные преступления, за которые его посадили в тюрьму. Но как исторический оптимист, думаю, что когда она вырастет, то будет писать в анкете (будет ли таковая вообще!) в рубрике «дед»: заслуженный член Союза бывших политических заключенных. При приеме в Карлов университет (в то время я как раз созрею для ректорского кресла) это будет оцениваться в 100 баллов.

Сердечный привет.
Твой Франта

10.10.1972

Милый Франта,

все на сей раз будет касаться исключительно искусства, что — принимая во внимание ситуацию и мое положение — само по себе искусство...

Так вот, сердечно благодарю за стихи Пастернака и Цветаевой, которые я (честное слово!) с удовольствием прочитал. И не один раз...

Мне очень нравится стихотворение Цветаевой с его ошеломляющим концом, но должен сознаться, что особенно меня потряс Пастернак. Видимо, потому, что эта его ностальгическая поэзия придает мыслям — в моих глазах — какие-то новые размеры. Если бы я не стеснялся, то написал бы, что при чтении его стихов мне было как-то очень хорошо и одновременно хотелось плакать...

Но возможно, это и оттого, что в последние дни, когда я не могу уснуть, то вспоминаю другой ностальгический тип поэзии, который совсем не подходит ни к месту моего пребывания, ни к моему возрасту: любовную лирику. Особенно Есенина (увы, конечно, в переводе), люблю за его фантастическую простоту, которая на самом деле невероятно сложна; Гейне, чья любовная лирика для меня — словно героин для наркомана. В отплату тебе, Франта, посылаю это, есенинское:

Слышишь — мчатся сани, слышишь —
сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться.

А теперь насчет вклада Эрика в твое письмо: у этого ребенка большое будущее! Мне кажется, что он почти так же талантлив, как в будущем Маркетка. Как он сумел одной линией выразить все — это просто невероятно...

Поцелуй за меня этого гениального ребенка. Аду и Катю — тоже.

Жму твою руку.
Карел

Рузине, 14.10.1972

Мистика

Два дня и две ночи я не отрываясь читал мемуары Надежды Мандельштам. К концу я натолкнулся на место, слишком хорошо знакомое мне: о судьбе одинокой женщины с ребенком. Дело происходило в Ульяновске, в изгнании, в конце 40-х годов. Я знал эту историю со слов Ады. После ареста ее отца их с матерью выслали (Аде тогда было девять лет) в Ульяновск, где они жили три с половиной года в невероятной бедности. В студенческом общежитии с ними рядом жила какая-то женщина, преподаватель английского языка, по фамилии Мандельштам. Кто мог предполагать, что она — вдова Осипа Мандельштама, не только физически уничтоженного Сталиным, но и выброшенного из всех книг, со всех библиотечных полок?

Ада тоже не могла оторваться от книги, которая тогда (в 1972 году) считалась запрещенной литературой. Она как раз дошла до места, где Надежда Мандельштам рассказывает о Мейерхольде и о поэте Маркише, тоже уничтоженных Сталиным. Внезапно зазвонил телефон и раздался русский голос: «Говорит Маркиш. Можно Франтишека к телефону?»

Придя домой, я нашел Аду потрясенной. Она была уверена, что под влиянием прочитанного у нее появились галлюцинации (не было бы ничего удивительного!). Но через несколько часов сын поэта Маркиша, ученый-физик, пришел к нам домой. Мы пили чай, и рассказывали, как он нас удивил своим звонком. Тогда он сказал: «Это мистика. Я знаю Надежду Яковлевну очень хорошо, и когда я вам звонил с главной почты, то как раз послал ей открытку с приветом из Праги. Вы тоже могли бы на ней подписаться».

Соболезнование

Радио принесло грустное известие: в Вене скончался Эрнст Фишер[1]. Я вспомнил нашу с ним первую и последнюю встречу, в апреле 1969 года, в Вене. Эрнст Фишер приветствовал меня словами: «Так когда же Гусак придет к власти?» Потом он с интересом расспрашивал о ситуации, настроениях людей, судьбах наших общих знакомых. Мы сидели вместе несколько часов, которые пролетели как пара минут. Потом мы расстались, я уехал в Прагу. Помню, как он еще сказал: «Когда в следующий раз приедете в Вену, остановитесь у нас». (Так и получилось через шесть лет, когда его уже не было в живых.)

Я написал госпоже Фишер-Эйслер письмо с соболезнованием, на всякий случай заказное, чтобы дошло. Были в нем и такие слова: «...его труды и глубоко человечные высказывания, за которыми я всегда следил с большим вниманием, сделали его очень близким для меня. Я всегда восхищался его храбростью, последовательностью его выступлений, высказываний и суждений, в особенности в 1968—69 годах. Примите, пожалуйста, мое глубокое соболезнование. Ваша потеря и боль настолько же тяжелы для нас...»

Заказное письмо достигло адресата. Через некоторое время заказной почтой пришел и ответ: «Дорогой товарищ Яноух, Ваше письмо означает для меня больше, чем сотни других, из всех уголков мира. Передайте от меня привет Вашей семье и всем друзьям. Я сделаю все, чтобы продолжить работу моего мужа. Ваша Лоу».

Вошел в историю

Сначала он никак не мог закончить университет. Потом наконец закрепился в партийном аппарате. В период «нормализации» ему удалось внезапно выплыть на поверхность в качестве директора крупнейшего из академических институтов — Института ядерной физики. В историю чехословацкой науки он бесспорно вошел благодаря своему высказыванию, что выгнал бы и Эйнштейна, если бы его политические взгляды были не в порядке.

Я встретился с ним впервые только в сентябре 1973 года. Дело происходило в Оломоуце, на съезде Физического общества — последней организации, еще не успевшей исключить меня из своего состава. Из любопытства я пришел послушать его доклад о состоянии и перспективах чехословацкой ядерной физики. Доклад этот не выдерживал никакой критики: выступающий убедительно продемонстрировал, что ничего не знает не только об этой научной дисциплине, но и вообще о том, что делают в институте, которым он руководит. Одна часть его выступления меня все же заинтересовала: он говорил о перспективах чехословацкой ядерной физики в свете результатов недавней международной конференции в Мюнхене, в которой Прохазка — так его звали — принял участие как единственный физик из ЧССР. Меня разбирало любопытство, что он там почерпнул, не зная ни физики, ни английского языка. Но докладчик об этой конференции говорил немного. Тогда я задал ему вопрос, как, с его точки зрения, чехословацкая физика зарекомендовала себя на этой конференции и развивается ли она в правильном направлении, на что он ответил сверхположительно.

У меня был еще один небольшой вопрос: со сколькими рефератами или работами выступили на этой конференции чехословацкие ядерные физики?

Да, я попал в самую точку, но он этого заслуживал — за то, что так безжалостно изничтожал нашу ядерную физику, за всех изгнанных ученых и за все остальные гнусности. Он понял, что попал впросак, и был вынужден признать, что никаких рефератов от нас не поступило. Аудитория прореагировала на это громким смехом.

После доклада он внезапно бросился ко мне, подал руку и спросил мою фамилию. Когда я представился, рука у него затряслась, он потерял дар речи. Он, наверное, никогда не видел моей фотографии в материалах отдела кадров и не ждал такой дерзости от гражданина «второй категории».

«Ну и дела, товарищ доктор!» — сказал он в коридоре одному из моих коллег и исчез с конференции. Наверное, поехал в Прагу жаловаться.

[1] Эрнст Фишер — известный австрийский литератор и теоретик марксизма. За осуждение советской оккупации Чехословакии был исключен из Коммунистической партии Австрии.

Прохазка стал в конце концов неподходящим даже для Чехословацкой академии наук, и его заменили кем-то чуть-чуть получше. Но его коллега и родственная душа инженер Залабак все еще директор Института микробиологии [1].

Солидарность 2

Он был уважаемым профессором в одной из восточноевропейских стран. Как-то весною 1973 года он находился проездом в Праге и разыскал меня. Ему хотелось знать, как мне живется, как идет моя научная работа.

После нашего разговора он сказал:

— Думаю, что вам надо знать следующее: недавно происходило совещание представителей социалистических стран о совместной политике в Европейском физическом обществе. Чехословацкий делегат внес там предложение, чтобы все социалистические страны вышли из этого общества, и мотивировал это главным образом тем, что это общество неустанно поддерживает вас. Я хочу вам сказать, что чехословацкое предложение не вызвало у остальных делегатов никакого энтузиазма. Мы просто на это не реагировали...

Я поблагодарил коллегу за информацию. Хотя она и была важной для меня, но еще важнее было его посещение и тот факт, что он не побоялся рассказать мне все это.

Мойщик витрин

Пожаловался:

— Какие-то безответственные личности систематически плюют на витрины, в которых выставлены самые красочные лозунги к годовщине Октябрьской революции.

Однако не создавалось впечатления, будто д-р философии С. был как-то особо опечален тем, что должен снова и снова мыть эти витрины.

Дружба

Я получил открытку. Друг из Восточной Европы писал, что будет пролетать через Прагу и хотел бы встретиться со мной на аэродроме.

При встрече он сказал, что беспокоится обо мне и поэтому нарочно выбрал рейс с остановкой в Праге. Ведь о некоторых вещах нельзя писать в письмах. Он рассказал мне, как его вызывали в местную политическую полицию, допрашивали, причем главным образом обо мне. Интересовались, давно ли мы знакомы, какие поддерживаем связи, хотели знать о моих взглядах и вообще все обо мне.

Мой друг был прав: писать о таких вещах нельзя, но полезно знать о них.

Телекс

Кампания против Андрея Сахарова нарастала изо дня в день. В советской печати для нападок на него была даже выделена специальная регулярная рубрика. В то время я начал снова покупать советские газеты, и продавцы бросали на меня презрительные, полные отвращения взгляды. Одна знакомая продавщица газет не выдержала и с упреком в голосе сказала мне: «А я-то думала, что вы нормальный!»

Коллекция вырезок все увеличивалась. Это было отталкивающее и грустное чтение. (Все вырезки у меня потом отобрали на границе чехословацкие таможенники, когда мы уезжали из ЧССР. Это, наверное, был первый случай конфискации вырезок из советской печати в Восточной Европе.)

К нападкам против А. Сахарова более осторожно присоединилась и чешская пресса. Я был возмущен до глубины души. Нельзя же оставлять это без ответа! Но как ответить?

Так возникло письмо об Андрее Сахарове и об Открытом мире. В тот вечер, дописав письмо, я пошел на Главный почтамт, туда, где есть телексы. Потому что, хотя сообщения, передаваемые по телексу, тоже подлежат закону о тайне переписки, но телекс — в отличие от письма — не могут ни украсть, ни цензуровать.

Я вызвал лондонскую «Таймс» и передал им свое письмо. Стоило это 140 крон, я до сих пор не знаю, кто был больше удивлен: редакторы «Таймс» или чешская полиция. Говорят, узнав, как я послал письмо, они начали следить и за телексом. Мне бы в то время их заботы.

Через несколько дней «Таймс» напечатала мое письмо:

Четверть века назад Нильс Бор опубликовал свое открытое письмо Организации Объединенных Наций, где он задумывается над положением, в котором человечество очутилось после открытия атомного оружия. Нильс Бор видит единственный способ уберечь человечество от гибели: надо создать Открытый мир, в котором каждый народ сможет найти себе место в соответствии с тем, насколько велик его вклад в общую культуру и его помощь остальным народам своим опытом и средствами... Действительное сотрудничество между народами в осуществлении общих интересов предполагает свободный доступ ко всей информации, важной для их взаимопонимания... Чтобы не возникало сомнений относительно целей, необходимо обеспечить повсюду свободный доступ к информации и обмен мыслями без каких-либо препятствий... лишь полная взаимная правдивость и откровенность могут действенно помочь установлению доверия и обеспечить общественную безопасность...

Мысли Нильса Бора не нашли, к сожалению, в 1950 году того отклика, которого они заслуживали. Видимо, потому, что ни человечество, ни те, кому было доверено право решать, или же присвоившие себе это право, не отдавали себе отчета, какая угроза самому существованию человечества заложена в ядерном оружии. Дальнейшее развитие науки и техники — в особенности полеты человека в космос — полностью подтвердило мысли Бора.

После того как человек сделал первые шаги в космос, существует гораздо больше факторов, объединяющих людей, чем их разъединяющих. Мы перестаем быть лишь представителями отдельных рас, народов, континентов или частей разделенного на классы мира и становимся все более и бо-

[1] Залабака сняли с поста директора только в 1978 г.

лее представителями или даже гражданами одной населенной планеты, которая может вскоре стать необитаемой. И обязанностью ученых является сделать все для того, чтобы в переговорах правительств и политиков общечеловеческие интересы начали преобладать над интересами политическими, национальными или классовыми. Современное состояние науки и технологии не только допускает, но и категорически требует подобного подхода.

Не случайно, что более чем через двадцать лет к мыслям Бора возвращается физик-теоретик, который, так же как и Нильс Бор, сыграл немалую роль в развитии ядерного оружия. Андрей Сахаров дополняет призыв Бора: открытый мир не может стать реальностью без защиты основных человеческих прав, без глубокой демократизации общества. И эту постепенно познаваемую правду профессор Сахаров защищает со всем своим пылом, моральным авторитетом и мужеством, присущим лишь большим мыслителям и настоящим гражданам.

Нельзя не согласиться с академиком Сахаровым, что мир в Европе, без поддержки основного решения третьей «корзины» хельсинкских проблем, дополненных проблемой человеческих прав и демократизации (собственно, некоей боровско-сахаровской «корзины» проблем), был бы построен на песке и стал бы опасной иллюзией.

Мысли академика Сахарова, его глубоко гуманистические послания и призывы к человечеству являются с точки зрения нашей цивилизации жизненно важными. Поэтому считаю предложение присудить Андрею Сахарову Нобелевскую премию мира полностью правильным и поддерживаю его.

Ф. Яноух

Прага, 16 сентября 1973

Об опубликовании этого письма я узнал только по иностранному радио и по злобной реакции пражской печати Газету «Таймс» в Праге не продавали. И не продают до сегодняшнего дня, просто так, в киосках, на Вацлавской площади...

Анонимное письмо

Прага, 26.9.1973

Господин Яноух!

Пишу Вам как незнакомый человек, потому что не могу молчать по поводу того, что Вы делаете Я слышал по «Голосу Америки», что Вы поддерживаете как ядерный физик кандидатуру советского сионистского диссидента Сахарова на Нобелевскую премию...

Сионистский диссидент Сахаров получает таким путем в Вашем лице союзника в ЧССР, действующего как еврейский диверсант. Я знаю, что еврейский интернационал (сионизм) дал Вам приказ, чтобы Вы начали дело диверсии в ЧССР. При этом, как обычно делают евреи, свои умыслы они вуалируют пышными словами о свободе и демократии. Зачем требуете Вы и Сахаров гражданские права и свободу информации? Ясно, что свобода информации и гражданские права, провозглашенные французской революцией, принесли гражданскую свободу и евреям. Но зато как евреи этим злоупотребили! После того как они ушли из гетто, они полностью сосредоточились на захвате руководящих позиций в хозяйстве всех стран и начали неограниченную эксплуатацию арийцев и всех полуевреев. Создали при помощи монополий и международных банковских центров настоящую власть капитала, который до сих пор находится в руках евреев...

Еврей Сахаров и еврей Яноух подают друг другу руки, чтобы по приказу международного сионизма бороться за разложение народного государства, где у власти стоит народ. Вы меня не уговорите, что действуете по другим мотивам, чем я указал. Я знаю еврейскую подлость и хитрость в многосторонней аргументации...

Заявление под присягой

Заявляю, что ни со стороны матери, ни со стороны отца мне неизвестны никакие обстоятельства, позволяющие сделать заключение об их неарийском происхождении, а тем самым — и о моем. К сожалению, как говорит моя сестра. Из-за чисто арийского происхождения у нее иногда возникают комплексы неполноценности.

Как распространяются новости

(Из блокнота)

23.8.1973

«Сегодня, находясь в Южной Чехии, я услышал по радио «Свободная Европа» (в Праге ее зверски глушат), что китайское агентство «Синьхуа» сообщило из Бухареста о выходе там в свет интересной книги про ограниченный суверенитет».

Ну, разве это не слишком сложно для столь малого мира?

Солидарность

Ко мне проникли кое-какие сведения из президиума Академии наук. Точнее, новости эти привез из-за границы один профессор. О действительном состоянии вещей я узнал только после приезда на Запад.

Европейское физическое общество получило приглашение от Чехословацкой академии наук устроить 3-й Европейский физический конгресс в Праге. Конгресс этот должен был состояться в 1975 году, и в нем собиралась принять участие почти тысяча ученых. Темами конгресса были физика и энергия. Европейское физическое общество с благодарностью приняло это приглашение. В своем письме, однако, общество выразило тревогу за мою судьбу. Кроме прочего в письме президента общества говорилось:

«В этой связи мы чувствуем определенные затруднения. Одним из членов совета и исполнительного комитета в течение первых трех лет существования нашего общества был д-р Франтишек Яноух. Мы узнали, что он потерял работу, что он не может выехать из страны и не может зарабатывать на жизнь как физик. У нас нет намерения начинать дискуссию об обоснованности или необоснованности таких мер. Эта дискуссия была бы, видимо, бесплодной, учитывая принципиальную разницу в наших исходных точках зрения. Наверняка она вела бы к

заключению, что меры, которые одна из сторон считает необходимыми, справедливыми и даже мягкими, другая сторона отвергает как чрезмерно жестокие. Поэтому я хотел бы занять более прагматическую позицию. Когда чехословацкое предложение будет представлено совету общества, возникнут вопросы, касающиеся положения Яноуха. Если ответы на эти вопросы окажутся неудовлетворительными — а так, наверное, случится,— то возникнет неприятная дискуссия, и весьма вероятно, что чешское предложение будет отклонено. Поэтому я хотел бы вас попросить дать мне в этой связи какой-нибудь совет или информацию...»

ЧСАН не дала ни совета, ни информации; но письмо это, очевидно, крайне разозлило ее руководство, потому что из Праги пришел следующий краткий и оскорбленный ответ: «Имея в виду трудности, с которыми вы встретились при рассмотрении нашего первоначального предложения о проведении Генеральной конференции ЕФО в 1975 году в Праге, должен, к сожалению, информировать вас, что мы приняли решение отменить наше первоначальное предложение».

Раздражение достигло в ЧСАН неимоверных размеров. Уже в следующем письме президент ЧСАН «глубоко сожалел», что будет в мае «крайне занят». Он писал: «Поэтому предлагаю, чтобы предложения ЕФО обсуждались в письмах, а личная встреча была отложена».

Итак, конгресс собрался в 1975 году, но в Бухаресте. И его участники были сердечно приняты на самом высоком уровне. Но после этого кое-кто в Праге начал понимать, что это не самый лучший способ поддерживать дружеские отношения с Западом.

Эскалация

Разжалование

Вот уже третий день я находился во Фландрии. Мой друг делал все, чтобы убедить меня, что здешние жители — самые большие кутилы во всей Европе. Мы вместе посетили уже с десяток пивных и винных погребков, где повстречали кучу его знакомых. «Знаешь что? — сказал мой друг.— Я отвезу тебя сегодня на ужин в клуб офицеров запаса бельгийской армии. Там ты можешь произнести тост и рассказать что-нибудь о Чехословакии. Ты ведь тоже офицер запаса, не правда ли?»

Я всегда был штатским до мозга костей. Формы и чины не привлекали меня, и я не разбирался в званиях. Несмотря на это, мне удалось каким-то образом выслужить три звездочки и звание старшего лейтенанта запаса.

Весной 1973 года меня вызвали в военкомат и ознакомили с постановлением о полном моем разжаловании. Я уже стал недостойным такого «головокружительного» звания. Тогда я подал письменное заявление-протест:

«20 апреля 1973 года меня ознакомили в районном военкомате, Прага-10, с постановлением о моем разжаловании. Я с этим не согласен и считаю такое постановление необоснованным и незаконным. Я никогда не совершал ничего такого, что могло бы — согласно действующим законам — послужить причиной моего разжалования, я никогда не был лишен гражданских прав, к которым (статья 37 Конституции ЧССР) принадлежит и право защищать свою Родину. В обосновании, предложенном мне и занявшем три строчки, не было указано ни одного конкретного действия, которым бы можно было мотивировать столь серьезный акт, как разжалование. Ссылка на статью в «Руде право» крайне неубедительна: статья полна полуправд, противоречий и просто лжи. Я мог бы представить множество подобных статей, написанных когда-то, например, о Владо Клементисе, портрет которого вы можете лицезреть на почтовой марке, налепленной мною на конверт, или о Густаве Гусаке,— достаточно только полистать «Руде право», выходившую в 50-е годы.

Я считаю действия военных учреждений — разжалование офицеров запаса, исключенных из КПЧ,— антиконституционными и крайне вредными, поскольку они наносят ущерб интересам нашей республики и ставят под угрозу ее обороноспособность. В связи с этим хочу напомнить, что подобные меры — ликвидация офицерских и профессиональных кадров в Красной Армии в 1937—1939 годах — имели трагические последствия в 1941 году и привели к миллионам напрасных человеческих жертв... В эпоху ядерного оружия наша армия должна была бы обратить особенное внимание на этот печальный опыт...»

Ответа на свой протест я напрасно дожидался до самого нашего отъезда. Говорят, он пришел, когда нас уже не было в Праге. Но что мне ответили, я так и не узнал. А ездить из-за этого в Прагу я ведь не стану...

Так я и остался в сомнении: офицер ли я запаса или просто рядовой?

К счастью, это не повлияло на мой тост, произнесенный на ужине офицеров запаса. Вместе с дискуссией он затянулся почти на полтора часа. Все мы были одеты в штатское, и поэтому проблема, кто кому первый должен отдавать честь, не возникла.

Петиция

Меня везли на допрос из Орлика в Прагу. Нашли меня где-то в лесах, в долго пустовавшей хате. И все это — из-за телефона, иначе бы им меня не найти.

У подполковника Войтеха было добродушное настроение. Он знал обо мне чуть ли не больше, чем я сам. Изучал он меня долго: семью, друзей. Знал, где и с кем я жил во время войны, что делал мой отец, где я учился.

Вдруг он задумался и сказал: «Все-таки нам, господин доктор, хотелось бы знать, кто вам помогал писать эту петицию. Мы послали ее на юридическую экспертизу, и там пришли к выводу, что ее мог составить только юрист-профессионал. И потом, откуда у вас материалы Национального собрания? Вы точно знали, какие вопросы чехословацкого Уголовного кодекса должны обсуждаться».

Подполковник обрадовал меня своим высказыванием. Примерно год тому назад я начал изучать уголовное законодательство. Делал я это из инстинкта самосохранения и из-за необходимости защищать себя при возможном аресте.

Почти каждый день я сталкивался с новыми фактами произвола. Несколько моих

друзей были арестованы. Меня самого часто вызывали давать свидетельские показания. Я следил за подготовкой и ходом процессов, часто сам хотел принять в них участие.

Так родились мои предложения внести некоторые изменения в чехословацкое уголовное законодательство. Я послал письмо в форме петиции чехословацким учреждениям.

Ответа на письмо я не получил. Не отозвались ни Национальное собрание, ни полиция.

Через некоторое время эту петицию напечатали за границей. И вот только сейчас я услышал о ней от подполковника Войтеха, причем весьма неожиданно.

— Жаль, что вы не осуществили хотя бы некоторые из моих предложений,— хочу я подразнить моего собеседника.

— Мы хотели осуществить одно из них, но потом как-то передумали,— отвечает он.

— Какое именно?

— То, где вы пишете, что подслушивание должно быть либо легализовано, либо запрещено. Но знаете, какой шум поднялся бы из-за этого за границей?

Я не старался убедить Войтеха, что сам написал петицию и что никаких материалов из Национального собрания не получал. Все равно он бы мне не поверил. Но это было сущей правдой.

Последнее серьезное предупреждение

Еще не было шести утра, когда в дверь позвонили. Это оказались двое мужчин в штатском. От одного из них сильно пахло спиртным.

— Господин доктор, вы еще спите? Рабочий класс уже давно встал. Мы пришли за вами. Поедем на допрос.

Письменного вызова на допрос у них с собой не оказалось. Я захлопнул дверь. Кроме того, я позвонил дежурному в городское управление государственной безопасности. Он не поверил и посоветовал выгнать их, если они опять появятся. Он записал все, о чем я рассказал, включая запах спиртного.

Эти двое опять появились примерно через три часа. Теперь они предъявили мне письменное распоряжение явиться на допрос в здание Министерства внутренних дел, но без точного адреса. Я сообщил им о своем разговоре с городским управлением госбезопасности, но они ответили, что последнее для них ничего не значит. Они, мол, федеральный орган. Несмотря на это, я с ними никуда не поехал, а для применения насилия инструкций у них, как видно, пока не было.

Во время обеда я сам поехал в Министерство внутренних дел, взяв с собой принесенную этими двумя субъектами бумажку. В министерстве только крутили головами и расспрашивали, как все было.

Наконец за мной приехала машина и отвезла меня в Рузине, на пятый этаж. Между собой мы называли эту тюрьму «антикоммунистическим центром», потому что допрашивали там главным образом бывших коммунистов, старых членов партии, вернее — бывших старых членов партии.

Меня на сей раз допрашивали трое: подполковники Павловский и Войтех, да еще один — явный интеллектуал. У этого были темные очки, и он знал кибернетическую терминологию.

Допрос начался с предупреждения: они, мол, дали распоряжение проверить кровь у работника, который — по моему утверждению — якобы пришел ко мне в нетрезвом виде. Если результат окажется отрицательным, то против меня возбудят судебное дело об оскорблении работника органов (таковое никогда не возбуждалось, так что я, очевидно, оказался прав).

Потом провели обыск в моем портфеле: мол, не вооружен ли я. Позже выяснилось, что они опасались спрятанного магнитофона. Но так как последнего у меня с собой не было, то я подробно записывал весь ход допроса.

Не стану утомлять здесь читателя деталями. Было видно, что мои следователи на сей раз хорошо подготовились, изучили мою жизнь с самой, как говорится, школьной скамьи и поэтому знали много подробностей. Некоторыми из них они пытались запугать меня, другими грозили скомпрометировать.

Например, они представили мне список всех моих действий и поступкоз начиная с 1968 года. Все, что писали обо мне за границей, все мои письма. И хотели знать, как эти письма попали за рубеж. Хотели знать, что мне известно о нелегальной печати: видел ли я когда-нибудь такие издания и читал ли их, слышал ли о них.

Потом мне важно принялись разъяснять, что распространение таких изданий является уголовным преступлением, согласно § 98 или § 100 Уголовного кодекса. Занесли в протокол предупреждение, что недонесение о таком распространении, согласно § 168, есть также уголовное действие.

Тогда я заглянул в Уголовный кодекс, находившийся в моем портфеле, и обнаружил, что наши милые законодатели успели исключить § 98 и § 100 из сферы непременного донесения. Удивлению следователей не было предела, они принялись растерянно изучать свое издание Уголовного кодекса. Все оказалось именно так, как я говорил.

Тогда в протоколе появилась поправка: «Вношу поправку. Хотя недонесение о распространении нелегальных материалов не составляет прецедента уголовного дела, я требую, чтобы вы ответили, как бы вы вели себя, если бы узнали о распространении нелегальной литературы».

Я подумал и ответил: «В случае, если возникнет такая ситуация, я проконсультируюсь с чехословацкими законами и со своей совестью».

Следователи заговорили о том, не хотел бы я выступить по телевидению или в печати. Войтех обещал работу, хорошую должность. Допрос перешел в политическую дискуссию. Я знал, что не должен в ней участвовать, но человеку иногда трудно бывает удержаться.

Наконец они перешли к вопросу о моих контактах за границей. Я отвечал очень сжато, потом вообще перестал отвечать — какое им до этого дело?

Войтех сказал, что я балансирую на грани уголовной деятельности и даже перешагнул ее однажды, но как раз тогда органы сделали ошибку и не зафиксировали это. И добавил, что они делают мне последнее и

серьезное предупреждение. Если я не прекращу свою деятельность, мне придется тяжело поплатиться за это: кроме судебного процесса существует и внесудебное преследование.

Я хотел знать, что это такое. Они не ответили.

Через несколько дней я уже кое-что начал понимать. Я был дома, когда раздался телефонный звонок:

— Яноух, ты? Что это ты болтал в Рузине в четверг, ты, каналья?

Я повесил трубку.

Снова звонок:

— Это Яноух? Говорит Станда. Идиот, что ты болтал в Рузине в последний раз?

Я снова повесил трубку.

— Яноух? Это Иржик. Можешь говорить? Мы тут узнали, что ты вытворял в Рузине в четверг...— я вешаю трубку.

Вскоре после этого мне позвонил из больницы Иржи Гохман. Я рассказал ему о допросе в Рузине, об угрозах внесудебного преследования и о телефонных звонках. Даже прочитал ему их содержание. Иржи стал вдруг серьезным: «Знаешь, что это такое? Это «внесудебные» телефонные звонки, которыми тебе угрожали...»

Больше никто не звонил. Зато на другой день кто-то камнем разбил переднее стекло в нашей машине. Народный совет отобрал у нас пособие на детей и начал исследовать мои доходы, а мою жену выгнали с работы.

Утешение 3

Однажды, когда я долго не возвращался с допроса, жена и дети начали беспокоиться. Беспокоился и маленький Давид Гохман, живший у нас тогда некоторое время: его отец сидел в тюрьме, а мать находилась в больнице.

Давид решил успокоить мою жену и сказал: «Тетя, не бойся. Он, может, и совсем не вернется. Они могут его там оставить, как моего папу».

Не знаю, удалось ли ему утешить ее. Ведь речь шла о том, чтобы преодолеть страх неизвестности, страх первого ареста. В семье Давида это уже преодолели. Для него в этом уже не было ничего необычного.

У моей жены был другой метод, как себя успокоить. Я всегда возвращался с допросов в идеально убранную квартиру. Жена говорила, что ни на чем ином, кроме уборки, она не может сосредоточиться,— только на мытье полов и окон, стирке и глажке.

Четыре чашки кофе

Допрос продолжался несколько часов. Я сначала отказывался от предложенного кофе и минеральной воды («Господин доктор, неужели вы верите всем этим выдумкам об ужасах пятидесятых годов»,— крутил головой подполковник Войтех).

В восемь часов вечера я почувствовал усталость.

— Хорошо, принесите кофе,— согласился я наконец.

Один из трех следователей ушел и вернулся через некоторое время с подносом, на котором стояли четыре чашки кофе. Он поставил поднос передо мной и предложил:

— Выбирайте, господин доктор!

— Как вижу, вы и сами немного верите этим «выдумкам» о воздействии на допрашиваемых химическими препаратами в пятидесятых годах,— ответил я и взял одну чашку.

Кофе в Рузине варят неплохо — крепкий и вкусный. Он очень помог мне в тот раз — ведь допрос продолжался еще более двух часов.

Авария

Я провел в Рузине на допросе почти целый день и домой вернулся только поздно вечером. Дома меня ждал друг, который хотел узнать свежие новости, а также успокоить своим присутствием мою жену.

Я подробно рассказал о ходе допроса. Об угрозах. О вопросах и ответах, одним словом — обо всем, что мне пришлось пережить за тот длинный день. Друг слушал, а потом сказал:

— Жаль, что министр Каска не сможет все это прочитать.

— Почему бы нет? — удивился я.

— Как, ты не знаешь? Сегодня утром разбился самолет, в котором летел Каска вместе с польским министром внутренних дел и многими другими высокими чинами и деятелями — все погибли.

Я этого не знал и в мгновение покрылся холодным потом. Говорили потом, что я даже побледнел. Придя в себя, я принес портфель, который был со мной в Рузине, и вытащил из него черновик письма министру внутренних дел Каске. В письме я жаловался на непрестанное преследование со стороны Министерства внутренних дел, обращал внимание Каски на беззакония, совершаемые по отношению ко мне и к моей семье его подчиненными: «Уважаемый господин министр, из малых беззаконий вырастают большие, и от них страдают не только народы наших стран, но и их руководящие политические деятели. Список крупных деятелей — среди которых есть и ряд министров внутренних дел, поплатившихся за беззакония не только своей свободой, но и жизнью,— чересчур длинен, и пора положить ему конец. Поэтому и Ваши личные интересы требуют, господин министр, чтобы Вы незамедлительно приняли решительные меры, а не то может оказаться слишком поздно...»

Еще хорошо, что следователи не устроили мне личного обыска! Пойди докажи потом, что загадочную аварию устроил не я!

Процесс

Мы встретились в то раннее сентябрьское утро перед железными воротами Рузиньской тюрьмы. У Вацулика были усы, у Шилгана[1] борода... Мы не имели никакого понятия, почему нас пригласили всех вместе и что им от нас надо. Но, мне кажется, каждый из нас что-то предчувствовал.

У Шилгана в кармане оказались мыло и зубная щетка. Как он сказал, на всякий случай. У меня был с собой, как всегда, дежурный портфель. И только Вацулик — как беззаботный интеллигент — не взял с собой ничего.

[1] Венек Шилган — профессор экономики, в августе 1968 г. был избран и. о. генерального секретаря КПЧ до возвращения из Москвы арестованного Дубчека.

Мы договорились, что, если нас отпустят домой, мы подождем потом друг друга перед тюрьмой — в целях обмена опытом.

Нас впустили и попросили немного подождать. Потом нас разделили. За мною пришел майор Скалик и отвез меня на лифте на пятый этаж, значит — на самый верх. Было довольно неприятно ощущать под собой четыре этажа тюремных камер. Особенно когда неизвестно, сколько из них пустует. И не ждет ли какая-нибудь тебя...

Майор Скалик вначале сообщил, что против меня возбуждается уголовное дело, потому что «есть достаточно серьезные доказательства, что я допустил распространение за границей ложной информации о положении в республике». В первой половине июля 1973 года в разных местах Среднечешской области мною дано интервью работникам Британской телевизионной компании ИТВ Питеру Тейлору и Сьюзан Макконел. Интервью это передавали 26.7.73 в телевизионной программе... «Поскольку, согласно § 112 Уголовного кодекса, такая деятельность является преступной, было вынесено настоящее постановление...»

Потом мне сообщили, что я могу нанять себе адвоката или же защищаться сам, так как, согласно § 112, мне грозит «не более трех лет тюремного заключения». Если я решу взять адвоката, то можно только такого, которому разрешается иметь дело с государственной тайной.

Насчет этого последнего пункта у нас разгорелся спор. Я настаивал, что моя «уголовная деятельность», то есть интервью, переданное по телевидению, в котором я говорил только о личных проблемах, не может являться государственной тайной. Майор же утверждал, что поскольку это дело расследуют органы государственной безопасности, то речь идет о государственной тайне.

Так мы ни о чем и не договорились. Поэтому я написал письмо генеральному прокурору, где указывал на явно ошибочный подход к моему делу. А майору я письменно сообщил, что до той поры, пока не получу ответа от генерального прокурора, не стану ни искать себе адвоката, ни защищаться сам.

Ответ из генеральной прокуратуры пришел, как это ни странно, быстро. И что было еще удивительнее, прокурор признал мою правоту и решил отменить засекречивание моей «преступной деятельности».

После этого я, вполне удовлетворенный, нашел себе адвоката, все-таки имеющего доступ к засекреченным делам.

Следователь дал мне прочитать текст моего интервью и его перевод на чешский язык. И за это меня хотят судить?!

Привожу отрывок из записи этого интервью, предложенной мне в Рузине. За качество перевода я не несу ответственности. (Что само по себе является облегчением.)

«Вопрос. Как вы относитесь к своему положению?

Яноух. Это грустно. Я не хочу быть подавленным из-за того, что случилось со мной. Думаю, что у нас не экономят интеллектуальный потенциал и что это дело не одной Чехословакии, но всего человечества. Все это кажется мне грустным и заставляет чувствовать себя несчастным.

Вопрос. Что означает для вас жить сегодня в ЧССР? Особенно раз вы вынуждены делать такую работу?

Яноух. Это нелегкая жизнь, но человек должен к ней привыкнуть. Прошло немало времени, пока я смирился с нею. Трудно приспособиться к такому образу жизни. Человек должен создать сам в себе некую внутреннюю свободу, чтоб оставаться самим собой.

Вопрос. Думали ли вы о том, что вы и подобные вам должны быть счастливы уже потому, что события 1968 года отразились на вас довольно легко, по сравнению с предшествующими временами?

Яноух. Да, возможно, мы счастливы, что нас не бросили в тюрьму, не убили. Однако не думаю, что ваше сравнение с пятидесятыми годами удачно; ведь события 1968 года очень отличаются от прошлого.

Вопрос. Но ведь после 1968 года не было показательных политических процессов и смертных казней. Большинство людей, активных в 1968 году, почти совсем не пострадало. Некоторые, быть может, сидели в тюрьме, но большинства это не коснулось.

Яноух. Не знаю, можно ли назвать счастьем или жизнью такое существование, когда ученому запрещено работать в своей науке, являющейся для него главной жизненной целью, без которой жизнь становится ненужной. Или если писателю запрещено писать и печатать свои книги, учителю — учить своих учеников... Такую жизнь, такую интеллектуальную изоляцию иногда труднее переносить, чем физические страдания...

Вопрос. Интересуются ли обыкновенные люди в ЧССР больше практическими вещами, как, например, телевизор, или же политическими проблемами?

Яноух. Думаю, что люди вынуждены смириться с положением. Поэтому они больше времени стали уделять материальным интересам, чем политике. Думаю, что люди за последние пять лет усвоили: за политическую деятельность надо платить высокую цену. Людям все надоело, они просто не могут себе позволить интересоваться политикой. Это урок, выученный за последние 4—5 лет...»

И вот за это невинное интервью меня хотят судить и приговорить к трем годам тюрьмы?

Около десяти часов мы трое вновь встретились у ворот тюрьмы. Никого из нас там не задержали. Мы обменялись впечатлениями. Вацулик наговорил в своем интервью, как обычно, больше, чем другие. Этот его язык (или перо) когда-нибудь доведет его до беды или до тюрьмы!

После этого нас примерно месяц таскали на допросы. Как низка производительность труда в этой Рузине! Словно они не знают, что только благодаря повышенной производительности труда можно перегнать капитализм (Ленин).

Вскоре я уехал на Запад, но дело против Вацулика и Шилгана продолжалось. Против меня, собственно, тоже — in contumaciam [1].

Не знаю, ходит ли Вацулик до сих пор на допросы. Но я слыхал, что его таскали вроде бы из-за «Петлице» [2], а позднее — из-за Хартии.

[1] Заочно (*лат.*).

[2] «Петлице» (висячий замок) — чешский самиздат. В серии «Петлице» Л. Вацулик выпустил более двухсот книг разных авторов.

Наше судебное дело до сих пор не закрыли. Оно все еще существует. И если бы одного из нас когда-нибудь судили, то присоединили бы и это «преступление» ко всем остальным. И вынесли бы «справедливый» приговор, потому что интервью у нас давать запрещается или, по крайней мере, не рекомендуется...

Прощание

Йозеф Смрковский [1]

Было видно, что у него — тяжелые боли, ему очень плохо. Бледный и изнуренный, он постоянно искал такое положение тела, при котором ему было бы легче сидеть на постели. Наш разговор перемежался паузами, я сидел у окна и то смотрел на Йозефа Смрковского, то — в больничный сад, где по-осеннему желтела листва.

«Я дам тебе кое-что прочесть,— сказал он и вытащил из ночного столика толстый конверт.— Хочешь по-чешски или по-русски?»

Я взял русский текст: это было известное письмо Смрковского Брежневу, написанное и отправленное летом 1973 года. В нем автор пытался сделать кое-какие предложения, чтобы преодолеть тот «тупик», в который попала чехословацкая политика после пяти лет безуспешной «нормализации».

Я прочел письмо. Потом перечитал его еще раз. Смрковский молча следил за мной. Было видно, что он пытается угадать по моему лицу реакцию.

«Ну, что ты на это скажешь?» — спросил он, когда я наконец вернул ему письмо.

У меня оказался целый ряд критических замечаний. Смрковский сосредоточенно слушал и, как бы обсуждая что-то сам с собою, сказал: «Политик не должен бояться нести ответственность за свои взгляды...»

Некоторое время мы молчали. Вдруг Смрковский посмотрел на меня, усмехнулся и спросил: «А что ты сам думаешь о теперешнем положении? Как относишься к перспективам?»

Я почувствовал себя студентом на экзамене. Передо мною был опытный политик и трибун, находящийся в конце своей политической карьеры, насильственно от нее отторгнутый и загнанный в угол, но по-прежнему не потерявший авторитета и чувства собственного достоинства.

Я начал говорить — сначала неуверенно, с паузами, стараясь лучше формулировать свои мысли и взгляды. Потом я разговорился. Смрковский сосредоточенно слушал, иногда задавая вопросы, или кивал головой в знак согласия. Он забыл о боли; было видно, что наша дискуссия его заинтересовала и что мои взгляды вызывают у него одобрение.

Эта дискуссия продолжилась и при моем следующем посещении. Позже я записал наши разговоры в больнице. Так возникло последнее из семи писем, в которых я старался — шел к концу 1973 год — описать положение в Чехословакии. В 1974 году эти письма вышли в виде книжки [2] на Западе... причем анонимно. Мне не хотелось тогда, чтобы чехословацкие власти воспользовались этим и лишили меня гражданства.

О наших надеждах и нашей безнадежности

Это, видимо, последнее письмо, которое я смогу Вам написать. Я хотел бы поэтому сделать некоторые обобщения, выводы из создавшегося положения и изложить перспективы, которые мы видим и которые придают нашей нелегкой жизни хоть какой-то смысл.

Вопреки всем молодцеватым и оптимистическим выступлениям наших руководителей режим испытывает все более сильный и всеобъемлющий страх.

Наш режим боится всего, буквально всего. Боится живых, которые умеют думать, не желают предаваться самобичеванию, не боятся высказываться. Боится мертвых и памяти о них. Боится похорон и могил. Боится молодежи, боится старых коммунистов. Боится интеллигентов, боится рабочего класса. Боится науки, искусства, боится фильмов, театров, книг, грампластинок.

Режим боится и свободного распространения информации, например телевизионного спутника; третья программа западногерманского телевидения особенно не дает ему спокойно спать; боится чужого радио, охраняет свои границы от иностранной литературы и газет строже, чем от гашиша и марихуаны. Он испытывает страх перед поездками собственных граждан за границу и перед гостями из-за рубежа; каждый западный турист, журналист, торговец, дипломат, не говоря уж об интеллигентах, является для него потенциальным идеологическим врагом.

Режим испытывает страх и перед техническим прогрессом: типографии, печатные станки, ксероксы, телетайпы, фототелеграфы, автоматическая телефонная связь с заграницей — все это вызывает у него судороги страха, и федеральное Министерство внутренних дел придумывает меры, которые свели бы на нет пользу от вышеперечисленных новшеств. К тому же режим боится и совсем нейтрального технического прогресса, требующего постоянных изменений в производстве и промышленности, последствия которых трудно сейчас предсказать... Он не боится, наверно, лишь прогресса в военной технике или в технике подавления (усовершенствованные дубинки, слезоточивые газы, техника подслушивания в квартирах, общественных помещениях и на открытых пространствах, техника подслушивания телефонных разговоров, контроля за корреспонденцией, слежки и т. п.), поскольку считает, что такой прогресс укрепляет его положение и усиливает его уверенность в себе. Но даже в этом нет уверенности: такая техника — дело дорогостоящее, и ее внедрение подвергает опасности с трудом поддерживаемое экономическое равновесие в стране.

Режим боится анекдотов, ходящих по рукам рукописей, книг, изданных эмигрантскими издательствами, журналов «Листы», «Сведецтви» [1] и даже самиздатовских жур-

[1] Йозеф Смрковский — один из наиболее популярных политиков «пражской весны», член Политбюро и председатель парламента.

[2] На немецком, итальянском, голландском, русском, чешском и иврите.

[1] «Сведецтви» — чешский литературно-политический журнал, издаваемый в Париже.

налов, размножаемых на пишущей машинке в нескольких десятках экземпляров.

Режим боится любой политической деятельности, боится он и осужденных на длительные сроки политзаключенных. Наверняка не случайно, что к пятой годовщине оккупации «нормализованный» режим Гусака счел необходимым ужесточить уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, усилить бесконтрольную власть полиции, ввести подсудность гражданских лиц военному суду, ввести так называемый «судебный надзор», ограничить адвокатуру, фактически легализовать цензуру корреспонденции и ухудшить условия содержания политзаключенных. Если суммировать все эти меры, то по своим последствиям они равняются введению чрезвычайного положения и находятся в странном противоречии с официальными заверениями об окончании «нормализации». И еще для нашего режима характерно, что он боится осуществлять меры, утвержденные голосованием в парламенте и таким образом «узаконенные».

Этот режим боится и так называемых «правых» и плотоядных «левых» в своих собственных рядах. На собраниях актива КПЧ в ноябре 1973 года представители ЦК КПЧ предупреждали, что «правые» все еще сильны, что они хорошо организованы, что они лишь изменили свою тактику и заменили руководителей. «За последние месяцы деятельность правых в ЧССР сосредоточилась вокруг новых лиц, в особенности вокруг П. Когоута, Ф. Яноуха и Л. Вацулика» (указаны они были в таком порядке, очевидно, в соответствии со степенью их общественной опасности). «Вокруг этих лиц правые группируются, разрабатывают планы дальнейших действий, новые документы, точки зрения, протесты и т. д. (хочется сказать: слава Богу, а я-то думал, что все это лежит на совести абвера, Интеллидженс сервис или КГБ).

Режим Гусака испытывает страх и перед собственной полицией: история неоднократно демонстрировала, насколько опасной может она быть даже для самых высокопоставленных представителей политических кругов. Вспомните сомнения и длительное топтание на месте перед назначением нового министра внутренних дел Обозины на место загадочно погибшего Каски.

Режим Гусака боится также ухода советских войск. Резолюция и меморандум полковников нашего МВД (1973 год)[1] предупреждают как наше, так и советское Политбюро о том, какие непредвиденные политические последствия может иметь необдуманный вывод советских войск из страны.

Режим боится разрядки напряженности в мире и особенно в Европе. На закрытых собраниях, на курсах для работников КПЧ референты ЦК растолковывают, что, собственно говоря, речь идет только о тактике, что на самом деле никакой разрядки не будет, что наш режим должен и далее укрепляться (читай: вооружаться), поскольку на западных границах стоят до зубов вооруженные дивизии бундесвера и НАТО, которые угрожают нашему суверенитету (?!).

Режим Гусака имеет много причин для страха: его политика — это непрерывная цепь преступлений, совершаемых против собственного народа, распродажа национального суверенитета и обнищание экономики. За пять лет, в течение которых Гусак находился у власти, наша страна стала полностью советской колонией — у нее теперь меньше политических прав, чем у оставшихся колониальных или зависимых режимов в Африке или Азии. Многочисленные открытые и тайные «соглашения» все прочнее привязывают ЧССР к Советскому Союзу. Наша страна не имеет сегодня своей собственной внешней политики — любое международное соглашение, а также ее отношение даже к менее значительным международным политическим событиям должны быть заранее одобрены Москвой. Тайные договоры обязывают чехословацкую армию сражаться бок о бок с советской даже в случае конфликта за пределами Европы. Чехословацкая СТБ находится полностью в руках КГБ, и число советских экспертов в ЧССР непрерывно растет.

Государственный аппарат в Чехословакии неэффективен, выборные органы не обладают никакой властью и находятся, так же как и выборы в них, под полным контролем партийного аппарата. Наши законы непрестанно ущемляются и изменяются в ущерб основным гражданским свободам и правам гражданина. Даже существующие законы не соблюдаются правящей кликой. Проблемы нагромождаются одна на другую и в экономической области, о которой я почти не говорил в своих письмах: рост мировых цен на нефть и сырье еще более ускорил непрерывный рост цен в нашей стране и увеличил инфляцию. Сбережения населения, которые сегодня достигают 130 млрд. чехословацких крон, превзошли все допустимые границы. Возникают проблемы в снабжении, режим не способен справиться даже с квартирной проблемой (молодожены в Праге должны ждать кооперативной квартиры 10—15 лет!).

У режима Гусака действительно есть немало причин для страха: сила его базируется на чужих штыках и танках, а политический актив отражает лицо технически, культурно и политически наиболее отсталой части населения страны.

Научно-техническая революция, которую деятели всех категорий провозглашают в речах столь же часто, как верность ленинизму и вечную дружбу с СССР, вызывает вместе с каждым, даже незначительным общественным шевелением только подозрение, недоверие и страх у нашего истеблишмента, поскольку с последствиями этой революции он справиться не в состоянии. Вместо революционного строя, основанного на философии диалектического материализма, мы имеем дело с одним из наиболее реакционных и консервативных режимов современности.

Диалектика развития, однако, неумолима: страх, испытываемый режимом, и его стремление не допустить никаких изменений ведут ко все большему его отставанию, усиливают его внутреннюю нестабильность и создают предпосылки для его изменения.

---

[1] Партийный актив МВД ЧССР, напуганный начавшейся в 1973 г. в Вене конференцией о сокращении войск в Европе, просил чешское и советское Политбюро не допускать ухода советских войск из Чехословакии.

Какой характер будут носить грядущие общественные изменения? Возможно ли еще в нашей стране эволюционное, реформаторское развитие? А может, изменения произойдут путем революции, взрыва, который уничтожил бы прогнившие общественные структуры и создал новые?

И если вообще возможен эволюционный характер развития, то кто будет его носителем, его инициатором и ведущей силой?

Нелегко ответить на подобные вопросы, хотя мы и обсуждаем их между собой постоянно.

Боюсь, эволюционное развитие маловероятно. А если бы оно и имело место, то его носителем не могла бы быть КПЧ — так, как это было в 1968 году и в предыдущие годы. КПЧ ныне слишком дискредитирована политическими процессами 50-х годов, от которых она все еще не смогла как следует отмежеваться, и политическими процессами 60-х годов, одобрением оккупации, уничтожением чехословацкой науки и культуры, распродажей государственного суверенитета и многими другими непростительными грехами. Ко всему прочему, эта организация избавилась от своего мозгового центра: тех сотен тысяч социалистически настроенных интеллигентов, которые были способны мыслить независимо и критически, оценивать прошлое и настоящее, обдумывать перспективы социалистического развития нашей страны.

Вне КПЧ сегодня существует сильная (численно и интеллектуально) группа бывших членов партии, которые могли бы определить и возглавить необходимые будущие общественные перемены в нашей стране. Но эти люди находятся в настоящее время на периферии общества, образуют бесправное «гетто» отверженных, и не совсем ясно, каким образом они могли бы принять участие в общественном движении и повлиять на него.

По-видимому, существует некоторая возможность возвращения этих людей в КПЧ; я уже упоминал о готовящемся «помиловании» лиц, исключенных из партии. Однако возникает вопрос, может ли это «помилование» быть достаточно широким, и главное — пойдут ли сотни тысяч исключенных обратно в эту дискредитированную политическую партию, если в ней не произойдет коренных изменений. Более вероятно, что руководящее место в будущем займет другая организация (или организации) с социалистической программой; не исключен распад КПЧ и ее превращение в другую социалистическую партию, которая еще более резко и решительно отмежевалась бы от ошибок и преступлений прошлого, чем, например, возникшая подобным образом Венгерская партия трудящихся. Подчеркиваю неустанно социалистическую программу и социалистический характер будущих изменений: социалистические идеалы настолько сильно укоренились в сознании наших людей, что программа реставрации капитализма не нашла бы существенной поддержки в нашей стране. (Социализм в моем понимании не имеет ничего общего с его бюрократическим и преступным вариантом — сталинизмом.)

Несмотря на некоторую модернизацию, у нас в стране в настоящее время существует сталинистский, или, лучше сказать, неосталинистский, общественный строй. Он характеризуется полным отсутствием свободы и очень ограниченной циркуляцией информации во всех направлениях. Результат: обратные связи в обществе не действуют, а если и действуют, то в очень ограниченных пределах. Социальные противоречия не разрешаются вовремя, в обществе накапливаются конфликты, что ведет к взрывам внутри этого общества. Современная история социалистических стран полна таких примеров: Берлин, Познань, Будапешт, Вроцлав, Щецин, Тбилиси, Новочеркасск [1].

Вполне вероятно, что события в Чехословакии могут в будущем развиваться подобным образом. Поводов для взрыва может быть много, и вызваны они могут быть случайными обстоятельствами. Чехословацкое экономическое чудо — заполненные товарами витрины магазинов — не будет длиться вечно: промышленная техника устарела и поизносилась, положение с сырьем и энергетикой становится все более напряженным. Нерешенных проблем в народном хозяйстве больше чем достаточно (и наверняка уж больше, чем в шестидесятые годы). Необходимость модернизации повлечет за собой конфликты, связанные с зарплатой и работой... Нельзя исключить также национальные конфликты: борьбу чехов за национальное равноправие, которое полностью исчезло в асимметричной федерации, где с 1968 года политически главенствуют словаки. Нельзя исключить и взрыв народного гнева против советской оккупации и русской колониальной политики.

История учит нас, что изолированное развитие в одной социалистической стране обречено на неудачу, которая в нашем случае в 1968 году называлась «братской помощью».

Есть ли тогда вообще какие-нибудь поводы для оптимизма? Думаю, что есть. Одинаковое или очень похожее положение существует во всех социалистических странах, не исключая нашего «старшего брата».

Техническое отставание социалистического лагеря все более увеличивается. Стремление к технической модернизации в настоящее время проявляют все социалистические страны во главе с Советским Союзом; но все попытки в этом направлении обречены на неудачу, если модернизация техническая не будет сочетаться с общественной. В нашем обществе существует сегодня глубокое противоречие между производительными силами и производственными отношениями (боюсь, что моя терминология несколько отличается от классических определений Маркса). Производственные отношения и общественная структура в большинстве социалистических стран в настоящее время таковы, что внедрение передовой западной техники, в каких бы масштабах оно ни проводилось, окажется бесплодным, поскольку отсутствует способность к расширенному воспроизводству.

[1] Имеются виду события 1953 г. в Берлине, рабочие волнения в Познани и Вроцлаве в 1956 г., оккупация Венгрии в 1956 г., разгон демонстрации бастующих в Щецине в 1970 г., волнения после XX съезда КПСС в Тбилиси, расстрел демонстрации в Новочеркасске в 1962 г. (*Прим. ред.*).

Поэтому для социалистических стран не существует другой альтернативы (если они не хотят окончательно потерять темп и постоянно занимать «почетное место» в хвосте развитых стран), кроме внутренней общественной модернизации, устранения всех тех средневековых страхов, от которых дрожит наше общество. Внутренняя модернизация общества невозможна без демократизации, без демократического социализма.

В этом, если говорить кратко и упрощенно, корни нашего оптимизма.

Тем не менее не следует понимать наш оптимизм так, будто мы собираемся сидеть сложа руки и ждать чего-то, вроде современных «рыцарей из Бланика»[1], которые нас освободят.

Прошедшие пять лет очень способствовали нашему отрезвлению, привели к устранению многих наших суеверий и иллюзий.

Манна небесная, разумеется, не падет на нас. Чехословацкую проблему мы должны будем решать сами, с помощью широких европейских и других международных контактов.

Мы очень полагались на влияние и помощь западных коммунистических партий. С этой иллюзией мы распростились. Кроме Итальянской компартии и нескольких небольших партий, все коммунистическое движение подкуплено и находится в идеологической и финансовой зависимости от СССР. Оно не способно преодолеть сталинистскую сущность своей идеологии и программ, поэтому у него нет надежды на успех. Резолюции, высказывания и заявления западных компартий могут, по-видимому, тормозить или несколько смягчать худшие мероприятия нашего оккупационного режима, однако они не могут способствовать решению чехословацкой проблемы, а тем более решить ее.

«Новые левые» на Западе слабы, разобщены, неорганизованы. Хотя мы и должны быть им благодарны за то, что они постепенно все больше понимают наше положение и наши проблемы, а также за освещение последних в печати, тем не менее нельзя реально ожидать от них ни спасения, ни защиты.

Энергетический кризис лишил нас еще одной иллюзии, будто западные правительства заинтересованы в решении чехословацкой проблемы, будто они могут ее решить или хотя бы существенно этому посодействовать. Неспособность западных правительств бороться с нефтяным кризисом, отсутствие у них единства перед лицом общей опасности, неспособность выработать альтернативные решения и объединиться для преодоления энергетического кризиса и, что немаловажно, возрастающая зависимость западного мира от энергетических источников на Востоке доказывают, что западные государства не только не способны выйти за рамки общих декларативных заявлений и решить чехословацкую (или шире: восточноевропейскую) проблему, но они в ее решении и не заинтересованы.

Остается последний внешний фактор — Китай. У нас с ним нет ни общей границы, ни общей идеологии. Мысль о китаизации нашей страны кажется еще более страшной, чем переживаемая нами насильственная советизация. Несмотря на это, однако, за последний год из Китая все чаще раздаются голоса, поддерживающие борьбу чехов и словаков за суверенитет и независимость, осуждающие советскую неоколониальную политику в Восточной Европе и в особенности в ЧССР. Трезвый анализ показывает, что китайскому влиянию, очевидно, суждено сыграть наибольшую роль из всех внешних факторов, способствующих распаду советской неоколониальной империи. Поэтому в конечном итоге Китай будет одним из важнейших факторов решения чехословацкой проблемы.

Однако решающими будут изменения внутри империи, в рамки которой мы входим в силу нашего исторического невезения. Нам следует подождать до более удобного случая, подождать развития процессов, происходящих в соседних государствах. Ожидание наше, однако, не должно быть пассивным. Наша деятельность может ускорить появление новых шансов, а также дать им определенное направление, причем они не должны застигнуть врасплох ни нас, ни окружающий мир.

Поэтому важно неустанно оживлять в мире чехословацкую проблему, показывать ее широкие взаимосвязи с проблемами внешнего мира и с борьбой против советской неоколониальной политики.

Необходимо обдумывать программу и социалистические альтернативы развития свободной и независимой Чехословакии, чтобы быть лучше подготовленными, чем в 1968 году.

Необходимо понять, что стратегическая цель советской политики интеллектуального геноцида в ЧССР состоит в том, чтобы ослабить или уничтожить интеллектуальный потенциал страны и превратить независимость Чехословакии в несбыточный сон.

Есть лишь единственное спасение, единственный способ борьбы против такой политики: сохранить независимость мышления, развивать высокую интеллектуальную и профессиональную требовательность на всех участках нашей жизни: на производстве, в технике, в науке и культуре. Борьба за высокую требовательность и за высокий профессиональный уровень является одновременно наиболее действенной борьбой с гусаковским оккупационным режимом, который сверху донизу основан на халтуре, невежестве, моральной нечистоплотности.

Я оптимист. И мой оптимизм измеряется не неделями, не месяцами, а скорее годами. Борьба за свободную и независимую Чехословакию не будет ни легкой, ни короткой. Тем не менее история учит нас, что нет больших империй, которые существовали бы вечно. И советская империя тоже начинает трещать по швам и распадаться. Это тем более очевидно, поскольку ее владыки сами отбросили идеологию, которая скрепляла ее неоднородные части. Распад советской империи не обязательно будет носить характер катастрофы; он мог бы

[1] По преданию, в горе Бланик спят чешские рыцари, которые придут на помощь стране в момент смертельной опасности. *(Прим. перев.)*

произойти путем внутренних трансформаций и реформ, хотя нынешние руководители делают все, чтобы этот второй путь стал невозможен.

В наше время — время быстрых общественных и технических перемен, когда история ускоряет свой темп,— нет повода для опасений, что наш нынешний советский протекторат мог бы просуществовать столетия; пожалуй, не более десятилетий, но скорее всего только годы. В своем сегодняшнем виде СССР не доживет до 1984 года.

Поэтому стоит жить и что-то делать для новой жизни.

Прага, декабрь 1973

Предложение

Майор Скалик проводил меня по двору Рузиньской тюрьмы к выходу. Было это как раз после того, как мы провели два часа на допросе. Я спорил по поводу каждого слова в интервью и каждой формулировки в протоколе.

Положение тогда было особое. Хотя и стояла осень 1973-го, но в Рузине все еще чувствовался дух 1968 года. Или вернее — страх после «пражской весны», неуверенность. Органы государственной безопасности как бы действовали в двух плоскостях. В одной им все было позволено: подслушивание, установка микрофонов в квартирах, цензура переписки, слежка за людьми. Спасительная анонимность разрешала избивать, разгонять демонстрации. Однако как только дело доходило до расследования, ареста, суда, то госбезопасность проявляла максимальную осторожность (особенно если дело касалось более известных личностей). Тут уже кончалась анонимность. Как известно, на ошибках мы учимся. С 50-х годов тоже сохранились протоколы следствий и судов. Виновников беззакония потом разыскивали.

— Знаете, господин доктор, с моей личной точки зрения — но только, надеюсь, вы это не станете где-нибудь использовать против меня — было бы лучше, чтобы вы уехали на пару лет в эту Швецию. У нас тут из-за вас постоянные трудности, мы тоже вам создаем трудности, ну кому в конце концов это нужно. Впрочем, это мое личное мнение.

— Это разумная точка зрения. И меня радует, что я слышу это здесь, в Рузине. Такое решение я вам предлагал несколько лет тому назад. Тогда его не приняли,— отозвался я.

Спустя несколько дней меня вызвали в Общество чехословацких математиков и физиков, последнюю организацию, членом которой я еще оставался. Тут меня ждал целый трибунал: председатель общества академик Новак и несколько крупных деятелей. Все сидели по одну сторону длинного стола, я — по другую. Они заявили, что хотят говорить со мной, поскольку я приношу вред интересам чехословацкой физики — тем, что опубликовал письмо в «Физикс тудей» и пишу в другие западные журналы.

Началась интересная дискуссия. Я спросил, есть ли в этих моих статьях что-нибудь неправильное. Если есть, то я согласен сделать исправления, опубликовать поправки. Если же все в них правильно, то тогда вредят интересам чехословацкой физики они сами. Тем, что молчат и не выступают против несправедливостей. Дискуссия была долгой и бесполезной. В конце концов я вскипел:

— Что вам от меня нужно? Я физик. Три года я не могу работать по специальности. Разве это нормально? А что сделали вы, чтобы помочь мне? Дома работать мне не дают, за границу меня не пускают. Естественно, что я защищаюсь. И буду защищаться. И стану кричать все громче.

Академик Новак прервал меня:

— Пробовали ли вы получить разрешение выехать на Запад?

— Пробовал. На мое заявление даже не ответили, паспортный отдел не хочет иметь со мною дела. Зато у меня поспешили отобрать заграничный паспорт.

— Напишите министру внутренних дел,— сказал Новак.— И дайте нам копию заявления. Мы будем рекомендовать вашу поездку.

На сей раз удивился я. Неужели Новак, известный своей осторожностью, мне это сам предлагает?

— Вы бы действительно дали рекомендацию?

Он подтвердил свои слова. А я потерял дар речи. Дело начинало становиться действительно серьезным.

Таможенник

Подготовка к отъезду шла полным ходом. Предстояло решить целый ряд проблем. Самая трудная — как вывезти рукописи, архив, дневники. Проблема была деликатной, к тому же говорить об этом надо было как можно меньше. Казалось, что ничего не удастся сделать.

В декабре я встретил одну знакомую. Я рассказал ей о наших трудностях. И вот она нашла выход. Помог знакомый ее знакомого. Имени его я не знаю. Знаю только, что это приличный человек. Потому что в середине января все уже было в Копенгагене.

Я просил передать ему мою благодарность. Не знаю, дошла ли она до него. Если нет, то хочу поблагодарить его еще раз на страницах моей книги.

Шутка

Все было приготовлено к нашему отъезду за границу: ящики отправлены, чемоданы упакованы. Мы прощались с друзьями и знакомыми. И даже малознакомые люди приходили пожать руку и пожелать нам счастья. Грустное это было расставанье — никто не мог сказать, когда мы вернемся и увидимся ли снова.

К счастью, для грусти времени было мало. Чересчур много еще оставалось сделать. Дата отъезда пока тоже не была установлена, решали, в каком месте переезжать границу. Наконец определились: в Розвадове, 28 декабря. Мы всем сообщали об этом по телефону. А нескольким, самым близким, друзьям мы, кроме того, еще назначили последнюю прощальную встречу: 27-го, вечером, у нас дома. Устно мы им, конечно, объяснили, в чем дело: хотелось проверить в

последний раз, насколько хорошо прослушивается наш домашний телефон.

На второй день рождественских праздников, 26 декабря, когда даже референты из федерального «министерства любви» пребывали в покое и отдыхали после своей утомительной работы (переваривая груз рождественского обжорства), мы на рассвете уселись в машину и поехали в Железную Руду.

Города и деревни были безлюдны, словно вымерли. И пограничный переезд, куда мы добрались к одиннадцати часам дня, был пуст. Нас явно не ждали. Однако наша доверху набитая машина привлекла внимание. Немедленно вызвали начальника пограничного пункта. Он начал подробно изучать паспорта и все остальное, особенно бумаги. Мы ждали. Час, два... На мои неоднократные вопросы, в чем дело, начальник не отвечал.

Как оказалось, ждали телефонной связи. Причем издалека. Начальнику пришлось так кричать в трубку, что обрывки разговора были слышны за дверью. Потом он вернулся и заявил, что будет снова все смотреть. О результатах осмотра моих документов и бумаг он ходил систематически докладывать по телефону. И получал оттуда инструкции. Нетрудно было догадаться, кто находился на другом конце провода: один из моих референтов из «министерства любви» — либо подполковник Войтех, либо Павловский (за правильность чинов не отвечаю, так же как и за фамилии. Ведь у них все ненастоящее; даже их машины ездят с фальшивыми номерами).

Потом начался третий осмотр. Начальник погранпункта даже извинился: он, мол, должен подчиняться приказам. А таможенник, помогавший ему, к концу уже не скрывал своего неодобрения.

Вся эта комедия продолжалась пять часов. Дети и жена не ели и не пили все это время.

Начальник отобрал у меня несколько документов: об увольнении с работы, фотокопию документа о заключении моего отца в Освенциме и Маутхаузене и несколько моих характеристик с места работы. Он обещал дать мне подтверждение о конфискации этих бумаг. Но все же пошел посоветоваться по телефону, а вернувшись, извинился и сказал, что ему не разрешено дать мне подтверждение.

«Значит, это кража»,— констатировал я, сославшись на соответствующие параграфы наших законов. Начальник пожал плечами: у него есть приказ сверху. «А если приказы незаконные?» — спросил я. Он опять пожал плечами: «Приказ есть приказ!» Я спросил, слышал ли он когда-нибудь о Нюрнбергском процессе? Или о 50-х годах? И не следовало ли ему потребовать, чтобы приказ был выдан в письменном виде? Потом я махнул на это рукой. Все равно. Ведь копии всех документов, которые он собирается конфисковать, у меня уже хранятся в надежном месте.

Почему нас не задержали? Не вернули с границы обратно? Очевидно, потому, что решение выпустить меня за границу было принято в самой высокой инстанции. Если бы нас вернули с границы, поднялся бы шум в заграничной прессе. По монитору это попало бы на стол к Генеральному секретарю и министру внутренних дел. А мой следователь должен был бы объяснять, почему его не оказалось на границе, чтобы лично провести осмотр и еще раз побеседовать со мной «на прощанье», а может, запугать и предупредить... Мой следователь должен был бы сознаться, что я обвел его вокруг пальца, что он стал жертвой шутки, что телефон, долгие годы помогавший ему следить за мной и контролировать меня, служивший источником информации, внезапно подвел его. Уж чересчур он ему доверял.

Темнело, когда мы снова уселись в машину...

Глупцы

Глупцы, вам ничего не найти,
И труд ваш безнадежен!
Я контрабанду везу в голове.
Не опасаясь таможен [1].

Генрих Гейне, 1844

Стихи Сейферта, которые я вам посылаю, не могли быть обнаружены даже во время пятичасового таможенного контроля, которому я был подвергнут 26 декабря 1973 года на пограничном пункте Железная Руда. Стихи эти были — по совету другого поэта, данному 130 лет тому назад,— надежно упрятаны в моей голове.

Нетрудно было выучить наизусть несколько новых стихов Сейферта и добавить их к остальным его стихам, с молодости сохраняющимся в сером мозговом веществе в качестве противовеса абстрактным физическим теориям, а также как бальзам против спешки, забот и неприятностей повседневной жизни:

Кто-то порвал на алтаре кружева,
упал пюпитр со страницами нот,
в храме раздались шаги,
глухо топающие по мозаике...[2]

Разве смог кто-нибудь более сжато и наглядно изобразить Прагу под кованым прусским башмаком? Или же стихи о Пражском восстании:

Мужчины и юноши, то, что вы дали городу,
навеки будет жить с этим городом.
Сколько красоты было в простом вашем
жесте — взять в руки винтовку и идти в бой!

Я повторяю сегодня старые сейфертовские стихи и нахожу новые связи, новые намеки, новые переживания:

В зловещую ночь, когда наши стены дрожали
под разрывами бомб, когда зарева пожаров
наш город в пепел превращали,
нам хотелось лишь петь о ВЕСНЕ.

Уже скоро утро, и рассвет распугивает тени,
и город ждет, тая страх в своих стенах,
больше, чем розы,— лужи крови,
сильнее, чем песня,— стоны раненых...

Поэта столь великого, сильного и такого чешского не могла согнуть даже трагедия, которую ему пришлось пережить со своим народом, со своим городом. Непокоренным и несокрушимым остался Мастер и Гражданин — и как писатель, и как последний председатель Союза чешских писателей. Союз писателей можно временно запретить, литературу, однако, нельзя запретить даже на короткое время, так как без нее нация перестала бы существовать.

---

[1] Перевод В. Левика. *(Прим. ред.)*.

[2] В этой главе стихи Я. Сейферта даются в подстрочном переводе. *(Прим. ред.)*

Все новые и новые стихи поэта появляются в Праге, их читают, переписывают, и так же, как тридцать лет тому назад, они приносят людям красоту и надежду, ободряют и вселяют веру в справедливость и свободу:

Когда человек сломлен от горя,
униженный, беспомощный,
то ему кажется, что в небе над камнями
сомкнулись башни из гранита...

Запрещать издание самых чудесных и наиболее зрелых стихов поэта, на самом деле народного,— это преступление против нации и ее культуры.

Лицом к лицу перед свершенным преступлением я чувствую, выражаясь словами другого чешского писателя, «с точки зрения Высшего Принципа», необходимость размножить венок неизданных стихов хотя бы для нескольких самых близких друзей, в виде небольшого рождественского подарка.

Для тех, кто вынужден жить вдали от своей страны и своих близких, для тех, кто силен,— с благодарностью за их силу, и для тех, чьи силы подходят к концу,— чтобы поддержать их. С мыслью о тех, кто живет в нашей стране несломленный, с восхищением перед силой, упорством и мужеством этих людей.

Пусть все, кому попадется в руки это сейфертовское объяснение в любви, помнят, что не всему еще конец и что каждый конец содержит новое начало.

Франтишек Яноух
Копенгаген, 1 декабря 1974 г.

ЯРОСЛАВ СЕЙФЕРТ

Праге [1]

Венок сонетов

1
О Прага, ты — вина глоток!
Стократ повторено и спето,
Не потускнеет имя это,
Как вздох любимой, как зарок.

Снимите каменные шлемы,
Сирены — прочь привычный вид!
Ведь все равно, хоть мы и немы,
Сирена совести гудит!

Но если рухнет Прага в прах,
А я один на черепках
Останусь неутешным сыном,
Я буду эту пыль глотать.
Оставь хоть на душе печать,
Когда пожрут тебя руины!
2
Когда пожрут тебя руины
И ветры вступят в спор с водой
За пепел красоты былой,
За все, что страх оставит, сгинув,

Ты станешь песней на волне,
Рисунком на струе воздушной,
Письмом для вечности грядущей,
В моей неясной глубине.

И если мне стоять у края,
А смерть нависнет, отмеряя
Секунду за секундой срок,
Не выйду я за стены эти,
Пусть голод с ног собьет, как ветер,
И кровля рухнет на порог!
3
И кровля рухнет на порог,
А мне — блуждать среди туманов
Вокруг Собора... Без капканов
Я б выжить все равно не мог...

Мне все твои ветра знакомы.
Весной, подняв засохший лист,
Фиалку — влажный аметист —
Открою у любого дома...

Ты — облако: ты каждый миг
Являешь мимолетный лик
Изменчивой, как дым, картины...
Стой хоть на сводах катакомб,
Стой, если хлынет ливень бомб
И кровь размоет комья глины.
4
И кровь размоет комья глины —
Казалось мне, когда броня
Гремела, площадь накреня,
А переулки возле Тына [1]

Хрипели сдавленно, когда
Орудия ревели в Летне [2]
И, защищая башню, ветви
Ломались, рвали провода...

Но все-таки надежды слово
И крест на фоне пепла злого
Взгляд на челе твоем найдет,
И Влтава под стеной твоею —
Косой, ложащейся на шею...
Не выйду из твоих ворот!
5
Не выйду из твоих ворот,
Как вышли те, которых страхи,
Отчаянье иль призрак плахи
Или неверие ведет.

Благодарю за ломоть хлеба,
За ржавый нож, за вкус беды,
За каплю той святой воды,
Что из кропильницы — как с неба.

Здесь и платка случайный взмах
Мне больше даст, чем чей-то флаг...
Стихи бессонными ночами
Читаю четырем стенам.
Но даже Время в тягость нам:
Ждать буду вместе с мертвецами.
6
Ждать буду вместе с мертвецами,
Пока не порастет травой
Синь, наспех сшитая весной
Стиха мгновенными стежками.

Друзья мертвы, и дом мой пуст,
Но я покинуть их не в силах:
Клочки травы на их могилах
Расскажут больше чьих-то уст.

Во мне — их сны, их боль и смех...
Поблекли платья женщин тех,
Что где-то танцевали с нами.
Но в ложе вдруг — бинокля блик...
Плащ на углу... О, я привык
Под зноем ждать и под дождями!
7
Под зноем ждать и под дождями,
Что Прага вынырнет из тьмы,
А ветер кружево зимы
Иными сменит кружевами.

Апрель. И солнце льет опять
Молочный отсвет из кувшина.
Возьми же ветку розмарина.
Скажи мне, где свиданья ждать?

Когда на старой башне Тына
Часы ударят половину,
Она перчатку расстегнет...
Под выщербленной аркой этой
Я жду, как тени жаждут света,
Как тот, кто у калитки ждет.
8
Как тот, кто у калитки ждет.
Терпением смиряя муку,
Кому в протянутую руку
Лишь дождь за каплей капля бьет,—

Жду. Ветер сдует покрывало.
Едва заметная заря
Блеснет в окне монастыря,
Утонет в глубине квартала...

Сирены, разве не весна?
И снова серые тона?
Зачем вы зонтики раскрыли?
Иль Прагу суждено опять
На чей-то произвол отдать?
Пусть гибель вновь пророчит филин?
9
Пусть гибель вновь пророчит филин,
И по ступеням в темный храм

[1] Перевод с чешского Василия Бетаки.

[1] Тын — готический собор в старой части Праги. *(Прим. перев.)*

[2] Летна — район Праги, богатый парками. Расположен на холме. *(Прим. перев.)*

Мы ощупью идем, но там
Лампаду мы не угасили.

И в эти роковые дни
Нам станет близок небывало
Холодный камень у портала
И гвозди, вбитые в ступни...

Но если б к небу не дошла
Молитва Той, что так светла,
И взор поник бы, обескрылен,
И все ж не смиловался Бог —
То значит, мы — чертополох!
И пусть! Господень гнев всесилен!

10

И пусть Господень гнев всесилен,
Когда бы вдруг он захотел,
Чтоб грифы нашу плоть когтили,
Предать наш город туче стрел —

Возьми себе их! Вот стрела
В плаще булавкою нестрашной
Блестит, пока с высокой башни
Не рухнули колокола!

Одно боюсь лишь увидать я:
Среди руин обрывки платья.
Отринь же этот страх от нас!
Ведь нас могла б спасти от битвы
Твоя улыбка и молитвы,
Одна слеза из этих глаз!

11

Одна слеза из этих глаз
Нам станет крепкою стеною,
И снова дерево сухое
Распустится в урочный час!

Мотив неведомой весны
На чашечки цветов прольется,
И цвет и запах к ним вернется,
И звон блаженной тишины...

Ты, жизнь принесшая с собой,
Как, наступив ногой босой,
Ты крылья сатане сломала?
А те, кто слаб... Молясь за них:
Одна слеза с ресниц Твоих
Проклятье смоет с крыш усталых!

12

Проклятье смоет с крыш усталых
Весенней Праги новый шум,
И бомбам не придет на ум,
Что город мой когда-то знал их...

Жить не по каплям! В полный вдох!
С врожденным ощущеньем воли!
Быть не для страха, не для боли.
Жизнь, а не смерть вписать в итог!

Спать на мече — не лучший сон.
Но безоружный обречен
Не спать совсем. И так случалось,
Что в безопасной тишине
И это я кричал во сне,
И все, что на сердце осталось.

13

И все, что на сердце осталось
С тех рваных дней, когда позор
О совести твердил, как вор,
Грязь в благородство нарядилась,

Когда обрушивался свет,
И, разделив добычу, нечисть,
Над бездной вдруг очеловечась,
Смеялась, что отчизны нет.

Когда людей, вдавив друг в друга,
Одним ремнем связали туго,
Чтоб груз тройной взвалить зараз,
Все, что тогда во мраке давнем
Твердил слепым, оглохшим ставням,—
Я в песне сохраню для вас.

14

Я в песне сохраню для вас
Ее отчаянье ночное:
Мне ветер, без суфлера воя,
Твердил, что вновь фонарь погас...

Но хоть в огонь, хоть в темноту!
Я, как дитя, при ней повсюду,
Я это имя не забуду,
Как имя женщины, как ту,

Что так капризна и старинна —
(В руках луна, как мандолина).
Как ту, что знает час и срок
На страже, в каменном покое,
Куранты придержав рукою...
О Прага, ты — вина глоток!

15

О Прага, ты — вина глоток!
Когда пожрут тебя руины
И кровля рухнет на порог,
И кровь размоет комья глины —

Не выйду из твоих ворот,
Ждать буду вместе с мертвецами,
Под зноем ждать и под дождями,
Как тот, кто у калитки ждет.

Пусть гибель вновь пророчит филин
И пусть Господень гнев всесилен —
Одна слеза из этих глаз
Проклятье смоет с крыш усталых,
И все, что на сердце осталось,
Я в песне сохраню для вас.

Примечание, написанное при корректуре

Парижская газета «Юманите» опубликовала в начале 1985 года статью, которую позже перепечатал «Кмен» (приложение к чехословацкому журналу «Творба», № 11/85), где говорится, что «...в 1978 году Жан-Пьер Фай получил от эмигранта Франтишека Яноуха, проживающего в Стокгольме, собрание стихов Ярослава Сейферта под названием «Венок сонетов». Яноух заявил, что речь идет о до сих пор не опубликованных в Чехословакии стихах, которые он вывез, выучив их наизусть. Трудно поверить, но это так и есть: двое французских специалистов по литературе, Фай и Делуи, под влиянием этого внушения увидели в стихах, написанных в 50-е годы и выражающих радость по поводу освобождения Праги от нацистского ига, стихи с диссидентским и антисоветским содержанием. Какое литературное событие! В том же году они вышли во Франции в их переводе под названием «Пражские сонеты» и вошли в состав избранных сочинений Сейферта, опубликованных в издательстве «Сегерс»...

Обвинение серьезное — без ответа его оставить нельзя.

«Венок сонетов» попал в мои руки в 1973 году, и я действительно выучил наизусть эти стихи. Будучи в Копенгагене, я записал их, снабдил вышеприведенным предисловием и разослал тридцати пяти друзьям в качестве рождественского подарка. Как читатель может сам убедиться, в моем предисловии не утверждается, что эти стихи написаны об августе 1968 года. Правда, однако, что стихи Сейферта вызывали у меня чувства, схожие с пережитым во время советской оккупации и последующей «нормализации». Настоящее искусство находится вне времени. Помнится, например, что в 1971 году в Праге была опубликована книга Стефана Цвейга «Совесть против насилия». Писатель красочно описывает положение в кальвинистской Женеве более чем 300 лет тому назад. Книга Цвейга стала бестселлером. Всем нам казалось, что давно умерший Цвейг описывает положение в Праге в 1968—1971 годах. Причем такое впечатление было не только у нас. Чехословацкая тайная полиция, СТБ, конфисковала несколько экземпляров этой книги во время обысков, проходивших в январе 1972 года!

В странах «реального социализма» разница между издаваемой и самиздатовской литературой иногда исчезает. Возьмем, к примеру, советского поэта Осипа Мандельштама. В СССР его стихи публиковались в 20-х и 30-х годах. В 40-х и 50-х годах Мандельштам превратился в писателя самиздата, так как его стихи исчезли из библиотек и с прилавков книжных магазинов.

Цитируемая статья парижской газеты и пражского журнала заставила меня разузнать более подробно, как в действительности обстояло дело с «Венком сонетов».

Вряд ли мне удастся выяснить, кто и когда переписал стихи Сейферта и пустил их в Праге по рукам. Побуждения этого незнакомца не оставляют сомнения — стихи казались ему очень актуальными.

Если бы «Юманите» и «Кмен» были бы более серьезными, то их редакторы заглянули бы в шестой том «Сочинений» Сейферта. В нем содержится интересная информация, опровергающая вышеприведенную цитату из газеты.

Шестой том вышел в Праге в 1964 году тиражом в 7500 экземпляров! В «Примечании издателя» А. М. Пиша сообщает, что «...собрание стихов «Прага» печатается второй раз, причем по библиофильскому изданию 1956 года... Согласно тогдашнему подзаголовку, стихи написаны в 1945—1949 годах, однако, вероятно, некоторые из них более поздние».

Столь туманно сформулированное примечание

издателя и друга Сейферта А. М. Пиши, которому, сверх того, Сейферт посвящает шестой том своих сочинений, звучит более чем примечательно. Кто иной, как не сам Пиша, мог бы точно разузнать у Сейферта, как обстояло дело? Не скрыт ли в туманной формулировке авторский или же издательский замысел?

Почему «Венок сонетов», выражающий «радость по поводу освобождения Праги от нацистского ига» в 1945—1949 годах, должен был ждать первого библиофильского издания в нескольких сотнях экземпляров вплоть до 1956 года? И почему ему пришлось дожидаться своего первого книжного издания в 1964 году (тоже в миниатюрном для стихов Сейферта тираже) целых 15—19 лет? Напомню, что в 60-х годах поэзия Сейферта вышла в издательстве «Чехословацкий писатель» тиражом почти в 300 тысяч экземпляров.

Прямо-таки детективная история...

Вдобавок меня смущает еще одно обстоятельство. В начале 1975 года я отослал мой копенгагенский «самиздат» вместе с предисловием господину Сейферту. Он ответил мне, что его растрогало мое предисловие, и поблагодарил меня. В своем письме он не обмолвился ни единым словом о том, что «Венок сонетов» уже издавался раньше. Ярослав Сейферт получил от меня как русский, так и французский переводы, а также книжку, изданную г-ном Фаем.

Между прочим, неправда, что я послал «Венок сонетов» г-ну Фаю. Он получил стихи от кого-то другого и лишь попросил моего разрешения опубликовать их вместе с моим предисловием. Почему же Сейферт не указал мне на мою ошибку? Не потому ли, что и он был недоволен столь малым тиражом «Венка сонетов» и обрадовался, что я вновь привлек мировое внимание к его до той поры малоизвестным стихам?

Но это еще далеко не все. Прочитайте внимательно сонет 13. Он ведь не мог быть написан в 1945 году. Во время войны стихи Сейферта публиковались и приносили людям радость, поддерживали их. Он ведь как бы разговаривал со своими читателями. Не выражает ли 13 сонет скорее настроение и переживания поэта когда-то после 1948 года? В то время в издательствах работали «комитеты действия» и начинали вводить цензуру, а Сейферта обвинили Копецкий и Скала в том, что он «антинародный поэт». Не выражают ли строфы 13 сонета ужас и негодование, вызванные политическими процессами, тем, что его друг, поэт Лацо Новомеский, был приговорен к пожизненному тюремному заключению, что десятки других поэтов исчезли в концентрационных лагерях и что поэт Завиш Каландра был передан в руки палача? Не отвечают ли его слова

когда позор
О совести твердил, как вор,
Грязь в благородство наряжалась

скорее духу второй половины 50-х годов, когда Сейферт готовил свое выступление на Втором съезде чехословацких писателей? «Я все же петь для вас хотел... той ночью темной, без огней...» — за этими словами встают 50-е годы и запрещенный поэт.

И наконец, следующее: если Сейферт действительно закончил свой «Венок сонетов» сразу после войны, почему же он не опубликовал его до 1948 года, когда он мог издавать стихи без ограничений и цензуры?

И почему же «Творба» не указала на мою ошибку в 1976—1977 годах, когда «Венок сонетов» вышел в стольких переводах? Не потому ли это, что тогда о Сейферте в Праге нельзя было писать? Вопросы, вопросы и снова вопросы...

Оглядываясь назад, мне не приходится «посыпать голову пеплом». Если бы мне пришлось сегодня снова писать предисловие к «Венку сонетов», то я оставил бы его в том же виде. Я только заменил бы слово «неизданные» на «неиздаваемые». Моя нечаянная ошибка помогла опубликовать стихи Сейферта, которые без этого, очевидно, не были бы напечатаны. Их перевод на многие иностранные языки, может быть, чуточку посодействовал той Нобелевской премии, которую старается себе теперь присвоить пражский режим.

Надпись в книге

Тяжелый пограничный шлагбаум поднялся, и мы поехали в неизвестное, в долгий путь, о котором писал мой дорогой друг в своем посвящении. Посвящение это стояло в подаренной мне старинной книге, Канонической книге о Тао и добродетели. Таможенник, тщательно осмотревший все остальное, не заметил ее, так же как и не обратил внимания на другой подарок — старинную китайскую статуэтку, изображающую странника; она сопровождала моего друга с 1941 года, с той поры, когда он нашел ее в разбомбленном музее, где-то в юго-западном Китае.

Надпись в книге гласила:

Дорогому другу
Франтишеку Яноуху
в память о начале
долгого пути
из Праги — в Прагу

Рождество 1973

Франтишек Кригель

Вместо эпилога

Три документа и две газетные вырезки

№ V5/3—57/2700/74 4 февраля 1975 г.

РЕШЕНИЕ

Господин
Др. Франтишек Яноух

Швеция

Министерство внутренних дел Чешской Социалистической Республики лишает Вас, согласно § 14а, абз. 1, пункт ф/ закона ЧСР № 39/1969 Сб., о получении и лишении гражданства Чешской Социалистической Республики, в согласии с дополнением Президиума Чешского Национального совета № 124/1969 Сб., которое меняет и дополняет вышеуказанный закон, гражданства Чешской Социалистической Республики и тем самым, согласно § 1, абз. 2 цитируемого закона, и гражданства Чехословацкой Социалистической Республики.

Обоснование:

Согласно § 14а, абз. 1, пункт ф/ закона Чешского Национального совета в 39/1969 Сб. о получении и лишении гражданства ЧСР, в смысле законного дополнения ЧНР № 124/1969 Сб., которое меняет и дополняет цитируемый закон, Министерство внутренних дел ЧССР может лишить гражданства ЧСР и тем самым, согласно § 1, абз. 2 цитир. закона,— и гражданства ЧССР, гражданина, находящегося за границей и своими действиями наносящего ущерб важным интересам Чехословацкой Социалистической Республики.

После рассмотрения и оценки всех обстоятельств и материалов оказалось, что во время своего пребывания за границей Вы активно выступали на различных собраниях, где Вы активно нападали на социалистический строй в ЧССР. Например, 1.6.1974 Вы выступили со вступительной речью на отчетном годовом собрании «Амнести интернэшнл», в Дуйсбурге, а 4.10.1974 — по радио «Свободная Европа». Таким поведением Вы нанесли вред важным интересам ЧССР, как это имеется в виду в § 14а, абз. 1, пункт ф/ закона ЧСР № 39/1969 Сб., согласно законному дополнению Президиума ЧСР в 124/1969 Сб., и одновременно Вы продемонстрировали, что не заслуживаете быть далее гражданином ЧСР, а тем самым — гражданином ЧССР. Поэтому было принято решение лишить Вас гражданства

Чешской Социалистической Республики и тем самым и гражданства Чехословацкой Социалистической республики.

Обжалование может быть подано в течение 15 дней после вручения этого решения министру внутренних дел Чешской Социалистической Республики через Отдел внутреннего управления Национальных советов министерства внутренних дел ЧСР.

Заведующий отделом
Др. Бастл

Министру внутренних дел ЧСР
через Отдел внутр.
управления НС МВЧСР
у Обецнего дому, № 3, Прага-1

Уважаемый господин министр,

я протестую против решения Вашего министерства, под номером V5/3—57/2700/74, от 4 февраля 1975 г.

Решение Вашего министерства грубо нарушает установления Административно-процессуального кодекса (зак. 71/1967), в особенности его § 18, абз. 3, § 33, абз. 2, § 23, абз. 1 и т. д.

Что касается самого существа дела, то я хочу отметить здесь следующее:

1. Все мои публичные выступления основывались на фактах, правдивость которых я могу документально подтвердить. Мои комментарии и ответы были максимально трезвыми, сдержанными и деловыми. Напоминаю, что, согласно чехословацкому Уголовному кодексу (напр., § 112 Угол. код.), только распространение за границей ложной информации о ситуации в ЧССР может служить поводом для судебного преследования. Ваше министерство даже не пытается вникнуть в содержание моих выступлений с точки зрения их правдивости.

2. Мое выступление на отчетном годовом собрании «Амнести интернэшнл», происходившем 1.6.1974 (довожу до Вашего сведения, что «Амнести интернэшнл» является международной организацией, признанной ООН и ЮНЕСКО), основано исключительно на документах, которые я в 1970—73 гг. посылал официальным путем нашим официальным органам и которые были частично, без моего согласия, опубликованы за границей. Эти материалы не были использованы ни для уголовного преследования, ни для применения каких-либо административных мер по отношению ко мне.

3. Ваше утверждение, что 4.10.1974 я выступал по радиостанции «Свободная Европа», неверно. Я не давал «Свободной Европе» никакого интервью и вообще никогда не выступал по этому радио. Я обратился к дирекции «Свободной Европы». чтобы она сама это подтвердила. Ответ дирекции я пришлю Вам отдельно.

Таким образом, решение Вашего министерства за номером V5/3—57/2700/74 опирается на недостоверные факты. на неполные и неточные данные, а это, несомненно, является результатом того. что работники Вашего министерства нарушили § 33 зак 71/1967 и отказали мие в праве защиты.

Я хочу выразить свое удивление по поводу того, насколько легкомысленно поступает Ваше министерство, принимая решение о столь важном деле (я назвал бы это абсолютным наказанием в чехословацком гражданском или административно-процессуальном законодательстве), так легкомысленно обращаясь с фактами и материалами.

Я являюсь чехословацким гражданином, гражданином страны, где жили мои предки, страны, за которую мой отец рисковал своей жизнью во вторую мировую войну и которой я отдавал все свои силы и способности. Я принадлежу этой стране — и эта страна принадлежит мне!

Я не признаю Вашего права лишить меня чехословацкого гражданства на основании законов или законных мер, прииятых после 1968 года, к тому же — неизбранными «представителями» народа.

Закон и законные меры под номерами 39/1968 Сб. и 124/1969 Сб., на которые ссылается Ваше министерство, находятся, более того, в противоречии с принципами Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, за которую Чехословакия тоже голосовала (статья 13, абз. 2).

Опираясь на приведенные аргументы, я протестую против принятого Вами решения и требую, чтобы оно было полностью отменено.

Стокгольм, 3.3.1975

Профессор Ф. Яноух
Бергторпсвеген, 62
С—183 64 Тэби, Швеция

Копия: д-ру Густаву Гусаку, Генеральному секретарю КПЧ.

Министр внутренних дел
Чешской Социалистической Республики
Прага, 8 августа 1975 г.
К/2—5263/75

Д-ру Франтишеку Яноуху,
Бергторпсвеген, 62
С—183 64 Тэби
Швеция

По предложению особой комиссии, созданной, согласно § 61, абз. 2 зак. № 71/1967 Сб., об административио-процессуальном судопроизводстве, выношу следующее

РЕШЕНИЕ

Ваше обжалование от 3.3.1975, поданное против решения министерства внутренних дел ЧСР от 4.2.1975 под номером 5/3—57/2700/74, отвергается, и данное решение Министерства внутренних дел ЧСР подтверждается.

Обоснование

Решением Министерства внутренних дел ЧСР от 4.2.1975 Вы были, согласно § 14а, абз. 1, пункт ф/ закона ЧСР № 39/1969 Сб., о получении и лишении гражданства ЧСР, согласно законным дополнениям Президиума ЧСР № 124/1969 Сб., которые меняют и дополняют цитир. закон, лишены гражданства ЧСР и тем самым — согласно § 1, абз. 2 цитир. закона — и гражданства ЧССР

Вы подали обжалование по данному решению, в котором требуете, чтобы это решение было полностью отменено.

В обжаловании Вы указываете, что были нарушены установления Административно-процессуального кодекса (закон № 71/1967 Сб., об Административном кодексе) о процессуальных правах участников судопроизводства, далее, что все Ваши общественные выступления основывались на дока-

зуемых фактах и документах, причем обращаете внимание на то, что Ваше выступление по радиостанции «Свободная Европа» 4.10.1974, на которое ссылается принятое решение, не имело места.

Об обжаловании постановления центрального органа государственного управления, согласно § 61, абз. 2 закона № 71/1967 Сб. об административно-процессуальном судопроизводстве, решение принимается руководителем центрального органа (министром) на основании предложений особой комиссии. Ваше обжалование рассматривала особая комиссия Министерства внутренних дел ЧСР, созданная по цитируемому установлению Административно-процессуального кодекса для подготовки предложений по вопросам, касающимся обжалования решений Министерства внутренних дел ЧСР.

В проведенном разборе было обнаружено и указано, что принятое решение было сделано на основании достоверно выясненных обстоятельств.

Речь идет прежде всего о Вашем выступлении на отчетном годовом собрании общества «Амнести интернэшнл», происходившем 1—3.6.1974 в Дуйсбурге, а также о Вашей публицистической деятельности, которая документируется, например, Вашей статьей в журнале «Нейчер», № 547 20.9.1974, стр. 181.

Принимая все это во внимание, оспариваемое решение, опирающееся на § 14а, абз. 1, пункт ф/ выше цитир. закона, надлежащим образом обосновано, хотя Ваше выступление по радио «Свободная Европа» не было доказано.

В Вашем случае можно не без оснований предполагать, что содержание Вашей собственной речи на указанном собрании и содержание Ваших печатных работ Вам самому хорошо известны, так же как содержание решения Министерства внутренних дел ЧСР, которое Вам было вручено надлежащим образом. Поэтому Вам не мог нанести ущерб тот факт, что Вы не могли воспользоваться правом изучения своего дела, состоящего, по сути, из конкретных документов. Если же Вы ссылаетесь на нарушение постановлений § 33 Административно-процессуального кодекса, то необходимо констатировать, что в обжаловании Вы не указываете ничего такого, из чего было бы видно, каким образом Вам был нанесен ущерб в процессуальных правах и какой правовой акт Вы не смогли осуществить в расследовании.

Имея это в виду, необходимо отметить, что в данном случае речь не идет об ошибках расследования, которые могли бы повлиять на принятие решения по данному делу. То же самое касается и того факта, что Вас не уведомили о начале расследования. При этом из мотивировки явно вытекает, что все обстоятельства, на которые опирается оспариваемое Вами решение, Вам хорошо известны.

В Вашем случае необходимо исходить из того обстоятельства, что в вышеуказанных выступлениях и Вашей деятельности Вы сознанно и резко нападали на социалистический строй в ЧССР и осуждали его, в особенности во всем, что касается положения ученых, журналистов и других работников интеллектуального труда, а также грубым способом клеветали на чехословацкий правовой порядок, особенно в области Уголовного кодекса.

Этой деятельностью Вы за рубежом нанесли ущерб важным интересам ЧССР и одновременно основным принципам Конституции ЧССР, в особенности постановлению № 34, согласно которому граждане обязаны соблюдать Конституцию и остальные законы и всем своим поведением защищать интересы социалистического государства и общества трудящихся.

Все это составляет материальные и юридические предпосылки для того, чтобы лишить Вас гражданства ЧССР, согласно § 14а, абз. 1, пункт ф/ закона ЧСР № 39/1969 Сб., в смысле дополнения к закону ЧСР № 124/1969 Сб.

В связи с этим я, по предложению особой комиссии, принял решение, как это указано в начале, отказать Вам в Вашем требовании и подтвердить решение Министерства внутренних дел ЧСР от 4.2 1975.

Это решение обжалованию не подлежит (§ 61, абз. 2 закона №71/1967 Сб., об административном судопроизводстве).

Министр внутренних дел ЧСР
(подпись неразборчива) [1]

Две газетные вырезки

(Хунты лишают гражданства)

Газета «Вечерняя Прага», 10.3.1975

ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

Прага (корр.) — Министерство внутренних дел Чешской Социалистической Республики лишило гражданства ЧСР и ЧССР д-ра Франтишека Яноуха на основании соответствующих правовых норм. Поводом для лишения гражданства послужил тот факт, что упомянутое лицо вредит своими действиями за границей важным интересам Чехословацкой Социалистической Республики.

Газета «Праце», 12.7.1975

ХУНТА
ЛИШАЕТ ГРАЖДАНСТВА

Буэнос-Айрес (ЧТК) — Правительство Пиночета особым декретом лишило чилийского гражданства бывшего сенатора и председателя чилийской Радикальной партии А. Суле. Это первая мера такого рода, которую хунта использует в отношении противников своего режима. Сенатор Суле был арестован вскоре после военного путча в сентябре 1973 года. В феврале этого года хунта выпустила его из тюрьмы и выдворила из страны.

[1] Министром внутренних дел был в то время К. Юнг.

Тема для дискуссии:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХУДОЖНИКА

ХАННА АРЕНДТ

ВРЕМЕННЫЙ СОЮЗ ЧЕРНИ И ЭЛИТЫ

Еще сильнее, чем безусловное послушание участников тоталитарных движений и всенародная поддержка тоталитарных режимов, смущает наш душевный покой та неоспоримая притягательность, какой эти движения обладают в глазах не только отбросов общества, но и элиты. Было бы слишком опрометчиво пренебрегать ужасающим перечнем выдающихся людей, которых тоталитаризм может числить среди сочувствующих, попутчиков и обладателей партбилетов, списывая всё на причуды художников и наивность ученых.

Притягательность их для элиты — столь же важный ключ к пониманию тоталитарных движений (но едва ли — к пониманию тоталитарных режимов), как и их более очевидная связь с чернью. Она указывает на особую атмосферу, на общий климат, в котором происходит подъем тоталитаризма. Необходимо помнить, что вожди тоталитарных движений и сочувствующие им, так сказать, несколько старше масс, которые они организуют таким образом, что массам не приходится беспомощно ждать возвышения собственных вождей посреди гибнущего классового общества, самым заметным порождением которого они являются. Те, кто по своей воле оставил общество еще до крушения классов, вместе с чернью — более ранним продуктом правления буржуазии — уже готовы радушно встретить их. Тоталитарные правители и вожди тоталитарных движений в настоящее время все еще сохраняют характерные черты люмпена, чья психология и политическая философия достаточно хорошо известны; а вот что случится, приди к власти настоящий человек масс, мы до сих пор не знаем, хотя есть основания предполагать, что он будет ближе к мелочному. расчетливому педантизму Гиммлера, что ему будет роднее скучное упрямство Молотова, чем сладострастно-мстительная жестокость Сталина.

/.../ Подобно подонкам и авантюристам эпохи империализма вожди тоталитарных движений разделяют с сочувствующими им интеллектуалами то свойство, что и те и другие оказались вне классовой и национальной системы добропорядочного европейского общества еще до того, как эта система развалилась.

Ее развал, когда самодовольство фальшивой добропорядочности уступило место анархическому отчаянию, показался, как элите, так и черни, первым великим шансом. Это очевидно на примере новых вождей масс, в чьей карьере повторяются черты прежних вождей черни: неудачи в профессиональной и социальной жизни, извращения и несчастья в жизни личной. То, что до начала политической карьеры они были неудачниками, наивно выставлялось против них более почтенными вождями традиционных партий, а на самом деле было важнейшей причиной массовой любви к ним. В неудачливости видели доказательство личного воплощения массовых судеб эпохи и их желания пожертвовать всем ради движения; их уверения в преданности тем, кто был раздавлен катастрофой, их решимость никогда не поддаться соблазну возврата в уют нормальной жизни были совершенно искренни, а не просто вызваны преходящими амбициями.

С другой стороны, послевоенная элита была лишь немногим моложе того поколения, которое согласилось, чтобы империализм использовал и истреблял его, и надеялось на славную карьеру вне рамок добропорядочности, карьеру аферистов, авантюристов и шпионов, рыцарей в сияющей броне, сражающих чудовищ. Они разделяли с Лоуренсом Аравийским жажду «потерять свою личность» и отвращение ко всем существующим нормам и ко всякой власти. Если они еще и помнили «золотой век уюта», то они помнили и свою ненависть к нему, и неподдельность своего восторга, когда разразилась первая мировая война. Не один Гитлер и не одни неудачники коленопреклоненно благодарили Бога, когда в 1914 году Европу охватила мобилизация. Им даже не приходилось упрекать себя за то, что они, мол, стали легкой добычей шовинистической пропаганды или лживых заявлений о чисто оборонительном характере войны. Элита пошла на войну с ликующей надеждой, что все знакомое, вся культура и ткань жизни исчезнут в «стальном урагане» войны (Эрнст Юнгер). По выражению тщательно выбиравшего слова

Томаса Манна, война была «карой» и «очищением»; «поэта вдохновляла скорее сама война, чем победы». Или, словами студента того времени, «что имеет значение, так это постоянная готовность принести жертву, а не то, ради чего она приносится» [1]; или, словами молодого рабочего, «не важно, прожить несколько лет больше или меньше. Хочется чего-то эдакого в жизни». И задолго до того, как один из сочувствующих нацизму интеллектуалов заявил: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет», поэты трубили о своем отвращении к «мусору культуры» и звали в стихах «варваров, негров, скифов, индусов растоптать ее» [2].

Заклеймить это глубокое недовольство довоенной эрой и последующими попытками ее восстановления, назвав его просто «выплеском нигилизма» (от Ницше и Сореля до Парето, от Рембо и Т. Э. Лоуренса до Юнгера, Брехта и Мальро, от Бакунина и Нечаева до Александра Блока), значило бы не заметить, сколь оправданной может быть такая неприязнь в обществе, насквозь пронизанном идеологией и моральными стандартами буржуазии. Но верно и то, что «фронтовое поколение», заметно отличаясь от тех, кого оно выбрало в духовные отцы, было поглощено желанием увидеть крах всего этого мира поддельного уюта, поддельной культуры, поддельной жизни. Желание было так велико, что превосходило по влиятельности и отчетливости все прежние попытки «переоценки ценностей», вроде предпринятой Ницше, или переустройства политической жизни, намеченного в сочинениях Сореля, или возрождения человеческой подлинности у Бакунина, или ухода к страстно влекущей жизни в чистоте экзотических авантюр у Рембо. Безжалостное разрушение, хаос и гибель как таковые приобрели достоинство высших ценностей [3].

Подлинность этих чувств подтверждается тем, что очень немногие представители поколения исцелились от военного энтузиазма при встрече с ужасами реальной войны. Выжившие в окопах не превратились в пацифистов. Они лелеяли те переживания, которые, по их мнению, могли бы помочь им отгородиться от ненавистного добропорядочного окружения. Они цеплялись за воспоминания о четырех годах окопной жизни, словно устанавливая с их помощью объективный критерий для отбора новой элиты. При этом они нисколько не поддавались искушению идеализировать свое прошлое; напротив, поклонники войны первые соглашались, что в машинную эру война уже не воспитывает таких добродетелей, как рыцарство, отвага, честь, мужество, что она не дает людям ничего, кроме опыта уничтожения и униженного положения винтиков в огромном механизме бойни.

Это поколение вспоминало войну как грандиозную увертюру к гибели классов и их превращению в толпу. Война, убивавшая лишь по своей прихоти, стала символом смерти — «великой уравнительницы» — и тем самым подлинной матерью нового мирового порядка. Жажда равенства и справедливости, стремление перейти тесные и бессмысленные границы, казалось, нашли в войне выход из тупика снисходительной жалости к угнетенным и обездоленным. Во времена растущего страдания и беспомощности отдельного человека кажется столь же трудным противостоять жалости, превращающейся во всепожирающую страсть, как и удержаться от негодования, когда ее разгул уничтожает человеческое достоинство с еще более убийственной несомненностью, чем сами страдания.

В первые годы своей карьеры, когда восстановление европейского порядка оставалось самой серьезной угрозой притязаниям черни [4], Гитлер обращался прежде всего к этим настроениям фронтовиков. Своеобразное бескорыстие человека масс проявлялось здесь в виде тяги к анонимности, к существованию на правах всего лишь номера, к деятельности винтика, короче, к любому превращению, которое разрушило бы фальшивое отождествление с особыми типами или предопределенными функциями внутри общества. Война переживалась как «самое мощное массовое действие», стиравшее индивидуальные различия, так что даже страдание, традиционно наделявшее индивида уникальной, только ему принадлежащей судьбой, могло теперь толковаться как «орудие исторического прогресса». И национальные различия уже не разделяли массы, в которые жаждала погрузиться послевоенная элита. Первая мировая война, достаточно парадоксальным образом, почти уничтожила искренние национальные чувства в Европе, где в период между войнами было гораздо важнее принадлежать к окопному поколению, безразлично, с какой стороны линии фронта, чем быть немцем или англичанином [5]. Нацисты основывали всю свою пропаганду на этом неявном товариществе, на «общности судьбы» и завоевали множество ветеранских организаций во всех странах Европы, показав тем самым, насколько обессмыслились национальные лозунги даже в рядах так называемых правых которые пользовались ими скорее из-за присущих этим лозунгам обертонов насилия, чем из-за определенного национального содержания.

Ни один элемент общего интеллектуального климата послевоенной Европы не был особенно нов сам по себе. Уже Бакунин признавался: «Я не хочу быть «я», я хочу быть «Мы»» [6], а Нечаев проповедовал евангелие «обреченных», отказавшихся «от личных интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности, даже от имени» [7]. Направленным против гуманизма, либерализма, индивидуализма и культуры инстинктам фронтового поколения, блестящему и остроумному прославлению насилия, власти, жестокости предшествовали громоздкие и напыщенные «научные» теории, которыми империалистическая элита доказывала, что война всех со всеми есть закон вселенной, что экспансия есть прежде всего психологическая необходимость и только потом — средство политики и что человек должен вести себя в соответствии с этими универсальными законами. Что было новым в исканиях фронтового поколения, так это высокий литературный уровень и настоящая страстность. Послевоенные писатели больше не нуждались в научных аргументах генетики, и для них были совсем или почти бесполезны собрания сочинений Хью-

стона Стюарта Чемберлена или Гобино, ставшие уже принадлежностью культурного обихода мещан. Они читали не Дарвина, а маркиза де Сада. Если они еще и верили хоть сколько-нибудь в универсальные законы, то, разумеется, ничуть не старались подладиться к ним. Для них насилие, власть, жестокость были высшими проявлениями людей, несомненно утративших свое место во вселенной и слишком гордых, чтобы стремиться к теоретическим обоснованиям власти, которые бы вернули и заново включили их в мир. Они довольствовались слепой приверженностью ко всему отвергнутому добропорядочным обществом, независимо от содержания теорий, и возводили жестокость в главную доблесть, поскольку она противоречила гуманному и либеральному лицемерию общества.

Если мы сравним это поколение с идеологами девятнадцатого века, с чьими теориями у него, казалось бы, так много общего, то его главным отличием, конечно, будет бóльшая подлинность и страстность. Послевоенных людей сильнее, чем любого из прежних апостолов братства и доброй воли, затронули страдания, поразила растерянность и ранило лицемерие. Они уже не могли сбежать в далекие страны, уже не могли мечтать о судьбе странствующего рыцаря среди чарующе непонятных чужеземцев. Некуда было бежать от повседневной рутины несчастий, унижений, неудач и обид, приукрашенных фальшивой культурой ученой болтовни; от вызванных такой жизнью приступов тошноты уже не спасло бы никакое подлаживание к обычаям сказочных стран.

Эта неспособность к бегству в огромный мир, это ощущение, что снова и снова попадаешь в западни, расставленные обществом,— чувства, столь отличные от тех, что лепили имперский характер,— добавляли постоянную взвинченность и жажду насилия к более давней тоске по анонимности и утере личности. При невозможности радикально сменить роль и характер, например, влиться в арабское национальное движение или выполнять ритуалы индийской деревни, добровольное погружение в надчеловеческую разрушительную мощь казалось избавлением от совпадения с предписанными обществом функциями и от их крайней банальности и в то же самое время помогало разрушить самое систему функций. Этих людей привлекал активизм, провозглашенный тоталитарными движениями, странный и лишь внешне противоречивый упор сразу и на первенство голого действия, и на непреодолимую силу голой необходимости. Такое смешение точно отвечало военному опыту «фронтового поколения», опыту постоянной деятельности в рамках непреодолимой неизбежности.

Более того, активизм словно давал новый ответ на старый и тревожный вопрос: «Кто я такой?», всегда возникающий с сугубой настоятельностью в кризисные эпохи. Если общество утверждало: «Ты — то, чем ты кажешься», то послевоенный активизм отвечал: «Ты — то, что ты сделал» — скажем, человек, впервые пересекший на аэроплане Атлантику (как у Брехта в «Полете Линдберга») — ответ после второй мировой войны с легкими изменениями воспроизведенный сартровским: «Ты — это твоя жизнь» (в пьесе «При закрытых дверях»). Уместность таких ответов — не столько в том, что они содержат новые, обоснованные определения тождества личности, сколько в том, что они помогают уклониться от отождествлений, навязанных личности обществом, от множества взаимозаменимых ролей и функций. Суть была в том, чтобы совершить что-то, не важно — преступление или подвиг, но непредсказуемое и никем другим не предопределенное.

Активизм, провозглашенный тоталитарными движениями, предпочтение, отдававшееся терроризму по сравнению с другими формами политической деятельности, привлекали и интеллектуальную элиту, и чернь именно потому, что такой терроризм резко отличался от терроризма прежних революционных обществ. Он перестал быть предметом политических расчетов, когда в террористическом акте видели лишь средство избавиться от неких заметных фигур, в силу своей политики или положения ставших символом гнета. Привлекало то, что терроризм стал чем-то вроде философии, выражавшей отчаяние, негодование, слепую ненависть, чем-то вроде политического экспрессионизма, применявшего бомбы ради самовыражения; известность, какую приобретали громкие дела, приводила в восторг, и человек был исполнен решимости отдать жизнь, лишь бы принудить нормальные слои общества признать его существование. Тот же дух, тот же задор заставили Геббельса, задолго до окончательного поражения нацистской Германии, заявить с очевидным наслаждением, что, проиграв войну, нацисты сумеют, уходя, так хлопнуть дверью, что их не забудут вовеки.

И все-таки, если можно вообще найти осмысленный критерий для различения элиты и черни в предтоталитарной атмосфере, то его можно найти именно здесь. Чего хотела чернь и что поразительно точно выразил Геббельс — это доступ к истории любой, даже самой разрушительной, ценой. Искреннее убеждение Геббельса, будто «самое большое счастье, какое может испытать сегодня наш современник»,— это или быть гением, или служить ему, было типичным для люмпена, но не для масс и не для сочувствующей элиты. Последняя, напротив, принимала безличность настолько всерьез, что всерьез отрицала само существование гениев; в двадцатые годы все теории искусства предпринимали отчаянные попытки доказать, что шедевр есть продукт умения, мастерства, логики и реализация возможностей материала [8]. Не элита, а чернь находилась под обаянием «сияющей мощи славы» (Стефан Цвейг) и с воодушевлением принимала культ гениев, развившийся в позднебуржуазном мире. В этом чернь двадцатого века верно следовала образцу, заданному выскочками прежней эпохи, которым открылось, что буржуазное общество охотнее распахнет двери перед пленительной «ненормальностью» — гением, гомосексуалистом, евреем, чем перед обычными заслугами. Презрение элиты к гениальности и ее тяга к безличности выражали тот дух, который не были способны понять ни чернь, ни массы и который, говоря словами Робеспьера, стремился доказать

величие человека и ничтожество великих.

Невзирая на эту разницу между элитой и чернью, нет сомнения, что элита бывала довольна всякий раз, когда подонки угрозами добивались принятия их на равных в добропорядочное общество. Часть элиты была готова заплатить разрушением цивилизации за удовольствие видеть, как те, кто в прошлом от этой цивилизации был отторжен, пробиваются в нее. Их не слишком возмущали чудовищные исторические подлоги, в которых виновны все тоталитарные режимы и которые были очевидны в тоталитарной пропаганде. Они и сами были убеждены в том, что традиционная историография так или иначе была подлогом, поскольку она исключала обездоленных и угнетенных из памяти человечества. Тех, кого отвергло их время, обычно забывала и история, и эта обида вдобавок к бедам тревожила всякую чуткую совесть с тех пор, как исчезла вера в жизнь будущего века, где последние станут первыми. Несправедливости прошлого и настоящего стали нестерпимы, когда не осталось надежды на то, что мерки справедливости в конце концов будут выправлены. Великая попытка Маркса переписать историю в терминах классовой борьбы захватила даже тех, кто не верил в правильность самого тезиса, но сочувствовал его исходному порыву найти подход, который бы внедрил в память потомства судьбы тех, кто был отлучен от официальной истории.

Временный союз элиты и черни зижделся главным образом на том неподдельном восхищении, с каким первая наблюдала за тем, как вторая разрушает добропорядочность. Это происходило, когда немецкие стальные бароны оказались вынуждены иметь дело с Гитлером и допустить его в приличное общество — этого маляра и, по его же признанию, бывшего изгоя, или когда тоталитарные движения протаскивали грубые и вульгарные подтасовки во все области интеллектуальной жизни, собирая в цельную картину все подпольные, не допущенные в хорошее общество элементы европейской истории. С такой точки зрения было приятно смотреть, как большевизм или нацизм громили даже источники собственных идеологий, если они приобретали хоть какое-то признание в академических или иных официальных кругах. Не диалектический материализм Маркса, а заговор трехсот семейств; не напыщенная научность Чемберлена или Гобино, а «Протоколы сионских мудрецов»; не доступная изучению роль католической церкви и антиклерикализма в романских странах, а книжки из-под полы об иезуитах и франкмасонах вдохновляли переписчиков истории. Целью самых разных и изменчивых построений всегда было разоблачение официальной истории как некоего трюка, выявление тайных рычагов, прикрытием которых считалась зримая, доступная изучению и известная реальность, прикрытием, воздвигнутым с сознательной целью — дурачить народ.

К отвращению, которое интеллектуальная элита питала к официальной историографии, к убеждению, будто историю, все равно фальшивую, можно отдать на произвол фанатиков, следует добавить и ужасный, деморализующий восторг, возникавший от одного предположения, будто гигантская ложь и чудовищный обман смогут в конце концов утвердиться как безусловные факты, что человек будет в силах менять свое прошлое как захочет и что разница между правдой и ложью уже не будет объективной, а станет всего лишь делом власти и хитроумия, давления и бесконечных повторов. Вызывало восторг не мастерство Сталина или Гитлера в искусстве лжи, а то, что они сумели организовать массы в единый коллектив, способный поддерживать их ложь с внушительным великолепием. То, что на взгляд науки было просто подделкой, как бы получало одобрение самой истории, когда вся марширующая реальность вставала за этой ложью и заставляла верить, что из нее, из этой лжи, черпает необходимое для деятельности вдохновение.

Привлекательность, какую тоталитарные движения имели в глазах элиты там, где они не были у власти или еще не пришли к ней, вызывала недоумение, так как явно вульгарные и произвольные положительные доктрины тоталитаризма заметнее внешнему наблюдателю, чем общий настрой, пронизывающий предтоталитарную атмосферу. Доктрины эти настолько отличались от общепринятых интеллектуальных культурных и моральных стандартов, что напрашивался вывод, будто лишь врожденная бесхарактерность интеллектуалов, «la trahison des clercs» * (Ж. Бенда) или извращенная ненависть духа к самому себе ответственны за тот восторг, с каким элита приняла «идеи» черни. Горечь разочарования и отрыв от реального опыта эпохи не давали глашатаям гуманизма и либерализма заметить, что атмосфера, в которой улетучились все традиционные ценности и мнения (после того, как идеологии девятнадцатого века опровергли одна другую и исчерпали свою жизненную притягательность), более способствовала приятию явно нелепых мнений, чем старых истин, превратившихся в благочестивые банальности,— ведь ни от кого не ожидалось, что он примет эти нелепости всерьез. Вульгарность, с ее циническим отходом от чтимых норм и принятых теорий, привела за собой откровенное одобрение зла и презрение ко всякому притворству, которые легко принимались за смелость и новый стиль жизни. В приобретавших все большее влияние взглядах и убеждениях черни, которые на самом деле были взглядами и убеждениями буржуазии, очищенными от лицемерия,— в них те, кто питал давнюю ненависть к буржуазии и добровольно покинул добропорядочное общество, видели только отсутствие лицемерия и добропорядочности, а не собственно содержание [9].

Так как буржуазия объявила себя хранительницей западных традиций и запутала все моральные проблемы, выставляя напоказ те добродетели, которыми не только не обладала ни в частной, ни в деловой жизни, но в действительности еще и презирала, то казалось революционным одобрить жестокость, пренебрежение человеческими ценностями и общую аморальность, раз уж этим по крайней мере разрушалось двуличие, на котором будто бы зижделось современное общество. Как соблазнительно щеголять крайними взглядами в лицемер-

* «Предательство клерков» (*франц.*).

ных сумерках двойных моральных норм, носить прилюдно маску жестокости, выставлять напоказ порочность в мире, полном не порока, а низости! Интеллектуальная элита двадцатых годов, плохо знакомая с прежними связями люмпена и буржуазии, была уверена, что старую игру в эпатирование буржуа можно довести до совершенства, начав шокировать общество иронически преувеличенной картиной его собственного поведения.

В то время никто не догадывался, что истинной жертвой этой иронии окажется не столько буржуазия, сколько элита. Авангардисты не знали, что не пробивают стену лбом, а ломятся в открытую дверь, что повсеместный успех опровергнет их притязания на роль революционного меньшинства и докажет, что им случилось выразить новый массовый дух, дух времени. Особенно примечателен в этом отношении прием, оказанный «Трехгрошовой опере» Брехта в Германии накануне Гитлера. Пьеса рисовала бандитов почтенными дельцами, а почтенных дельцов — бандитами. Ирония отчасти поблекла, когда почтенные дельцы в зрительном зале сочли эту картину глубоким проникновением в устройство мира, а чернь приветствовала ее как художественное одобрение бандитизма. Лейтмотив пьесы, песню «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral» *, встречали бешеной овацией все без исключения, хотя и по разным причинам. Чернь хлопала, так как понимала этот афоризм буквально; буржуазия хлопала, так как настолько долго дурачила себя своим лицемерием, что устала от напряжения, и теперь находила глубокую мудрость в провозглашении тех банальностей, в соответствии с которыми жила; элита хлопала, так как разоблачать лицемерие — это превосходное, захватывающее развлечение. Эффект произведения был прямо противоположен тому, на какой рассчитывал Брехт. Буржуа уже невозможно было шокировать; они приветствовали разоблачение своей тайной философии, чей успех доказывал, что они всегда были правы, поэтому единственным политическим результатом брехтовской «революции» стало поощрение сбросить неудобную маску лицемерия и открыто принять стандарты черни.

Сходный по двусмысленности отклик примерно десятью годами позже вызвали во Франции селиновские «Шуточки по поводу резни», где он предлагал вырезать всех евреев. Андре Жид восхищался ими на страницах «Нувель ревю франсез», не потому, разумеется, что хотел бы убивать французских евреев, а потому, что радовался прямому изъявлению такого желания и противоречию между прямотой Селина и лицемерной вежливостью, окружавшей еврейский вопрос во всех добропорядочных кругах. Сколь непреодолимо было желание элиты срывать лицемерные маски, можно оценить по тому, что восхищение Жида не смогли отравить даже весьма реальные гитлеровские преследования евреев, бывшие в полном разгаре ко времени выхода сочинения Селина. Сходными умонастроениями объясняется и тот примечательный факт, что общеизвестные мнения Гитлера и Сталина об искусстве и их гонения на модернистов так и не убили тягу авангардистов к тоталитарным движениям; это указывает на отсутствие чувства реальности у элиты и ее извращенное бескорыстие, причем и то и другое слишком уж походило на выдуманный мир, в котором жили массы, и обнаруживало их неспособность к осознанию собственных интересов. Великим шансом для тоталитарных движений и причиной, почему стал возможен временный союз интеллектуальной элиты и черни, было то, что в каком-то элементарном и смутном смысле проблемы тех и других сошлись, предвосхищая проблемы и склад ума масс.

Тесно связано с привлекательностью, какую имели для элиты отсутствие лицемерия у черни и своекорыстия у масс, было столь же непреодолимое обаяние, присущее претензиям тоталитарных движений на отмену границ между частной и общественной жизнью и на восстановление таинственной, иррациональной целостности человека [10]. С тех пор как Бальзак показал частную жизнь общественных фигур французского света, а ибсеновские «Столпы общества» завоевали театры европейского континента, проблема двойной морали стала одной из главных тем трагедий, комедий и романов. Двойная мораль, которой пользовалась буржуазия, превратилась в общеизвестный знак того «esprit de sérieux» *, который полон напыщенности и лишен искренности. Деление на частную и публичную, или социальную, жизнь не имело ничего общего с оправданным разграничением личной и общественной сфер, а было, скорее, психологическим отражением борьбы, которую вели в девятнадцатом веке «bourgeois» и «citoyen» **: человек, судивший все общественные учреждения и пользовавшийся ими по мерке своих частных интересов, и ответственный гражданин, занятый общественными делами как делами всех. В свете этого политическая философия либералов, согласно которой простая сумма индивидуальных интересов слагается в чудо общего блага, представлялась всего лишь рационализацией того безрассудства, с каким попирались частные интересы без всякой оглядки на общее благо.

Против классового духа европейских партий, которые всегда признавали, что представляют определенные интересы, и против «оппортунизма», вытекавшего из их взгляда на себя как только на части целого, тоталитарные движения выдвигали свое «превосходство», основанное на «мировоззрении», с помощью которого они собирались завладеть человеком в его целостности [11]. В претензии на тотальность вышедшие из рядов черни вожди движений заново сформулировали, только вывернув наизнанку, собственную политическую философию буржуазии. Класс буржуа, проложив себе путь с помощью социального давления и зачастую с помощью экономического шантажа политических институтов, всегда верил, что публичные органы власти управлялись его собственными, тайными, не публичными интересами и влиянием. И в этом смысле по-

* «Жратва сначала, мораль потом» (*нем.*).

* «Дух мнимой значительности» (*франц.*).
** «Буржуа», «гражданин» (*франц.*).

литическая философия буржуазии всегда была тоталитарной: она всегда признавала тождество политики, экономики и общества, в котором политические учреждения служили лишь фасадом, прикрывающим частные интересы. Двойные стандарты буржуазии, ее раздвоение между публичной и частной жизнью были уступкой национальному государству, отчаянно пытавшемуся развести эти две сферы.

Элиту привлекал радикализм как таковой. Полные надежд предсказания Маркса об отмирании государства и рождении бесклассового общества уже были недостаточно радикальными, недостаточно мессианскими. Если Бердяев прав, утверждая, что «русские революционеры... всегда были тоталитарны», то симпатии, которые Советская Россия вызывала почти в равной степени у интеллектуалов — попутчиков нацизма и коммунизма, основаны именно на том, что в России «революция была религией и философией, а не просто конфликтом, затрагивающим политическую и социальную сторону жизни» [12]. Истина состояла в том, что превращение классов в массы и упадок престижа и авторитета политических институтов создавали в западноевропейских странах условия, сходные с преобладавшими в России, так что отнюдь не случайно и местные революционеры начали перенимать типично русский революционный фанатизм, который предвкушал не перемену в социальных и политических условиях, а радикальное уничтожение всех существующих догматов, ценностей и институтов. Чернь только воспользовалась новым настроением и осуществила краткосрочный союз революционеров и уголовников, который был характерен для многих революционных сект царской России, но не замечался прежде на европейской сцене.

Источник странного союза элиты и черни и удивительного совпадения их чаяний состоял в том, что эти слои первыми оказались отторгнуты от структуры национального государства и классового общества. Они нашли друг друга так легко, хотя и на время, так как и те и другие чувствовали, что воплощают судьбу эпохи, что за ними следуют нескончаемые массы, что рано или поздно большинство европейских народов будет с ними — готовое осуществить их революцию, как они надеялись.

Оказалось, что и те и другие ошибались. Чернь, отбросы класса буржуазии, надеялась, что беспомощные массы помогут ей добиться власти, поддержат ее попытки удовлетворить свои частные интересы, что она сумеет просто занять место прежних слоев буржуазного общества и влить в него более предприимчивый дух мира люмпенов. Однако, оказавшись у власти, тоталитаризм быстро осознал, что дух предприимчивости не сводится только к одному слою населения — черни и что в любом случае их инициативность может быть только угрозой тотальному господству над человеком. С другой стороны, и бессовестность не была достоянием одной лишь черни и, во всяком случае, ей можно было обучиться за короткое время. Для безжалостных механизмов господства и уничтожения массы организованных мещан предоставляли гораздо лучший материал и были способны даже на бо́льшие преступления, чем так называемые профессиональные преступники, при условии, что эти преступления были хорошо организованы и имели вид рутинной работы.

Поэтому не случайно, что немногочисленные протесты против массовых зверств нацистов по отношению к евреям и восточноевропейским народам исходили не от военных и не от какой-нибудь другой части организованных масс добропорядочных мещан, а именно от тех давних соратников Гитлера, которые были типичными представителями черни. И Гиммлер, самый могущественный человек в Германии после 1936 года, не был выходцем из «вооруженной богемы» (Гейден), чьи черты так прискорбно напоминали интеллектуальную элиту. Гиммлер был «более нормальным», то есть бо́льшим мещанином, чем любой из первоначальных вождей нацистского движения. Он не был ни представителем богемы, как Геббельс, ни сексуальным преступником, как Штрайхер, ни безумцем, как Розенберг, ни фанатиком, как Гитлер, ни авантюристом, как Геринг. Он доказал свои выдающиеся способности организовывать массы ради осуществления тотальной власти, исходя из мнения, что большинство людей не гуляки, фанатики, авантюристы, сексуальные маньяки, безумцы и неудачники, а прежде всего — работящие, семейные люди.

Уход мещанина в частную жизнь, его упорная приверженность семейным и карьерным делам были последним и уже выродившимся созданием буржуазной веры в первенство частного интереса. Мещанин — это буржуа, изолированный от своего класса, атомизированный индивид, созданный крушением самого класса буржуазии. Человек масс, которого Гиммлер организовал для величайших в истории массовых преступлений, обладал чертами скорее мещанина, чем представителя черни, и был тем буржуа, который посреди развалин своего мира ни о чем не заботился так, как о личной безопасности, и был готов пожертвовать всем: честью, верой, достоинством — при малейшем поводе. Оказалось, нет ничего легче, как разрушить частную жизнь и мораль людей, которые только о том, как свою частную жизнь сохранить, и думали. После нескольких лет правления и наведения порядка нацисты могли с полным правом заявить: «В Германии частным лицом остается только спящий».

С другой стороны, чтобы быть справедливым к тем из элиты, кто в какой-то момент поддался соблазну тоталитарных движений или кого подчас, из-за их интеллектуальных способностей, даже обвиняли в том, что они вдохновляли тоталитаризм, надо сказать, что все, сделанное и не сделанное этими отчаявшимися людьми двадцатого века, нисколько не повлияло на тоталитаризм, хотя и сыграло какую-то роль в ранних и успешных попытках движений принудить остальной мир относиться к их доктринам всерьез. Где бы тоталитарные движения ни захватывали власть, всю эту группу сочувствующих сметало еще до того, как режим приступал к своим главным преступлениям Интеллектуальная, духовная, художественная самодеятельность

столь же опасна для тоталитаризма, как и бандитская самодеятельность черни, и обе они опаснее чисто политической оппозиции. Постоянные гонения на всякую высшую форму духовной активности проистекали не из одного только природного отвращения новых вождей масс ко всему, что им непонятно. Тоталитаризм не допускает свободной инициативы ни в одной области жизни, не допускает никакой деятельности, которая не была бы полностью предсказуема. Тоталитаризм у власти непременно замещает все перворазрядные таланты, невзирая на их симпатии и к нему, фанатиками и дураками, недостаток умственных и творческих способностей у которых остается лучшей гарантией их послушания [13].

Примечание автора

[1] См. сборник «Неизвестная Германия», сост. Ханна Хафкесбринк. Нью-Хейвен, 1948, с. 43, 45, 81.

[2] Там же, с. 20—21.

[3] Это началось с чувства полного отчуждения от нормальной жизни. Вот что, например, писал Рудольф Биндинг: «Все с большим основанием нас следует числить среди мертвых, среди чужих, поскольку величие событий отделяет и отстраняет нас, а не среди изгнанных, чей возврат еще возможен» (там же, с. 160). Любопытную отсылку к претензии элиты фронтового поколения можно найти в отчете Гиммлера о том, как он наконец напал на «форму селекции», нужную для реорганизации СС: «...самая строгая процедура селекции создана войной, смертельной схваткой. В такой процедуре ценность крови видна из достижений... Война, однако, остается чрезвычайным обстоятельством, а нужно было найти способ селекции в мирное время».

[4] Гейден показывает, каким последовательным сторонником катастрофы был Гитлер, как он боялся возможного выздоровления Германии. «Полдюжины раз (во время рурского путча), в разных выражениях, он объявлял своим штурмовикам, что Германия гибнет. «Наша задача — обеспечить успех движения»» — успех, который в тот момент зависел от неудачи рурского восстания.

[5] Это чувство широко распространилось уже во время войны, когда Рудольф Биндинг писал: «(Эту войну) не сравнишь с традиционной кампанией. Ибо там воля одного вождя сталкивается с волей другого. А в этой войне оба противника прижаты к земле, и только у Войны есть воля» (Хафкесбринк, с. 67).

[6] Письмо Бакунина, от 7 февраля 1870 года. См. Макс Номад. «Апостолы революции». Бостон, 1939, с. 180.

[7] «Катехизис революционера» был написан или самим Бакуниным, или его учеником Нечаевым. Во всяком случае, «система полного пренебрежения любыми принципами простой порядочности и честности в отношениях (революционера) с остальными людьми... вошла в историю русской революции под именем «нечаевщины» (там же, с. 224).

[8] Характерны в этом отношении теории искусства, вышедшие из Баухауса. См. также заметки Бертольта Брехта о театре: «Gesammelte Werke». Лондон, 1938.

[9] Следующий отрывок из Рема типичен для чувств не одной элиты, а почти всего младшего поколения: «Правят лицемерие и фарисейство. Это самые заметные свойства нынешнего общества... Нет ничего более лживого, чем так называемая общественная мораль». Эти юноши «заблудились в мещанском мире буржуазной двойной морали и уже не отличают истинное от ошибочного» (Die Geschichte eines Hochverräters, с. 267—269). И гомосексуализм этих кругов был (по крайней мере, отчасти) выражением их протеста против общества.

[10] Роль мировоззрения в формировании движения нацистов неоднократно подчеркивал сам Гитлер. Интересно отметить, что в «Mein Kampf» он говорит, будто понял, что партии необходима основа в виде мировоззрения, задумавшись над причинами превосходства марксистских партий.

[11] Один англичанин, Стефен Х. Робертс (в книге «Дом, который построил Гитлер», Лондон, 1939), описывает Гиммлера как «человека изысканной вежливости и занятого простыми житейскими делами. В нем не было ничего от позерства тех нацистов, которые изображали полубогов... Нет человека, который бы так мало походил на свою работу, и я убежден, что он нормальнее всех, кого я встречал в Германии» (с. 89—90). Тут вспоминаются слова матери Сталина, которая, если верить большевистской пропаганде, говорила о нем: «Образцовый сын. Хотела бы я, чтоб все были такими».

[12] Николай Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма», с. 124—125.

[13] На удивление последовательная в этом отношении политика большевиков хорошо известна и не нуждается в комментариях. Самый знаменитый пример: Пикассо не любят в России, хотя он и стал коммунистом. Возможно, что неожиданная перемена взглядов Андре Жида в 1936 году после встречи с большевистской реальностью в Советской России («Возвращение из СССР») окончательно убедила Сталина в том, что творческая личность бесполезна даже в роли попутчика. Нацистская политика отличалась от мер большевиков лишь постольку, поскольку первые своих выдающихся соотечественников не уничтожали.

Перевод с английского Г. ДАШЕВСКОГО

Ю. КАГРАМАНОВ

ПОХМЕЛЬЕ

Ответственность художника — вот, пожалуй, основная тема публикуемой главы из книги Ханны Арендт «Происхождение тоталитаризма». Но прежде чем говорить об этом, необходимо, я думаю, ознакомить читателя с содержанием книги, ее концепцией.

Ханна Арендт — одно из тех имен, что широко известны во всем мире, но в нашей стране только теперь находят дорогу к читателю. Без малого сорок лет прошло после выхода в свет первого издания (в 1951 году) книги «Происхождение тоталитаризма», с которой, собственно, и начинается изучение этого феномена XX века; самый термин «тоталитаризм» вошел в научный обиход в значительной степени благодаря Х. Арендт. Посредством его впервые были объединены под одной «крышей» две такие разные и, как многим тогда казалось, прямо противоположные и друг друга исключающие общественные системы, как фашизм и сталинизм со всеми их разновидностями.

Еще совсем недавно любые сближения сталинизма с фашизмом относились у нас к области запретного. Да и сейчас проблема остается, прямо скажем, трудной. Тяжело, горько осознавать какое бы то ни было родство с режимом, давно уже ставшим синонимом зла. Между тем черты сходства сами бросаются в глаза. Многие помнят «Обыкновенный фашизм» М. Ромма (по сценарию Ю. Ханютина и М. Туровской). Фильм о Германии, а сколько видишь знакомого, «родного»!

Заслуга Х. Арендт в том, что она от параллелей, более или менее лежащих на поверхности, перешла к выявлению сущностного родства, к анализу исторических и особенно историко-культурных корней тоталитаризма в обоих его «вариантах». И надо заметить, что, будучи первым значительным исследованием проблемы тоталитаризма, книга Арендт до сих пор остается, пожалуй, и самым значительным, самым авторитетным. Несмотря на то, что за прошедшие годы на Западе появилось немало других работ на ту же тему. Первое слово оказалось и наиболее веским.

Конечно, позднейшие исследователи пошли дальше Арендт: исправили некоторые ее ошибки, восполнили некоторые из оставленных ею пробелов. Так, например, явной, по-моему, ошибкой (которую Арендт разделяла с большинством западных советологов) было считать сталинизм логическим развитием большевизма, его, так сказать, законным преемником (то есть видеть только момент преемственности и не видеть момент разрыва, перехода в новое качество). Далее, Арендт все-таки недооценила различия между сталинизмом и фашизмом. Это видно уже из приведенного фрагмента: читатель сам мог заметить, что автор затушевывает то специфическое, что отличало каждую из двух основных разновидностей тоталитаризма. Данное обстоятельство отчасти можно оправдать исследовательской ситуацией: Арендт стремилась выявить общее и потому жертвовала особенным.

Таким образом оказались «принесены в жертву» и различия в идеологии — весьма существенные и вполне принципиальные. Поскольку это вопрос далеко не только академический, попробую вкратце о нем сказать.

До последней поры две идеологии были у нас снабжены привычными ярлыками: одна из них квалифицировалась как «прогрессивная», другая, разумеется, фашистская — как «реакционная». Ну, во-первых, «прогрессивная» идеология оказалась далеко не такой прогрессивной, как это было принято думать. За фасадом «марксизма-ленинизма», «адаптированного», приспособленного к нуждам текущей политики, скрывалась область подразумеваемого, но более реального, чем все видимое и бросающееся в глаза. Историкам еще придется поломать голову над тем, как, каким именно способом сочеталось тайное с явным.

А теперь посмотрим, в каком смысле идеология фашизма (буду говорить сейчас конкретно о национал-социализме) может считаться реакционной. Известно, что нацистские идеологи проповедовали «возвращение» к природе и к национальному Urgrund'у [1], то есть к самым якобы истокам «чемецкой народной души», противопоставляли рационализму — «духовную энергию» мифов, науке — оккультизм, христианству — язычество и так далее. Казалось бы, сплошное попятное движение. Учтем, однако, что в системе нацистской идеологии «изначальные ценности», по сути, представляли собою умозрительные конструкции, к любым древностям имевшие лишь косвенное и порою весьма отдаленное отношение. В будущем, каким его себе представляли (в рамках наступающего будто бы «тысячелетнего рейха»), ждали не повторения прошлого, хотя бы и на ином уровне, а чего-то принципиально нового, которое только перекликалось бы с прошлым [2].

То есть это был своеобразный революционизм, хотя и с постоянной оглядкой в прошлое. И ему были свойственны утопизм и ярко выраженный волюнтаризм.

Отсюда и очевидная порою противоречивость в принципах, положенных в основу нацистской идеологии. Взять хотя бы пресловутые Blut und Boden, «кровь и почву». Ну, «кровь» еще понятие довольно туманное и ей можно приписать что угодно, но вот «почва» имеет устойчивые значения, отнюдь не те, какие придавали ей нацисты. «Почва» — это ведь не просто мать сыра-земля, это напластования культуры, труд и дух череды предшествовавших поколений. Почвенник, собственно, тот, кто считает, что

[1] Urgrund (*нем.*) — праоснова.

[2] Устремленность в будущее еще более характерна для итальянского фашизма. Не случайно одним из его идеологов стал вождь футуристов Ф. Маринетти.

общество должно жить и развиваться по законам живого организма, на основе существующих традиций. Между тем исходной точкой нацизма стало нигилистическое отвержение традиций (исключение было сделано для мертвой и полумертвой архаики) и насильственное подчинение общества наперед заданным схемам. Характерно, что сами нацистские «вожди» менее всего были людьми патриархального склада, да и те толпы, которые они соблазнили идеей «крови и почвы», состояли в основном из индивидуумов, в той или иной степени как раз оторванных от почвы и чуждых ей.

Конечно, сравнительное изучение фашизма и сталинизма, как в плане идеологии, так и в других отношениях, только начинается. Думаю, однако, что представления о двух противоположных идеологиях, «реакционной» и «прогрессивной», лучше отбросить сразу.

Но сейчас я хотел бы обратить внимание как раз на отличия в идеологиях — повторю это, очень существенные. Особенно если иметь в виду не «пастырей», а «паству» — тех, кто верил в «главную идею». Очень уж они разные, «главные идеи». В одном случае — это «национальная идея», доведенная до абсурда, до карикатуры на самое себя. Иначе говоря, нечто заведомо дурное и порочное[3]. В другом — идея всемирного коммунистического братства. Пусть утопия, но по крайней мере благообразная утопия. Конечно, нельзя брать эти идеи в их, так сказать, чистом виде, надо учитывать и контекст. И тут выявляется еще одно отличие.

Хотя Гитлер и любил порою распространяться о пользе «большой лжи», а Сталин на сей счет помалкивал, как раз Гитлер-то был достаточно откровенен: свои «предначертания» он обычно преподносил открытым текстом, не считая нужным как-то зашифровывать. Он прямо заявлял, например, что немецкий народ — избранный, предназначенный господствовать над всеми остальными, «неполноценными» народами, что его, Гитлера, воля есть закон для всех, что целью его является возвращение к варварству и так далее. Для Сталина же, напротив, стало обычным говорить одно, а думать (и делать) совсем другое. Оруэлловское (в романе «1984») «двоемыслие» характерно как раз для сталинизма и не очень характерно для гитлеризма.

Сталин и сталинцы обманывали народ — сегодня это не видно разве только тем, кто не желает видеть. Фикция «самого свободного», «самого передового» и т. д. «государства рабочих и крестьян» была так же далека от реальности, как небо от земли. (Вот почему мне кажется, что откровенно антиперестроечные, просталинские силы не имеют серьезных шансов на успех: у них нет не только своей программы, о чем уже не раз говорилось, нет у них и никакого идеологического «прикрытия». Ибо сталинизм не оставил после себя никакого «идейного наследия», заслуживающего этого имени. Позади просто — обман.)

Гитлер же прибегнул, собственно, не к обману, а скорее к чему-то вроде гипноза. Его успех трудно понять, если не учитывать специфику немецкой истории, немецкой культуры, как и ту конкретную обстановку, что сложилась в Германии после первой мировой войны. Дух этого времени хорошо передал знаменитый фильм Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919): он продемонстрировал, так сказать, жажду быть загипнотизированными. Пациенты были налицо, дело оставалось за гипнотизером. И он не замедлил явиться. Зато пробуждение было тяжелее некуда: настолько испакощен образ великой страны, что его уже четыре с половиной десятилетия отмывают и все не могут до конца отмыть.

Вот что не удалось Ханне Арендт: провести различие между двумя идеологиями, оценить специфику каждой из них.

Но обратимся к тому, что Ханне Арендт удалось.

Основная причина возникновения тоталитаризма, согласно Арендт,— разрушение социокультурных структур, толчок которому дала первая мировая война. Арендт считает, что в Германии этот процесс совершался стихийно, а в Советском Союзе его искусственно стимулировал Сталин своей «коллективизацией». Были структуры (и макро-, и микро-) — было у каждого человека «свое место». Разрушились или ослабли структуры — и оказался человек на пустом месте, открытый всем четырем ветрам. Сбитый с панталыку, он пристал к другим, таким же, как и он, бедолагам; вместе они образовали массу или по-старому чернь.

Чернь, пишет Арендт, «лишена общих интересов, ей не свойственно сознание класса, выражающееся в постановке определенных, ограниченных и достижимых задач». Она объединяет людей не столько по признаку наличия чего-то, сколько по признаку отсутствия. А именно, отсутствия «нормальных общественных связей». В массе личность утрачивает свои индивидуальные черты, сохраняя в себе только то, что есть у всех других рядом стоящих (или рядом бегущих) личностей — чувства потерянности, ущемленности, обиды и готовности эту свою обиду на ком-то или на чем-то выместить. Будучи разделенными, эти чувства еще усиливаются, и в то же время предаются забвению сдерживающие начала, отбрасываются «за ненадобностью» нормы общежития, расцененные как устаревшие и ложные. Возникшая подобным образом подвижная и неустойчивая масса легко становилась объектом манипулирования со стороны идеологов и вождей, увлекавших ее на путь, который в конечном счете приводил в лоно одной-единственной структуры — всеобъемлющего государства, взявше-

[3] Художественная элита, о которой идет речь в книге Арендт, по-своему подготовила приход фашистов к власти, и вместе с тем мало кто из ее представителей вступил с ними в прямой союз. Среди сколько-нибудь крупных деятелей культуры, как в самой Германии, так и за ее пределами, *типичной реакцией на фашизм было неприятие и отвращение*. Исключения редки. Это или престарелые мэтры, едва ли не утратившие контакт с живой жизнью — Гауптман, Гамсун Или те, кто наблюдал за ходом событий с высоты «башни из слоновой кости» или из глубины философской кельи,— Рихард Штраус, Хайдеггер (впрочем, очень скоро раскусившие, что представляет собой режим, которому они на первых порах столь опрометчиво выразили свою поддержку) Или, наконец, немногие иностранцы, судившие о фашизме из совсем уже далекого далека.

го на себя роль «отца родного» для всех своих подданных.

Такова, в предельно кратком изложении, концепция Арендт, выстроенная ею в «Происхождении тоталитаризма».

В ряде публикаций, появившихся за последнее время в нашей периодической печати, ставится следующий, бесспорно наиважнейший вопрос: на чьих плечах Сталин пришел к власти? Как определить тот социальный слой, на который он опирался? Авторы, в общем, сходятся в том, что прямую поддержку оказали Сталину рабочие из вчерашних крестьян. То есть уже не крестьяне и еще по-настоящему не рабочие. Это объяснение по существу довольно близко тому, что дает Арендт; однако понятие «массы», которым она пользуется, имеет определенные преимущества: у него целый спектр значений, в том числе историко-культурных и психологических (проблема массы, безотносительно к тоталитаризму, была разработана задолго до Арендт — главным образом, французскими социологами).

Мне представляется особенно ценным, что в книге Арендт как бы наведена резкость на проблему микросреды. Тоталитаризм становится возможным там, где разрушается социальная микросреда — семья, местная община (сельского или городского типа) и так далее. Пока существует микросреда, индивид пребывает, так сказать, в связанном состоянии, и в этом есть определенное и весьма существенное благо — и для общества, и для самого индивида. Налагаемые ею узы не только стесняют движения, но и дают опору и чувство пути.

В самом деле, как моральное существо, как личность, человек складывается на перекрестке лучей света, исходящих из нескольких пар или, может быть, десятков пар глаз — родных, близких, любимых или просто уважаемых, живых или мертвых. Если этот свет гаснет, человек становится одинок в наихудшем и самом опасном смысле слова. Ему легко потеряться и утратить способность к различению самых простых вещей — например, «что такое хорошо и что такое плохо». Особенно когда сама культура, и в частности, литература в лице виднейших ее представителей, вместо того, чтобы посветить, напротив, содействует «приведению в обалдение» (воспользуюсь строкой почти забытого ныне Демьяна Бедного).

Нет, конечно, задачи литературы не сводятся к исправлению нравов — на сей счет двух мнений быть не должно. Но когда литература вольно или невольно способствует ухудшению нравов, тогда предъявлять к ней претензии по этой линии вполне естественно. Речь идет конкретно о такой вещи, как «романтика цинизма», доходящая до апологии хулигана и преступника, чему посвящена публикуемая здесь глава из книги Арендт. Мощный импульс дала ей опять-таки первая мировая война — тут Арендт совершенно права. Но возникло это явление раньше; чтобы найти его истоки, надо идти далеко в глубь XIX века — к Бодлеру, а может быть, и еще дальше (Бодлер считал, что в современном обществе возможны только два «героических типа» — денди и преступника, и что уже одно это обстоятельство связывает их узами тайного родства).

Конечно, самый яркий «романтик» в этом роде — Брехт. Испытывая постоянную склонность к стилизованной вульгарности так называемых «низовых» жанров и к нарочитой жестокости, Брехт создал образы преступников, по меньшей мере двусмысленные. А его «Трехгрошовая опера» пронизана нескрываемой симпатией к уголовной «малине», по-своему живописной, дерзкой, глумливо отрицающей купно «гражданский кодекс и Библию». В «Трехгрошовой опере» трудно разглядеть (или расслышать) какой-либо второй план с какими-то иными «ценностями». Ее рефрен «Зол человек, а мир убог» выдает себя за истину в конечной инстанции. «За» ним ничего нет. То есть у самого Брехта, разумеется, есть, но в пьесе нет.

Громадный успех «Трехгрошовой оперы» стал событием не только в истории драматургии, но, по-видимому, также и в истории нравов. Мэкки-Нож со своей знаменитой песенкой многим зрителям запал в душу, чтобы выскочить потом — кто знает где? Уже после второй мировой войны в «Новой солдатской песне» Брехт писал о фашистских вояках:

> Ведь каждый был, по сути, Лоэнгрин,
> И каждый был немножко Парсифаль.

Оно, конечно, так, хотя даже в ироническом употреблении нелишне было бы уточнить: и Лоэнгрин и Парсифаль «представлены» здесь своими, так сказать, черными двойниками. (Брехт, испытывая неприязнь ко всякой «высокости», в том числе и к подлинным Лоэнгрину и Парсифалю, предпочел не уточнять.) Но вероятно, с тем же правом Брехт мог бы сказать: и каждый был немножко Мэкки-Нож. Независимо, как принято писать, от субъективных намерений его создателя.

В России такой откровенной апологии хулигана и преступника, наверное, не было, но что-то похожее было — примеры тому можно найти самые разные, начиная хотя бы с горьковских босяков. Хулиганство вырастало в некую «идейную силу» в борьбе с мещанством, ставшей, по замечанию К. Чуковского (сделанному незадолго до первой мировой войны), «основной темой» тогдашней русской литературы. Примерно в то же время и Д. Мережковский указывал на мещанство и хулиганство, «выросшие до космических размеров» и получившие некий «мистический статус», как на основные «противоборствующие стороны» в литературе [4].

Особо я бы выделил здесь Маяковского, как наиболее близкого Брехту по своей эстетике. Образ хулигана занимает не последнее место в его поэзии (и не только поэзии: вспомним фильм «Барышня и хулиган»), особенно ранней, настроенной на эпатаж. Уже в «Облаке в штанах», бросая вызов небесам, автор принимает позу самого заурядного бандюги («нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик»). В общем-то мягкий по натуре человек, не способный, как говорят, даже муху убить, он в стихах хватается то за ножик, то за па-

[4] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. 12. Спб., 1911, с. 316.

рабеллум, то за еще какое-нибудь смертоносное оружие, извергая с зевесовой мощью грохочущие призывы бить, кр-р-рушить и т. д. («маска жестокости», по Арендт). У пореволюционного Маяковского жестокость подчинена «главной идее», а сама «главная идея» считалась «выше» морали, но на деле это потворствовало тому, что было ниже морали. Так что в данном отношении пореволюционный Маяковский не очень отличается от дореволюционного, выступавшего с таким, например, предложением:

Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Какой каруселью все обернулось, слишком хорошо известно.

Сказанное не означает, что пришло время побивать каменьями почитаемые доселе тени. «Errare humanum est»— «Ошибаться свойственно человеку». Привожу эту максиму по-латыни, чтобы подчеркнуть ее древность и непреложность. Ошибаться свойственно также и человечеству или, во всяком случае, значительной его части. В рассматриваемый период истории ошибкой значительной части человечества была слепая вера в прогресс, ожидание близящегося как бы чудесного преображения всей жизни; оборотной ее стороной было высокомерное отвержение «старого мира», «отрясание его праха» от ног своих. Ошибку эту разделяла и определенная часть художественной элиты.

Подчеркну: определенная часть. Другая ее часть или вообще не разделяла веры в прогресс или, во всяком случае, в апологии хулигана и хулиганства ни сном, ни духом не участвовала. И не следует понимать дело таким образом, что в первом случае речь идет о традиционалистах, а во втором — об авангардистах (не говорю уж о том, что такое разделение зачастую условно). Авангард первой трети XX века — явление чрезвычайно многоликое и разнонаправленное, ему трудно дать однозначную оценку даже в эстетическом плане. И уж тем более в любом ином. Какие претензии в контексте нашего разговора могут быть предъявлены, например, Т. С. Элиоту (один из лидеров тогдашнего авангарда), выступавшему как раз за «обновление традиции», в литературе и в самой жизни?

Так что у Арендт речь идет об определенных направлениях тогдашнего авангарда — преимущественно «агонистических» и ультрареволюционных. С этих позиций отвержению подлежали, среди прочего «старья», все традиционные условности, включая сюда «старушку-мораль». Сколько нападок, сколько яростных насмешек обрушилось тогда на обывательскую среду с ее педантичной благопристойностью, о которой сегодня можно составить представление уже только по литературе. Воистину то была эпоха, как выразился Томас Манн, «наскучившая себе сама своим непроходимым благополучием». Сказано о периоде до 1914 года и, конечно, применительно к более или менее обеспеченным классам; после первой мировой войны где-то (в Германии, например) от этого «непроходимого благополучия» сохранилось не так уж много, а где-то (в России) оставались разве что связанные с ним привычки. И однако же, нападки и насмешки не прекращались, скорее они даже усилились. Ведь ожидаемый «новый мир» уже, казалось, был на самом пороге. Впереди вставали пьянящие видения огромных человеческих коллективов, живущих какой-то гиперболически упорядоченной жизнью, ради которой необходимо было как можно скорее избавиться от всякого «старья».

Пришел час, видения исчезли, что рано или поздно происходит со всеми видениями, наступило похмелье. Тех, прежних, худо ли, бедно ли налаженных человеческих отношений уже нет. Зато кругом сколько угодно стало глубокого внутреннего хамства и потаенной жестокости, которую не приведи Бог увидеть в действии. Казалось бы, так ли уж давно нравственные прописи еще можно было относить к области банального, вызывавшей презрение у «яростных и непокорных». Но вот как-то незаметно произошла перемена декораций — и теперь банальным становится зло, по известному и часто цитируемому выражению Ханны Арендт (употребляемому в другой ее книге — «Эйхман в Иерусалиме»).

Когда зло представляет собою исключение из правила, тогда оно может показаться по-своему привлекательным. В том, как нож (тот же Мэкки-Нож) входит в масло, есть, во всяком случае, что-то эффектное. Но когда масла остается уже мало, а ножей, напротив, все больше и они с лязгом задевают друг друга, зрелище становится отвратительным даже с чисто эстетической стороны.

Разведем еще раз германский или какой-либо иной и наш исторический опыт. Падение нравственности — явление глобальное, но, очевидно, у нас этот процесс усугублен ходом пореволюционной нашей истории. Во-первых, разрушение социально-культурных микроструктур еще в 20-х — начале 30-х годов зашло у нас гораздо дальше, чем в любой западной стране. Во-вторых, наш тоталитаризм оказался устойчивее других, протянув, в той или иной форме, едва ли не шесть десятилетий (для сравнения: Гитлер оставался у власти в Германии только двенадцать лет). За все это теперь приходится расплачиваться.

Дефицит гражданских, семейных и иных добродетелей, громадный рост преступности, люмпенизация молодежи (продолжающаяся и, похоже, даже убыстряющаяся именно сейчас, в пору общественного подъема) — явления, за которыми стоят шесть или семь десятилетий минувшей истории. Роковую роль тут сыграли 20-е годы, когда была поставлена задача: сложившуюся исторически «почву» разнести в пух и прах. Хоть и не в два счета, дело было сделано. Итог налицо. Как пишет А. Синявский, «народ» исчез, превратившись в «массу, в кашу, выделив в отместку, как тучу пыли,— блатных...» [5] Вывод чересчур категоричный: очевидно, что народ все-таки не исчез; скажем так: превратился в субстанцию, лишенную прежней четкости и определенности. Но насчет пыли — очень точно. Я бы добавил, что она состоит не только из собственно

[5] Абрам Терц (А. Синявский). Отечество. Блатная песня. «Синтаксис», Париж, 1979, № 4, с. 95.

блатных, но также и из каких-то частиц блатного, люмпенского сознания, въевшихся в повседневную жизнь настолько, что их уже перестают замечать. Если в эпоху Сталина эта всепроникающая пыль была еще тонкой и порою трудноощутимой (я сейчас не говорю о ГУЛАГе), то теперь она, что называется, стоит столбом.

Сошел со сцены «великий» башибузук, а затем и его преемники, и объявились тысячи, миллионы маленьких башибузуков, в этом есть своя логика, своя историческая преемственность

Опять-таки люмпенизация — явление не только наше, отечественное. Синявский пишет о «блатной экспансии на всемирно-историческом уровне», и это совершенно справедливо. И все же у нас проблема острее. На Западе, насколько могу судить, крепче семья, бытовая культура и т. д. То есть сильнее связующие начала.

Теперь поставим вопрос так. Талантливые, даже гениальные художники во многом способствовали тому, что сегодня трудно расценить иначе, как исторический ляпсус. Некоторые из них сами заявляли о себе, как об идеологически ангажированных, а значит, тем более подлежат критике с этой стороны. В чем заключалась ошибка? Где, в каком своем извиве их мысль или их воображение устремлялось по опасному руслу? Мы знаем, что им было тесно в путах «обывательской морали», хотелось больше свежего воздуха, хотелось чего-то иного, «настоящего». Так ведь это все понятно. Не будем сейчас менять все минусы на плюсы и плюсы на минусы. Обывательская среда. если брать ее в исторической перспективе,— неоднозначна, у нее два лика, один уродливый и смешной, а другой добрый, и надо видеть оба. (Но сейчас, когда мы приучены видеть почти исключительно первый, надо привыкать к тому, чтобы видеть именно второй.) Гоголю это удавалось, но после Гоголя, кажется, никто не сумел удержать подобное «двойное зрение».

Извив, оказавшийся пагубным, вероятно, тот, где вспыхнуло и разгорелось истерическое — впору так его назвать — желание все сломать. Чтобы потом «строить заново». Тем самым была предана забвению фундаментальная истина, которую Кант, например, выразил так: из того леса, что представляет собою человечество, нельзя выстроить ничего прямого. Зато можно, добавим от себя, таких наломать дров, что надолго пропадет охота вообще что-то строить.

Человек, каков он есть, «от жены рожденный» — существо противоречивое: в душе у него что-то вроде крыльев, а все-таки летать он не может. То есть взлететь может, но обязан приземлиться. Ему органически свойственно стремление к свободе, но в то же время он не может обойтись и без определенной несвободы. И потому терпение — столь же ключевое слово, как и свобода (или стремление к свободе). Таковы две стороны одной медали, именуемой «ситуацией человека». В плане политики односторонность кончается либо рабской покорностью, либо полной разнузданностью (в пределе: кровавой анархией). Но и в плане микроструктуры она тоже ни к чему хорошему не ведет. Порыв вон из «клетки» может иметь свои оправдания, но... совсем без «клетки» тоже плохо. И от этой двойственности никуда не уйти. Надо просто уметь с нею жить.

Ну, а для «яростных и непокорных» сегодня, как мне кажется (это сугубо личное мнение), самый верный путь — в смиренники, праведники.

■

К нашим иллюстрациям

Человек моды, человек театра

У многих из нас (главным образом женщин) имя «Ив Сен-Лоран» вызывает смутные представления о чем-то прекрасном и недоступном: изысканных нарядах, великолепных украшениях и необыкновенных ароматах, одним словом, о моде. Однако творческие возможности знаменитого французского модельера не ограничиваются созданием разнообразных коллекций одежды. Высокий профессионализм, утонченная фантазия и блестящая эрудиция позволяют ему плодотворно работать в театре и кино.

Ив Сен-Лоран вспоминает, что начал увлекаться театром с одиннадцати лет: устраивал домашние спектакли, используя собственноручно изготовленные куклы и декорации. Свои первые театральные костюмы он сделал в 1959 году (ему было тогда 23 года) для балета «Сирано де Бержерак» на музыку Мариуса Констана в постановке Ролана Пети. Дебют оказался удачным и положил начало их многолетней совместной работе, благодаря которой появились Эсмеральда в «Соборе Парижской богоматери» Мориса Жарра и Шехерезада в одноименном балете Мориса Равеля; покоряла зрителей Майя Плисецкая в «Гибели розы» Густава Малера, блистала французская актриса Зизи Жанмэр в ярких, феерических шоу-ревю. Сен-Лоран сотрудничал и с другими мастерами театра и кино: Мадлен Рено, Жаном-Луи Барро, Луисом Бунюэлем, Франсуа Трюффо, Аленом Рене. Он «одевал» кинозвезд Катрин Денёв, Клаудиа Кардинале, Софи Лорен, Изабель Аджани.

Во время работы над спектаклем или фильмом Сен-Лорану необходим тесный контакт с режиссером, балетмейстером, актером. Для него театральный костюм — это силуэт, по которому сразу должен угадываться персонаж: вот Гамлет, вот Отелло, вот Мизантроп. Создавая образ актера, он учитывает его индивидуальность и продумывает все до мелочей: костюм, грим, прическу. Такое же трепетное отношение к исполнителям и стремление воплотить в декорациях и сценических костюмах авторский замысел было характерно для русских театральных художников начала XX века: Бакста, Бенуа, Головина, Добужинского, которых Ив Сен-Лоран считает своими учителями. Одно из изданий, посвященное его творчеству, так и называется: «Живые традиции Русских сезонов. Театральные фантазии Ива Сен-Лорана». Он не скрывает, что иногда использует удачные, на его взгляд, идеи или находки своих любимых художников. Ему нравятся яркие тона, четкая линия у Матисса и торжественная белизна у Манэ, огромные, как океан, платья у Веласкеса и кубические формы у Пикассо. Что интересно, себя Сен-Лоран художником не считает: «Я никогда не учился рисовать и знаю, что рисую неважно, просто я выразителен». Но в чем он себе не отказывает, так это в богатом воображении. Какой-то образ прежде всего рождается у него перед глазами, лишь затем переносится на бумагу в виде наброска, эскиза и, наконец, обретает плоть и кровь живого артиста.

В творчестве Ива Сен-Лорана гармонично сочетаются театр и мода. В повседневную одежду он вносит загадочность и великолепие театра, а в сценическое платье — непринужденность и простоту быта. Как тут не вспомнить столь часто повторяемые шекспировские слова: «Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры». Задача же художника и модельера состоит в том, чтобы помочь каждому найти свой костюм, свой образ. И Сен-Лоран делает это со вкусом и любовью.

Г. МАСЛЕННИКОВА

Авторы этого номера

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ (VÁCLAV HÁVEL; род. в 1936 г.) — чешский драматург, публицист, философ, лауреат многих международных премий. Президент Чешской и Словацкой Республики. Публикуемая статья взята из его книги «В разные стороны» («Do různých stran 1983—1989»; Čs. středisko nezávislé literatury. Scheinfeld-Schwarzenberg, 1989). Перевод с чешского Н. Николаевой.

ДОМИНИК ТАТАРКА (DOMINIK TATARKA; 1913—1989) — словацкий писатель. Автор многих книг, в том числе романов и повестей: «В тоске поиска» («V úzkosti hľadania», 1942), «Первый и второй удар» («Prvý a druhý úder», 1954), «Человек на дорогах» («Človek na cestách», 1967), «Один против ночи» («Sám proti noci», 1982), «Записи с голоса» («Navrávačky», 1989). На русский язык переведен его роман «Республика попов» (М., 1966) и ряд рассказов. Памфлет Д. Татарки «Демон согласия» был опубликован в ЧССР в 1963 г. («Démon súhlasu». Bratislava, Slovenský spisovateľ», 1963).

ТОМ СТОППАРД (TOM STOPPARD; род. в 1937 г.) — английский драматург. Автор пьес «Настоящий инспектор Хаунд» («The Real Inspector Hound», 1968), «После Магритта» («After Magritte», 1971), «Прыгуны» («Jumpers», 1972), «Пародии» («Travesties», 1975), «Хороший парень стоит доброго отношения» («Every Good Boy Deserves Favour», 1978), «Ночь и день» («Night and Day», 1978), «Закодированный Гамлет и Макбет» («Dogg's Hamlet, Cahoot's Macbeth», 1980), «Настоящее» («The Real Thing», 1983), «Хэпгуд» («Hapgood», 1988), ряда телесценариев и радиопьес.
Пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» вышла в Англии в 1967 г. («Rosencrantz and Guildenstern Are Dead». London. Faber and Faber, 1967).

СТЕФАН ГЕЙМ (STEFAN HEYM; род. в 1913 г.) — немецкий писатель. Пишет на немецком и английском языках. После прихода к власти фашизма эмигрировал сначала в Чехословакию, затем в США. С 1952 года живет в ГДР. Автор романов «5 дней в июне» («5 Tage im Juni», 1974), «Коллин» («Collin», 1979), «Агасфер» («Ahasver», 1981), «Шварценберг» («Schwarzenberg», 1984), «Некролог» («Nachruf», 1988). На русский язык переведены его романы «Заложники», «Крестоносцы», «Голдсборо», «Архив Андреаса Ленца». Лауреат литературных премий Г. Манна и Национальной премии ГДР.
Роман «Книга царя Давида» вышел в ГДР в 1973 г. («Der König David Bericht». Berlin, Der Morgen, 1973).

ХАИМ-НАХМАН БЯЛИК (1873—1934) — еврейский поэт. Автор лирических циклов: «Пруд», «Ночные карлики», «Народные песни», гимнов «Песни света», поэм «Огненная хартия», «Мертвецы пустыни»; «В граде избиения» и др. Выступал как прозаик, литературовед и публицист. Перевел на иврит роман Сервантеса «Дон Кихот», драму Шиллера «Вильгельм Телль», а также произведения Шолом-Алейхема, Анского и других авторов, писавших на идиш.
Стихотворение «Моя мама, будь благословенна ее память» взято из хрестоматии на языке иврит (Иерусалим, 1986).
Перевод поэмы «Город резни» выполнен по тексту в сборнике «Ширим», на языке идиш (Berlin, Klal-Verlag, 1922).
При подготовке этой публикации были использованы следующие издания: М. Горький. «Несобранные литературно-критические статьи» (М., «Художественная литература», 1941), Владислав Ходасевич. «Избранная проза» (N. Y., Russica Publishers, 1982); Х.-Н. Бялик. Стихи и поэмы (Тель-Авив, изд-во «Двир», 1964); И. А. Бунин. Собр. соч., т. 8 (М., 1967); Х.-Н. Бялик (Петроград, изд. С. Д. Зальцман, 1917).

МАКС ФРИШ (MAX FRISCH; род. в 1911 г.) — швейцарский прозаик, драматург. «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Макса Фриша — романиста и драматурга,— напечатав его пьесу «Бидерман и поджигатели» (1965, № 5), романы «Homo Faber» (1966, № 4), «Назову себя Гантенбайн» (1975, № 4—6), повести «Человек появляется в эпоху голоцена» (1981, № 1), «Синяя Борода» (1982, № 11), рассказ «Стенограмма одного несчастья» (1987, № 2). На русский язык переведены также роман «Штиллер», повесть «Монток».
Повесть «Швейцария без армии?» издана в Цюрихе в 1989 г. («Schweiz ohne Armee?». Zürich. Limmat Verlag Genossenschaft, 1989).

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА (LUIGI MALERBA; род. в 1929 г.) — итальянский прозаик и и сценарист. Автор романов «Змея» («Il serpente», 1966; премия Кампьел-

ло), «Протагонист» («Il protagonista», 1973), «Императорские розы» («Le rose imperiali», 1974), сборника рассказов «Открытие алфавита» («La scoperta dell' alfabeto», 1963) и др. В «Иностранной литературе» напечатана его повесть «Сальто-мортале» (1976, № 5) и несколько рассказов.

Публикуемые юморески-миниатюры Л. Малербы «Башковитые курицы» отобраны с согласия автора из его одноименного сборника, вышедшего в Италии в 1980 году («Le galline pensierose». Torino, Giulio Einaudi editore S.p.A., 1980). Полностью перевод будет опубликован в издательстве «Радуга» в 1990 г.

АЛЬБЕРТО МОРАВИА (ALBERTO MORAVIA; род. в 1907 г.) — итальянский писатель, автор многих романов, сборников рассказов, новелл, путевых очерков. Творчество А. Моравиа известно советским читателям по многим переводам. В «Иностранной литературе» напечатаны его романы: «Чочара» (1958, № 1—3), «Презрение» (1963, № 9—10), рассказы из сборников «Автомат» (1964, № 1), «Вещь это вещь» (1967, № 12), «Рай» (1971, № 8), «Другая жизнь» (1974, № 8) и др.

Публикуемые сказки — фрагменты книги А. Моравиа «Истории из времен доисторических», вышедшей в Италии в 1982 г. («Storie della preistoria». Milano, Fabbri — Bompiani. 1982).

Полностью перевод будет опубликован в издательстве «Радуга» в 1990 г.

ДАВЫДОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1929 г.) — доктор философских наук. Автор книг «Искусство и элита» (1966), «Искусство как социологический феномен» (1968), «Эстетика нигилизма» (1975), «Бегство от свободы. Философское мифотворчество и литература авангарда» (1978), «Этика любви и метафизика своеволия» (1983, 1989).

ХАННА АРЕНДТ (HANNAH ARENDT; 1906—1975) — философ, публицист. В 1933 г. эмигрировала из Германии в Париж, с 1941 г. жила в Нью-Йорке. Преподавала в университетах Чикаго и Нью-Йорка. Автор книг «О революции» (1963), «Vita activa» (1967), «Власть и насилие» (1970) и др. Публикуемая глава взята из книги Х. Арендт «Происхождение тоталитаризма» («Totalitarianism», 1951).

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — советский публицист и критик. Автор книг «Без знамени» (1979), «Метаморфозы нигилизма» (1986), «Кто готовит апокалипсис» (1988), «Америка похищает Европу» (изд. АПН на англ., франц. и нем языках).

МИХАИЛ (МИХАЙЛО) НИКОЛАЕВИЧ МИХАЙЛОВ (род в 1934 г. в Югославии в семье русских эмигрантов). Окончил Загребский университет. Читал курсы по русской литературе и русской философии в американских и европейских университетах. С 1985 г. живет в США. Автор книг: «Лето московское» (1965), «Русские темы» (1968), «Планетарное сознание» (1976), «Ненаучные мысли» (1979) — изданных на разных языках в Европе и Азии.

Переводчики

НИКОЛАЕВА НИНА СЕРГЕЕВНА — советский литературовед, критик, переводчик с чешского и словацкого языков, кандидат филологических наук. Переводила статьи Ю. Фучика, рассказы Я. Гашека, роман И. Климы «Час тишины», повести К. Нового «Мы хотим жить», М. Пуймановой «Предчувствие» и др.

БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ — поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1940 году в Ленинграде. В 1972 г. был вынужден эмигрировать и с 1974 г. живет в США. Стихи Бродского с 1965 г. выходили в США. Автор сборников. «Стихи и поэмы», 1965, «Остановка в пустыне», 1970, «Конец прекрасной эпохи», 1977, «Часть речи», 1977, «Новые стансы к Августе», 1983, «Урания», 1987, сборника эссе «Меньше, чем единица» (удостоен премии как лучшая литературно-критическая книга Америки за 1986 г.). Пишет и на английском языке. В 1987 г. ему присуждена Нобелевская премия по литературе.

ВЕРШИНИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1926 г.) — советский переводчик с итальянского. В его переводе изданы романы А. Моравиа «Равнодушные», И. Кальвино «Барон на дереве», Л. Шаши «Каждому свое», повести Л. Малербы «Сальто-мортале» («ИЛ», 1976, № 5), К. Бернари «Горькая любовь» («ИЛ», 1979, № 4) и др.

ДВИН ФРИДЭНГА МИХАЙЛОВНА — советский переводчик с итальянского. В ее переводе выходили книги Э. Петри «Рим, 11 часов», Н. Палумбо «Налоговый инспектор», Ф. Феллини «Делать фильм», сценарий Ф. Феллини и Т. Гуэрры «И плывет корабль» («ИЛ», 1984, № 9), Микеланджело Антониони «Тот кегельбан над Тибром» («ИЛ», 1985, № 7) и др.

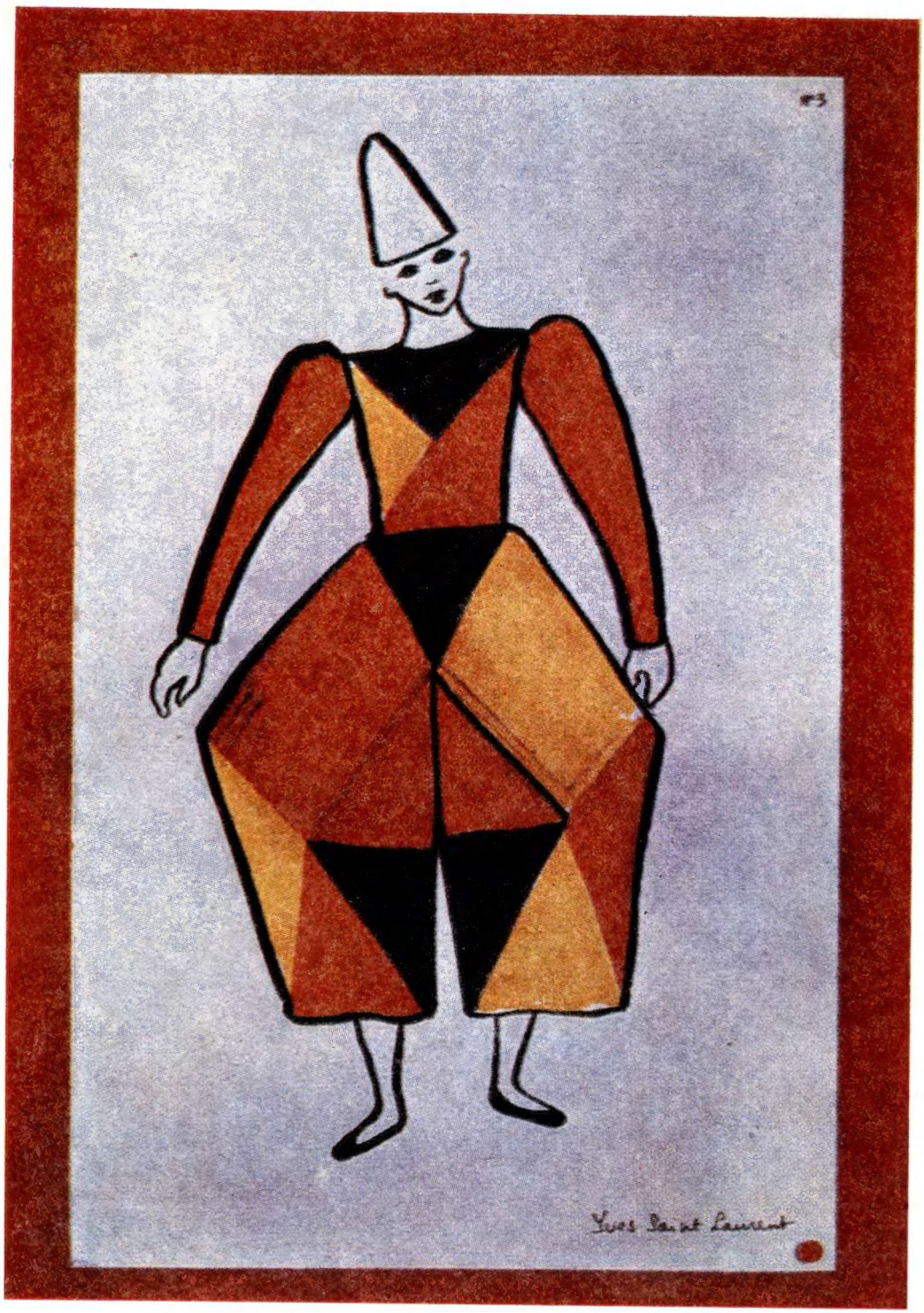
КАЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — советский переводчик немецкоязычной литературы. В ее переводах публиковались произведения Б. Брехта, Г. Бёлля, Ф. Дюрренматта, романы Г. де Бройна «Буриданов осел» («ИЛ», 1969, № 11—12; совместно с Т. Иллеш), «Присуждение премии» («ИЛ», 1973, № 5), «Новое благоденствие» («ИЛ», 1988, № 1), повести Макса Фриша «Человек появляется в эпоху голоцена» («ИЛ», 1981, № 1), «Синяя Борода» («ИЛ», 1982, № 11)и др.

БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт и переводчик, автор книги стихов на языке идиш «Дер куникер велтбой» («Солнечный мироустрой»). В «Иностранной литературе» публиковались его переводы с румынского, испанского и с языка идиш рассказы И. Б. Зингера и стихи Марка Шагала.

«Женитьба Фигаро» П. Бомарше.

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 4, 1—256